

НОВОБЫТЪ  
МИТРО

6

---

1953

6

МИТРО

6

6

# НОВАЯ И МИР

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Год издания XXIX

№ 6

Июнь, 1953 г.

ОРГАН СОЮЗА СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ СССР

## СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
ВЛАДИМИР ДУДИНЦЕВ — На своём месте, повесть	3
А. ТВАРДОВСКИЙ — За далью — даль. (Из путевого дневника)	59
АСКЕР ЕВТЫХ — У нас в ауле, повесть. Окончание	84
Современные итальянские новеллы	192
АМЕДЕО УГОЛИНИ — Мы не уйдём отсюда. Понятно без слов.	
ЛИБЕРО БИДЖАРЕТТИ — Напрасное посещение.	
ДОМЕНИКО РЕА — Синьора выходит в Помпее.	
ФЕЛИЧЕ КИЛАНТИ — Вынесли на плечах.	
РЕНАТА ВИГАНО — Взрыв.	
<b>ПУБЛИЦИСТИКА</b>	
Е. КАСИМОВСКИЙ — Сталинская программа построения коммунизма	212
<b>ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ</b>	
ФЕДОР ГЛАДКОВ — О культуре речи	231
<i>К 175-летию со дня смерти Вольтера</i>	
М. ЛИФШИЦ — Великий французский просветитель	239
<b>КНИЖНО-ЖУРНАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ</b>	
<i>Литература и искусство</i>	
П. Утевская. Народный писатель Латвии. — А. Кондратович. Альманах, которому нужна помощь. — Н. Соколова. Человек и его дело. — А. Турков. Оружие сатиры. — П. Топер. «Железный город» Ллойда Брауна.	256
<i>Политика и наука</i>	
А. Иглицкий. Под знаменем мира. — А. Проскуряков. Против морального растления немецкой молодёжи. — Л. Романов. Во франкистской Испании. — Академик А. Винтер. Энергия ветра. — И. Крупеников. Выдающийся учёный XVIII века.	272
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ (апрель—май 1953 года)	286

---

ИЗДАТЕЛЬСТВО  
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР»  
Москва





---

ВЛАДИМИР ДУДИНЦЕВ

★

## НА СВОЕМ МЕСТЕ

*Повесть*

**В** ту позднюю осень, когда с Фосфоритного комбината через тайгу отправился украшенный полосами кумача поезд, увозя в вагонах первые тонны тончайшего жёлтого порошка, посёлок Рудничный состоял всего лишь из двадцати длинных барачков, построенных наскоро на дне пологой впадины из тех сосен, что были спилены здесь же, на месте. На две стороны от посёлка плавно восходили к небу пустынные склоны, сплошь утыканные пнями. Каждое утро по одному из склонов поднимались рабочие, топчя щедро набросанную сырую щепу, уходили цепочкой, словно на край света. За этим краем была ещё одна такая же впадина, за нею — ещё одна, и в каждой, как войско в засаде, темнели угрожающе неподвижные острия пихтовника.

Хвойное море окружало посёлок. На рассвете, в тихие минуты, было слышно его вкрадчивое дыхание. Но вместе с ясным осенним днём все лесные окрестности, все синюющие дали открывались для новых звуков, которые, казалось, находили отклик в самой душе леса. Пробегая сквозь чащу, свистел паровоз, и десятки свистков весело отвечали ему из далёких лесных тайников. За горой, около разгрузочного бункера, буксовал самосвал, груженный жёлтым камнем, а казалось, что там режут десятки машин. Падали мерные, звонкие удары деревянной балки, и в ответ из-за леса в золотом холодном воздухе доносился мерный отзвук.

Рабочие шли на эти звуки, и за бугром, в лесной просеке, перед ними открывалась длинная, белая от щепок улица будущего городка, обозначенная двумя рядами свежих срубов, и каждый день на этих срубках прибавлялись новые венцы. На некоторых постройках уже стояли стропила, и было видно, что родился дом — четырёхквартирный, с загейливо очерченной крышей и с балкончиками на втором этаже.

С утра до ночи на строительном дворе выла дисковая пила. Издалека докатывались тяжёлые удары — это за четыре километра от посёлка, на карьере, рвали жёлтый камень. Больше всех, конечно, эти звуки радовали Алексея Петровича Алябьева — московского инженера, который открыл здесь фосфорит. Говорили, будто инженер этот так и не добурился до конца, пробурил двести метров и бросил, — и всё время шёл мягкий жёлтый камень. Как стена, врытая глубоко в землю, пласт этого камня будто бы тянулся на сотни километров, и каждый месяц разведчики, которыми руководил Алябьев, теперь — главный геолог рудника, нащупывали под тайгой продолжение пласта. По расчётам знающих людей, выходило, что этой стены хватит нашим заводам и полям на сотни лет.

По посёлку бродили слухи: пришёл эшелон белого кирпича, сгрузили прямо в лесу, километров за двадцать от посёлка — в урочище



Суртаиха, где второй карьер. Для чего? Конечно, будут строить химический завод. Плотник Самобаев однажды в столовой поднял над стопкой водки свой отточенный топор с топорщиком, изогнутым, как лебединая шея, и сказал так, чтобы слышали соседи: «Того никто не знает, сколько мы с тобой нарубим здесь домов». А это уже все видели: пришла платформа с ящиками, и в них оказались новенькие станки для ремонтно-механического завода. Его корпус стоял на пустыре, неподалёку от автобазы. Завод до половины был ещё в лесах и рабочие ещё стеклились продолговатые башенки на его крыше, а внутри, под башенками, уже работало целое токарное отделение.

Ясно было, что механический завод построили здесь неспроста — смотрели в будущее. Но начальнику механической мастерской при автобазе, Петру Филипповичу Царёву, этот завод был «вот где» (говоря это, он обычно показывал гаечным ключом назад между лопаток). Дело в том, что маленькая механическая мастерская автобазы до последнего времени не сходилась с Доски почёта, а теперь рядом с мастерской появился опасный конкурент.

У Петра Филипповича были лучшие токари и слесари-ремонтники. Он ревниво воспитывал их, приближая к себе способных, тех, у кого душа прилипла к металлу, а с неудачниками обращался с подчеркнутой холодностью. Начальник любил говорить о культуре производства, причёсывался на пробор, сгоняя на одну сторону мелкие чёрные кудряшки, всегда был чисто выбрит, подбривал даже толстые угольные брови, часы носил на цепочке, а работал не иначе, как в чёрном жилете, из-под которого были зыпущены рукава чистой сорочки с запонками. Особенно хорош он был, когда его звали во двор к больному грузовику прослушать работу мотора. Маленький и нахмуренный, он проходил между одобрительно улыбающимися слесарями и, достав из кармашка медицинский прибор для выслушивания, вставив в уши концы резиновых трубок, наклонялся над мотором.

Теперь мастерская отходила на второй план, это видели все. Когда на ремонтно-механическом заводе установили первые станки, Царёв получил приказ передать заводу двух токарей «для обрастания» учениками. Пётр Филиппович поник, но тотчас нашёлся и сбыл заводу Ваську Газукина, который у него тоже был «вот где». Начальник мастерской считал профессию токаря интеллигентной, возвышенной, а Васька продавал свой талант только за деньги. Если Газукину давали точить сложную деталь, он расценка ему не нравилась, он прикидывался дурачком: «Не сумею, дядя Пётр!». В ответ ему из конторки неслось на весь цех: «Врёшь, всё можешь, ломаешь дурака здесь, как спекулянт какой!». Но настаивать Пётр Филиппович не смел: упрямый Васька мог сделать брак, ославить всю мастерскую. Если же плата была хороша, Васька первым бросался на работу и делал её лучше всех, выполняя норму на двести процентов.

Пётр Филиппович избавился от Васьки, а через две недели — как раз, когда установилась снежная зима, — пришёл новый приказ: дать заводу трёх слесарей. Начальник надел пиджак и пошёл в управление комбината, но там ему сказали, что у него местные предубеждения, что он за сосной не видит леса и что сосна — его маленькая мастерская, а лес — завод, который будет обслуживать всю гигантскую новостройку.

Пётр Филиппович потемнел, но подчинился. И трёх слесарей на завод он передал — правда, далеко не самых лучших. С этого дня в мастерской наступила горькая тишина.

Однажды, когда окончилась смена, Царёв созвал своих стахановцев на маленькое совещание. Они собрались в его тесной фанерной

конторке, оклеенной газетами, стали у стен, притихли. Те, кто остался в узком коридоре, поднялись на носки, чтобы выяснить причину, узнать, почему это ребята не ведут громкой мужской беседы. И увидели: за столиком начальника, рассматривая алюминиевый поршень, который служил Царёву пепельницей и прессом для чертежей, сидела девушка в стёганой телогрейке. Трудно обнаружить красоту, если она скрыта кирзовыми сапогами, широкой мужской телогрейкой и слоем жёлтой фосфоритной пыли. Но ребята обнаружили и впились в неё лукавыми молодыми глазами со всех сторон.

Скорее всего, девушка была из инженеров, и притом новичок. От неё словно исходило сияние: должно быть, она привезла сюда из Москвы или Ленинграда мечту о сильном волей и бесстрашном строителе, о таком, с которого она могла бы взять пример. И вот теперь её, без сомнения, восхищал и страшил Пётр Филиппович, со спокойным сердцем превративший автомобильный поршень в пепельницу.

Начальник сидел под телефоном, с корректным видом отставив ногу. Иногда он бросал на гостью осторожные взгляды, полные позднего огня, но тут же опускал негнущиеся углы бровей, потому что в коридоре между рабочими заметил жену. Она всегда приходила в эти часы звать его на обед и сейчас стояла в сером вязаном платке, подпирая щеку тёмной крестьянской рукой. Она смотрела на своего мужа, как мать смотрит на великовозрастного сына, обнаружившего опасные таланты.

Не глядя на жену, Пётр Филиппович свернул цыгарку и с особенной небрежностью бросил кисет на стол, что означало: «Закуривай, кто хочет!». Кисет пошёл по рукам. Конторка наполнилась дымом. Пётр Филиппович перегнулся через столик к соседке, девушка просияла, он кивнул несколько раз, и совещание началось.

— Как вам известно, — сказал начальник, — у нас теперь имеется мехзавод, который будет обеспечивать всю потребность строительства. А мы теперь, словом, как подсобное предприятие. Но мы не должны замыкаться в кругу узких местнических интересов. Поскольку завод переживает пусковой период, мы обязаны ему помочь.

Тут Пётр Филиппович отодвинул поршень и развернул на столе синьку с чертежом — развернул и приумолк на минуту, что означало: «Можно подойти и ознакомиться». Круг рабочих придвинулся, послышались удивлённые голоса: «Три метра!».

— Три метра, — подтвердила девушка-инженер и насторожилась, стала посматривать на рабочих исподлобья — с надеждой и беспокойством.

— Три метра, — удовлетворённо сказал Пётр Филиппович и уточнил: — Три тысячи миллиметров. А в наших станках между центрами — самое большее, полторы тысячи. Такая же картина и на заводе. А если учесть, что Фаворов — директор молодой и притом специалист по землеройным машинам, но не по обработке металла, становится ясно: валы эти надо точить нам. Хотя мы и подсобное предприятие, — он сказал это, угрожая глядя в сторону. — Словом, я от вашего имени пообещал Антонине Сергеевне, — он посмотрел на девушку, — пообещал ей обмозговать это дело. Это для неё нужно, шнек они делают — подавать будет к бункеру готовый продукт. Давай, братва, смекай. Ничего вам не скажу заранее, но дело верное. Удлинить станок можно. Имеется такая реальная возможность.

Тут Пётр Филиппович, внезапно повеселев, упёрся спиной в фанерную стенку, и вся конторка задвигалась и заскрипела.

— Сосна! — Он засмеялся. — Вот мы и посмотрим, где сосна и где лес!

В это время над его головой затрещивал телефон. Начальник снял трубку и солидно сказал: «Слушаю, Царёв». В тишине заливисто, как муха в банке, запела, задрезжала трубка. Пётр Филиппович слушал, перебирая цепочку часов, поддакивал всё отрывистее, потом перехватил трубку другой рукой и с холодным спокойствием стал стряхивать в поршень пепел с цыгарки, хотя пепла не было и уже сыпался табак.

— Не могу, — сказал он в трубку и в первый раз сухо кашлянул. — Товарищ... Товарищ Фаворов! — Он побледнел и закашлял чаще. — Товарищ Фаворов, именно государственные соображения не позволяют мне бросать кадрами. Нет, нет. Нет, — сказал он ещё раз и повесил трубку. — Опять токаря просит.

Наступила пауза. Было слышно только покашливание Петра Филипповича.

— Сейчас Медведев будет звонить, — шепнул он.

И телефон не заставил себя ждать, требовательно зазвонил. Пётр Филиппович снял трубку: «Слушаю, Царёв» — и все услышали отчётливый бас управляющего: «Ну что там у тебя? Опять колбасишь?».

— Максим Дормидонтыч, кого же отдавать? Может, мне самому?

«Погоди, и до тебя очередь дойдёт, — трубка засмеялась. — Отдай, отдай токаря, это моё распоряжение».

Повесив трубку, Пётр Филиппович стал наводить на столе порядок, передвинул с места на место чернильницу и поршень.

— Сейча-ас... Кого же мы ему подкинем? — Он задумался и крикнул. — Нда-а... Клава! Неси сюда молитвенник!

Из рук в руки начальнику передали тонкий журнал в фанерной обложке. Пётр Филиппович стал просматривать список.

— Балакин, ты как? Молчишь? Не бойся, не бойся, не отдам. Ну-ка, посмотрим середнячков... Бабенко, Горожанкин, Панфилов... Нет, это всё не то. С этими мы ещё поработаем. Нда-а... Может, есть добровольцы?

Никто не ответил.

— Погоди, ребята, — сказал вдруг начальник. — Нашёл! — Он повеселел и снял трубку. — Механический мне... Товарищ Фаворов? Замучил ты меня. Да нет, аппетит, аппетит, говорю, у тебя... Бери, шут с тобой! Не вешай трубку, сейчас скажу. Что? Ну во-от, какие слова загибаешь. Лодырей мы не держим... Не-ет, это такой тебе будет, что всех стахановцев... Новатор!

Наступила тишина. Рабочие кинулись боясь взглянуть друг на друга. Девушка-инженер с интересом оглядела всех и посмотрела на Царёва. Она уже стояла около стола, собираясь уходить. А Пётр Филиппович, качаясь на стуле, теряя равновесие и ловя угол стола, грозно кричал в трубку:

— Разряд? Не в разряде дело. Такой, понимаешь, парень — быстрый, на лету всё схватывает. Благодарить будешь! И наладит и приспособление сам придумает. Вот именно, и в чертежах разбирается. И потом — артист. Помнишь, в красном уголке стихи читал о советском паспорте? Он, честное слово! А фамилия — специально для Доски почёта: Гусаров!

Канторка вздрогнула от дружного хохота. Пётр Филиппович строго покосился на рабочих и угрожающе выставил кулак.

— Говоришь, не видел на доске? — продолжал он, ёрзая на стуле. — Не видел, так увидишь. Этот тебе весь цех перевернёт. Будет знатный человек механического завода!

Канторка опять дружно грохнула: начальник умел развеселить ребят.

— Ты записывай! — кричал он в трубку. — Записывай скорей, пока я не передумал. Григорий, Уляяна, Софья — Гусаров! Фёдор Иванович. Завтра он к тебе и придёт...



Повесив трубку, Пётр Филиппович долго смеялся вместе с рабочими. Девушка-инженер растерянно оглядывалась, как будто смеялись над нею: непонятен был ей этот общий приступ веселья.

— Думаете, стахановца отдаю? — шепнул ей Царёв. — Нет, он у нас ни рыба ни мясо, пусть идёт на завод. — Поднял руку, чтобы унять ребят, и привстал. — Кто там с краю — сходи-ка в цех, может, ещё не ушёл. Бегом! Пусть сюда идёт.

И вдруг из тесного коридора сквозь табачный дым, от человека к человеку, в конторку вступила тишина. Пётр Филиппович не сразу понял, в чём дело. Вышел из-за столика и замер, увидев жену. Вся его правда, вся честно прожитая жизнь с грустью и укоризной смотрела на него из усталых глаз Зинаиды Архиповны.

— Он был здесь... — негромко сказал кто-то.

— Пустите! — Покашливая, начальник зашпешил, протиснулся в коридор, толпа рабочих молча раздалась перед ним. — Где он? Гусаров, ты здесь? Ушёл?

И тут же через распахнутую дверь он увидел маленького широкоплечего человека, который быстро и твёрдо шёл через цех к открытым во двор воротам.

— Гусаров! — страшно закричал Пётр Филиппович. — Сейчас же воротись!

И, подстёгнутый этим криком, человек ударился о столб и побежал за ворота по снегу, через синий, вечеряющий двор.

Фёдор Гусаров поднимался на взгорье, шёл редким, вырубленным лесом. Это был невысокий парень лет двадцати, плотный в плечах и тонконогий, в стёганой телогрейке нараспашку и в коротких кирзовых сапогах. Небритое курносое лицо его было неподвижно, прямая темно-коричневая прядь рассыпалась, упала на брови, и сквозь неё сухо блестя чёрные глаза.

Если бы всё, что Пётр Филиппович сказал о Гусарове, было отнесено к другому токарю, никто и не подумал бы смеяться. О Балакине, например, говорят такие слова каждый день, и он сам уже привык к тому, что он знатный человек: как только собрание — садится впереди, чтобы ближе было итти в президиум. А вот о Феде сказали «знатный», и все засмеялись. Рабочие смеялись не над Фёдором — он интересовал ребят меньше всего. Просто слово «знатный» вызывало смех в применении к этому незаметному человеку. И, кроме того, очень хорош был Пётр Филиппович, ловко он сумел удовлетворить непомерно возросший аппетит молодого директора завода, обошёл самого управляющего и не ослабил при всём этом мастерской.

Пустой, холодный лес отходил ко сну. Где-то далеко, за чёрными стволами, вместе с Федей бежало красное солнце, опускаясь всё ниже, и наконец скрылось. Время от времени Фёдор наотмашь задевал себя кулаком по ноге и делал вперёд несколько быстрых шагов. Или вдруг останавливался, разводя руками. В ушах его всё ещё звенел хохот рабочих, и Пётр Филиппович красовался перед ним в своём жилете. Шум жизни словно впервые ворвался в его уши, и Фёдор подумал, что он уже взрослый человек и что он никому ещё не нужен, кроме матери, которая раз в месяц присылала ему издалека большое письмо, полное ласкового зова и упрёков.

«Ты у меня один — долго ли ездить будешь? — писала она, надеясь частотой своих призывов поколебать непонятное сердце сына. — Вернись, доучись, успокой...»

Легко и незаметно ноги вынесли Федю на голый горб. Сзади него в сумерках замерло хвойное море. Чистое небо угасало, бледнело. Там,

где опустилось солнце, вытянулись в линию последние облачка, словно косяк красноватых птиц, улетающих за горизонт. А ниже, на дне большой снежной впадины, уже затянутой первым дымом ночи, Федя увидел гнездо бледных, мерцающих огней. За этими огнями угадывалось множество человеческих судеб, окружённых ярким светом, непрерывная деятельность, неизвестные радости и заботы.

Пётр Филиппович Царёв плохо знал человеческую натуру: в пределах, нужных лишь для того, чтобы «болты с шестигранной уменьшённой головкой» сходили со станков без задержки и с перевыполнением нормы. Если бы дело обстояло иначе, он поостерегся бы раньше времени делать выводы о Феде, может быть, даже сумел бы сделать из него выдающегося мастера токарного дела. Во всяком случае, он задумался бы над тем, почему Гусаров словно засыпает за станком, пристально глядя на блестящую заготовку.

А дело было простое. Через два или три месяца после того, как Фёдор приехал на рудник, как раз после того вечера самодеятельности, когда Федя читал стихи о советском паспорте, его вызвали в управление, в комнату, где помещались комитет комсомола и построёмком. Молоденький секретарь с желтоватым лицом и горящими тёмными глазами молча осмотрел Федю из-за своего столика, помолчал, потом задал ему несколько вопросов для индивидуального подхода. Он спросил:

— Ну как вам на нашем руднике?

— Ничего, — ответил Федя, переминаясь.

— Да вы садитесь! — Секретарь откинулся на стуле, сунул руки в карманы и сощурился: он изучал нового комсомольца. — В каком бараке живёте? В четвёртом?

— Да.

— Ну как там, в бараке? Скоро будем в культурных домах жить. — Секретарь кашлянул и напыжился. Он, должно быть, недавно был избран секретарём и, овладевая новым делом, копировал инструктора, который ввёл его в курс.

— Есть такое мнение... — Он испытующе посмотрел Фёдору в глаза и забарабанил пальцами по столу. — Есть такое мнение — поручить вам красный уголок. Как вы?

Федя задумался. Он, по правде сказать, не считал серьёзным делом все эти нетопленные красные уголки, где народ сидит в шубах, курит и играет в шашки. В шашки можно и дома поиграть. Если бы настоящий клуб — другое дело!

И в эту минуту секретарь, должно быть, разгадав раздумье Фёдора, взял его за руку и сказал совсем другим, тяжёлым голосом:

— Помоги.

Фёдор не отвечал, и секретарь заволновался, даже встал, не сводя с него глаз.

— Народу всё больше становится, а кругом лес — ни театра, ни клуба, понимаешь? Может, когда-нибудь опера будет, а сейчас... Мы же не первого встречного берём! У тебя получится, имей в виду...

Ничего, может, и не было бы, если бы не эти слова секретаря, не эти горящие глаза. Федя взялся помочь и, как всегда, с головой отдался новому делу.

В углу небольшого барака, который когда-то был складом, а теперь стал залом для танцев и киносеансов, он наткнулся на запылённый, опечатанный сургучом ящик. Он сорвал печать, отпер гвоздём ржавый замок и нашёл в ящике несколько новеньких коробок с шахматами и нераспечатанную посылку. В посылке оказалась стопка книжек — пьесы. Чёрные глаза Фёдора погасли и разгорелись. Он увидел малень-

кую сцену на том конце барака, там, где до потолка были нагромождены длинные лавки, увидел яркие огни справа и слева и декорации в глубине. Именно в эти дни Пётр Филиппович в первый раз назвал Фёду мечтателем.

Сам того не замечая, Фёдор быстро сошёл по пружинящей под снегом щепе вниз, к огням. Доски тротуара певуче застучали под сапогами, заскрипел снежок. Как всегда, Фёдор обошёл свой длинный четвёртый барак, рванул одну и вторую двери тамбура, обитые войлоком, и сквозь жару, сквозь сизые полосы махорочного дыма направился в свой угол на тот конец барака. Он миновал две огромные печи, обставленные со всех сторон валенками, от которых тянуло горячим кислым духом шерсти, пробрался к своему топчану, не глядя ни на кого, сбросил сапоги, кинул на топчан телогрейку и лёг прямо на неё, вытянулся и замер, глядя вверх, на прогнутые доски потолка.

Он был мечтателем и понял это не сегодня. Много лет назад, ещё в школе, учитель не раз говорил ему во время диктанта: «О чём ты задумался, Гусаров?». В восьмом классе, как это иногда случается в таком возрасте с молодёжью, Фёдя стал всё острее чувствовать непонятное беспокойство — желание полетать. Его тянуло на работу, к большим самостоятельным делам. В девятом классе он похудел, стал хуже учиться. Его всё же перевели в десятый, но после экзаменов, несмотря на просьбы матери, он порвал туго натянутые постромки, бросил школу и отправился с бригадой маляров из жилищного управления красить крыши. Первое время ему нравилось ходить по гремящим железным крышам, под быстрыми летними облаками. Но через полгода он заскучал, потому что маляры в его бригаде, молодые прямодушные ребята, хоть и работали споро, но разговаривали главным образом о денежной стороне дела. По воскресеньям они рыскали по городу в поисках «халтурки», ночами красили купола и стены в церквях или отделывали «под шёлк» частные квартиры. Фёдя без сожаления распрощался с этими ясноглазыми ребятами и вскоре уже запаивал припусы и чинил швейные машины в мастерской «Металлремонт». Нет, и здесь ему не понравилось: работа в мастерской делилась, как и у маляров, на две части. Одна часть — явная — по квитанциям, а вторая — тайная — по соглашению с клиентами. Фёдя не смог найти товарища среди слесарей, острых на язык и прямых в денежном разговоре с хозяйками, и к новой весне поступил рассевным дневальным на мельницу.

Здесь он задержался дольше. Но вот пришла ещё одна весна, и как-то внезапно, в одну неделю, молодые рабочие мельницы составили заговор и все завербовались, уехали, кто на Двину, кто в Казахстан — на большие дела. Откуда взялась эта повальная болезнь, никто не знал. Старший крупчатник говорил, что виноват во всём Фёдор: он перед этим целый месяц ходил с отсутствующими глазами, а один раз даже прозевал, и мука прорвала шёлковые сита. Первым снялся с места, конечно, он — уехал дальше всех, на строительство Фосфоритного комбината: там ждало его хоть и неясное, но настоящее, долгожданное большое дело.

И опять, и на этот раз видение растаяло, как только он подошёл к нему вплотную. Большое дело исчезло. Теперь это была однообразная работа с серым названием: «болт с шестигранной уменьшенной головкой», а после работы — топчан, где можно читать единственную на весь барак книгу о Галилее или искать ответа на вопрос: где оно, то дело, о котором так ярко говорят в школе учителя?

В этот вечер, лёжа на топчане, Фёдя впервые подумал, что везде жизнь одинакова, как далеко ни были бы заброшены стройки. Везде одно и то же: осенние колеи дорог, прорытые колёсами грузовиков



и полные воды, звон железа, паровозные свистки, хлебные ларьки — ко всему одинаково привыкаешь, везде одинаково начинаешь задумываться о новых, далёких и заманчивых местах. Но, если везде одинаково, стоит ли вообще куда-нибудь уезжать? И где она, та счастливая купель, чтобы окунуться в неё и выйти гордым, нужным для всех человеком, таким, например, как инженер Алябьев, который открыл здесь фосфорит?

Фёдор лежал, угрюмо закусив кулак, глядя вверх. А вокруг него в это время текла, негромко шумела спокойная жизнь барака. В этом длинном и жарком помещении стояли в два ряда шестьдесят топчанов. Рабочие приходили усталые и, мирно побеседовав за чаем, сразу же укладывались спать. Одни спали днём, другие — ночью. Работали они на разных участках рудника. Одни бурили пласт жёлтого камня, другие взрывали его, третьи дробили, размалывали на шаровых мельницах. Жили в бараке машинисты электрических экскаваторов, строительные рабочие — плотники, бетонщики, возчики с конного двора и шофёры. Для каждого барак был только уголком быта и сна.

У Феде был сосед — Герасим Минаевич, человек средних лет, худощавый, молчаливый, с утомлённым лицом, с запавшей верхней губой, под которой поблёскивали стальные зубы. Герасим Минаевич дежурил на электростанции около дизелей — иногда днём, иногда ночью. Придя с дежурства, он брал из-под подушки кусок мыла, завёрнутый в тряпку, и, никого не замечая, думая о своих делах, шёл к умывальнику. Целый час не спеша смывал он со своих рук нефтяную гарь, и лопатки его мощно двигались при этом под чёрной сатиновой рубахой, достающей до колен. Отмыв руки, этот неинтересный человек вытягивался на своём топчане, полный тяжёлых дум, и засыпал, иногда даже забыв раздеться. Заговаривать с ним Федя никогда не пробовал — он предвидел короткий, равнодушный ответ.

У дизелиста где-то училась дочь, и он посылал ей каждый месяц деньги. Сам он уже, видно, не рассчитывал прошуметь в жизни и умолк. Молчание это раздражало Фёдора: он не хотел быть таким, как его сосед, не хотел сдаваться! Но тем не менее угол, который они занимали, назывался в бараке «тихим углом».

В этот вечер, когда Федя, лёжа на топчане, задавал себе вопросы и не находил ответов, Герасим Минаевич был дома. Он только что пришёл с дежурства и не спеша позвякивал соском умывальника на том конце барака. На его пустом топчане сидел бочком повар Аркаша. Он тоже пришёл с дежурства и, как всегда, хоть на час, да надел свои синие бостоновые брюки и шёлковую трикотажную рубашку салатного цвета, которая нежно обрисовывала его округлые плечи, грудь и добродушный живот. Повар не раз объяснял соседям эту причуду: когда наденешь хорошую вещь, чувствуешь себя человеком. Обнажив до локтей мучнисто-белые руки и потряхивая весёлыми кудряшками песочного цвета, Аркаша выжидающе тасовал колоду карт.

Подошёл усталый, задумчивый Герасим Минаевич, с полотенцем на плече, неторопливо вытирая руки.

— Ты уже здесь? — сказал он повару и бросил полотенце к стене. — Сдавай уж, шут с тобой.

Он даже не поздоровался с Фёдором. Федя, вздохнув, поднялся. Он знал: если у обоих соседей совпали дежурства, значит и ему придёт весь вечер «гонять дурака», заниматься делом, от которого получал удовольствие один лишь повар. Герасим Минаевич и во время игры думал о своих делах, должно быть о дочке, а карты бросал, не глядя.

Аркаша ожил, ударил пальцем по губе и проворно стал разбрасывать карты на одеяле.

— Да, забыл, — сказал Герасим Минаевич и полез под свой топчан. Он достал оттуда большую трубу серой бумаги и бросил её Фёде на постель. — Объявления, что ли, какие. Тебе, Фёдор, велели передать. Из технического отдела...

Фёдор знал, что это за объявления, — сам сочинял текст. Но всё же развернул один лист и прочитал: «При красном уголке организуется драматический коллектив...»

И в эту минуту по всему бараку погас свет. Глухая мгла окружила Фёду на миг, отпрянула, слабея, и рядом с ним выступил синий квадрат окна с серебристой морозной лилией. Минуту, пять минут стояла тишина. Потом замерцали осторожные голоса, вдали жёлто вспыхнула и догорела спичка. «Замыкание», — удовлетворённо проговорил сонный бас.

— Сейчас сделаем освещение, — сказал Аркаша. Он ушёл и заспел где-то около своего топчана. — Сейча-а-ас... Гори, божья душа!

В темноте возник и завилял, полнея, живой светлячок. Аркаша принёс его, припаял огарок на лавку, сел, и огромная тень, как конвоир, уселась у него за спиной.

— Значит, ход мой... Герасим! Ты куда делся?

Герасима Минаевича не было на топчане. Он стоял у окна, приник к стеклу, закрываясь обеими руками.

— Сейчас загорится. Занимай место! — бодро сказал Аркаша.

— В дробилке тоже темно... — Герасим Минаевич снял с гвоздя шапку, надел ватник — сразу в оба рукава — и быстро прошёл между топчанами к выходу. Мягко хлопнула обитая войлоком дверь. И почти сейчас же торопливо протопали под окном в сугробе скрипучие шаги.

— Побежал! — Аркаша собрал карты и бросил колоду на одеяло. — Как будто там дежурных нет!

— Привычка, — отозвался из-за его спины мечтательный голос, и кто-то заскреб волосатую грудь. — Никуда от ей не денешься. Герасим-то Минаич на руках, можно сказать, комбинат вынянчил. Ветеран.

— Да-а! — Аркаша лёг и вытянулся на топчане дизелиста. — Мы с Герасимом когда пришли сюда — ровное место было. Тайга.

— «Мы с Герасимом», — с улыбкой возразил тот же голос. — Герасим Минаич много раньше твоего пришёл. Ещё ветки не было. Ещё хлеб на горбу таскали — вон когда.

— Я же и таскал.

— Что я и говорю. А он ещё Алексею Петровичу нашему, Алябьеву, землянку рыл. Это когда было — знаешь?

Аркаша не ответил. Он с разочарованным видом уставился на стогнёк своей свечи и заиграл пальцами на животе. Стало слышно, как ветер с улицы давит в стекло — то нажмёт, то отпустит.

— Повар! — с обидной простотой опять заговорил сосед Аркаши. — Повар! Слышь? А ведь у них авария. Смотри, уже минут сорок прошло. И Герасим Минаич как побежал: бегом. Он не ошибётся.

— Глупости, — помолчав, вторично сказал Аркаша. — Что значит авария? Во-первых, значит, что на карьере или ещё где прекратится энергия. А во-вторых, этого не может быть. Понятно? Это могло быть ну год, скажем, назад, когда нам график не был спущен. Вон! Смотри! — закричал он вдруг.

И Фёдя ясно различил сверху, во тьме, вишнёвое, светящееся колечко — глаз лампочки. Этот глаз нагревался, желтел — и вдруг сразу разлился кругом яркий вздрагивающий свет.

— Авария... — угрожающе проговорил Аркаша, глядя на лампочку. — За аварию знаешь что...

Герасим Минаевич вернулся через час после того, как дали свет.

Он открыл дверь, и сразу же у входа закричали: «Смирно!». Пока он шёл, минуя печи, в свой угол, несколько человек окликнули его с топчанов: «Добрый вечер, Герасим Минаич! Говоришь, наладил? Дело мастера боится! Качать, качать надо ветерана...»

— Не за что, — сердито отозвался Герасим Минаевич. — Не моя заслуга.

Морщась, не слушая приветствий, он подошёл к своему топчану. Аркаша вскочил, сел на уголок и стал тасовать карты.

— Нет, нет, нет, — быстро сказал Герасим Минаевич, как будто торопясь. Не снимая телогрейки, он как-то с ходу, неловко сел, лёг и прямыми пальцами стал гладить лоб.

— Быстро ты наладил, — осторожно проговорил повар. — Что у вас там приключилось?

— Собака хозяину кость свою подарила. А кость, видать, не нужна. — Герасим Минаевич, словно напрягая память, провёл пальцами по лбу. — Я решил уехать, ребята... Да, так оно лучше будет.

И в это время вдали мягко хлопнула дверь, и радостные, но на этот раз негромкие голоса, как тёплый ветер, пробежали по бараку: «Алексею Петровичу!», «Нашёл дорожку!», «Как же, карьер вместе вскрывали!», «Петрович, землянку, землянку не забыл?».

— Сюда идёт, — сказал Аркаша и положил карты в карман.

Алексей Петрович Алябьев быстро подошёл и остановился около топчана. Высокий, в чёрном пальто и мокрой от тающих снежинок, плешивой в нескольких местах котиковой шапке. Лицо у него было без румянца, белое, худое, вытянутое вперёд, с острым, тонким носом и почти незаметными, как у мальчишки, бровями. Маленькие глаза его затерялись в добрых морщинках — в горьких морщинках усталости. Он смотрел только на Герасима Минаевича, и тонкие губы его то сжимались, то вытягивались весёлой рюмочкой. А Герасим Минаевич, как увидел инженера, сразу же прикрыл глаза пальцами и затылком.

— Вы это что же, вы что? Вы что же ушли? Что же не дождалось? — шустрой скороговоркой начал Алексей Петрович. Осёкся и сел на топчан. У него был надтреснутый голос подростка. Федя не сводил глаз с его лица, он не видел ещё ни у кого такого выражения открытой честности. — Герасим Минаевич! — Алябьев улыбнулся Феде, и дневной свет на секунду мелькнул в добрых морщинках. — Герасим! Спит он, что ли?

— А что дожидаться? — Герасим Минаевич отвёл руку, открыл невесёлые глаза. — Что дожидаться-то? И так всё ясно.

— Гера-асим Минаич! — протянул инженер. — Не та-ак вы со мной раньше говорили! — И опять засыпал привычной скороговоркой: — Открывайте, открывайте сердце. Здесь все свои. Давайте, давайте!

— Уезжаю я, Алексей Петрович. Уезжаю! Отошло моё время.

— Значит, вы меня... Значит, слушать меня не хотите? А вы послушайте. Вы думаете, я забыл, что вы у нас мастер? Всё помню. Ну что ж поделаешь, ну верно: обстоятельства теперь другие. Вот Аркадий — повар, а меня поймёт, — вещь простая.

Аркаша кивнул.

— Вишь, уже понял! — тихо сказал кто-то.

— Сами посудите! — Инженер положил шапку на колено, и тусклые светлые волосы его начали подыматься дыбом. Он обращался ко всем. — Посудите старый дизель, весь в заплатах, ещё с каких времён стоит! Сломался наконец. Трещины в головках. Приходит Герасим Минаевич к главному механику: давайте за ночь отремонтирую! Медью, говорит, зачеканю! Герасим Минаевич, тогда это был бы блестящий выход из положения! Механик мне так и сказал: «Узнаю,—



говорит, — нашего Минаича». Спасибо! Поняли? А чеканить не будем. Время не то. На завод отправим. У нас два дизеля новых стоят. По плану они должны уже работать. Вот мы и пустили их. А этот — старичок!..

— Я тебе гарантию даю, он будет работать год! — Герасим Минаевич сидел уже на постели по-турецки, сдвинув подушку к стене. Худое лицо его подобралось, глаза обиженно горели, стальные зубы поблёскивали под тонкой губой. Он вытянул руку к инженеру, затряс пальцами: — Год! Снаружи и снутри зачеканю!

— Знаю. Сделаете. Можно будет на выставку везти. В музей. А оставить у нас на станции нельзя. Будет работать, всё, как надо. А вдруг...

— Подведёт?

— В том-то и дело! Нам нужна надёжная машина. Мы входим в график. Мощности все по плану ввели. Благодаря вам, Герасим Минаич. Мы вашу работу в историю комбината запишем. Всё: как вы бурильные станки воскрешали и как мельницу нам на речке выстроили, — всё! Только всё это в историю ушло. И слава богу! Комбинат работает. Дело строителей сделано — заботы к эксплуатационникам скоро перейдут. Я понимаю вас: на новых дизелях не развернёшься. Работают, черти! Не ломаются!

Алябьев так весело, по-мальчишески, выкрикнул это, так ласково посмотрел, что даже Герасим Минаевич улыбнулся, стал неловко разглаживать одеяло.

— Действительно! — сказал кто-то над Федей, и он словно проснулся. Сзади него и вокруг стеной стояли рабочие, и всё новые слушатели, в белье, перелезали с топчана на топчан, протискивались вперёд.

— Теперь у вас вся работа — по мелочам, — продолжал Алексей Петрович. — Это и хорошо! Этого и добивались! Скоро и мелочей не будет!

— Мне-то, мне там что делать? — Герасим Минаевич быстро провёл пальцами по запавшей губе, глаза его сверкнули, веки задрожали. — Девчонки вон справляются! Песни поют! Норму отпела, восемь часов, — и в кино. Я-то там зачем?

— Герасим, — Аркаша спохватился и принял строгий вид. — Не спорь. Алексей Петрович верно говорит. Каждый человек должен выполнять свою норму.

— Повар, — раздался вдруг с соседнего топчана мечтательный голос. — Ты помолчи. Что ты под нормой разумеешь?

Рабочие зашевелились, и в круг протиснулся невысокий лысоватый человек в нижней рубаше — плотник Самобаев. Под глазами его светился румянец круглыми пятнами, как два ожога.

— Для тебя смысл ясен, для чего ты здесь есть, — сказал Самобаев, радостно глядя на Аркашу. — Тебе контингент прибавляется. Была харчевня, стала фабрика-кухня. Вот и равняйся, не отставай. Повёртывайся. Дешевле да посытней делай, и блюдо чтоб вид имело. Суп твой, этот зелёный, я до сих пор забыть не могу.

— Суп мавританский, летний, — сказал Аркаша и посмотрел вдаль. — Это можно. Только давай материал.

— То-о-то! — пропел Самобаев. — Материалу-то в нём и не было.

Круг рабочих весело загудел. Самобаев протиснулся к себе на топчан и говорил уже оттуда, укладываясь.

— А Герасим что же? В инженеры нам с ним поздно. В фезеу тоже не примут. Это ему сейчас здесь, при автоматах, как почётная пенсия. Только он ту пенсию примет ли?

— Ты сам меня таким сделал, твоя это наука, — спокойно сказал Герасим Минаевич. — Помнишь, что говорил? Действительно, без меня тогда трудно было обойтись. И теперь я нужен. Только не здесь...

Наступило молчание.

— Хорошо. Хорошо. Я вам помогу! — Алябьев резко встал. — Помогу вам, ребятам своим напишу. Жаль. Жаль, но это верно. Вы — человек особенной квалификации. Землепроходец. Найдём вам место.

Его взгляд вдруг остановился на Феде, который полулежал, опираясь на локоть, и ловил каждое его слово. Федя почувствовал, что Алексей Петрович знает всё и о нём и даже думает сейчас об этом.

— Спокойной ночи, товарищи! — сказал знаменитый инженер, протягивая руку Феде. «Нет, чепуха, откуда ему знать!» — подумал Фёдор, краснея. Алексей Петрович сильно встряхнул его руку, словно попробовал, крепко ли у него в груди сидит сердце. И, не выпуская руки, повёл глазами на трубу с объявлениями.

— Это что — объявления? — Наклонился, развернул трубу. — Драмкружок? Это вы, значит, Гусаров?

Федя даже встал. Ну да, получилось, что Гусаров — он. Алябьев пристально на него посмотрел, сказал: «Ну-ну, исполать!», пожал руки нескольким рабочим — направо, налево, надел шапку и быстро пошёл через барак. Мягко хлопнула дверь.

— Хороший человек! — проговорил кто-то.

— Алексей Петрович-то? — отозвался со своего места Самобаев. — Всё в нём есть. И небушко и земля.

— И характер у него настоящий, твёрдый, — пояснил Аркаша, вставая. Серьёзные вещи он любил говорить стоя. — И характер и это в нём имеется, вот это... обхождение, что ли, приятность такая...

Все умолкли. Задымилась цыгарки.

— Повар! — сказал Самобаев. — А ты молодец!

— А что?

— Русский язык понимаешь!

Утром Федя пришёл на завод. Он долго стоял перед калиткой, прорезанной в воротах заводского корпуса, вспоминая свой вчерашний побег из мастерской. Потом толкнул калитку, шагнул внутрь и увидел просторный цех, уставленный станками всего лишь на одну четверть. Кое-где между станками, на мягком, только что уложенном бетоне, лежали доски. Пахло сырым цементом.

Инженер Фаворов, молодой человек в синей спортивной куртке со значком на груди и в сильно потёртых лиловатых лыжных штанах, высокий, с красиво разведёнными плечами и очень узкий в поясе, улыбнулся Феде в самую душу и стиснул его руку. Вся мускулистая, обветренная физиономия его улыбалась. даже уши покраснели по-простецки. Он был на вид одного возраста с Федей или чуть-чуть постарше. «Ничего не знает, не догадывается! Простой!» — обрадовался Фёдор и легко вздохнул. Начальник ему понравился.

Но Фаворов, уходя от него, сам жестоко испортил это впечатление — вдруг запел навзрыд вибрирующим фальшивым баритонem, как поют молодые мужчины, чувствующие себя неотразимыми: «В парке старинном деревья — нанай, дай, дай... Белое платье мелькнуло — ляляй, най, най...» И Фёдор уловил в его походке ту же, чуть заметную, неприятную черту мужской уверенности в себе.

Токарной работы в этот день не было. До обеденного перерыва Федя помогал Газукину отбивать доски ящиков и снимать густую смазку с шестерён, шпинделей и червячных валов к новым станкам. Васька сам подозвал его движением коричневой золотистой брови. Не

глядя на начальника, он закричал на весь цех: «Николай Николаевич! Гусаров будет мне помогать!» — и Фаворов сразу же согласился.

Газукин работал без пиджака, в голубой дырявой майке, которая оттеняла белизну его тела. Он весь был оплетён треугольными, прямыми и закруглёнными мускулами. Все эти выпуклости оживали и начинали шевелиться то тут, то там даже тогда, когда он затыкался цыгаркой или смеялся. Хотелось любоваться его движениями. Было заметно, что Газукин — парень из тех, кто хочет нравиться девочкам. Он не расставался с кепкой и если снимал, чтобы достать из неё газету для закурки, то подносил к голове и левую руку: боялся рассыпать своё богатство — волосы. Эта мера не помогала: темнорусые тяжёлые завитки падали обычно в другую сторону, закрывая ухо и глаз. Он был бы красавцем, если бы не красная трёхскладчатая верхняя губа, которую Газукин мог подобрать только в минуту гнева. На его толстой, играющей живыми мускулами руке Федя прочитал надпись, мелко наколотую тушью: «Век не забуду школу шофёров», и сразу понял, что история у этой надписи сложная: Газукин никогда не был шофёром и, кроме того, над словом «век» синел девичий силуэт.

Васька прочно обосновался в цехе, отдавал громкие приказания направо и налево, а молоденьким токарям с буквами «РУ» на пряжках давал даже дружеские подзатыльники. Снимая ветошью зелёное сало с шестерён, он стал задавать Фёдору злые вопросы о «Петухе», иначе говоря, о Петре Филипповиче. Федя неохотно отвечал. С каждым вопросом глаза Газукина темнели всё больше, он злил сам себя, уже не видел смазки и тёр тряпкой по чистой шестерне.

— И что? Так и сказал «подкинем»? — Васька даже уронил на колени шестерню и задумался, порозовел. — Прокидаешься кадрами, Пётр Филиппович! — сказал он вдруг, бросил тряпку и лёг на досках, глядя в потолок, чтобы успокоиться.

Перед обедом к ним подошёл Фаворов, присел около досок и развернул чертёж-синьку. На чертеже был изображён белыми линиями уже знакомый Фёдору вал длиной в три метра.

— Вал для шнека. Предложено на наших станках точить, — сказал Фаворов. — А у нас между центрами полтора...

— Это можно сделать, — помолчав, спокойно сказал Газукин.

— Как?

— Разрежем вал на два кусочка и будем точить.

Фаворов внимательно посмотрел на него. Он не привык ещё к шуткам Газукина.

— Послушайте, ведь это же вал!

— Ах, ва-ал...

— В том-то и дело. Пётр Филиппович в управлении говорил — невозможно у нас точить. Не выйдет, говорит, надо отдать на сторону.

— Пугал. Сам он всё-таки взял чертёж, — сказал Федя.

При словах «Пётр Филиппович» Газукин сразу же оставил свой шутливый тон. Бегло, ещё раз, взглянул на чертёж, подпёр щеку пальцем и уставился на новенький, недавно зацементированный станок.

Когда за лесом зазвонил рельс на обед, Васька поднялся, надел пиджак, телогрейку, натянул кепку на уши и, спрятав руки в карманы, задев сапогом за сапог, молча ушёл из цеха.

Вышел из цеха и Фёдор. Он пробежал в столовую, занял там очередь к столу, получил в кассе чеки и отдал их официантке. После этого, захватив в своём бараке мелоток и объявления, свёрнутые в трубу, отправился развешивать их по посёлку. На попутном грузовике он проехал в карьер, где два экскаватора наваливали в грузовики глыбы жёлтого промороженного камня. Оттуда в кузове с жёлтым

камнем прокатился до пекарни, забежал в хлебную палатку и прочитал продавщице Уляше вслух: «При красном уголке организуется драматический коллектив» — и после этого, через островок соснового леса, вышел к дробильно-размольному заводу, вокруг которого на полкилометра снег был припорошён жёлтым налётом.

Трёхэтажное здание мельницы, бархатное от фосфоритной пыли, вздрагивало. Федя открыл дверь, зажмурился от грохота и окунулся в тёплую мглу. Нашупав лесенку, он поднялся по железным ступенькам на площадку и увидел в пыльном пространстве столбы дневного света, словно опущенные с неба через далёкие квадратные окна. Внизу в пятнах света медленно вращались громадные тела шаровых мельниц, опоясанные двойными рядами заклёпок.

Фёдор никогда не видел таких мельниц. Он налёг на перила, вытянул шею, стараясь сквозь пыльный туман рассмотреть, где же начало и конец железного цилиндра, который поворачивался под ним. За его спиной по площадке пробежали рабочие. Кто-то толкнул его. Фёдор увидел человека в плаще с капюшоном — не человека, а мглистую тень. Тень эта низко перевесилась через перила.

— Антонина Сергеевна! — сквозь грохот прорвался снизу девичий голос. — Опять не принимает!

— Вхолостую проверните! — женским знакомым голосом крикнула тень в плаще. — Слышите, Сима! — при этом она передвигалась по перилам, теснила Федю, стараясь разглядеть эту Симу под мельницей. — Сима, где вы там? Я говорю — вхолостую, вхолостую!

И снизу, из грохочущей мглы, донеслось, как далёкое эхо:

— Попробуем вхолостую!

Фёдор выпрямился, шагнул в сторону и сразу же чуть не ткнулся лицом в припудренное пылью знакомое лицо под капюшоном плаща; увидел совсем близко тёмные окошки глаз — они просияли, узнав Федю. И в уши его опять ударил смех рабочих и кашлянье Петра Филипповича. Фёдор снова почувствовал себя героем, который так неловко, сгоряча ударился вчера о столб. Никуда не денешься — самая опасная свидетельница стояла перед Фёдором, и он с ужасом чувствовал, что его сейчас начнут жалеть.

Девушка посмотрела на Федю, на бумажную трубу в его руках.

— Вы ко мне?

— Объявление повесить... — полушёпотом ответил он.

— Ну-ка, что за объявление...

Она протянула руку во мглу, и открылся светлый проём двери. Они вошли в коридор, здесь пыли было меньше.

— Вы откуда? — Антонина Сергеевна повесила плащ на гвоздь. Фёдор вздохнул — значит ошибка, она не знает его! Да она ведь и не могла его видеть, она сидела около Царёва!

— Я заведу здешним красным уголком, — ответил он уже свободнее.

Она открыла ещё одну дверь — это был её кабинет. Здесь сияло солнце на стекле графина и пыль лежала лишь тонкой прозрачной плёнкой на столе и на толстой тетрадке с надписью: «Студ. 5 курса А. Шубиной». Антонина Сергеевна села за стол, отодвинула эту тетрадку, сняла ушанку, и чисто вымытые волосы её закачались в воздухе, начали струиться, как струится весной воздух над нагретыми проталинами.

— Ну-ка, что тут у вас... — сказала она, развёртывая трубу. — О-о! А мне можно записаться?

Она подняла сияющие глаза, и, попав в их луч, Фёдор почувствовал мгновенный толчок. Эта девушка всё ещё искала своего смелого строителя, и глаза её спрашивали: не ты ли?

— Я говорю: что вы будете ставить? — Она свела брови, жёлтые от фосфоритной пылицы, не понимая, почему он молчит.

— Что будем ставить? — И Фёдор не узнал себя. Кто-то другой уверенным и звонким голосом заговорил в нём. — Будем ставить весь репертуар московских театров!

Она мягко засмеялась — поняла, что Федя шутит.

— Где же у вас сцена? Где клуб? Я что-то не видела.

— Клуба у нас нет. Но будет! Будет скоро!

— Я вижу. Раз такой заведующий, значит и клуб будет.

— Было бы кому посещать. Главное, чтобы артисты исправно на репетиции ходили,— сказал Федя со значением.

— Вы знаете... Я хотела сказать вам, что вряд ли... Я думала, что некогда в клуб будет ходить. У нас ведь беда... — Антонина Сергеевна умолкла, посмотрела на тусклое от пыли окно. — Беда у нас. Плохо разбивают шары материал...

Она встала из-за стола и прошла в угол комнаты. Там, на железном листе, лежали куски жёлтого камня и матовые стальные ядра. Антонина Сергеевна подняла обеими руками ядро, стала над камнем, прицелилась и разжала пальцы. Ядро упало на камень с глухим стуком и, гремя, покапало по железу.

— Видите? Не разбивает. Твёрдый камень пошёл. — Она развела руками и вернулась к столу. — И влажность поднялась. А у нас ещё и знаний маловато. Господи, мы совсем ничего не знаем! — Она оттолкнула свою тетрадку ещё дальше и опять отвернулась к окну. — Читать надо, консультироваться. А здесь и книжки самой нужной, технической не найдёшь. — Антонина Сергеевна подняла глаза на Федю, и он почувствовал, что он первый человек, с кем эта девушка-новичок решила поделиться своими печальями. — Такому руднику, как наш, нужна техническая библиотека, — говорила она, лаская его взглядом и, должно быть, сама того не подозревая. — Нужна! Он ведь скоро вырастет в большой комбинат!

— Будет клуб, будет и библиотека,— сказал Фёдор так, словно поклялся.

— Может быть, у вас в кармане приказ министра об ассигнованиях?

— У меня в кармане волшебная лампа... — Федя запнулся, запомнотвал: чья же лампа? Но Антонина Сергеевна уже качала головой, грустно улыбалась своим далёким мыслям.

— Если у вас эта лампа... Достали бы вы мне книжку... К сожалению, это всё глупости. Вот она, медная лампа, — она потёрла кулаками лоб. — Трёшь, трёшь, и ничего не получается. И никаких других ламп нет... Так вы меня запишите. А объявление я повешу сама.

Федя взглянул на неё ещё раз, вздохнул и осторожно вышел, а Антонина Сергеевна осталась за своим столом: руки — у лба, глаза — за окно.

Думая о ней, решительно отмахивая руками, Фёдор прошёл весь посёлок и прибежал в столовую как раз к тому времени, когда подали суп. Он сел, взялся за ложку и охнул — остро заныло ушибленное вчера плечо. Но охнул Федя не от боли, а от стыда.

Когда он вернулся под стеклянные своды своего цеха, Газукин уже сидел на старом месте, на досках, и с довольным видом рассматривал измятый газетный лист. Это была «Пионерская правда». Почесав пальцем затылок, разложив на колене кiset, Васька оторвал от газеты длинную полоску, целую фразу: «Быть честным — значит быть смелым», ещё раз прочитал, подумал и свернул из неё «громобой» — цыгарку толщиной в палец.

— Федя,— сказал он, едко морщась, выпуская через нос и рот струи дыма,— позови сюда Фаворова.

Потом пристально посмотрел на Фёдора и добавил небрежно:

— Не надо, сам придёт... Николай Николаич! — заорал он вдруг на весь цех и принял боевой вид.— Эй, ребята, крикни там начальника!

Через несколько минут к ним быстро подошёл Фаворов. Он немного порозовел, потому что его, начальника и инженера, вызвал к себе обыкновенный токарь и вот даже не встанет, сидит себе на досках и курит!

— Почему курите в цехе? — холодно спросил Фаворов.

— Беги в управление,— ответил ему Газукин, затягиваясь цыгаркой.— Доставай скорей письменное разрешение. Во дворе у Царёва лежит железная дура, вроде станины. Литая. Её надо по тревоге перекинуть сюда. К следующему воскресенью сдадим все три вала.

С Фаворова сразу же слетела вся официальность, и он стал парнем одних лет с Газукиным и Федей.

— Как же это, ребята? Расскажите!

— Заделаем в цемент. Бабку переставим. Она там хорошо встанет. И с люнетом будем точить!

— Кто придумал? Ты, Вася?

— Вот с ним вместе, с Гусаровым.

Федя сразу понял Газукина: двоих выгнали с автобазы, двое и придумали, выручили комбинат.

— А Царёв? — спросил Фаворов.— Может, она ему нужна? Сам он не догадается?

— Скажешь ему, так догадается. А так — он же Петух! — Газукин просиял, его губы весело раскрылись, обнажив несколько складок.— Я эту штуку припрятал. Кузовом старым завалил!

Минут через двадцать Фаворов приехал из управления на самосвале, передал Газукину записку и потряс ему руку. Главный инженер приказал немедленно приступить к делу.

— Айда со мной! — Васька только лишь оглянулся, и сразу же десять человек бросил работу в разных концах цеха. — А ты оставайся, Федя,— сказал Васька и похлопал Фёдора по плечу.— Я понимаю. Тебе незачем туда казаться. Ещё подумает, что мы считаться с ним приехали. Очень они нам... петухи...— Говоря это, Газукин резко застёгивал телогрейку, словно собирался на бой.— Пускай теперь... он теперь покашляет в своей конторке!

Газукин вышел из цеха, и за ним весь отряд его помощников. Не удержался и Фаворов — побежал через цех вслед за ними. Шеститонный самосвал взревел за стеной и укатил. Наступила тишина. И как только Фёдор очутился наедине с самим собой, сразу же глаза его сухо заблестели, и он замер, то вспыхивая, то угасая. Перед ним медленно вращались огромные цилиндры, бархатистые от пыли.

Опять заревел самосвал и остановился за стеной. Послышались натужные голоса, и рабочие стали втаскивать в цех на верёвках продолговатое железное тело с круглыми окнами и торчащими ржавыми болтами. Запел мотор мостового крана, стальная ферма поплыла под потолком, упали, бряцая, цепи, и тяжёлая литая деталь, которую вслед за Васькой уже все называли станиной, закачалась, перенеслась через цех к токарным станкам.

У входа лежала на боку ещё одна такая станина. Васька нашёл на дворе автобазы одну лишнюю «дуру» и увёз, чтобы Пётр Филиппович не додумался, не перехватил у него выдумку.

Пробежав несколько раз по цеху, покричав вдоволь, Газукин наконец уселся рядом с Федей. Вытянув ногу, он разложил на колене кiset. Задымив цыгаркой, он сказал с торжеством:

— Никто не заметил — все на обеде или в цехе были. А Петуха встретили на обратном пути. Слышь? Идёт, ничего не знает. Наш Фаворов велел затормозить и кричит ему из кабины: «Пётр Филиппыч! Спасибо за работников!». У Петуха даже колени подогнулись. Даже поздравляться не обернулся: голову убрал поглубже, сволочь, и шагает помаленьку. Знает кошка, чьё сало съела! Скоро он поймёт, как молодыми кадрами кидаться. Фаворов сказал: обоих вас на доску представлю.

За полкилометра от Фёдора в своём кабинете сидела Антонина Сергеевна. Федя думал о ней и поэтому переспросил:

— Что ты сказал? На какую доску?

— На красную! — с жаром проговорил Газукин и даже подался вперёд, грозно блестя глазами. — Мы с тобой возьмём — ты станок и я...

Честность — это было единственное, что сейчас позволяло Фёдору подходить к Антонине Сергеевне, смотреть ей в лицо. Он не видел у себя никаких других достоинств. Он знал: пока жива в нём правда, Антонина Сергеевна не прогонит его, и собирался даже как-нибудь при случае признаться, что это именно его Царёв просватал на механический завод.

— А? — спросил Газукин.

— Ты сам бери оба, — сказал Фёдор. — А то получается, как будто я назло: он меня, а я — его.

— Правильно! Имеешь право. Может, он как раз выставил тех, кто больше всего ему нужные. Будь здоров, теперь все поймут, кого следовало выставить из мастерской.

— Вася, Петух был прав.

— Поздравляю! Значит мы — подкидыши?

— Подкидыш — это я. А тебя он, помнишь, как называл? Царёв не любит, кто много о монете говорит.

— Здравствуй! За каким же лешим мы паримся? Для какого, спрашивается, интересу?

— Вот он считает, что монета не главное, что есть интерес повыше, чем монета. Мне, например, было бы обидно, если бы меня на важное дело приманивали деньгами, зная, так сказать, мою слабость...

Фёдор сказал это и подумал: «А есть ли он, высокий интерес?».

— Глулости! — Газукин быстро почесался. Всё-таки что-то новое было в фединых словах. И он повторил, но уже тише: — Глулости. Никакого другого интересу нет.

— А вот есть. Ты для чего ездил за этими станинами? Для чего всё это дело придумал? Сказать тебе? Вот видишь сам — иногда так зацепит, что даже про деньги забудешь. Значит, есть интересы повыше.

Васька направил в пол длинную белую струю дыма и, опустив голову между коленями, стал размышлять. Посмотрел из-под упавшей на лоб пряди на Фёдора и опять затынулся.

— А тебя Царёв считает знаешь кем? — продолжал Федя. — Ну вот. Может, ты и не это самое, не такой... Так он же этого не знает. Словом, как хочешь, а я считаю, что это будет мечь — и то, что мы будем валы точить, и то, что станины у них увезли. Может, они сами... Если хочешь всё-таки точить — находи напарника. А я не буду.

— Напарника? Зачем? — тоненьким голосом спросил Васька. — Зачем? — И пожал плечами. — Заставлять тебя я не смею. Пожалуйста!

Он выпустил дым и выжидающе посмотрел на Федю. Что-то горело в нём, он всё время помнил Петуха.

— Как хочешь, — сказал он, лениво поднимаясь, подавляя зевок. — Ты сам сказал, что есть повыше интересы. Как ты думаешь, могу я с ними бороться? Я сам отвечу Петуху, на чёрта мне напарник. Отвечать буду делом, как положено, как в газетах вон пишут. Объявляю стахановскую вахту. Беру два станка!



Текли один за другим декабрьские дни. Начались морозы — лёгкие, с непрерывным визгом полозьев по утрам, с сизо-оранжевым солнцем в тумане. В лесу установилась белая снежная тишина. Где-нибудь далеко, километра за три, шёл по лесу человек, а казалось, что снег хрустит рядом. В бараках жарко топили печи. Посёлок теперь можно было найти из любого места в лесу — по размытым белёсым дымам, протянутым высоко-высоко в глубину зимнего неба.

Инженер Антонина Сергеевна Шубина жила в посёлке в бараке для инженерно-технических работников, или, как называли его сокращённо, в бараке ИТР. Фёдор встречал её каждый день, иногда по несколько раз, на жёлтой от фосфора тропке, протоптанной в глубоком снегу. Снега было много, и Антонина Сергеевна неожиданно появлялась из-за сугробов, словно запряжённая в свой мужской плащ защитного цвета. Этот твёрдый плащ — спецодежда инженеров и техников комбината — летел за нею, и его заносило в сторону, как сани.

При каждой такой встрече Фёдор заранее шагал в сторону и ждал её по пояс в сугробе. Антонина Сергеевна иногда с улыбкой, иногда озабоченная быстро проходила мимо, и его запоздалое «здравствуйте» обычно доставалось плащу. Утром и в обеденный перерыв Федя часто выходил на эту тропку или топтался в коридоре управления — специально для того, чтобы ещё раз встретить её. Он уже видел Антонину Сергеевну в плаще и телогрейке, по вечерам часто встречал её и в синем пальто, а однажды в воскресенье она пробежала к продуктовой палатке, охваченная по горло зеленовато-голубым свитером с бледными мухами на груди. Став где-нибудь за углом, он любовался в ней всем: глазами и душой, живущей в них, и волосами такого тёплого цвета, как светлый чай, и тем, как она бежит, прижав локти. Она появлялась перед ним то женственно полная, то вдруг необыкновенно тонкая, но с высокой грудью. Плечи её в платье казались узкими, а в свитере — широкими, как у лыжницы.

Федя заболел. Днём ни на минуту не оставляло его незнакомое гелодное чувство. Почти каждую ночь он целовал во сне Антонину Сергеевну, нёс её и кружил на руках, а по утрам долго сидел на топчане, проводя рукой по лбу.

Ему хотелось бы рассказать обо всём Газукину, но Ваське было не до того. Увлечённый своим делом, он каждый день после работы оставался в цехе — устанавливал станины, подгонял к бабкам. Однажды он даже геодезиста привёл в цех — для точности, и тот навёл трубу на васькины приспособления.

В десятых числах декабря Васька обточил первый вал, а через день были готовы остальные два. Все три вала блестели на козлах около станка, за которым работал Федя, и Васька добрые полдня сидел то на одном, то на другом, протирая их своей кепкой, улыбался и курил — он не мог больше ничем заниматься.

После обеденного перерыва по цеху прошёл Пётр Филиппович. Мельком взглянул на валы и сразу же вышел. Красного напыженного Газукина и Федю он будто и не заметил.

Затем появились Антонина Сергеевна и Фаворов. Антонина Сергеевна штангенциркулем измерила все выступы и уступы на каждом валу. Фаворов передвигался вслед за нею, бархатисто напевая, глядя ей в затылок. Покончив со всеми измерениями, Антонина Сергеевна выпрямилась и присяла: перед нею давно уже стоял Васька.

— Так это вы придумали?

— Вот, вместе с ним, — сказал Васька, обошёл вокруг станка и оперся о плечо Фёдора.

— Ты что? — Фёдор хотел оттолкнуть его, но увидел, что Антонина Сергеевна любит их нежным содружеством, подобрел лицом, покрас-

нел и неловко кивнул ей: — Антонина Сергеевна, я совсем здесь ни при чём!

— Врёт! Он больше всех думал! — Газукин ещё крепче сжал плечо Фёдора. Это была его очередная шутка. Он наслаждался муками Фёдора, его протестующими, злыми судорогами. — Он у нас скромный! — Газукин осклабился. — Его понять надо. Царёв вот не понял... Подкидыш, говорит...

Фёдор опустил глаза. Кровь прилила к его ушам. Он больше ничего не слышал и очнулся лишь после того, как увидел, будто во сне, совсем рядом удивлённые глаза Антонины Сергеевны, переполненные ласкающей темнотой. Она что-то говорила ему.

— Я ещё раз говорю, что никакого участия... — начал он, потупясь.

— Да, — сказал Фаворов. — Это они вдвоём: Газукин и Гусаров. — И, став к Феде спиной, закрыл Антонину Сергеевну, но девушка бесцеремонно отодвинула его в сторону.

— А я тоже, как Царёв. Не понимала вас. Представляла вас совсем другим!

— Это человек с характером, — сказал Фаворов и опять закрыл Антонину Сергеевну своей красиво очерченной физкультурной спиной. На этот раз Антонина Сергеевна его не отстранила. Медленно удаляясь, они заговорили о валах и о подаче материала к «улиткам» шаровых мельниц.

Для всех, кроме Феде, этот разговор остался незаметной мелкой паузой. Но для Фёдора каждое слово здесь было полно значения. Опять он предстал перед Антониной Сергеевной не самим собой: его хвалили за чужие подвиги.

«Что же сделать? — подумал он. — Что?» Он и здесь, на механическом заводе, уже несколько дней подряд точил болванки для болтов и до такой степени набил руку, что мог делать одновременно две вещи: точить болт и оборудовать сцену для драмкружка. Поворачивая рукоятку суппорта, Федя видел перед собой эту сцену. В его мечтах она была уже готова. Занавес открывался бесшумно, в глубине висели тёмные полотнища, а в зале стояли уже не лавки, а лакированные стулья, ряд за рядом, понижаясь к сцене. Зрители невольно ускоряли шаг, направляясь по покатоному проходу к первым рядам. Мысль о таком зале часто приходила Феде в голову, когда, возвращаясь с работы, он спускался по склону к посёлку. И Федя вместе со зрителями ускорял шаг.

Между прочим, артистов на руднике оказалось много. На первый сбор драмкружка пришли начальник химической лаборатории Степчиков, ребята с электростанции, Антонина Сергеевна и три молодых инженера, в том числе Фаворов, который явился в синем бостоновом костюме, разложив на пиджаке по-летнему воротник голубой шёлковой сорочки. Распахнув пальто, чтобы было видно этот воротник, Фаворов сел поодаль — он забежал сюда будто бы из любопытства. Пришли ещё взрывники, машинист экскаватора, несколько продавщиц и вся бухгалтерия. Среди продавщиц была и полная красавица Уляша, похожая на украинку, и поэтому в самом тёмном углу зала мерцали сумрачные глаза Газукина, про которого Уляша, громко и счастливо хохоча, говорила: «Мой разводящий».

Федя показал пьесы, и почти без споров кружок решил ставить «Недоросля». Когда Фёдор в тишине стал читать эту пьесу, в первом же действии у него за спиной вырос начальник лаборатории Степчиков и стал странным образом двоить чтение, шевеля губами и изображая жестом и в лице то Митрофанушку, то Простакову.

— Может, вы хотите почитать? — спросил Федя.

Степчиков сразу согласился и дрожащей рукой потянул к себе книжку.

— У Фонвизина особенный язык. Эпоха! — сказал он смущённо. Начал усаживаться, пригладил виски.

Все вежливо улыбались. Но начальник лаборатории, к удивлению

Феди, заговорил громко, отчётливо, с особенными театральными интонациями. Прервав чтение, он коснулся рукой федино го плеча.

— Отобрал я у вас инициативу? Не обижайтесь. Если б было такое звание — народный артист самодеятельного театра, то мне бы первому присвоили. Я уже тридцать с лишним годов в артистах хожу. В Москве выступал.

Когда началось распределение ролей, слесари и экскаваторщики сели попрямее и гордо поставили головы — первые герои! А девушки потупили глаза и стали как одна похожими на Софью. Поглаживая небритую, мерцающую сединой щёку, внимательно посмотрев на каждого, Степчиков дал четырнадцати счастливым новые имена. Антонина Сергеевна стала Софьей. Пятнадцатая роль — портного Тришки — досталась Феде. Но при этом сильно покраснел бурильщик Леонов, и Федя сразу же предложил свою роль ему.

И Степчиков — он к этому времени уже стал Андреем Романовичем — шепнул Феде:

— Правильно делаете. Я тоже себе роли не взял, удержался. Ветеранов и так от сцены не отгонишь. А молодёжь надо закреплять. Видите — рвутся. Два года варились в собственном соку — могут обидеться, если не дашь.

Начались репетиции. Каждую субботу, под вечер, Андрей Романович задёргивал шторы на окнах красного уголка, запира л дверь барака стулом и, громко захлопав в ладоши, строго пресекая шутки и смешки, начинал р а б о т у. На помосте, там, где должна быть сцена, бушевала госпожа Простакова и стоял оглоблей Митрофан. Андрей Романович из глубины полутёмного зала, захлопав в ладоши, то и дело каркающим гс-ловом горько выговаривал:

— Уляша, голубчик! Голосу, голосу твоего не слышу! Ты здесь матушка-помещица! Вежливость для покупателей оставь, поняла? Всё сначала!

Вокруг барака толпились рабочие, подглядывали в окна. На репетициях разрешалось присутствовать только председателю профкома Серёде и секретарю комитета комсомола Володе Цветкову. Оба они сидели обычно в глубине зала, одинаково закинув ногу на ногу. В другом углу зала, около натопленной печки, каждый раз собирался кружок молодых инженеров, которые хоть и не получили ролей, но приходили на занятия аккуратно, чтобы молча погрязть в тепле кедровых орешки, иногда поспорить и, конечно, посмотреть на Антонину Сергеевну. С того момента, как она стала Софьей, у неё почему-то появилось множество поклонников. Бросая на сцену короткие взгляды, они стучали и шуршали ватманом и приглушённо толковали о том, с какой стороны надо вскрывать пласт фосфорита, или о деревянных шитах, о том, что в мокрых забоях давно уже пора подкладывать под гусеницы деревянные шиты.

Однажды, в конце декабря, они собрались вот так же в дальнем углу около печи, грызя орешки, изредка обмениваясь тихим словом. Неподальёку от них Федя за своим столом составлял расписание киносеансов на три месяца.

— В Москве сейчас ещё день, — задумчиво сказал кто-то у печи.

— В институте к сессии готовятся, — отозвался другой инженер, со звонким студенческим голосом. — Я всегда в Ленинской библиотеке занимался. А ты?

— Я тоже. Ты не у Писаревского был по петрографии? Вот гонял на зачётах!

— Золотое детство! — засмеялся низкий бас. — Я один раз б и о т и т ему забыл назвать в диорите. Просто сказал — слюда. Прогнал! Второй раз брякнул ему, что г а б б р о — кислая порода. Опять прогнал! Третье раза зачёт сдавал!

— Эй, друзья! Нельзя ли поближе к действительности? Фаворов, ты когда карты вернёшь? Унёс, а мы вчера пулюку сыграть хотели. Весь вечер из-за тебя пропал.

— Книжки, книги читать надо, молодой человек,— сказал Фаворов.

— Да, да, романы. Где их возьмёшь?

— А ты напиши. А то азартные игры! Напитки!

— Вот он говорит,— сказала Антонина Сергеевна вполголоса, и все, как по команде, повернули головы, посмотрели на Фёдора.— Он говорит, что скоро у нас клуб настоящий будет. Уверяет! И ещё будет техническая библиотека...

— А простая библиотека будет? — спросил Фаворов.— Эй, завклуб, правда, что твой Середа все журналы домой конфискует? Слушай-ка, а ты бы у него забрал!

Фёдор покраснел и опустил голову ниже к столу. В голосе Фаворова он услышал лёгкую насмешку, но уйти от неё не мог — Фаворов был прав.

— Года через три всё будет — и библиотека и клуб,— со вздохом сказал кто-то у печи.— Когда Медведев вторую очередь достроит.

— А раньше? — спросила Антонина Сергеевна.— Почему раньше нельзя?

— Медведев признаёт только о б ъ е к т ы. Его пробовали уже подбить на это дело. По плану Дом культуры должен строиться одновременно с жилыми домами, так я слышал. Намекнули ему на это. Ни в какую!

— Стена...

— Удивительно, как это могут...

— Ничего удивительного,— возразил насмешливый бас.— Он хорошо и быстро строит объекты. Людей знает, как никто другой, это я вам поклянусь. Посмотрит на тебя и скажет, чего тебе захочется завтра. И рука тяжёлая. Чего тебе ещё? Много хочешь...

— Да, конечно... Года три придётся подождать. А там на новую стройку перебросят... Если бы Алябьев этим занялся — другое дело. Вот человек! Чем резче говорит правду, тем крепче стоит на ногах! Другому Медведев и половины бы не простил.

— Счастливый человек! — мечтательно сказал кто-то. — Махину какую открыл!

— Ся сегодня опять схватился с Максимом. Пришёл на карьер, а там как раз «Баррикадец» работал. Алябьев машину останавливает, на свой страх вызывает автогенщиков: сделать два выреза в ковше. Те, значит, за дело. Машинист сел покурить. А тут «газик» всем известный подъезжает, Максим высовывается. «Почему куришь? Кто распорядился? Где Алябьев?» Алябьева подзывает, а он не идёт — занят. Народ собирается. Он — орать. Конечно, «ты», «колбасишь», «суешься» и прочее. А Алябьев слушал, слушал, а потом отчётливо так: «Максим Дормидонтович! Будьте добры выйти из машины. И посмотрите вот на это место». Максим вылез, сунулся тучей к ковшу и молчит. «И ещё сюда, будьте добры». Алябьев уже приказывает, рассердился. На самом деле, кто ему дал право так обращаться с народом? Медведев, значит, сунулся и туда, осмотрел ковш. А на ковше обе серьги треснули — литые, в руку толщиной! Конструктивный дефект — ударяется ковш о стрелу. Ну, Медведев ничего больше не сказал. Подождал две минуты, пока прорезали, испытали ковш. Убедился, что больше не ударяется, сел в машину и уехал. И ни звука больше!

Все одобрительно зашумели.

— Почему Алябьеву всё сходит? Потому что Алябьев если неправ — признаёт сам, никогда до скандала не доведёт. А если прав, да ещё дело касается производства — ну, тогда его не стронешь. Сам скорее полетишь!

В эту минуту стул, висевший на двери вместо замка, заходил и запрыгал. Федя вытащил его из ручки, и в барак — лёгок на помине! — вошёл обсыпанный инеем Алексей Петрович, а за ним — молоденький техник с чертёжной доской и трубкой бумаги.

— Скоро кончите? — шепнул Алябьев Феде. — Ну, ничего, мы подождём.

Став на цыпочки, он ещё более удлинился и неслышно заковылял к печи. Кружок инженеров приветливо загудел, задвигался. Алябьев уселся там на лавке, в самом тесном месте, протянул руку, и Антонина Сергеевна, опередив всех, насыпала ему полную пригоршню орешков.

— Весьма тронут, — сказал Алябьев и шутливо поклонился ей.

— Что я вижу! Алябьев! — картинно удивился Фаворов. — Алексей Петрович, смотри — жена узнает!

— Алексей Петрович, — перебил его студенческий басок. — Вам от наших ребят поручение...

— Бог с ним, с клубом! — вмешалась Антонина Сергеевна. — Мёртвое дело. Давайте ещё о чём-нибудь. Нам и этой печки хватит. Мне бы только книжечку ещё — «Измельчение руд» Крапивницкого...

— «Измельчение руд»? — переспросил Фаворов. — Знаю. Не достанешь нигде.

— Конечно, это потрудней будет достать, чем черевички, — сказал насмешливый бас. — Но, может, среди нас найдётся Вакула? Фаворов! Это по твоей части!

Все засмеялись, и Андрей Романович на сцене захлопал в ладоши и строго обернулся к ним.

— Что за Вакула? — спросил Алексей Петрович. — Какая книга?

— «Измельчение руд» Крапивницкого. Тонечке вот нужно. У неё дело на мельницах не очень ладится, а в книжке расчёты есть...

— А-а... понимаю. Ну что ж... Может, правда, найдётся Вакула?

После репетиции, когда все уходили, Антонина Сергеевна, взяв под руки напряжённого, молчаливого Фёдора и Фаворова, остановилась в дверях.

— Алексей Петрович! Вы что, остаётесь здесь ночевать?

— Завклуб натопил хорошо, — донеслось из барака. — С разрешения завклуба мы поработаем здесь немного. Никак ветку не подведём к новому разрезу.

Все вышли на улицу — словно в белую лунную пустыню. Зазвенели под каблуками замороженные доски тротуара, и сзади вдруг раздался трубный бас. Это, сложив руки рупором, кричал в форточку Алексей Петрович:

— Фаворов! Коля! У тебя электрическая плитка была — принеси! И батончик, может, есть...

— У меня чайник есть! Электрический! — радостно крикнула вдруг Антонина Сергеевна. — Сейчас я вам всё принесу! Мне ближе!

Она повернулась, толкнув Федю и Фаворова в разные стороны, прыгнула с тротуара и повисла в лунно-белом морозном пространстве, быстро уменьшаясь, словно улетающая. Вот она исчезла за глубокими сугробами, и все притихли, слушая удаляющийся лёгкий скрип шагов.

— Надо будет жене прописать, ха-ха-ха! — бархатисто пропел Фаворов. И белые, зарытые в снег бараки стали бросать по спящему посёлку это отчётливое «ха-ха-ха».

Дней за пять до Нового года Фёдор узнал, что в бараке ИТР молодёжь собирается устроить вечер-складчину. Федя чувствовал, что его, как заведующего красным уголком, могут позвать на этот вечер, и представлял себе, как он будет танцевать вальс с Антониной Сергеевной. Для этого

вечера он даже купил себе дорогой серый костюм и надевал его по вечерам, чтобы костюм немного обносился и на вечере не казался слишком новым.

Числа двадцать седьмого Фаворов подошёл к его станку и сказал давно ожидаемые и всё-таки неожиданные слова:

— Эй, завклуб. Я тебя в список внёс. Танцевать умеешь? Смотри. Только со своей водкой — это тоже учти.

В этот день Фёдор должен был развешивать афиши к воскресному киносеансу и решил воспользоваться этим, чтобы повидать Антонину Сергеевну и, может быть, даже поговорить с нею о предстоящем вечере. Он не видел её уже дней пять.

После работы, свернув в трубу несколько серых листов, пересечённых крупными чернильными буквами: «Индийская гробница», Фёдор отправился в обход. Начал он с домика транспортной конторы, где сходились пять или шесть тропинок. Зорко оглядывая чуть розовые от вечеряющего солнца снега посёлка, Федя долго прилаживал лист к брёвнам стены и стучал молотком. Обычно Антонина Сергеевна проходила вечером мимо транспортной конторы раза два или три. На этот раз её что-то не было видно. Фёдор с сожалением оторвался от своей законченной работы и отправился дальше — к управлению. Не спеша он стал прилаживать афишу к стене. Заподозрить его никто не мог, — он спокойно вёл наблюдение, видел восемь или десять троп, которые сходились здесь звездой. По ним с особенной вечерней живостью пробегали в одиночку и группами инженеры в плащах, плотники с топорами, рабочие карьера. Но Антонина Сергеевна не показывалась.

Прибив наконец афишу, Федя в последний раз огляделся, посмотрел на розоватое вырубленное взгорье, полукольцом охватившее посёлок, затянутое вдаль молочно-розовым морозным туманом. И — нечего делать — зашагал по жёлтой тропке к лесному островку, за которым был слышен глухой грохот дробильно-размольного завода.

У здания мельницы под деревянными бункерами грузились вагоны, обросшие фосфоритной пылью. Федя остановился перед знакомой дверью, за которой гремела белёсая мгла, но не смог войти. Он приказал себе: иди в дверь! — и не пошёл. Взял в рот несколько гвоздей и стал медленно прибивать афишу к дощатой стене около бункера.

— Эй! Что делаешь? — закричали сверху несколько голосов, и Федя увидел на эстакаде рабочих с лопатами. Они свешивались через перила, стараясь разглядеть афишу.

— Не здесь прибиваешь! Пылью занесёт!

— Кому надо — прочтёт, — ответил Федя, задорно ударяя молотком следя за дверью. — Давайте грузите. К маю чтоб план был!

Сверху ничего не ответили.

— Чтоб годовой план был, с перевыполнением, — приговаривал Фёдор. — Антонина Сергеевна чтоб весёлая ходила. На Доску почёта чтоб...

Наверху сурово молчали.

— Вернётся — сделаем план, — сказал рабочий, водя перчаткой по перилам. — Обязательно должны наладить.

— А что она — в отпуске? — спросил Федя, вбивая лишний гвоздь.

— Ага, — усмехнулась женщина. — Угадал.

И рабочие заговорили наперебой:

— Медведев её в отпуск отправил. В Суртаиху. Отулыбалась наша Антонина Сергеевна.

— Будет там заместо начальника на карьере. Карьер виноват, а она держи ответ.

— Медведев спросить умеет...

— А может, и не карьер виноват...

— Карьер. Некачественную руду шлют. Кондиции нет,— научно пояснил старик.— А к тому же машины новые. Ей, начальнице нашей, в институте про них не говорили. И помочь некому. Один только спрос.

Федя торопливо зашагал к управлению. Вот — пришло время. Именно сейчас, в эти трудные для Антонины Сергеевны месяцы, должны были надолго определиться её постоянные друзья. Кто они? Если будут, то немного. Чем же помочь?

Новая мысль медленно поднималась, росла в нём. В лесном островке он поглядел назад, на тёмный силуэт дробилки, обведённый розовой солнечной каймой, и вслух сказал:

— Я сделаю это!

И сразу переменялся. Только что Федя широко шагал по тропе, почти бежал в расстёгнутой телогрейке, и вот вместо него идёт другой человек — неторопливый, твёрдый, спокойный.

В эту минуту Федя отчётливо видел силу, против которой он с этого дня начинал борьбу, силу, которая уступала только инженеру Алябьеву. Он ещё не видел Медведева, но характер его хорошо знал. Не раз, сняв в конторке Фаворова телефонную трубку, ожидая ответа телефонистки, Фёдор слушал хор отдалённых и близких голосов посёлка. Потом вдруг врывался спокойный, неземной голосок: «Тише, сейчас будет говорить Максим Дормидонтович» — и посёлок смущённо затихал, голоса прятались, уступая дорогу властному, нетерпеливому басу управляющего.

— Стена! — зло шепнул Фёдор, вспоминая усмешку Фаворова. Никто не принимал всерьёз его слов о клубе и библиотеке. Тайга! Инженеры — и те примирились, устроили себе посиделки в бараке, в комнате холостяков.

«Будет, будет!» — подумал Фёдор и повторил это про себя ещё и ещё раз — для храбрости.

У входа в контору управления Федя стал с виду ещё равнодушнее и медлительнее. Он не спеша поднялся по ступенькам и коридором прошёл к Володе Цветкову. Секретарь сидел за своим столиком, а рядом с ним, за другим столиком, на фоне знамени писал сводку Серeda — в валенках и телогрейке; освещённый через окно горячим розовым светом зари. Все морщинки на его добром, усталом лице можно было пересчитать, очки горели. «Старый», — подумал Федя и с равнодушным видом молча сел посреди комнатки на новую табуретку.

— Ну, что пришёл? — спросил Володя минут через десять.

— Раз поставил меня заведовать красным уголком, раз сказал «а» — гоюори и «б». Помогай.

— Правильные слова, — сказал Серeda, не отрываясь от своей бумажки. — Золотые, золотые слова.

Федя выждал долгую паузу и заговорил ещё равнодушнее:

— Как зав я всё время слышу одно и то же от народа. Нужна библиотека, инженерам нужны книжки по технике, ребята учиться хотят... И самому мне нужно десятый кончать...

Володя оглянулся на Середу. Тот и ухом не повёл, только медленнее, любовнее стал выводить буквы.

— Кружки можно организовать, — продолжал Федя с равнодушным видом. При этом он зорко, с острой надеждой следил за обоими. — Организовать можно, а заниматься негде. Лекции нужны — опять зала нет. Без по баракам уже стихийно диспуты ведутся. Стихийно... — повторил Фёдор — ему понравилось это слово.

— Где же это? — спросил Серeda, выводя буквы.

— А у нас, в четвёртом. О жизни, о браке, семье, о всяких таких делах. О коммунизме. Самобаев у нас заворачивает. Как скажет слово — весь барак спорить начинает. Хорошо это? Плохо?



— По-моему, хорошо.— Серeda устало улыбнулся.— Об этом, родной, уже подумали. Сысой у нас — агитатор.

— А не говорит вам этот факт, товарищ Серeda, не говорит вам это, что нужен клуб? Что у нас есть большая аудитория и она требует клуба?

— А, вот о чём ты! Может, ты, товарищ Гусаров, Дворец культуры начнёшь здесь строить?

— А что? Хотя бы и дворец!

— Слушай! — Серeda снял очки и посмотрел на Федю добрыми старыми глазами.— Не возражай.— Всё на свете находится в развитии. Понял? Всё развивается не только в пространстве, но и во времени. Забегать вперёд, ломать исторический ход развития никто нам с тобой, товарищ Гусаров, не позволит. Знаешь, кто забегал? То-то. Учти. Что смотришь?

Федя смотрел на Середу так, словно у него прозрели глаза. Лёгкая улыбка трогала его губы.

— Придёт время,— продолжал Серeda,— и на повестке дня у руководства встанет вопрос о строительстве Дворца культуры. Чихнуть не успеешь, как дворец будет стоять. А сейчас работай. А эту маниловщину всякую выбрось из головы.

— А если всё-таки сходить к Медведеву? — неожиданно спросил Фёдор, глядя на Цветкова.

Серeda молча скрипел пером, как будто и не слышал. Володя встал, запер столик.

— Пойдём.

Они вышли в полутёмный и длинный коридор. Неподалёку поперёк коридора лежала яркая полоска розового света, брошенная из открытой двери. Там, за дверью, ярко розовела стена, искрилось полированное дерево шкафа, виднелся красный с зелёным уголок ковровой дорожки. Это была приёмная управляющего. Чувство страха подступило к самому сердцу Феде, и он шагнул к полоске света.

— Не торопись,— сказал Цветков.— Не спеши. Я тебе просто сказать хотел, одному, чтоб ты знал: Серeda уже ходил к Медведеву с этим вопросом полгода назад. Поэтому он и ответил тебе так... определённо. Уже ходил, понимаешь?

— Погоди, я сейчас...

Фёдор приказал себе войти и вошёл в приёмную, словно прыгнул с большой высоты. Как потом рассказывал Володя, внешне он был очень спокоен. Он двигался по мягкой дорожке быстро и спокойно, как преступник в чужой комнате. В приёмной никого не было. Стоял пустой стол секретарши и звонил телефон. Фёдор взглянул на высокий полированный шкаф и сразу же понял — это вход к управляющему. Открыл дверь, толкнул вторую. Девушка в лиловом свитере побежала к нему навстречу — в глазах ужас, — направив на него все десять пальчиков. Стала толкать его назад.

— Кто там? — раздался негромкий бас из глубины огромного кабинета.

Фёдор отстранил девушку и увидел длинный стол для совещаний и широкий письменный стол вишнёвого цвета, приставленный к нему. Над столом висела узкая и длинная — от стены до стены — картина: вид на большой заводской район с высокой горы. Панорама была вся в трубах и дымах. То тут, то там виднелись огромные котлы, склёпанные из железных листов, поставленные стоймя на фундамент и соединённые трубопроводами. Поодаль, в сосняке, расположились рядами весёлые деревянные дачки посёлка — двухэтажные, с балкончиками и затейливо очерченными крышами. Среди кирпичных корпусов затерялась знакомая крыша

механического завода со стеклянными башенками, а в стороне от неё Фёдор нашёл и дробильно-размольный завод с эстакадой и рядом с ним второй такой же. Фёдор видел будущее комбината. Он в первый раз понял огромность дела, к которому прикасался.

— Подойди ближе. Что тебе надо? — услышал он спокойный бас.

Он увидел за столом обыкновенного человека с головой, остриженной наголо, низко опущенной над раскрытой папкой. Фёдор увидел шею — полную, коричнево-розовую, ноздреватую, охваченную голубым шёлковым воротничком. От этой неподвижно склонённой головы веяло той властью, с какой Федя ещё никогда не встречался. Перед управляющим на столе, как у железнодорожного диспетчера, стоял аппарат с телефонными трубками, рычажками для переключения, красными и зелёными глазками.

— А? — спросил он, переворачивая лист. — Чего тебе?

В это время распахнулась вдали дверь, и вбежала девушка в лиловом свитере.

— Максим Дормидонтович! Москва!

Медведев снял трубку, откинулся в кресле и возвёл на Фёдора глаза. Они оказались мутно-сиреневыми. Но глаза эти сейчас не видели — они слушали, а свободная рука управляющего странно бегала пальцами по столу — искала нужную бумагу.

— Да-да-дааа! — резко, нараспев вдруг закричал он. — Да-даа! — И улыбнулся. — Николай Устиныч! Медведев, Медведев слушает! Что ж, ваше дело спрашивать, наше — отвечать! Выполняем и выполняем! Конечно, при вашем чутком руководстве... Но и при нашем — ха! — деловым подходе! Приезжайте, не боимся! Мы всегда готовы: вы — к вопросу, мы — к ответу!

Пока он шутил так с начальством, косясь тревожно на секретаршу, она быстро, но спокойно перебирала бумаги в его папке. Нашла наконец нужную сводку, подала ему, и он сразу прекратил шутки, которые теперь стали ненужными.

— Николай Устиныч! Так сводочка вам нужна? Передаю! Первое — пятнадцать, второе — сто тридцать семь...

— Максим Дормидонтович, сто двадцать, сто двадцать семь! — испуганно зашептала секретарша.

— Второе сто тридцать семь... Тридцать семь. Да, — повторил управляющий и махнул на девушку листком. Третье!.. — закричал он и поморщился в её сторону: — Тише!

Окончив разговор с Москвой, Медведев сразу же снял трубку с другого телефона.

— Суртаиху мне... — Вот он, настоящий, знакомый бас Медведева. — Помолчите немного! Царёв, помолчи. Суртаиха? Где Чинаров? Федчук? Пусть Чинаров доложит мне добычу и вскрышу. Буду ждать. Как Шубина, бегаешь? Напомни ей — завтра пусть доложит мне свои соображения.

Он положил трубку. При этом у него нервно стянулась кожа на шее под ухом — стянулась и разошлась.

— Ну, что скажешь? — спокойно спросил он, опять принимаясь за чтение бумаг.

— Я — заведующий красным уголком, — сказал Фёдор.

— Продолжай.

— Ко мне приходят люди. Хотят учиться, в кружках хотят заниматься. Инженерам техническая литература нужна. Библиотека нужна, клуб... У нас ни одной лекции не было. Обмен опытом можно было бы, как в газете «Труд», организовать. Сцены настоящей нет для драмкружка.

— Всё?

— Нет... Разве всё скажешь так-то?..

— Вопрос ясен. Дом культуры будет через два года.

Наступило молчание. Управляющий перевернул страницу. Потом вдруг поднял на Фёдора сиреневые глаза, чуть-чуть нахмурился и ещё раз взглянул на Федю. Он сразу заметил выражение затаённого покоя, зоркого равнодушия в лице Фёдора — то, чего не увидели Володя Цветков и Середа. И ещё раз быстро, сбоку Медведев взглянул на Федю, смерил взглядом от головы до ног.

— У нас должен уже стоять Дом культуры, — сказал он и забарабанил пальцами по бумаге. — А мы вместо дома механический завод до-срочно пускаем. До-срочно! Главное звено тянем наперёд. Вот видишь! — Он кивнул на телефон. — Всё государство на том сейчас. Добыча, добыча, каждый день добыча. Понял? А клуб — я понимаю тебя. Поплясать хочется. Ничего, успеешь поплясать. В твоё время я с кнутом около коров плясал. Сколько тебе — двадцать будет? Ну вот. Используй, что есть. У тебя много есть, больше, чем у меня.

Он опустил голову к бумагам и перевернул в пальцах красный карандаш: беседа окончена. И непонятная сила его отбросила Федю и вынесла из кабинета. В коридоре Цветков шагнул к нему. Фёдор махнул рукой и пошёл к выходу, думая об одном и том же. Перед ним так и стояла картина — заводской район на десять километров в длину и вширь, и под картиной — человек, управляющий своими телефонами и диспетчерским аппаратом. Может, действительно не следует забегать вперёд?

День быстро догорал. От управления во все стороны по улицам и тропкам торопливо расходились люди. Вдали, перед крыльцом красного уголка, четыре плотника во главе с Самобаевым устанавливали только что привезённую Доску почёта, похожую на роскошный подъезд дворца — с колоннами и ступенями.

«Может быть, он прав — надо использовать то, что есть?» — думал Фёдор, шагая к своему бараку по деревянному обледеленному тротуару.

Позднее, в десятом часу вечера, Федя, разложив в красном уголке на полу около печи большие серые листы, писал на них слова: «Не забывай меня» — название фильма. Глухо стуча валенками, в барак вошёл Середа. Молча постоял за спиной у Фёдора, сел на лавку и бросил рядом с собой пакет, из которого от удара выехала пачка глянцевых фотографий.

— К самому, значит? — сказал Середа. — Всё-таки не удержался? Не поверил мне?

— О чём вы?

— Так, ни о чём. Возьми вот. Наши ударники. Размести получше. Надписи девчата принесут. Из технического отдела.

Фёдор взял пачку, стал считать фотографии. Знакомые лица одно за другим ложились на лавку. Братья-бурильщики Леоновы. Строгий и словно завитой на висках Пётр Филиппович Царёв. Самобаев, раскрывший глаза, словно в ужасе. Алексей Петрович...

— Алябьева в центр помести — Максима Дормидонтыча распорядитесь, — сказал Середа.

Фёдор спокойно отсчитал восемнадцать фотографий и остановился. Тёплый, ласковый ветерок заполз ему в грудь. Улыбаясь своей далёкой мысли, на него глядела с фотографии Антонина Сергеевна.

— Вот она! Слава богу, напомнил! — Середа взял эту фотографию и положил себе на колено. — Эту вот, Софью нашу... Снять с доски придётся. Карточку можешь подарить ей. Что ж ты, родная, подкузьмила нас?

— А что такое? Грехи есть?

— Весь грех — что молода. Ещё не работала нигде после института. Вот и попалась. Как морозы стукнули, так план у неё и покатылся вниз.

Ниже проекта съехала. Конечно, и карьер здесь виноват, особенно Суртаиха. Да план, знаешь, ему всё равно, кто виноват...

Они оба устали. Середа повертел карточку в руке и бросил на лавку. Потом встал и окинул взором барак.

— Пошёл всё-таки к Медведеву. А ничего ведь всё равно не вышло, — сказал он.

Федя ждал, когда Середа уйдёт, чтобы без него посмотреть на карточку и спрятать. А тот всё осматривал стены барака.

— Хорошее помещение, — не без яда сказал Федя, глядя ему в ватную спину.

Середа с понимающей улыбкой оглянулся на него, сказал «н-да» и пошёл к выходу, глухо стуча валенками. Наступила тишина, тени в углах сгустились, и где-то отчётливо заскреблась крыса. Она скреблась всё настойчивее, и всё дольше Фёдор задерживал кисть в банке с чернилами, глядя на портрет Антонины Сергеевны. Она смотрела на него рассеянно, мысли её были в другом месте.

Написав афиши, Фёдор запер красный уголок и побежал к своему барaku. Открыв обитую войлоком дверь, он вошёл в заиндевевый тамбур, а потом, как в жаркую баню, — в общежитие. Увидел сизые полосы махорочного дыма и подумал сначала, что в бараке идёт митинг. Рабочие тесным кружком собрались в глубине за печью. Все смотрели на Газукина, который сидел немного поодаль в позе ученика, решающего задачу, — весь изогнулся, обтянутый майкой, и писал что-то в тетрадке, двигал голыми локтями. Федя заметил, что одна рука его забинтована чуть ниже плеча. Приподняв голову, обрамлённую с двух сторон почти женскими русыми прядями, Васька с тоской оглянулся на рабочих, шевельнул губами. Лёгкий смех вспыхнул в кружке и угас.

Фёдору заступил дорогу Самобаев, подал ему сухую, твёрдую руку с култышкой вместо указательного пальца.

— Ну-ка, сидай к нам, Федя, расскажи, как брал управляющего на ура. Ну, что смотришь? Сядь, говорю, попей чайку.

— Откуда узнали, дядя Сысой?

— Мы всё знаем. Всё видим. Без доклада, значит?

Фёдор рассказал о своём дневном визите к Медведеву. Помолчав некоторое время, прихлебнув чаю и почесав грудь, Самобаев сказал:

— Ты этого не бросай.

— Медведев несогласный, — заметил за печью беззубый старик-истопник Кузя. — Он ежели скажет, обратно не повернет.

— Так и должно. Хорошее дело никогда так не родится. Это только начало. Поживёшь, Фёдор, не то увидишь. А что Медведев несогласный, так он слабость свою показывает. Раз клуб потребовался, значит комбинат наш уже не стройка, а предприятие. Народ огляделся, обживается, жить здесь захотел, навечно остаётся. А он этого не видит. Народ раньше не требовал, не до того было, хоть клуб и в планах стоял. Все на чемоданах сидели. А раз начинают требовать, значит — время.

— Это верно, — подтвердил со своего топчана Аркаша. Он уже отдежурил и перед сном приобрёл «человеческое обличье», то есть нарядился в свои бостоновые брюки и шёлковую рубашку.

— Всё меняется, — сказал Самобаев. — Даже Газукин вон изменился, заявления стал писать. Мне хочет вручить как члену постройкома. Вот и сиди, жди ихнюю милость, сколько уже чашек выпил, а он всё пишет и конца не видать. Написал, что ли? Ударник!

Васька оглянулся и, подбирая вздёрнутую губу, зачастил новым для него глухим полусёпотом:

— Думаешь, я... Я для принципа хочу. Я вон — план... Завод вон... Стоим, станки монтируем. И то двести десять. Кто ещё двести десять

дал? Хорошо — Балакину за дело. А Горожанкину? Сто восемьдесят, и его на Доску почёта! А валы? Царёв вон в лужу сел, и его на Доску почёта! Так पहले кто? Почему меня не поставили?

— А кто его в лужу сажил, Царёва? Кто? — ласково возразил Самобаев. — Доска у нас для передовиков социалистического соревнования отведена. А у тебя это не соревнование, а бес его знает что, не поймёшь. Хотя ты и вахту объявил. У тебя стимул не тот. То принцип, то рублёвку дай. В Америке, может, из тебя, Вася, Форд бы получился. А здесь, видишь, даже почести тебе отдавать не хотят.

Газукин молчал, молчал и вдруг спросил:

— Это почему же?

— Ну, вот, начинай сначала. Валяй, пиши уж!..

Подошёл Герасим Минаевич — огромный в плечах, задумчивый. Широким отцовским движением руки Самобаев будто смахнул со своего топчана молодого парня. Дизелист сел, докуривая цыгарку.

— У нас почести Красному знамени отдаются, — сказал он и посмотрел на Васку.

За последние дни Герасим Минаевич заметно изменился. Он стал мягче — готовился в путь. Перед сном ему теперь нужно было послушать беседу. Ещё не пришёл ответ на письмо, которое отослал Алексей Петрович, а дизелист уже начал прощаться с комбинатом, и все понимали это.

— Как, Минаич, дела? — спросил истопник Кузя из-за печи.

— Понимаешь, до сих пор ответа нет. — Дизелист затаился в последний раз и приклеил окурочок под сапог.

— Герасим, тебе бы в Куйбышеве или в Сталинград написать, — сказал Аркаша. — На стройки коммунизма.

— В Куйбышеве я был в тридцать девятом году. А сейчас там нужна квалифицированная рабсила. Там, брат, медью головки не чеканят.

— Повар! — с лаской в голосе позвал Самобаев. При этом плотник низко наклонился, наливая в кружку кипятку из чайника, установленного под топчаном. — Значит, коммунизм в Куйбышеве только будет? Без фосфорита, думаешь, будем обходиться? И, конечно, без шей? — добавил он ещё ласковее и выпрямился. — А Алексей Петрович, он что — не коммунист? А я до сих пор, признаться, думал, что учёный, который в кресле всю жизнь сидит, что и он чего-то делает. Ты знаешь хоть, что такое высшая математика?

Аркаша не ответил, отвернулся, усмехаясь.

— Ты не усмехайся, потому что ты ещё млад. Во-о, сынок! Я сорок лет топор в руках держу. Постучи-ка ты с эстоль кастрюлями — само дело тебе скажет, что и для тебя задача поставлена. Ась? — отозвался он вдруг на чей-то вопрос. — А как же! Вот, поезжай в Смоленскую область, в Ново-Дугинский район, там Карасёв Иван Демьяныч избы ставит, мой дружок. С мечтой работает! Как глянешь — самому захочется в таком терему пожить!

— Вот и видать, ты с мечтой работал. Полпальца-то и нет! — сказал Аркаша и засмеялся. — Вот тебе и мечта! Когда работаешь, мечту долой! В выходной — другое дело: кружку пива — и мечтай.

— Ты прав... — начал Самобаев.

— Мечтать будешь — ши убегут, — перебил его поощрённый повар. — Каша подгорит!

— Ты прав. У тебя-то она никогда не подгорала. И не подгорит.

— Это да, — Аркаша довольно ухмыльнулся. — Не-е! Жалоб на это ещё не было. Я ещё маленький дома уже умел её варить.

Самобаев посмотрел на него с сожалением.

— Ты какой был в семье по счёту?

— Восьмой. Меньшой.

— Так и есть. Я помню, когда мать у меня пекла пироги, у неё всегда под конец оставалось тесто. Что тогда делать?

— Булочку можно испечь. Сдобную.

— Вот-вот. Сдобная. Без начинки.

Все засмеялись, и повар за всеми.

— Шалишь, Сысой! У меня так не бывает!

Самобаев хотел ещё что-то сказать и не сказал.

— Эй, грамота! — окликнул он Газукина и, поставив кружку на тумбочку, направился к нему. — Написал, что ли? Право, сочинитель! Да не «ева», а «его». — по с л е д н е г о. Ошибку, говорю, исправь, Ева!

Газукин побагровел и закрыл листок грудью.

— Учиться надо, Вася, — раздался голос Герасима Минаевича. Дизелист зашевелился, хотел сказать что-то важное, подумал и не сказал. Самобаев взглянул на него и понял всё.

— Это ты, Герасим, и не думай. Профессором ему не быть. На руке чего-нибудь рисовать иглой — вот это да...

— Да где мне учиться-то? Где она, школа? — заорал Газукин, оскалась, стараясь подобрать дрожащую губу.

— А ты вот к нему обратись. — Самобаев кивнул на Фёдора. — Толкай его посильнее. Смотришь, и школа будет. Ну что? Давай заявление!

Он потянул бумажку из-под васькиного локтя. Васька резко прихлопнул её ладонью — не трожь! — и заявление Василия Ивановича Газукина, над которым он так долго трудился, разорвалось на две части. Васька смял его в комок, вскочил и пошёл, куда глаза глядят, — в дальний конец барака. Он сел там, вдали, на топчан Фёдора и стал рассматривать сгую руку, забинтованную выше локтя.

— Фёдь! — негромко позвал он.

Фёдор прошёл к нему, сел рядом, и они оба замолчали. Чтобы не касаться больших вопросов, Фёдор спросил:

— Что это у тебя?

И сразу же пожалел об этом. Газукин заглянул ему в глаза с отчаянием, словно хотел дознаться, есть ли у него хоть один друг на свете? Должно быть, он решил всё-таки, что есть, — молча приблизил к Фёдору локоть и отвернул край повязки. Федя увидел багровый ожог там, где раньше были слова «Век не забуду», где синел когда-то девичий слезуэт.

— Выжег?!

Васька кивнул:

— Паяльником.

— С ума спятил! Кто это тебя надоумил? Уляша?

Васька мужественно покраснел и еле заметно моргнул: «Да».

— Ого! — Фёдор знал уляшин характер.

— Мы не гуляем, — признался Васька. — Неделю уже. И на кино сама ходит. Она как увидела это дело, вот это: «Век не забуду», сразу как отрезала. Знаешь, что сказала? Когда век пройдёт, когда забудешь, тогда являйся, подумаем. Врёт ведь! Фасонит! А? А мне что — паяльник есть, можно и вывести!

Он опять испытующе посмотрел на Фёдора.

— Слушай-ка! В самом деле! Или, может, разыгрывает нас Сысой? Чего это он про школу говорил?

— А ты бы пошёл?

— Пойду. А что ты думаешь — не смогу? Шесть классов у меня... Врёшь ты всё! — Он посмотрел на Фёдора злыми глазами.

— Я ничего ещё не говорил! — Федя задумался. Он вспомнил о письмах матери. «Доучись, успокой!» — прәсила она. Может, и не было бы у него такой неопределённой судьбы, если бы он окончил спокойно свои десять классов? Ведь кончают же некоторые! Даже с медалью... Моло-

дые, а всё видят впереди, весь свой путь. Не рвут постромок. Интересно всё-таки, как устроены эти всевидящие глаза и это разумное сердце?

— Я ничего ещё не сказал,— повторил Федя.— Когда будет ясно, тебе первому скажу.

Они посидели молча, потом Васька ушёл стелить свою постель.

Весь барак уже мерно дышал, с перебоями и всхрапываниями, горели только две лампочки, а Федя всё ещё сидел, раздумывая о своих делах. В первом часу ночи он выдвинул из-под топчана чемодан, достал оттуда тетрадку и пузырёк с чернилами и, подсев к тумбочке, изогнулся, как изгибался час назад Васька, стал быстро писать. Он писал заметку в редакцию областной газеты.

Если бы Фёдора спросить в ту минуту, что заставило его так решительно взяться за перо, он не смог бы дать ответа. И всё же он сказал в заметке много верных вещей: о том, например, что, кроме киносеансов (которые в посёлке бывают редко), рабочим надо бы показать иногда и спектакль. Рабочие хотят общаться, спорить, получать ответы на интересующие их вопросы по внутренней и международной политике. Они хотят слушать лекции, учиться и повышать свой культурный уровень. Молодой способный токарь Василий Газукин не раз уже обращался с вопросом, будут ли в посёлке книги, будет ли школа для рабочей молодёжи,— что ему ответить?

Фёдор написал и о драмкружке и о том, что есть среди рабочих комбината немало талантов. Они сумели бы разогнать скуку зимних комбинатских вечеров — было бы где развернуться! «Руководители комбината не могут, видимо, понять той простой истины, что комбинат из стройки постепенно становится предприятием, что в связи с этим на комбинате растут кадры постоянных рабочих, решивших связать свою судьбу с судьбой комбината навсегда. Для этих людей надо создать нормальные условия жизни». Федя даже потёр руки от радости, когда перечитал этот абзац.

Затем он сказал об интеллигенции комбината. «Перед группой молодых инженеров,— писал он,— недавно встал технический вопрос, от решения которого зависела судьба плана. Решить этот вопрос было бы значительно легче, если бы инженеры имели необходимую техническую литературу. В частности, очень нужна для работы книга «Измельчение руд» Крапивницкого».

Федя подчеркнул название книги и этим до некоторой степени выдал себя. К этой последней фразе он обязательно должен был прийти, потому что из-под его тетрадки всё время выглядывал уголок фотокарточки и там были видны чьи-то волосы, прозрачные и лёгкие, как струи тепла.

Перечитав заметку, Фёдор спохватился: что, если её увидит Антонина Сергеевна? Или Фаворов... Больше равнодушия! Он закрыл глаза, сжал кулаки коленями. Какие названия книг можно было бы поставить рядом с «Измельчением руд»? Чтобы получился деловой перечень, чтобы видно было ясную мысль техника и только техника? «Надо будет спросить у инженеров»,— сказал он себе, ложась спать. Топчан долго и мучительно скрипел под ним в эту ночь.

Два конверта были опущены в почтовый ящик, из них один — с заметкой Фёдора, а во втором было письмо. Начиналось оно словами: «Товарищ председатель!», а дальше шла та же заметка. Конверты легли в ящик без звука, словно улетели в пустоту. И с этого момента потекли дни и недели, похожие одна на другую. По утрам Фёдор затемно убегал на работу. Вечером возвращался в барак, вытягивался на своём топчане, перебирал в памяти всё, что произошло с ним за прошедшие месяцы.



Больше нечего было делать — ответы на письма не шли; только одно и оставалось: лежи да раздумывай.

Чаще всего Фёдор ломал голову над своей последней встречей с инженером Алябьевым. Произошла она ещё до того, как Федя отправил заметку.

Он сидел в красном уголке и рисовал на листке бумаги симметрично расположенные квадратики. Так должны были разместиться портреты ударников на Доске почёта. Пакет с фотографиями лежал здесь же на столе, но думал Федя в ту минуту совсем о другом — у кого бы из инженеров спросить о нужных для них книгах? Заскрипел под окном снег, хлопнули двери тамбура, и в барак вошёл, громко дыша с мороза, Алексей Петрович. Федя встал, сел, засмотрелся на матовую белизну его лица, на усталые морщинки и только через минуту заметил, что Алябьев ничего не говорит, только дышит с мороза.

— Доска почёта? А? — спросил он наконец, увидел плакат и, достав фотографии ударников, стал их рассеянно просматривать, перекладывая из стопки в стопку. Свою фотографию он переложил, не глядя, как листок белой бумаги.

Дойдя до последнего фото, он растерялся, — словно не нашёл того или, может быть, то и, кого искал. Он снял шапку и начал снова перекладывать фотографии. Светлые, тусклые волосы его, примятые шапкой, не спеша поднимались — прядь за прядью. Когда Алексей Петрович стал перебирать фотографии в третий раз, он косо взглянул на Федю — не находят ли некоторые товарищи странной эту бесцельную игру в карточки? Федя сделал вид, будто ему всё безразлично, и стал рисовать на своём листе вопросительный знак.

— Из дробилки никого не занесли на доску? — услышал он и, не поднимая головы, ответил:

— Дробилка провалила весь план.

Через минуту Фёдор поднял глаза и вздрогнул: инженер внимательно читал его заметку. Перебрав все фотографии, он, должно быть, заглянул в пакет — не осталось ли там ещё карточки — и вот наткнулся.

Заметка была переписана начисто и заканчивалась словами: «в частности, очень нужны...» — здесь Федя оставил полстраницы для перечня книг. Он собирался дописать заметку после разговора с инженерами.

— Надо конкретнее разговаривать о таких вещах, — сказал Алексей Петрович. Голос у него был надтреснутый, подчёркнуто безразличный. — Если о книгах говорить, то надо писать прямо: «Измельчение руд»...

Вспоминая об этом, Фёдор чувствовал лёгкое удушье, глаза его загорались, он никак не мог отделаться от подозрений. В тот день Федя тоже помертвел на секунду. Но тут же улыбнулся: «Ведь он женатый!».

— Эта книга у меня уже записана, — сказал он как мог равнодушнее.

— Интересно, кто...

— Фаворов, — сразу же нашёлся Федя. Пристально, как следователь, взглянул Алябьеву в глаза, и тот вспыхнул и отвёл взгляд, хоть и был старше Феде лет на восемнадцать. Потом Алексей Петрович спохватился:

— Но ведь, кроме этой, ещё книжки есть! — воскликнул он, собираясь с мыслями. — Какие же книги мы возьмём?..

Ни одно название не приходило в голову Алексею Петровичу. Наконец он успокоился и ясным голосом техника, только техника, продиктовал: «Дробление и грохочение», «Механическое обогащение руд», «Буровзрывные работы», «Бурение шпуров» и ещё десятка полтора таких же малопонятных для Феде названий.

О своих газетных делах Федя сказал только Володе Цветкову, Самобаеву и Герасиму Минаевичу. Дизелист и Федя сдружились, они вместе теперь ходили к полочке, куда почтальон бросал письма для четвёртого

барака. Оба они ждали от почты чудес. Когда они вытягивались рядом на своих топчанах и начинали глядеть в потолок, часами не произнося ни слова, Самобаев говорил:

— Гляди, ребята, беседа опять пошла.

Иногда Фёдор нарушал молчание:

— Герасим Минаевич!.. Ответят?

— Обязательно.

— Не отвечают что-то. Уже вон сколько прошло...

— Москва не сразу строилась. Месяца два, а то и три подождём. Там так. Зерно вон сколько лежит в земле, пока набухнет...

Федя не мог точно сказать, о каком письме говорит дизелист, — о своём или о фединой заметке. Но после таких утешений он чувствовал себя лучше и улетал в будущее, на полгода, на год вперёд. Он уже заведовал клубом, а в клубе работали кружки: драматический, хоровой, любителей рисования и литературный кружок. Каждую среду собирались в библиотеке инженеры и стахановцы решать какой-нибудь острый технический вопрос. Приходила Антонина Сергеевна в своём зеленовато-голубом свитере, нарядный Фаворов, инженеры из технического отдела, — никто уже не смеялся над Федей. А сам он, одетый просто — всё в том же сером костюме, — он, чтобы не мешать занятиям, неслышно проходил через эту комнату по своим делам. Он не собирался никого колоть своим присутствием, говорить о своих заслугах, осторожно закрывал за собой дверь и, случайно оглянувшись, с болью замечал сквозь щель взгляд Антонины Сергеевны, брошенный ему вслед, — взгляд, полный благодарности и грусти: она одна обо всём догадывалась...

Фёдор багровел, стыдясь этих мыслей, потому что это были мысли слабого человека. Ведь легче всего рисовать в воздухе! Не было и не будет более вдохновенной живописи!

Он резко обрывал эти мечты: таким способом он уже с давних пор боролся со своим героем, который упорно лез на видное место и даже скромностью готов был похвастать. Федя наказывал его — начинал читать газету или книгу про Галилея, общественную книгу, которую читал и перечитывал весь барак.

Но, должно быть, такова была его судьба: воображение тотчас подсовывало ему другую картину: вот в газете напечатана его заметка. Когда Федя писал её, он долго подбирал себе псевдоним: «Жало», «Оса», «Глаз», потом решил, что это трусость, и подписал заметку своей фамилией. И вот заметка появляется, все называют имя Федеи и вдруг — тррр! — телефонный звонок: «Гусарова в управление!». Федя идёт спокойный, готовый ко всему...

Очнувшись, Фёдор спрашивал у Герасима Минаевича:

— Что он может мне сделать?

— Что? — Герасим Минаевич, опустив брови, сурово размышлял. — Что делает? Шут его знает, не могу придумать. Он хитрее меня.

Так и текли федины дни в попытках понять прошлое и угадать будущее. А в самом течении этих дней ничего интересного не происходило. И чем дольше затягивалось ожидание, тем живее предчувствовал Федя скорый приход неизвестных перемен в своей жизни.

По его требованию в красный уголок провели телефон, и теперь Федя, ожидая ответа телефонистки, мог подолгу слушать, о чём говорит посёлок. Каждый день — и утром и вечером — высокий, приглушённый голос кричал издали о бочкотаре под капусту, о жирах, об организации второго пищеблока в Суртаихе. «У меня люди здесь по два часа ждут обеда!» — кричал этот голос, и Федя, закрыв глаза, видел Антонину Сергеевну, похудевшую, заплётённую, за столом в этом пищеблоке. По вечерам секретарша начальника пожарной охраны знакомялась с кем-то по

телефону. Федя слышал только её голос, прерываемый долгими остановками: «Не может быть... Вы очень самонадеянны... Зачем вам это знать?.. Ха-ха-ха! Ваши усилия будут напрасны!..» Иногда Федя слышал переговоры между начальником транспортной конторы и начальником жилищно-коммунального управления: «Иван Кондратьевич, у меня к тебе деловой разговор, ты подскочи ко мне...» — «Борис Емельяныч, рад бы, душа, да занят. Служба...» — «Слушай, не ломайся, у тебя лошадей до биса, весь транспорт...» — «А у тебя? Серого рысака запряги и айда. Нужда ведь твоя?..» — «Нужда государственная...» — «Тем более, об чём речь!..» — «Да-а, ты, я вижу, такой же...» — «Пока ещё всё такой, самостоятельный. Передадут вот в твоё ведомство — будешь тогда меня вызывать...» — «Придётся нам у Медведева назначить свидание...» — «Это дело! На нейтральной почве...»

Все эти разговоры отдавали скукой и однообразием таёжной жизни, но Федя и в этой скуке чувствовал напряжённое ожидание, словно весь посёлок вместе с ним ждал письма.

Один раз, сняв трубку, Фёдор прикоснулся ухом к гробовой тишине — весь комбинат молчал. Он сразу понял, в чём дело: в этом молчании раздался знакомый Феде бас:

— Ты всё-таки ответь, ты чего там опять колбасишь?

— Максим Дормидонтыч, я сделал, как надо было, — отвечал далёкий голос, будто с луны. Феде показалась знакомой эта скороговорка. — Забои, забои здесь все мокрые! Поскольку у нас ещё нет сушки, мы решили перейти на четвёртый карьер...

— Там же твёрдый камень! Немедленно прекратить! Ты что, хочешь мне производство остановить? Ты для этого просился на Суртаиху? Алябьев! Громче говори! Что люди? Ты мне людьми не тычь, я сам тоже человек, а с меня всё равно спрашивают. Слушай сюда: немедленно прекращай все эксперименты!

— Максим Дормидонтыч, не прекращу. Нам надо ориентироваться на твёрдые пласты, потому что в них больше процент педва-о-пять. И потом они составляют основу... Рано или поздно, а придётся...

— Мне сегодня нужен мягкий камень! Ты забыл, какое сегодня число? Дай трубку Чинарову!

— Чинаров на карьере... Я понимаю, вам надо поскорее доложить о перевыполнении плана. Вы это сделаете...

— Я не собираюсь с тобой здесь шутки шутить! — загремел Медведев. — «Составляют основу!» Я тебе ещё раз говорю... приказываю — давай мне верхний пласт, мягкий. Тот, что сейчас мелем! Мы сейчас очень хорошо идём!

— Максим Дормидонтыч! Мы уже целую неделю шлём вам твёрдый камень, а вы и не догадываетесь...

Управляющий ничего не ответил на это.

— Мы даём ему полежать. Полежит на поверхности месяца три и становится мягким — трескается весь. Это товарищ Шубина открыла...

Медведев ничего не сказал. Наступило долгое молчание. Потом управляющий спросил:

— Суртаиха, слушай-ка... Там Шубина не подошла?

— Вот она, около меня...

Федя почувствовал острый укол в груди и припал ниже к столу.

— Шубина слушает... — Он узнал голос Антонины Сергеевны, едва удивимый, как далёкий огонёк во мгле.

— Рапортую вам, товарищ Шубина! Слышите? Рапортую, рапортую! Ваш завод вчера выполнил дневную программу. Хорошая руда! А? Смена будет в апреле! В апреле, в апреле сменю!

Разговор Медведева с Суртаихой закончился. Один за другим стали

вступать в трубку осторожные голоса посёлка, и опять закипел, забродил разноцветный хор. А Федя сидел около своего нового телефона и, полузакрыв глаза, смотрел в одну точку. Медленно проходила колющая боль в груди. Он вдруг живо вспомнил, как Алябьев искал её фотографию в пачке портретов — три раза перекладывал! «Ничего,— тут же утешил его бодрый и сильный голос.— Ни на кого она так не смотрела, как на тебя, вспомни, как ласково темнели её глаза, — это ведь только для тебя!» Федя стал вспоминать и ахнул: как побежала она тогда за чайником для Алябьева! Повисла в воздухе и стала таять, словно улетела к белым от лунного света баракам!.. «Ничего,— вмешался сильный и уверенный голос.— И ты побежал бы. И потом, он женат. А под руку она держала в тот вечер тебя! И когда придёт твоё время...» И Федя опять полетел в знакомые ему края, в будущее — на этот раз он не смог совладать со своим воображением.

В конце марта начали приходиться новости. Герасиму Минаевичу почтальон передал в руки толстый пакет. В нём было письмо и розовое, отпечатанное в типографии объявление. По этому случаю вечером дизелист принёс в барак бутылку водки и устроил выпивку, во время которой письмо и объявление ходили по рукам. «Строительству требуются,— прочитал Федя мельком,— маркшейдеры, обогатители, минералоги, топографы, геофизики...»

Рабочие одобрительно молчали, курили, улыбаясь, смотрели на Герасима Минаевича и с уважением передавали по цепи стопку с водкой; она, ни на минуту не останавливаясь, ходила среди них.

«Химики-аналитики, энергетика, теплотехники, механики, дизелисты...» — прочитал Федя, когда объявление, пройдя по кругу, попадо к повару, сидевшему рядом с ним.

— Поезжай, поезжай, Минаич,— сказал Самобаев.— Нас, конечно, не забывай. Забыть нас ты не должен.

Герасим Минаевич сидел на топчане, подобрав босые ноги, и слушал.

— Масштаб — видели какой? — Самобаев потянул объявление из рук повара и стал читать, подняв палец, выговаривая каждое слово с особенной значительностью. — Инженеры и техники всех специальностей! Монтажники, бетонщики, такелажники... вона — плотники! Библиотекари — гляди-ка! Мужчины с неполным и полным образованием!

— Комбинат строить будут,— сказал Аркаша.

— Хватай повыше. На наш комбинат столько силы не набирали. Город — вот это скорее.

— Город само собой. Город при чём-то должен быть. Руду, должно, наши.

— Я тоже так думаю,— сказал Герасим Минаевич.— Руда. А то и нефть. А сейчас там, видишь, пишет мне начальник,— тундра голая. Да лес. Да камни. Меня, видишь, в самую первую партию пошлёт.

— По какой специальности берут? — спросил Аркаша.

— За Герасима не бойся,— громогласно сказал захмелевший Самобаев и положил руку механику на плечо.— Минаич найдёт себе место, где он боле всего будет нужен. Он тебе и дом срубит, не хуже моего, и машину, какую хошь, на ноги поставит. Верно, Минаич? Им такие вездеходы в самый раз нужны. Как это назвал его Алексей Петрович? Землепроходец он!

С этого дня Герасим Минаевич начал не спеша собираться в дорогу. А Самобаев по вечерам стал задерживаться на строительном дворе — он решил сделать Герасиму на память сундучок.

Однажды утром Федя вышел из барака и остановился, словно поражённый радостным известием. Непривычный свет, тысячи снежных улыбок ослепили его в первую минуту, и, придя в себя, он понял: ночью

выпал снег, и вместе с ним пришла весна. В природе началась торопливая предпраздничная уборка. Грязное зимнее окно неба было уже выставлено, и спокойная, ласковая синь залила весь посёлок. Федя посмотрел на солнце и целую минуту после этого стоял, улыбаясь, прикрыв глаза рукой. А когда огнял руку, опять засияли ему навстречу солнечные улыбки — на белых крышах, на сосульках, на отполированной полозьями дороге и на лицах девчат-бетонщиц, одетых в стёганые ватные штаны и телогрейки, бегущих на работу и по дороге играющих в снежки.

Феде захотелось, чтобы и в него бросили снежком, и тут же девчата на бегу расстреляли его четырьмя крепкими ядрами из снега.

— Моя симпатия! — крикнула одна из них, пробегая. — Теперь он про нас в газету напишет!

Около управления Феде попался навстречу Середа. Он улыбнулся, открыл было рот — сказать что-то, но в этот момент подкатил к крыльцу «газик» управляющего. Из машины вылез Медведев — в синем пальто с воротником из серого мраморного каракуля и в такой же мраморной каракулевой ушанке. Он не спеша поднялся на крыльцо, чуть слышно скрипя новыми фетровыми бурками, окантованными коричневой кожей. Пока он шёл от машины и поднимался по ступенькам, он всё время смотрел на Федю, словно припоминал его лицо.

— Погодка, погодка, Максим Дормидонтыч! — Середа выступил вперёд.

Управляющий ничего не сказал на это, даже не посмотрел в его сторону.

— Изручки-то скоро снять придётся, — сказал Середа с улыбкой.

Медведев опять посмотрел на Федю, повернулся и вошёл в дверь.

И только теперь Федя увидел свежую газету на щите, прибитом к стене по ту сторону крыльца. Перед газетой толпились работники управления. Все читали одну заметку, водили по ней пальцами.

Сдержанными, широкими шагами Фёдор подошёл, протолкался вперёд и увидел заголовок: «В стороне от нужд рабочих», а под заметкой — свою фамилию: Ф. Гусаров. Заметка была длиннее той, которую писал он, длиннее за счёт последних абзацев. Их приписали в редакции, должно быть, для крепости. «Как могло случиться, — прочитал Федя, — что рабочие лучшего нашего предприятия, крупнейшей новостройки области, будущего промышленного гиганта, до сих пор не имеют библиотеки и клуба, вынуждены коротать долгие зимние вечера в общежитиях — без газеты, без книги? Из всего сказанного явствует, что руководители комбината проявляют редкостное равнодушие к насущным нуждам рабочих и ИТР».

Уши Фёдора начали краснеть. Никогда ещё не разговаривал он таким тоном с начальством.

— Крепко! Смело! — громко сказал впереди Фёдора молодой человек, должно быть инженер, и, улыбаясь, отошёл, уступив Фёдору своё место. Федю прижали к газете, к его заметке. Он перевёл дыхание и начал читать её сначала.

Газукин прочитал в фединой заметке свою фамилию, и это убедило его раз навсегда: он должен учиться. А если Газукин принимал какое-нибудь решение, то он сразу же с угрюмым видом начинал действовать. Днём, когда Фёдор стоял у своего станка, Васька потянул его за рубаху. У него был смиренный вид, он отвёл глаза и упорно наклонил голову.

— Чего теперь будем делать?

Фёдор взглянул на Ваську и первый раз в жизни испытал чувство ответственности. На миг ему показалось, что несмелыми глазами Васьки взглянул на него весь посёлок.

— Слышь, что говорю-то? — Газукин возвысил голос, опять взглянул на Фёдора и отвёл глаза.

— Подождать надо...

— Чего нам ждать? Писал? Вот и давай. Зря, что ли, писал? Чего надо, говори?

Газукину нужно было дать дело. И Федя поручил ему составить список рабочих — всех, кто хочет учиться.

На следующий вечер Васька принёс Фёдору чисто переписанный в тетрадку список. Перелистывая тетрадку, Федя сначала полюбовался женским почерком Васьки. Газукин ухитрился завязывать бантик почти на каждой букве. Но старание Газукина сказалось не только в этом. Против каждой фамилии можно было найти полную анкету, включая даже семейное положение будущего ученика. А когда Федя перелистал весь список, он задумался над последней страницей: в списке значилось 120 человек.

— А тут я записал, что говорят ребята,— сказал Газукин, передавая Фёде записку. И Фёдор прочитал: «Игнатов хочет в драмкружок. Леонов — баян. Кликуев и Барулин — у них есть ружья. Кружок охотников». Фёдор показал список Володе Цветкову. Как только Фёдор вошёл в его комнату, Володя стал перекладывать листок бумаги на пустом столе, он словно стыдился Феди. А когда Цветков просмотрел список, он даже покраснел и несколько секунд сидел молча, опустив глаза. Впрочем, Фёдор не задумывался над этим.

— Вот видишь — список,— сказал он.— И знаешь, я думаю, скоро можно будет организовать кружки...

— Ты не слышал ничего? — спросил Володя, глядя в стол.

— А что?

— Заметку твою обсуждали. У Медведева совещание было. — Он выжидающе посмотрел на Фёдора и поднял бровь. — Да-а...

Наступило молчание.

— Правильная заметка! — громко и неожиданно сказал Володя, выпрямился и посмотрел на Фёдора в упор. — Надо тебя, товарищ Гусаров, в комитет избрать. Чтобы ты не лодырничал. — Он засмеялся. — Чтоб работал.

— Я и говорю, кружки вот...

— Не торопись. Послушай. Ты мне добейся сперва, чтоб к маю постановку приготовили. Тогда уже принимайся за хор или ещё за что-нибудь одно. А вообще, не торопись. Подожди немного — будут кой-какие решения,— сказал он таинственно.

Он действительно что-то знал — в первых числах апреля Фёдора вызвали в управление, и там Середа объявил ему, что он отныне будет «и. о. директора» комбинатского Дома культуры.

— На завод можешь не возвращаться, есть приказ,— сказал он.

«Легко, просто,— удивился Федя. — Откуда такая лёгкость?»

— Да-а,— сказал он, весело глядя в глаза Середу, и сел на новую табуретку посреди комнатки.

Среду это не смутило.

— Да-а,— сказал Федя, всё шире улыбаясь. — «Всё находится в развитии! Забегать нам никто не позволит!»

— Ну и что? — Середа посмотрел на него через очки усталыми добрыми глазами. — Ну и что? Ну и ошибся. Не ошибается только тот, кто ничего не делает. Ясно? Ничего страшного в том нету. Нужно только иметь смелость и признать...

— Да-а,— сказал Федя ещё веселее. — Газеты-то, журналы придётся в Дом культуры переадресовать?

— Глупости, чепуха какая, о чём говоришь,— сказал Середа сухо и нахмурился. — Конечно! А куда же? Они на то и выписаны.

Когда Федя уходил от него, Середа удивлённо и недружелюбно блеснул очками ему вслед. И сам Федя удивлялся: вот и нет ст е н ы! И Фаворов уже не смеётся, а пристально оглядывает Федю, встречаясь с ним на улице.

«Что же я сделал? Что тут сложного?» — думал Федя и однажды задал этот вопрос Герасиму Минаевичу.

— Смелость — простая вещь,— сказал механик, едко затягиваясь цыгаркой, задумчиво опуская голову в клубы дыма.— Простая вещь, но доступна не всем. Смелому это пустяки, то, что ты сделал. А трус удивляется. Побольше бы смелых людей. Да поменьше тех, кто только шёпотом говорит. Вот бы некому было и удивляться на тебя. А то, что ты сказал «легко и просто», это, милоч, ты ещё пересмотришь.

— Он прав,— сказал Самобаев, кивнув на механика.— Мы с тобой, Федя, ещё будем на этом топчане совет держать, как и что, голову твою обдумывать.

— Во-во-во! — запел Аркаша. — Это я и хотел сказать! Не пойму — это же всё-таки орган, газета! Всё время хвалили Медведева. Как это так вдруг: «редкостный равнодушный»? Смотри теперь вот... И чего тебе нехватало?

Чего нехватало Фёдору? Когда-то он завидовал инженеру Алябьеву, мечтал о том, чтобы получить хотя бы сотую долю той платы, которую получает Алексей Петрович от всех людей посёлка за свою смелость и любовь к людям. Теперь Федя получил эту сотую долю — с него словно слезла серая шкура маленького, не нужного никому человека. Его радовало чувство ответственности, которое всё чаще приходило к нему.

Но ему всё время нехватало чего-то. Шла весна, всё ниже садились и рушились тёмные караван снега, длинные сосульки от крыш до земли сверкали по углам бараков. Вот их срубили, сбросили с крыш снег, и от чёрного толя пошёл пар, над бараками заструился волнами тёплый воздух, напоминающая о чьих-то лёгких волосах. Однажды, поздно вечером, сквозь весенний близкий шум леса Фёдор услышал незнакомые звуки, словно ветер играл в горлышке бутылки. Нет, это дужки ведер слабо позванивали — кто-то вдаль прошёл к колодцу. И вдруг Федя понял — это гуси летели в темноте на север, несли на крыльях тепло и радость северянам. Вся темь, отовсюду, слала земле эти звуки. Федя чувствовал над собой в вышине огромные массы весеннего ветра. Ветер быстро гнал невидимые в темноте тучи, то открывая, то закрывая тревожно мигающую, отставшую от подруг звезду.

Всё двигалось вперёд, и с каждым днём росло в груди Фёдора голодное чувство — он ждал встречи с Антониной Сергеевной. Он был готов к этой встрече. Теперь ему незачем было прятаться, скрывать от неё что-нибудь. Он сам был готов вместе с нею посмеяться над тем неудачником с колючими глазами, который в ноябре ударился о столб, хотел своротить с места мастерскую!

Числа двенадцатого апреля к нему в красный уголок забежал Володя Цветков и передал сложенную вчетверо бумажку.

— Записка от девушки,— сказал он.

У Фёдора даже дыхание перехватило, когда он начал разворачивать эту бумажку. Вот что было в записке: «Завтра, 14 апреля, в 8 часов вечера, в красном уголке состоится общее собрание рабочих и ИТР карьера, дробильно-размольного завода и транспортной конторы, посвящённое подведению итогов социалистического соревнования за I квартал».



— Это текст. Напиши,— сказал Володя, смеясь. Он видел, что шутка его попала в цель.— Напишешь и повесть.

Утром четырнадцатого апреля Фёдор надел свой как раз в меру поношенный костюм и неторопливо побрёл по липким от грязи доскам в столовую. Он дал небольшой крюк и прошёл мимо окна Антонины Сергеевны в бараке ИТР. Окно это было завешено изнутри белой занавеской. Он чувствовал, что Антонина Сергеевна приехала, но что делать?

Полдня Фёдор занимался Доской почёта, которую Самобаев заново покрасил. Старые портреты Федя снял. Вместо них Середа принёс новые. И на этот раз он взял из пачки фотографию Антонины Сергеевны, ту же самую. Но уже не отложил в сторону, нет. Он посмотрел в лицо ей, вздохнул: «Волевая девушка...» — и положил в пачку.

— Её и Алябьева вверху сделай, рядышком. Это самые у нас передовики.

Днём Федя опять прошёлся мимо барака ИТР. Занавеска в окне Антонины Сергеевны была на месте. Федя замедлил шаг у этого окна, остановился. И вдруг занавеска решительно улетела в сторону, окно с треском распахнулось, и показался в нём, в майке и подтяжках, Фаворов. Посмотрел направо, налево и запел: «Три дня прошло, как Нина, как Нина, как Нина...»

— Привет! — он взглянул на Фёдора и равнодушно приложил руку к груди.

— Что я вижу! — игривым тоном сказал Федя и побледнел.

— Ага. Получил наконец площадь.

— А где хозяйка?

— Хозяйке Медведев комнату в новых домах дал.

У столовой Фёдор встретил длинноногого охотника в резиновых сапогах — старика Кликуева. Он только что пришёл из леса и стоял на перекрёстке, показывая всем убитого глухаря.

— Вот тебя-то мне и надо было! — обрадовался Кликуев. И заговорил об организации охотничьего кружка. У него было всё готово — и список и план работы на год. Федя кивал, глядел то на глухаря, то вдаль, на леса, подёрнутые кое-где лиловым, а местами и зеленоватым туманом, и каждую секунду был готов к неожиданной встрече. Но опять встреча не произошла.

В половине восьмого он вместе с Середой и Цветковым расставил лавки в красном уголке. Барак стал быстро заполняться, появились рабочие карьера и дробилки, сзади, в углу, собрались в кружок инженеры. Федя чувствовал себя так, будто опаздывал на поезд. Но он никуда не опаздывал, был на месте. И всё-таки торопился.

— Я сейчас,— сказал он Середе и выбежал на крыльцо.

Красное солнце садилось за взгорье, лежало в лужах, горело в окнах. Вечерний воздух был ясен, и Федя увидел: по тротуару очень далеко кто-то шёл — знакомое зелёное пятнышко. Федя сразу принял спокойный, строгий вид. Антонина Сергеевна, быстро и чётко стуча каблучками, приближалась к нему. Она шла без пальто, в своём зеленовато-голубом свитере с бледными мухами на груди. Она спешила, волновалась. Вот достала из рукава платочек и снова спрятала подальше в рукав. Вот посмотрела на грудь, провела растопыренными пальцами по свитеру, смахнула пылинку, ещё быстрее и чётче застучала каблучками. Федя смотрел на неё и видел, что вместе с нею к нему приближается что-то чужое, пугающее. Он пристальнее всмотрелся и ещё отчётливее почувствовал: чужое, чужое, непонятное!

Когда Антонина Сергеевна была от него шагах в тридцати, он всё понял. Увидел её увеличенные тёмные глаза, почувствовал их сухой жар, сразу же заметил заострённые выступы на чуть впалых меловых щеках.

Она напудрилась, не щадя своей красоты. Для кого она так изуродовала себя?

— Здравствуйте, Федя, — сказала она, поднимаясь на крыльцо, окружая Фёдора сильным запахом фиалки. Она не пожалела и духов — ни в чём не знала меры, ей всё было мало. Нет, не для себя она так долго трудилась перед зеркалом в своей новой комнате. Этот запах, как и белый слой пудры, как и сухой жар глаз, — всё говорило Фёдору о чужом счастье, о той любви, что не боится ни дневного света, ни завистливого суда.

— Слышала про ваши подвиги, — сказала она, машинально доставая из рукава круглое зеркальце, бегло глядясь в него. — Вы умеете слово держать. — Спрятала зеркальце и взяла Фёдора под руку.

Они вошли в красный уголок, стали пробираться к лавкам. Антонина Сергеевна немного отставала, Федя всё время чувствовал, что она, держа его под руку, оглядывается по сторонам, бросает острые взоры, ищет — он уже знал, кого.

— Пройдёмте сюда, — предложил он. Ему выпала во всей этой истории самая трудная роль — роль преданного друга. И, собрав всё своё мужество, Фёдор начал исполнять эту роль. — Вот сюда пройдёмте. Здесь будет всё видно! — И он предложил Антонине Сергеевне край лавки. Отсюда она могла видеть и президиум и входную дверь.

— Вот хорошее место! — сказала она, усаживаясь, и оглянулась на дверь. — Что же вы молчите? Рассказывайте про себя. Никогда не думала, что у вас что-нибудь получится!

— А теперь верите? — любезно спросил Федя.

— Теперь да, — она опять оглянулась.

— Я хочу... — начал он, безнадежно глядя ей в затылок, и перевёл глаза на входную дверь. Там тесной толпой стояли рабочие. — Я хочу технической библиотекой заняться.

Антонина Сергеевна кивнула.

Впереди, на помосте за столом, уже сидел президиум, и Середа, стуча карандашом по графину, устало оглядывая собрание, возвышал голос:

— Товарищи, попрошу минутку спокойствия! Товарищ Алябьев! Ещё раз прошу в президиум! Алябьев!

Услышав это слово, Антонина Сергеевна сжала платочек в руке и стала оглядываться.

— Алябьев! — закричали несколько человек.

— Алябьев у телефона сидит. Суртаиху ждёт, — отозвались у дверей.

Доклада Федя не слышал. Не слышал он и ораторов. Он глядел по сторонам, разговор между ним и Антониной Сергеевной как-то сразу угас. Фёдор хотел было уйти, но тут же сказал себе: твёрдость! Надо вести себя так, как будто нет этого.

Загрели лавки — собрание окончилось, и народ повалил к выходу. Взлетели радостные клики гармошки, в толпе раздался круг, и туда, на чистое место, вышел пьяный конюх-усач Леонов специально для того, чтобы его при всех взяли под руки и увели два рослых сына — ударники.

— Я, пожалуй, пойду, — тихо сказала Антонина Сергеевна. Час назад на её маске из пудры сияла любовь. Сейчас так же отчётливо стала видна грусть. Федя даже не рискнул заговорить, и они долго в нерешительности стояли друг против друга.

И вот в одну секунду всё переменялось. Антонина Сергеевна сжала руку Фёдора — крепче, крепче! — и шагнула за его спину. Она увидела Алябьева. Алексей Петрович — высокий, худощавый — стоял в проходе с тетрадкой подмышкой, глубоко запустив руки в карманы, задумчиво собирал губы в рюмочку и остро поглядывал по сторонам.

Антонина Сергеевна смотрела только на него. В глазах её появился ласковый туман, как у близорукого человека, потерявшего очки. Вот он, настоящий взгляд любви! Федя ошибся тогда в её кабинете, думая, что на нём остановлен выбор. Просто у неё были глаза такие, как у десятиклассниц, — каждый, кто посмотрит в них, думает, что он любим. Федя взглянул на Антонину Сергеевну и отвернулся.

— Пойдёмте, пойдёмте скорей! — Она потащила его в сторонку, к стене, и там, весело вздрагивая, опять спряталась за его спиной. Алексей Петрович медленно прошёл мимо них с суровым лицом, оглядывая весь зал.

А в зал уже вступило мерное шарканье вальса — начались танцы. Алексей Петрович остановился на том конце зала. Он искал её.

— Антонина Сергеевна, — сказал Фёдор, стараясь не замечать этой игры в прятки. — Как же с «Недорослем»?

— А? — переспросила она.

— С «Недорослем» что будем делать?

— Очень просто... — Она потянулась из-за Феди, следя за Алябьевым. — Я выучила роль. Я готова.

Фёдор отвернулся. «Надо уйти. Я не смогу здесь стоять, — подумал он. — Нет, не уйду. Буду твёрдо стоять до конца, как будто ничего нет».

— Что вы гримасничаете? — спросила весело Антонина Сергеевна и, не дожидаясь ответа, потащила его на новое место. — Вот здесь давайте ластоем.

Они перешли поближе к Алябьеву.

— Знаете что, — сказала вдруг Антонина Сергеевна. — Давайте потанцуем!

Она положила надушенную руку ему на плечо, Федя со страхом коснулся её спины, и она с гибкостью стальной ленты подалась к нему.

— По кругу, по кругу! — шепнула Антонина Сергеевна.

И когда, сделав два круга, они вылетели к задумчивому Алябьеву, Антонина Сергеевна негромко окликнула его:

— Алексей Петрович! Здравствуйте!..

Инженер вспыхнул, но сразу же взял себя в руки, коротко поклонился ей и стал пробираться к выходу — должно быть, вспомнил, что он должен разговаривать с Суртахой.

— Ох, Алябьев, Алябьев! — закричал Фаворов. Он стоял тут же и грозил пальцем Алексею Петровичу. — Вижу, всё вижу!

— Давайте быстрее кружиться! — Антонина Сергеевна задела Фёдора горящим от радости взглядом. Виски её порозовели. Хитрость ей удалась — она заглянула в самую душу Алябьева и нашла в ней, что искала.

— Давайте я вас возьму! — И она стала кружить Федю всё быстрее, быстрее...

— А я узнал, почему вы так кружитесь! — крикнул он весело, как старый друг и хранитель секретов.

— Как же не узнать!

— Вы счастливы?

— Я? Конечно!

— Смотрите! Он женат!

Она замедлила круги.

— Больше всего имеет право на существование правда.

«Ты с ума сошла!» — хотел крикнуть Федя, но не произнёс ни слова, сделал вид, что думает над её словами.

Они остановились.

— Приехали! — сказала Антонина Сергеевна. — Теперь вы танцуйте, а я пойду. До свидания!

Вот и всё. Федя подождал немного, чтобы не помешать Антонине

Сергеевне, чтобы она могла спокойно уйти со своей радостью. Потом протолкался к дверям и вышел на улицу. Сырая тёмная ночь, полная весеннего шума, встретила его и укрыла от постороннего веселья. Он пошёл напрямик, ступая по мокрой упругой щепе. Вокруг него сомкнулось кольцо далёких огней, а впереди и под ним была глухая темнота.

Вот и всё. Федя развёл в темноте руками. «Старался, летел, мечтал— для чего? Кто она? Ничего особенного!»

«Ах, замолчи, замолчи! — тут же сказала в Феде совесть. — Она лучше всех! Чудак, это же чепуха перед нею — все твои старания, как бы ты ни старался! Алябьев — тот даже и пальцем не шевельнул! И не так уж он молод...»

С ходу Федя больно ударился ногой о невидимую преграду, упал вперёд на толстые брёвна. «Так жизнь бьёт мечтателей, — подумал он. — То плечом ударюсь, то ногой». И со злой улыбкой повторил слова повара: «Каша подгорит, если будешь мечтать!».

Он сел на бревно и стал тереть ногу выше колена: какой чёрт навалил здесь брёвен! Он закрыл глаза и сразу услышал, как шумит, летит над ним весна. Сырой ветер ураганными рывками пронёсился над бараками, замирал на минутку, и потом опять в тишине начинали петь все щели и пазы, летели холодные брызги, и опять сотней бегущих ног наваливался на крыши ураган.

Утром сквозь сон Федя слышал негромкий и приятный хор женских голосов. Открыв глаза, он увидел бегающие солнечные зайчики на стенах и босых уборщиц, которые, стоя на подоконниках, протирали сверкающие открытые окна. Женщины пели о любви, не глядя друг на дружку, замедлив движения: «Не целуй ты мою душу, душу не губи, а другую, городскую, лучше полюби...»

Он вышел на улицу и тут же увидел Антонину Сергеевну: она спускалась по крутой тропе от новых домов. На перекрёстке они должны были встретиться, а дальше ждал их один общий дощатый путь.

Федя остановился, чтобы не встретиться, пропустить её. Но знакомый сильный голос сказал ему: «Слабосты!». И он зашагал к перекрёстку. Антонина Сергеевна уже увидела его и ускорила шаг. Ветер трепал её мужской плащ. Взглянув ей в лицо, Фёдор сразу понял: между ними установилось то, что называется «короткие стношения» — доверенность, на которую Федя, как преданный друг, имел неоспоримое право после вчерашнего вальса.

— Доброе утро, Антонина Сергеевна!

— Здравствуйте! — Рука её заползла под его локоть. — Зовите меня просто Тоней. Долго вчера танцевали? Нам по пути?

— Нет, мне вот... — Он показал на груды брёвен посреди пустыря. — Мне туда.

Приветливо поднял руку и, легко соскочив с тротуара, зашагал прочь по тёмной сырой щепе к брёвнам. Там стоял грузовик, и рабочие складывали около брёвен новенькие кирпичи. А в стороне из-под земли вылетали пригорошни ржавого сырого песка и ложились все в одно место. Здесь землекопы начали рыть траншею, должно быть для фундамента.

— Товарищ завклуб! — издалека громко окликнул Федю Степчиков. Он шёл по дальней тропе, сутулый, головой вперёд. — Завтра прогоняем всю пьесу! Одним куском!

— Да, да! Хорошо! — отозвался Федя, ускоряя шаг.

— С Софьей будем! Софья приехала!

Утренний свет был ярок — никуда не скрыться! Фёдор огляделся: да, ему предстоял нелёгкий день! Другое дело ночь — ночью человек один, даже себя не может увидеть. Но что же сделать? Если уехать? Уехать, уехать надо куда-нибудь совсем! На новом месте никто не будет знать.

Он будет там среди дня скрыт лучше, чем здесь среди ночи, будет потихоньку отходить, отходить и, может быть, забудет всю эту историю...

Не успел Федя подойти к брёвнам, как увидел Самобаева. Плотник лёгонько тюкал топором по брёвнам, осматривал их со всех сторон. Заметив Фёдора, он подошёл к нему, достал из-за уха цыгарку и уселся на свежий сосновый ствол, покрытый словно бы луковой шелухой.

— Садись рядом. Посиди. Что это с тобой? — Он лизнул было цыгарку и подозрительно посмотрел на Федю. — Сегодня ты ни о чём не должен думать. Сегодня ты герой. Именинник! Нет здесь человека счастливее тебя!

«О чём это он?» — с досадой подумал Федя и поморщился.

— Хорошо! Весна! — Самобаев закурил и вытянул ноги, отдыхая в клубах едкого махорочного дыма. — Знаешь, на чём сидишь, чудо? Что это за лес? Что за кирпичи? Чего это тут роют? Знаешь, нет? Твой Дом культуры будет!

Фёдор сразу же встал. Устремил на Самобаева чёрные глаза.

— Не веришь? Ей-богу! Осенью принимать будешь. Я и сам не верил. А тут вызывают, дают наряд... Да спроси вон у прораба, он в управлении сейчас. Он тебе и планы покажет.

Федя быстро, всё быстрее зашагал к управлению. Самобаев что-то крикнул ему вдогонку — фамилию прораба, но Фёдор уже не слышал. Он побежал по брызгающей щепе, по островкам грязи, прыгая через овражки, промытые талой водой. Все мечты Фёдора соединились вместе и понесли его, он опять летел, но теперь полёт был настоящим, и Федя знал, что этому чувству уже не будет конца.

«Не может быть! Не может быть!» — глубоко ударяло в нём сердце. Он вспрыгнул на тротуар, и доски загрохотали под ним. Чей-то мужской плащ мелькнул мимо него. «Куда?» — окликнул его голос Антонины Сергеевны...

Он взбежал по крыльцу, остановился на миг в коридоре, открыл дверь с надписью «Отдел капитального строительства». Пятнадцать или двадцать голов поднялись от чертёжных досок, от белых, синих и розовых листов бумаги, поднялись и опять склонились.

— Прораб... — сказал он, переводя дыхание. — Товарищи, простите... Забыл фамилию. Который будто бы строит...

— Что строит? — спросили несколько весёлых молодых голосов. — Ах, Дом культуры? Давно бы так сказал! Прораб ушёл. А вам что?

— Это тот самый товарищ. С механического... — осторожно сказал кто-то в глубине комнаты.

И опять поднялись все головы. Загремели стулья. Кто-то пробежал позади столов. «Вам проект? Идите сюда, молодой человек!» Федя сделал несколько шагов. Молодые и пожилые лица с любопытством смотрели на него из-за столов. «Вот», — услышал он, и перед ним, гулко стуча, развернулся лист ватмана. Федя увидел желтоватое бревенчатое здание в два этажа, с крыльями и подъездом, похожим на ту Доску почёта, что сделал Самобаев. «Пора. В долгом ящике уже лежал», — услышал Федя. Он только шевельнул пальцами, и его сразу поняли. «Вот план», — и он увидел на новом листе зал со сценой и комнаты вокруг него. Федя тут же разместил в них библиотеку, кружок рисования, певцов, охотников, изобретателей....

Он очнулся, почувствовав любопытные взгляды, направленные на него со всех сторон. Все головы сейчас же опустились к чертежам. Он обернулся, на миг поймал несколько взглядов, но только на миг.

А когда он вышел и закрыл за собой дверь, отдел зашумел, как девятый класс «А», в котором когда-то учился Федя.

Герасим Минаевич собирался в путь. Самобаев уже склеил для него сундучок, выкрасил охрой и поставил сушиться на лавке около окна. К этому сундучку слесари из автобазы сделали замок с секретом, открывающийся без ключа: чтобы открыть его, Герасим Минаевич должен был вспомнить имена трёх слесарей и набрать их на подвижных кольцах замка.

Один раз Федя встретил Герасима Минаевича в аккумуляторной. Минаевич сидел на чёрном от окислов столе, свесив ноги, — прощался с электриками. Видел его Федя в карьере у экскаваторщиков и в гараже. А двадцать восьмого апреля, когда дизелист получил расчёт, Фёдор встретил его в столовой. Раздвинув целую батарею пивных кружек, разводя руками, Герасим Минаевич зычным голосом рассказывал внимательным друзьям о своих планах.

— Праздники здесь проведу, — говорил он. Заметил Федю и слегка поклонился ему. — Хочу спектакль посмотреть. Его работу хочу видеть! — Он показал на Фёдора и погрозил ему. — Федя! Ты не зазнавайся, смотри. Вышел на дорогу и иди. Так держать! Только ради бога, не зазнавайся. Помни, что старик Герасим говорил: т о с а м о е ещё впереди.

Все эти дни у Фёдора были заполнены самыми интересными делами: он строил планы. В красном уголке около него в любой час дня сидели два или три мечтателя. Советников у Фёдора было теперь очень много, и папка, где он копил все их предложения, за две недели истрепалась и распухла. В ней уже лежал список технической литературы, составленный тем инженером, у которого был голос студента. Кроме того, в папке были две тетради с надписями «Лекторы» и «Хор», тщательно разработанные планы физкультурных мероприятий и шахматных турниров, план конкурса художников, список охотников, имеющих ружья... Каждый день Федя добавлял к этим планам и спискам что-нибудь новое.

На стене красного уголка около крыльца уже несколько дней висела огромная афиша, извещающая всех о том, что тридцатого апреля в красном уголке состоится первомайский вечер с программой: 1. Торжественная часть, 2. Спектакль «Недоросль», поставленный силами драматического коллектива.

В день спектакля с утра Федя подстригся, надел свой костюм и до вечера ходил по красному уголку, помогая бледному Степчикову в его хлопотах. Всех, кто был занят в спектакле, Медведев освободил от работы. Артисты повторяли роли. Портнихи из мастерской орса отглаживали кафтаны и платья старинного покроя, сшитые специально для спектакля по распоряжению управляющего. Монтеры проводили свет к рампе. Плотники стучали молотками на новой сцене и за кулисами.

И вот всё готово. Взглянув на часы, Степчиков вытаскивает стул из дверной ручки у входа. За дверями — давка. Вот уже зал переполнен, народ сидит на подоконниках, стоит в дверях... Вот и доклад уже окончен, и сцену задёрнули новым коричневым занавесом. Народу стало ещё больше — приехали гости из Суртаихи...

Феде очень хотелось выйти к рампе из складок занавеса и, сложив руки сзади, сказать краткую речь. Но Степчиков, ещё больше побледнев, посмотрел на него — и Федя обнял старика: «Андрей Романович! Скажите несколько слов перед началом...» Он убежал со сцены, протиснулся к окну, чтобы не пропустить самую торжественную минуту. И там, сжатый зрителями, в тесноте, он понял, что отныне и навсегда его место будет не на виду, не там, где шумит слава, а в тени, в самой её глубине, откуда всё виднее. С мгновенной ясностью он увидел и оценил все выгоды этого положения. Уйдя в тень, он мог отдаваться своим радостям, не боясь того, что это кому-нибудь покажется нескромным. И сейчас, стоя у окна, он

радовался: зал переполнен, дальше некуда! Все смотрят на сцену. Ну, Андрей Романыч, не подкачай!..

Шевельнулись складки занавеса. Вышел Андрей Романович в новом чёрном костюме, бритый и мертвенно-спокойный. «Молодец!» — подумал Федя. Спрятав дрожащие пальцы за спину, Степчиков заговорил о том, что искусство принадлежит народу, что народные массы всегда были неиссякаемым источником талантов.

— Примером чего, — сказал он, комкая за спиной занавес, — может служить наш молодой драматический коллектив, который будет расти вместе с комбинатом и, я уверен в этом, товарищи, когда-нибудь станет основой настоящего театра. Первую постановку этого коллектива мы и предлагаем сегодня вашему вниманию.

Он исчез в тёмных складках, занавес, визжа по проволоке, раскрылся, и до залу пошёл одобрителный ропот — на сцене, повесив руки, стоял длинный Митрофан. Госпожа Простакова, в которой все сразу узнали Уляшу, рыскала, рассматривая на нём новый кафтан, подметая сцену подолом невиданного тёмнозелёного платья. Она всплескивала руками, постепенно приходя в ярость.

Раздался страшный шёпот суфлёра. Вошёл Тришка. Прибежал Простаков. Действие началось. Через минуту суфлёра уже не было слышно — все смотрели только на Простакову, изумлённо притихли. Плечистая, весёлая Уляша, которая смаху рассекает буханку хлеба и так громко бросает гири на весы, — неужели это она?

И когда занавес соединился, могучая буря заходила в зале. В дальних рядах крикнули: «Уляша!», и загудел, мерно заколебался пол, словно в красный уголок вошла дивизия и остановилась, шагая на месте. Рабочие, не жалея ног, топали, требовали её — новую героиню рудника.

Степчиков объявил антракт. За занавесом застучали молотки. Народ повалил к выходу — покурить, и Федя неподалёку увидел Газукина, одиноко сидящего на подоконнике. Васька был в новом чёрном пиджаке и в бело-розовой рубашке с расстёгнутым воротником, на котором было нашито, по крайней мере, два десятка пуговиц. Перед ним текла толпа, а он, не отрываясь, смотрел на сцену, на занавес с колеблющимися складками.

Федя подошёл к нему.

— Ну как?

Васька не ответил. В глазах у него горела тоска. Он пристально и горячо посмотрел на Фёдора, испытывая его: говорить или не гозорить?

— Знаешь, что она мне сегодня сказала? — шепнул он вдруг. — Говорит, коротка же у тебя память! Сам наколол: «Век не забуду», а через годок сам же паяльником выжиг! Этак ты, говорит, и меня забудешь...

— Ну, а ещё?

— Больше ничего. Повернулась и ушла. Федя, знаешь, что я решил?

— Не знаю, — Федя улыбнулся.

— Ты не смейся, я серьёзно... — И, побагровев, Газукин зашептал ему через плечо: — У меня книжка есть... Скоростником стану. Посмотришь! Каких ещё здесь не было... Больше всех — на пятьсот процентов! А?

— А сможешь?

— Смогу! Я, что хошь, смогу!

— Ничего не выйдет.

— Выйдет!

— Я не о том. У тебя, я знаю, выйдет. Только здесь всё видно насквозь.

Она поймёт, что приманиваешь...

— А что видно?

— Помнишь, я тебе говорил про монету, а ты ещё спорил?..

— Это мне ясно, — прервал его Васька с запальчивым видом. — Дальше, дальше! Ты говорил, другой интерес...

— Потом ты хотел отомстить Петуху..

— Это забудь.

— Забыть можно. А было видно насквозь. Ну, а теперь что? Чтоб говорили, мол, Газукин лучше всех? И ты сам чтоб говорил: все пешки, а я благородный конь, мне давай овёс?..

— Замолчи! — Газукин даже задохнулся. — Вот двину сейчас!.. Я не для славы! Ты же знаешь! Зачем заставляешь говорить? Ты же знаешь, я как на неё посмотрю... Федька! Ты что — не понимаешь?

— Делай, что хочешь, Вася. Я всё понимаю. — Фёдор вздохнул и взглянул на занавес. Он сам недавно не знал, что делать, готов был вот так же... И он продолжал, отвечая своим мыслям: — Я всё понимаю, Вася. Только знай: станешь настоящим человеком, и она будет твоя. И пятьсот процентов не надо будет! А сейчас у тебя это вроде как красивые перья у селезня: весна пройдёт, снова станешь серой уточкой, как был.

— Ничего подобного! Я всегда...

— А почему ты полгода назад про пятьсот процентов не говорил, а больше всё про рублёвку? Думаешь, она этого не понимает?

Газукин ничего не ответил, напыжился и замолчал.

— Вася, — осторожно сказал Фёдор через минуту, — кого ты знаешь из знаменитых людей?

Газукин гордо поднял голову:

— Галилео Галилей!

И тут же больно толкнул Фёдора: неподалёку стоял бочком к ним Самобаев и прислушивался.

— Галилей, говоришь? Ну, ну!.. — Плотник подошёл и стал усаживаться на подоконнике. — Давай, давай, врите. Люблю, когда интересно врут. Чего замолчали?

— Галилей... — Фёдор взглядом успокоил Газукина: не выдам. — Если ты помнишь, Вася, учение Галилея не нравилось попам. Читал, как попы сожгли Джордано Бруно? Вот как стоял тогда вопрос. Смертью грозили человеку, а он стоял на своём. Так что же, ты думаешь, пришла бы какая-нибудь красавица: «Отрекись — буду твоя» — что же, по-твоему, он отказался бы от своего учения? Отказался бы ради любви? — Федя с особенным удовольствием мстил сегодня любви. — Никогда! Потому что такой человек уже не принадлежит себе. Он принадлежит весь делу. А дело — народу.

— Ну, это Джордано... А ты мне пример, пример дай.

— Можно дать и пример, — негромко заговорил вдруг Самобаев, опуская голову к коленям. — Прежде всего должен сказать вам, ребята: оба вы молодые и рано вам ещё знать, что такое любовь. Любовь — это великое дело. Она больших людей с пути сворачивала. Это самая тонкая проба для молодого человека. Тоньше нет...

Чувствуя, что сейчас начнётся интересный самобаевский разговор, Федя тоже полез на подоконник, заёрзал, усаживаясь.

— Примеров у меня хватит, — сказал Самобаев. — Нужно только, чтоб вы поняли. Чтоб зря этим словом не кидались. Вот свадьбы наши — думаете, все они по любви? Сама любовь-то проходит иногда стороной. Или придёт, а ты уже связан. Потому и поём всё про разлуку. Одними глазами вся она пройдёт — здравствуй, милый, и прощай! А помнишь до сей поры! Старик, а иной раз вспомнешь. Всю что... Она одна-то одна, да не всегда во-время приходит!

Наступило молчание.

— А когда придёт — не всегда ей запретишь. Можно поймать песок



из воды. Микроб вон учёные ловят. Закон может запретить всё, что ни есть, всё, кроме чувства.

— Какой закон... — задумчиво сказал Васька.

— Какой ни на есть! Свяжет он меня по рукам и по ногам, а мы с нею глазами поцеловались — и рады. Да-а! Но всё-таки Федя прав. Вот тебе, Вася, пример. Из жизни, из нашинской, здесь, рядом с нами.

И почему-то у Фёдора сразу закололо в груди, хотя Самобаев ещё не сказал, медлил, вздыхал, наклонив голову к коленям.

— Передавать негоже сплетню, — издалека начал Самобаев. — Однако, коли она пущена, гуляет, надо передать её — только с правильной оценкой... Да я и не боюсь... Потому что чистого человека не замараешь... Словом, болтал дурачок один, будто наш инженер, Алексей Петрович, симпатию имеет. Между прочим, к Антонине Сергеевне из дробилки — к Софье. «Ври больше, не верю, мол, в такие глупости!» — говорю ему. А потом примечать стал и вижу — правда. Давно это у них тянется, с год, и больше — с её стороны. А может, с его стороны и поболее будет, да он виду не кажет. Здравствуй, до свидания — и всё. Правда, на Суртайхе это он ей помогал наладить дела...

Зрители постепенно заполняли зал — антракт кончился. Несколько человек стали около Самобаева, он придвинулся к Газукину и заговорил глуше.

— Вот она, история какая!.. Я думаю: чего бы ему, если так пошло? Очертя голову схватил её в охапку, да и бросился бы чёрт знает куда, на край света! Ведь он а -то у нас одна! Нет, нельзя. Другой человек, полегче, тот, может, и бросился бы. А наш — нет. И не потому, заметь, что там где-то человек невинно будет страдать — жена. Это вопрос совести, мы не о том сейчас говорим. У Алябьева причина посильнее будет. У него здесь главное дело жизни. Он всё здесь положил и отсюда не уйдёт. Это ты верно, Федя, сказал: он не принадлежит себе. Вот видишь, какое противоречие?.. А будь он не такой, тянулся бы он к белому хлебу с маслом — разве она на него посмотрела бы? Что он — красавец? Вон Фаворов — картина, а не человек!

— А чего ж он? — не удержался Газукин. — Что же он?

— Я понимаю тебя, — ласково сказал Самобаев. — Нет, Вася, у Алябьева задору поболее твоего будет. Нельзя. На большой задор большая узда. Это, брат, всё высокая материя. Тебе нужно дойти ещё до неё...

— Чего же мне-то делать? — спросил Васька, усмехнулся и с тревогой посмотрел на Федю. Он тут же спохватился — ведь Самобаев ничего не знал о его делах!

— Прими к руководству, — сказал плотник. — Я давно тебе говорю: хочешь что-нибудь сделать хорошее — о себе не думай ни в каком виде...

— О деле, значит, думать? Ладно, хорошо. Учителя собрались! А у самих вас, у тебя, дядя Сысой, есть такое дело?

— Что-то похожее имеется. Оно у многих есть. Вон наш Герасим — образования не имеет, а дело себе нашёл!

— А у тебя? — Газукин крепко взял Фёдора за плечо.

Федя даже испугался: вот он, прямой вопрос. Есть ли у него такое дело? Или он попрежнему человек без места?

И, словно для того, чтобы скрыть его раздумье, в зале погас свет. Завизжали кольца занавеса — началось второе действие. Федя так и не нашёл ответа на вопрос Газукина. А между тем сама жизнь приготовила уже для него этот ответ.

Поздно ночью, когда отшумели аплодисменты и ушли все поздравители, около сцены собрался кружок: рослый, выше всех на голову, управляющий комбинатом Медведев, председатель постройкома Середа — в пиджаке и глухо застёгнутой чёрной косоворотке, Володя Цветков и ар-

тисты в париках и гриме. Подошёл и Федя, насторожённо улыбаясь, зная, что сейчас начнутся похвалы.

— Маловато помещение, — сказал управляющий, широко расставив ноги, оглядывая зал. — Пора, пора вам перебираться. Дворец скоро построим тебе, Уляша. Не смейся. — средств не пожалеем. Лекции будут, доклады, спортом заниматься будешь — всем, чем полагается в приличном клубе. Завклуба вот у нас нет...

Последние слова были сказаны артистам, но Фёдор при этом жалко улыбнулся — жалко и криво. Управляющий словно ждал этой улыбки.

— Ничего, подержись, токарь! — бодро сказал он и обнял Федю одной рукой, больно похлопал по боку. — Я понимаю тебя, родной! Мы с тобой, рабочие, нам бы с машинами возиться, землю копать. Подержись ещё маленько! Будет и зав. Обещали прислать. Гусаров у нас ещё молодец, расшевелил нам народ, — забасил он бодро. — Ить ты, живец какой! — Он опять больно хлопнул Федю по боку. — Такое, брат, время — приходится иногда и не за своё дело братья. Это тебе не стружку снимать! — И, гулко хохоча, он отпустил Фёдора.

За его спиной Федя вопрошающе взглянул на Середу, и тот развёл руками: ничего не поделаешь!

— Как же так? — спросил Федя шёпотом.

— Он сам запросил, — шепнул Середка. — А потом у тебя ведь образование маловато. — И сразу отошёл, пряча глаза.

Степчиков вдруг задвигал седыми бровями, задёргал лицом, словно собираясь чихнуть.

— Позвольте... Ведь у нас есть... — глядя в пол, начал он, и Середка сейчас же взял его под руку и отвёл в сторону, что-то ему шепча.

Когда все ушли, Федя запер красный уголок, сошёл с крыльца на доски тротуара, и тут же из темноты вышел Газукин и молча остановился около него. Должно быть, он видел и слышал всё, прячась в полумраке за дверь. Он всё понял — стоял около Фёдора и мигал, и дальний одинокий огонёк отражался в его мрачном глазу.

Они постояли молча, и Федя двинулся вперёд, побрёл по сырой пружинистой щепе через пустырь, охваченный кольцом далёких огней. И, как эхо, зашуршали сзади него шаги Газукина. Целую минуту или две шли они оба в молчании, пока не выросли перед ними в темноте ещё более тёмные угловатые массивы. Это был фундамент Дома культуры, выведенный над землёй уже больше чем на метр. Федя налёг на пахнущую цементом сырую кирпичную кладку.

— Да-а, — сказал он, качая головой. — Вот и всё. Теперь действительно всё.

Опять наступило молчание. Ах, как горько было Фёдору опираться на этот сырой, быстро и верно растущий фундамент!

— Ха-ха-ха! — громко, на весь пустырь, засмеялся Федя. — Я, по существу, уже не нужен здесь! Моё дело сделано, новый завклуб получит всё готовое! А я поеду на новое место и вот так же начну! Завтра же подаю заявление!

Газукин кашлянул.

— Газукин, родной, ты, конечно, не должен будешь пострадать. Я тебе всё распишу, как и что делать. Всё будет в порядке. Будешь учиться...

Газукин молчал, а Федя продолжал разглагольствовать. Конечно, он нужен был именно здесь, а говорил всё это, неизвестно для чего.

«Не уйду! И не пушу никого! — вдруг подумал он с яростью и залился слезами. — Я не смогу! Разве он, новый, пусть пять раз образованный, разве будет он всё знать, как я? Будет он так знать людей? Разве я не смогу получить образование?»

Достав платок, Федя громко высморкался, и Газукин совсем притих.

— Пойдём, Вася,— сказал Фёдор с дрожащим вздохом.— Да. Надо уезжать. С Герасимом поеду, на новое место.

В бараке Фёдора встретил Самобаев. Заглянув ему в лицо, плотник поймал за локоть Газукина, и Васька вырвался. Фёдор лёг на свою постель, Газукин сел ему на ноги. Сюда же босиком перебежал Самобаев. Заскрипел топчан дизелиста, Герасим Минаевич поднялся, и они загудели вполголоса, все трое, поглядывая на Фёдора.

— Вот видишь, Федя, оказывается, можно проще дела решать,— сказал ласково Самобаев и усмехнулся.— Не надо и на костёр—зачем спички тратить, человека жизни лишать? Очень просто — отказать и всё! И ходи, живи, размножайся! А то вон куда хватил — Галилео! Жордано!

— Сдаваться нельзя, Федя,— сказал Герасим Минаевич.

— А ему никто сдаваться и не предлагает! — возразил Самобаев.— Что же он, себя начнёт хвалить? В газету напишет — мол, меня, Гусарова, не хотят в должности повышать? Променяли, мол, на образованного! Тут, братцы, тонкий расчёт. И придумать ничего нельзя...

Солнечное утро оживило весь барак. С улицы доносилась музыка. Рабочие доставали из чемоданов чистые рубахи. Принарядившись, они вылезали наружу, прямо через открытые настежь окна, и расходились к двум толпам: к бараку ИТР, где Алексей Петрович выставил на окне свой радиоприёмник, здесь слушали трансляцию первомайского парада из Москвы, или же ко второй толпе, к третьему бараку, откуда доносились переборы гармошки. Здесь, на утрамбованной площадке, уже второй час непрерывно шла пляска.

Федя тоже вылез из окна и увидел Герасима Минаевича, который сидел на завалинке, разложив рядом с собой шильце, щетинку, молоток, клубок с дратвой. и прошивал подошву на сапоге. Он готовился к отъезду. Федя сел около него, вспомнил вчерашнюю историю и опять остро почувствовал всю безвыходность своего положения. Никто не бранил его и не стыдил вчера, никто не отнимал у него права быть тем, кем он был. Его даже похвалили — для рабочего с девятью классами образования он хорошо справился со своим в р е м е н н ы м делом, расшевелил народ. Но в этой временной обстановке у него, как на молодом дереве, неожиданно развернулся первый яркий лист. И этот лист вчера остригли — незачем ему расти.

«Кто поймёт это? — подумал Федя.— Никто не поймёт. Один-два человека! А для остальных останется законом слово Медведева. Он всегда прав. Прав и на этот раз — для нового Дома культуры нужен квалифицированный директор! Не ставить же, в самом деле, директором человека, имеющего едва-едва девять классов!»

Да, Медведев хорошо знал людей, видел их насквозь, мог даже угадать, чего тебе захочется завтра. Он ещё тогда, стоя на крыльце, увидел Фёдора всего насквозь, только взглянул — и вот оно, самое живое место человека, оно на виду. Маленькая помеха — и он устранил её с улыбкой, одним добродушным словом, чуть заметным движением руки.

— Герасим Минаевич,— сказал Федя.— Когда едете?

— Еду? Послезавтра, должно...

— А куда?

— Чтоб не соврать тебе, скажу: не знаю. Это дело десятое — в области скажут.

— Герасим Минаевич...

Механик раздёрнул на две стороны дратву и остановился.

— Ты чего?

— Возьмите меня с собой.

— Надо было раньше говорить. Сундучок маловат. Поболе Сысою бы заказал. Что это ты собрался?

— Я всё равно уеду. Вот, думаю, Герасим Минаевич едет...

— Герасим Минаевич тебе не попутчик. Герасим Минаевич ищет такие места, где ещё нет электричества. Где ещё горн ногой раздуть надо. Где нет телефона, чтоб вызвать инженеров со слесарями, скажем, на аварию. На век Герасима Минаевича работы хватит. Мне осталось всего немного—шестой десяток живу. А тебе повторять это нельзя. Останешься ни при чём, Федя. Твоё самое место здесь, если хочешь знать. Больше нигде.

Федя и сам знал об этом и потому умолк. Поднялся и побрёл в барак. Герасим Минаевич медленно повернул голову и долго смотрел ему вслед. «Всё равно куда. Уеду,— подумал Фёдор, проходя полупустым баракком к своему топчану. — Куда угодно. Не могу!»

Он выдвинул чемодан из-под топчана, достал тетрадку и пузырёк с чернилами и, сев около тумбочки, начал писать:

«Управляющему Фосфоритным комбинатом тов. Медведеву М. Д. от и. о. директора Дома культуры...» Написав «Прошу освободить...», он задумался, и в эту минуту к нему подошёл Газукин.

— Дай листочек,— попросил он и потянулся через федино плечо, читая его заявление.— Пишешь?

Получив два листа бумаги, он ушёл к своей тумбочке, сбросил пиджак, криво уселся и томительно заскрипел пером.

Через несколько минут с улицы пришёл запыхавшийся весёлый Самобаев. Он остановился посреди барака, оглядываясь то на Ваську, то на Фёдора.

— Мать моя! Грамотеев развелось в праздник! Ну-ка, Вася, дай, ошибки проверю. Если не секрет...

Он замычал, бегло читая васькино писанье. Умолк. Опять замычал.

— Ошибку снова посадил, не можешь: «прибьгаю!» Яга, право, Яга!— Он опять умолк.— Да-а,— протянул он через некоторое время.— На этот раз дельная бумага. Под этим и я мог бы подписаться. Только ты исправь, исправь...

— Когда отнесть? — спросил Васька.— После праздников?

— Хорошее дело никогда не откладывай — вот тебе закон. Неси сегодня.

Фёдор тоже решил поступить по этому закону. Склеил конверт, вложил туда заявление и днём по дороге в столовую занёс конверт дежурному по управлению.

Весь следующий день и вечер он прощался с комбинатом. То и дело останавливаясь, ходил по посёлку. В раздумье постоял около молчаливого дробильно-размольного завода и в лесном островке среди гудящих по-весеннему сосновых стволов. Затем Федя прошёл к механическому заводу, позади которого за последние месяцы вырос новый корпус. Федя уже видел его на картине у Медведева. Рядом с новым корпусом были установлены на фундаментах два огромных гулких железных котла — такие же, как на картине.

Оттуда Фёдор по лесной дороге прошёл на карьер. Все экскаваторы стояли по случаю праздника, ковши их тяжело легли на груды жёлтого камня, выставив вверх начищенные железные зубья. Влажный майский ветер нёс непонятную тревогу, он тормозил Фёдора: проснись, проснись, и Федя никак не мог очнуться от своего прощального сна.

Кратчайшим путём — через зелёный пихтовник — он пробрался к новому посёлку, к улице из одинаковых двухэтажных домов с затейливыми крышами. Восемь или девять домов были уже готовы, около них играли дети. Федя очень быстро, с опаской прошёл по этой улице, усталенной щепками, но и здесь успел сказать своё «прощай». Опасался он встречи с Ан-

тониной Сергеевной — он не хотел больше встречаться с нею. Никого из знакомых он здесь не увидел. Вместо этого произошла другая встреча — человек пять совсем не известных ему ребят, должно быть, шофёры, отсалютовали ему издали кепками:

— Эй, Гусаров! С праздничком, завклуб! — Они собирались жить с ним, по крайней мере, до того времени, когда посёлок станет городом и в нём появится настоящий театр.

Фёдор простился с комбинатом и утром третьего мая встал окаменелый — уже не токарь, не завклуб, а путник. Снаружи доносились мерные звонкие удары сосновой балки. Федя встал и медленно закрыл окно. Молча, холодными, медлительными движениями он заправил топчан, кивнул Герасиму Минаевичу и нисколько не удивился, когда тот сказал:

— Федя, поди поторопись. Там к тебе библиотекарша приехала. Я её в столовую проводил.

Теперь Фёдора ничто не могло удивить.

— Пусть поест,— рассеянно сказал он, слушая настойчивый деревянный набат, и направился к умывальнику.

— Иди, иди! Ждёт женщина! — сказал механик.

Федя умылся, причёсался, постоял немного над своим топчаном и лишь после того, как механик сказал «нехорошо», пошёл в столовую.

Он сразу увидел библиотекаршу. Это была пожилая сухонькая женщина в расстёгнутом пальто, в чёрной фетровой шляпке с фетровым цветком, из-под которой выбились жёлто-серые кольца волос.

— Прочитала вашу заметку,— сказала она баском, не сводя с Фёдора весёлых увядших глаз. — Прочитала и попросилась, чтоб послали. Знаете, что-то такое почувствовала. Меня давно уже тянет именно в такое место. Где ничего нет, где начинай сначала. Где тебя ждут! Ах, что мы с вами здесь сделаем, Фёдор Иванович, что сделаем!

Фёдор шевельнул бровями и стал смотреть под стол.

— Я не с пустыми руками, — шепнула она таинственно, нагибаясь к Феде. — Со мной багаж. Какой багаж! И ещё будет идти — я, знаете, старуха боевая. Ещё в области за дело принялась. Верно это, что уже строят новое помещение?

— Вот оно,— сказал Федя, поворачиваясь на стуле к открытому окну. За окном, вдаль, посреди пустыря, над кирпичным фундаментом звонко бухали брёвна — первые венцы Дома культуры. Далеко за холмами такими же звонкими ударами отзывалась тайга. Эти звуки преследовали Фёдора. Он знал, что будет слышать их и тогда, когда с чемоданом в руке отойдёт от посёлка на десять километров.

— Хорошо! — сказала библиотекарша, расширив глаза, и приумолкла. — Приятная музыка, а? Очень приятная. Мы не просто книги выдавать будем. Я поставлю здесь работу с книгой...

— Девушка! — резким голосом крикнул Федя официантке. — Подойдите, пожалуйста!

Со вчерашнего дня он не мог уже слышать таких слов, как «Дом культуры» или «библиотека». Он уже простился с этими словами.

— Должен оставить вас,— сказал он, поднимаясь. — Пойду распоряжусь относительно вашего багажа.

— Там четыре ящика. Они там стоят в тамбуре, в красном уголке. Идите, идите. Я не задержусь.

И Фёдор ушёл, ничего не видя больше, глухой ко всем звукам, чужой, равнодушный ко всему человек. Он отпер красный уголок, втащил тяжёлые ящики, перевязанные верёвкой, и при этом старался не смотреть на корешки книг, заметные сквозь щели. Он уже собрался уходить, но в это время задрезжал на стене телефон. Сняв трубку, Федя услышал незнакомый женский голос:

— Товарищ Гусаров? Вам нужно быть сегодня на партийном бюро. В восемь. В парткабинете. Приходите без опоздания.

— Хорошо,— рассеянно ответил Федя и только в дверях подумал: «Что там ещё?».

Днём он ходил в управление знакомить библиотекаршу с Середой и Володей Цветковым. Попутно он заглянул в приёмную управляющего — узнать о своём заявлении. «Ваше заявление на приказе»,— сказала секретарша.

Покончив с визитами, Мария Фоминишна (так звали библиотекаршу) достала где-то молоток и занялась в красном уголке разборкой книг. Она надела серый халатик и с треском начала отрывать доски ящиков. Фёдора она к этой работе не допустила и чувствовала себя хозяйкой настолько, что он отдал ей ключ и ушёл. Он не мог долго сидеть около этой разговорчивой старухи.

Под вечер Федя отправился в управление комбината на заседание партийного бюро. На дощатом тротуаре он встретил Антонину Сергеевну. Она медленно шла ему навстречу, опустил глаза, будто переходила по мосткам через пруд и гляделась в грустную вечернюю воду. Федю она не заметила — так и пошла дальше берегом своего пруда. Федя с тревогой оглянулся, остановился, долго стоял, глядя ей вслед. Потом вздрогнул и побежал — он опаздывал.

На крыльце управления и на завалинке сидел народ — рабочие и инженеры, вызванные на партбюро. Отдельной кучкой сбились отъезжающие, ожидали на своих чемоданах рейсового грузовика, который повезёт их на станцию. На нижней ступеньке крыльца, облокотясь на свой новый сундучок, ждал машину Герасим Минаевич, одетый по-дорожному — в телогрейке и старом треухе. Тут же Фёдор увидел и провожатых, человек пять, и среди них, конечно, были Самобаев и Газукин. Вокруг дымилась папиросы, щёлкали кедровые орешки, текла негромкая речь, и медленно желтел, желтел день.

— Не торопись,— сказал Фёдору Самобаев.— Ещё не начинали. Медведева ждём.

— А вы откуда знаете, зачем я?..

— Что тут особенного — не знать? Вон и нас с Газукиным вызвали. Прощайся давай с Герасимом.

Федя сел на крыльцо, все умолкли, стали смотреть на дизелиста.

— Герасим Минаевич, так как же? — сказал Федя.— Встретите, если приеду к вам?

— Вон у Сысыя адрес возьмёшь. Пришлю ему...

Вдали показалась маленькая фигурка Петра Филипповича Царёва. Начальник мастерской был одет в свой вечно новый чёрный пиджак, шёл, гордо склонив голову на бочок, с достоинством отмахивая руками, и пальцы его словно указывали ногам: «Ты ступи сюда, а ты, правая, — сюда».

— Ах, красота наша идёт! — сказал Самобаев с крыльца.— Петру Филиппычу наше почтение! Садись, Пётр Филиппыч, покурим. Бюро начнётся не ране как в девять. Главнокомандующего нет.

— Алексея Петровича?

— Алексей Петрович на месте. Медведев вот...

— Уезжаем, значит? — Царёв пожал руку Герасиму Минаевичу.— А почему Аркашка не провожает ветерана? Непорядок!

— Нельзя ему. Дежурный,— отозвался Газукин.— Вона, в окне торчит. Сюда смотрит. Дядя Сысой, Аркашка чего-то машет! Айда, сходим?

Самобаев поднялся, за ним — Герасим Минаевич, Федя, Васька, ещё несколько человек, и вся компания не спеша двинулась к столовой. Став перед окном, затянутым железной сеткой, Самобаев громогласно кашля-

нул. Белый передник мелькнул за сеткой, Аркаша помахал рукой и вышел к ним, потный, розовый, в белой пилотке.

— Леонид! — позвал он, властно оборачиваясь к двери, и сейчас же на его зов выскочил второй повар, приседая и перехватывая в переднике противень с пирожками. Вокруг распространился жаркий пряный дух.

— Нагружайся, Минаич, — коротко приказал Аркаша.

— Сбегай, около сундучка мешок, — сказал дизелист Газукину.

Самобаев с видом контролёра взял пирожок, разломил надвое и, откусив, удовлетворённо промычал:

— Да-а. Это не мавританский суп. Это вещь. Попробуй-ка, Герасим.

Герасим положил в рот половину пирожка.

— Это я, пожалуй, съем их до станции! — Он искренне удивился.

— Для того и пёк. Давай развязывай! — И Аркаша, взяв мешок у подбежавшего Васьки, стал складывать туда пирожки.

— Герасим, — сказал Самобаев. — А ведь пирожок-то наш всё-таки с начинкой оказался?

— Вроде есть немного...

Аркаша гордо шагнул назад, вытирая руки передником.

— Для такого изделия больше начинки не полагается.

Самобаев взглянул на дизелиста. Дизелист — на Самобаева.

— Нет, мы пошутили, конечно. Начинки в самый раз. Спасибо, родной. Спасибо, милый. Корми наших ребят и не слушай их, если болтать чего будут. Они такие, смехачи. Ну, будь здоров!

Около крыльца уже стоял рейсовый грузовик. Все отъезжающие сидели в кузове на своих мешках и чемоданах. «Эх!...» — сказал Герасим Минаевич и в два приёма — одна нога на колесо, другая через борт — оказался в кузове. Ему подали сундучок и мешок.

— Ну, смотри, ежели писать не будешь... — сказал Самобаев, крутя выгарку. — Читал приказ? — вполголоса спросил он у Царёва. — Фаворова на экскаваторный парк перекинули. Ей-богу!

— Слышал что-то такое и я, — осторожно признался Пётр Филиппович.

— А не знаешь, кого теперь начальником в механический? — с наивным видом спросил Самобаев. — Для чего тебя вызвали?

— Поищут — найдут. — Царёв равнодушно закрыл глаза, но побледнел. — Специалисты у нас есть... — И он мелко застучал носком ботинка.

— Который час? — спросил кто-то.

Ответа не последовало.

— Пётр Филиппыч, слышь, время спрашивают, — сказал Самобаев.

— А? — Царёв очнулся и торопливо полез за часами. — Без десяти девять.

Наступило молчание. День погас. Нежнолиловые облачные полосы протянулись веером через всё бледнозелёное небо. Слабо потянуло смолой от молоденьких тополей, посаженных перед окнами управления и уже обсыпанных мелкими листочками. Вдали залаяла собака.

— Чья это? — встрепнулись несколько человек.

— Кликуев привёл, — ответил кто-то. — Охотник.

Из-за барakov выскочил «газик» управляющего, сделал круг и затормозил у крыльца. Из машины вылез Медведев, перепоясанный широким новым ремнём поверх коверкотовой гимнастёрки. Все встали. Медведев коснулся рукой козырька коверкотовой фуражки. Сделав несколько шагов, увидел Царёва и кивнул. Пётр Филиппович поспешно подошёл к нему. Медведев сказал несколько слов вполголоса и захохотал, закрикал:

— Они у тебя «вот здесь» были! — Он похлопал Царёва меж лопаток. — Ты всё Фаворову их сбывал! Вот теперь сам поработаешь с ними. Из мастерской ни одного человека не дам!

И, крикая, стал подниматься на крыльцо. Он вошёл в парткабинет, и

сразу же началось заседание. Первым вызвали Царёва. Он пробыл в парткабинете минут двадцать и вышел оттуда розовый, но гордый.

— Учиться заставляют? — спросил Самобаев.

— Напомнили...

— А на механический — не тебя?

— У нас имеются специалисты... — туманно, с достоинством ответил Пётр Филиппович.

И в эту минуту за грузовиком вдали раздался звонкий женский голос:

— Генка! Гена! Толкните кто-нибудь шофёра! Гена! Ты будешь на станции — там посмотри ботиночки мужские! Тридцать седьмой номер! Али тридцать восьмой! Начальнику моему... Может, детские какие али недомерочки! Спросишь?

Все заулыбались кругом, и мгновенно померкла, растаяла гордыня Петра Филипповича — это был голос Зинаиды Архиповны, его заботливой жены.

Начало быстро темнеть. Слабо засветились огоньки цыгарок. Всё сильнее становился запах древесного клея от молодых тополей. Заседание шло уже целый час. Переборки в коридоре были слишком тонки, и поэтому от человека к человеку на крыльцо передалось известие:

— Алябьев с Медведевым схватился...

И все вызванные на бюро один за другим стали выходить из коридора, чтобы не слышать того, что говорят в парткабинете.

Самобаев бросил цыгарку, вошёл в коридор и сейчас же вышел.

— Крепко сошлись. Твоё имя, Фёдор, поминают...

Мотор грузовика взревел. Две полосы яркого света легли впереди от фар, и машина тронулась. «До свидания, Герасим!» — раздался голоса.

— На новое место поехал, — задумчиво сказал кто-то.

— Товарищ Газукин! Товарищи Самобаев и Степчиков! — позвали из коридора.

Самобаев, Васька и Андрей Романович прворно вскочили и скрылись за дверью. Наступила тишина. Фёдор уже понимал, что весь разговор в парткабинете, который шёл минут тридцать, а то и больше, что весь этот разговор был о нём, о его судьбе.

— А кто же секретарём? — спросил в темноте недоумевающий голос.

— Я ж тебе говорю, — ответили с завалинки. — Он временно исполняющий. А секретарь на учёбу уехал. Алексей-то Петрович как член бюро и исполняет обязанность.

— Он уже давно исполняет. Месяц уже, — заметил низкий голос.

— Товарищ Царёв! — позвали из коридора, и Пётр Филиппович не спеша прошёл за дверь.

— Теперь уже вроде спокойно разговаривают, — сказал кто-то.

— Товарищ Гусаров! — услышал Фёдор и вскочил.

И вот он в ярко освещённой комнате. Вокруг красного стола — знакомые лица. Алексей Петрович весело улыбается. Рядом с ним немного отодвинулся к стене Медведев, медленно поворачивает голову, морща лоб, озирает потолок и стены.

— Товарищ Гусаров, вот какая история, — сказал Алексей Петрович. — Вы подали на имя управляющего заявление об уходе. А народ не хочет вас отпускать. В партийное бюро пришло два письма... — Он положил руку на исписанный тетрадный листок, и Федя увидел знакомые васькины бантики на буквах. — Товарищ Гусаров, подумайте, не сделали вы ошибки?

— Я почему... — заговорил Федя. — Мне сказали, что уже назначен новый... Ну вот, он придет — тогда вообще мне здесь... Вот вы, Алексей Петрович, любите свой фосфорит? Вы-то меня должны понять.



— Андрей Романович, как наш завклуб? — спросил Алябьев.

Степчиков встал. Соединил бледные пальцы перед собой в один кулак, поднёс его к лицу и поднял брови.

— Будучи знаком с самодеятельной сценой свыше тридцати лет, — он прижал свой двойной кулак к груди, — могу заявить уверенно, что Фёдор Иванович — вполне сложившийся, способный, любящий дело, самоотверженный клубный работник.

— Теперь вы, Пётр Филиппович. Дайте нам характеристику Гусарова.

Рядом со Степчиковым встал Царёв.

— Сейчас я. Молитвенник достану... — И дружный смех заглушил его слова.

— Пётр Филиппович! — Алябьев, смеясь, поднял руку, призывая к тишине. — Молитвенник вы должны оставить в мастерской. На новом заводе по-новому надо работать. Скажите-ка нам без молитвенника, какого вы мнения о Гусарове?

— Токарь может, я же говорил. Только мечтает много. Деталь вращается, а у него мысли там, знаете, с музами...

— Вот две характеристики... — начал было Алябьев, но остановился. — Что вы хотите сказать, товарищ Газукин?

— А вот что. Ещё раз говорю: нам другого завклуба не нужно.

— Всё ясно. — Алябьев кивнул. — Со своей стороны скажу: я давно уже присматриваюсь к Гусарову. Первый раз в жизни вижу завклуба по призванию. Мы чуть не сделали двойную ошибку — чуть было не отказались от способного работника и, кроме того, могли сбить человека с избранного пути. Товарищи написали нам, указали на эти ошибки, подсказали правильное решение. Вот и давайте решать. Председателю стройкома предоставляю слово первому, поскольку дело это главным образом касается профсоюза. Товарищ Середа, как вы смотрите, возьмём его?

— Что ж, я думаю, возьмём?.. — Середа посмотрел на Медведева.

— Это что — ответ или вопрос? — сказал Алябьев. Все засмеялись.

— Хе-хе... Я думаю, ответ? — опять спросил Середа, и снова грохнул дружный смех.

— Как вы, Максим Дормидонтович? — Алябьев повернулся к Медведеву. Тот медленно наклонил голову: согласен.

— Будем голосовать?

— Утвердить! — послышались голоса.

— Всё! Можете идти! — весело сказал, почти крикнул Алексей Петрович. — И сейчас же учиться! Готовьтесь — будет у нас вечерняя школа. Кончите десятый — куда-нибудь ещё пошлём, по специальности. И смотрите — чтоб было весело в клубе!

Так решила наконец судьба Фёдора. Он выскочил из парткабинета, прыгнул с крыльца и в темноте побежал по доскам к красному уголку.

— Мария Фоминишна! — крикнул он, распахивая дверь. — Никуда не еду! Остаюсь!

Библиотекарца уже превратила один угол барака в книгохранилище. Она разложила книги высокими стопами на лавках и, сидя за столом в своей новой библиотеке, заполняла карточки.

— Я ни секунды не сомневалась, — сказала она, серьёзно взглянув на Фёдора поверх очков. — Я была уверена, что буду работать с Гусаровым — автором заметки. Вот посмотрите — там слева технические книги. Вы о них писали. Что могла — достала.

Фёдор взял наудачу один том. И вдруг увидел под ним три одинаковые книжки в синих обложках из толстой бумаги. «Измельчение руд» — прочитал он. Перевернул несколько страниц, пёстрых от формул, таблиц и графических сеток. И вспомнил Алексея Петровича — не и. о. секретаря

партийной организации, а того, робкого, без шапки, с медленно поднимающимися волосами, перебирающего фотографии. «Она одна-то одна — любовь, да не всегда во-время приходит», — подумал он, глядя на мелькающие формулы, цепеня. И, если Самобаев прав, Алексею Петровичу не выжечь никогда из души этот свет, он останется на всю жизнь, как память о самой великой и тонкой пробе для человека. Фёдор вдруг увидел неизмеримую высоту и силу этого простодушно улыбающегося инженера с мальчишеским, надтреснутым голосом.

— Мария Фоминишна, разрешите, я подарю одну такую книжку знакомому инженеру. Он очень просил меня... Можно сказать, надоумил...

— Подарите. Книга — хороший подарок.

И Федя, улыбаясь, говоря что-то себе под нос, зашагал к управлению. Он дождался конца заседания и встретил Алексея Петровича на крыльце.

— Алексей Петрович! Можно на минутку? Вот книга пришла... Вы говорили тогда... Это не для вас?

— Книга? Ну-ка, что за книга? А-а-а...

Он стал смотреть в сторону, вниз, словно гляделся в тот же пруд, куда смотрела днём Антонина Сергеевна.

— Спасибо! — Он очнулся, обнял Федю и легонько, тепло встряхнул его. Потом вложил книгу Фёдору в руки, насильно согнул его пальцы, чтобы книга не вывалилась. — Нет, Федя. Не мне. Другому. Спасибо, дружок, ещё раз.

В это время в темноте около крыльца прошёл с гитарой Фаворов между двумя девушками-лаборантками.

— Ему только не отдавай, — сказал негромко Алексей Петрович, глядя Фаворову вслед. — А ещё лучше — зарегистрируй. Пусть библиотекарь выдаёт. Так будет лучше. Ну, будь здоров. Успокоился? Ну и хорошо. Давай. А я сейчас еду.

— Куда?

— Далеко. На Суртанху. Месяца на полтора. Там, кажется, большое дело нашли. Ребята мои звонили. А оттуда — на самолёт и в Москву. В отпуск. К семье. К семье, — повторил он с особенным нажимом. И простодушно улыбнулся. — Ну, завклуб, надеюсь на твои успехи! Будь здоров!

И сбежал с крыльца в темноту. Там, в темноте, зашумел мотор «газика», машина стрельнула красной искрой и укатила.

А Федя постоял на крыльце, потом вошёл в управление, в парткабинет. Не обращая внимания на сторожиху, которая переставляла стулья, он взял с подоконника банку с клеем, обернул книжку газетой и заклеил. Потом перешёл к столу и написал на пакете печатными буквами: «Здесь. А. С. Шубиной». Вышел на крыльцо, оглянулся и сбежал по ступенькам в темноту, пахнущую молодой листвой тополя, — туда, где висел на стене почтовый ящик. Щель оказалась достаточно широкой. Книга упала в ящик. Надо полагать, это был в посёлке первый пакет с адресом: «Здесь».

«Пусть ещё раз улыбнётся», — подумал Фёдор. Выждал несколько секунд, прынул в сторону от ящика и, громко стуча по доскам, пошёл к себе в барак. Он и сам не заметил, как запел, загудел что-то себе под нос. Это не было похоже на бессмысленный птичий свист сытого человека. Пока Федя шёл к себе, песня его несколько раз менялась — была то весёлой, то задумчивой, то грустной: песня человека, живущего полной жизнью. Такой человек, как известно, стремится ко многому, и ему всегда чего-то нехватает.



---

А. ТВАРДОВСКИЙ  
★  
**ЗА ДАЛЮ — ДАЛЬ**

*(Из путевого дневника)\**

1

Пора! Ударил отправленье  
Вокзал, огнями залитой,  
И жизнь, что прожита с рожденья,  
Уже как будто за чертой.

Я видел, может быть, полсвета  
И вслед за веком жить спешил,  
А между тем дороги этой  
За столько лет не совершил,

Хотя своей считал дорогой  
И про себя её берёг,  
Как книгу, что прочесть до срока  
Всё собирался и не мог.

Мешало многое другое,  
Что нынче в памяти у всех.  
Мне нужен был запас покоя,  
Чтоб ей отдаться без помех.

Но книги первую страницу  
Я открываю в срок такой,  
Когда покой, как говорится,  
Опять уходит на покой...

Я еду. Малый дом со мною,  
Что каждый в путь с собой берёт.  
А мир огромный за стеною,  
Как за бортом вода, ревет.

Он над моей поёт постелью  
И по стеклу сечёт крупой,  
Дурной безвременной метелью  
Свистит и воеет вразнобой.

Он полон сдавленной тревоги,  
Беды, что очереди ждёт.  
Он здесь ещё слышной, в дороге,  
Лежащей прямо на восход...

---

\* Публикуемые главы являются частью большой работы задуманной автором.

Я еду. Спать бы на здоровье,  
Но мне покамест не до сна:  
Ещё огнями Подмосковья  
Снаружи ночь озарена.

Ещё мне хватит этой полки,  
Ещё московских суток жаль.  
Ещё такая даль до Волги,  
А там-то и начнётся даль —  
За той великой водной гранью.

И эта лестница из шпал,  
Пройдя Заволжье,  
Предуралье,  
Взойдёт отлого на Урал,  
Урал, чьей выработки сталью  
Звенит под нами магистраль.

А за Уралом —  
Зауралье,  
А там своя, иная даль.

А там Байкал, за тою далью,  
В полсуток обогнуть едва ль.  
А за Байкалом —  
Забайкалье,  
А там ещё другая даль,

Что обернётся далью новой,  
А та, неведомая мне,  
Ещё с иной, большой, суровой,  
Сомкнётся и пройдёт в окне...

А той порой, отменно точный,  
Всего пути исполнив срок,  
Придёт состав дальневосточный  
На Дальний, собственно, Восток.

Где перед станцией последней,  
У пограничного столба,  
Сдаётся мне, с земли соседней  
Глухая слышится пальба...

Но я ещё с Москвою вместе,  
Ещё во времени одном.  
И, точно дома перед сном,  
Её последних жду известий.

Она свой голос подаёт  
И мне в моей дороге дальней.  
А там из-за моря восход  
Встаёт, как зарево, печальный.

И день войны, нещадный день,  
Вступает в горы и долины,  
Где городов и деревень  
Дымятся вновь и вновь руины.

И длится вновь бессонный труд,  
Страда защитников Кореи.  
~~С утра усталые режут~~  
Береговые батареи.

Близка, видна из дымной мглы  
Броня бортов и башен серых.  
— Огонь, огонь! —  
Ревут стволы,  
Чтоб защитить от моря берег.

Под небом огненным приют,  
В горах скитаясь, ищут семьи.  
— Огонь, огонь! —  
Зенитки бьют,  
Чтоб защитить от неба землю.

Разор и плен в родном краю  
И смерть несут враги народу.  
— Огонь, огонь! —  
Народ в бою,  
Чтоб защитить от них свободу...

Идут бои, горит земля.  
Не нов, не нов жестокий опыт:  
Он в эти горы и поля  
Перенесён от стен Европы.

И вы, что горе привезли  
На этот берег возрождённый,  
От вашей собственной земли  
Всем океаном отделённый, —

Хоть так, хоть сяк рядитесь вы,  
Но ошибётся мир едва ли:  
Мы вас встречали у Москвы  
И до Берлина провожали.

Как нам ни памятна война,  
Но в дни грозы, борьбы, страданья  
Мы знали, чья была вина,  
Кого постигнет наказанье.

Народ — подвижник и герой —  
Оружье зла оружием встретил.  
За грех войны карал войной,  
За смерть печатью смерти метил.

В борьбе исполнен новых сил,  
Он в годы грозных испытаний  
Восток и Запад пробудил —  
И вот полмира в нашем стане.

Что ж, или тот урок забыт,  
И вновь, под новым только флагом,  
Живой душе война грозит,  
Идёт на мир знакомым шагом.

И, чуждый жизни, этот шаг,  
Врываясь в речь ночных известий,  
У человечества в ушах  
Стоит, как явь и как предвестье.

С ним не забыться, не уснуть,  
С ним не обвыкнуться и не сжиться.  
Он — как земля во рву на грудь  
Зарытым заживо — ложится...

Дорога дальняя моя,  
Окрестный мир земли обширной,  
Родные русские поля,  
В ночи мерцающие мирно,

Не вам ли памятни года,  
Когда по этой магистрали  
Во тьме оттуда и туда  
Составы без огней бежали.

Когда тянулись в глубь страны  
По этой насыпи и рельсам  
Заводы — беженцы войны —  
И с ними люди — погорельцы.

Когда, стволы зениток ввысь  
Подняв над «улицей зелёной»,  
Безостановочно неслись  
Туда, на запад, эшелоны,

И только, может, мельком взгляд  
Тоски немой и бесконечной  
Из роты маршевой солдат  
Кидал на санитарный встречный...

Та память вынесенных мук  
Жива, притихшая, в народе,  
Как рана, что нет-нет и вдруг  
Заговорит к дурной погоде...

Но, люди, счастье наше в том,  
Что мы хотим его упорно,  
Что на века свой строим дом,  
Свой мир живой и рукотворный.

Он всех людских надежд оплот,  
Он всем людским сердцам доступен.  
Его ли смерти мы уступим?..

На Спасской башне полночь бьёт...

## 2

Ещё сквозь сон на верхней полке  
Расслышал я под стук колёс,  
Как слово первое о Волге  
Негромко кто-то произнёс.

Встаю — вагон с рассвета в сборе,  
Теснясь у каждого окна,  
Уже толпится в коридоре,—  
Уже вблизи была она.

И пыл волнения необычный  
Всех сразу сблизил меж собой.  
Как перед аркой пограничной  
Иль в первый раз перед Москвой.

И мы стоим с майором в паре,  
Припав к стеклу, плечо в плечо,  
С кем ночь в купе одном проспали  
И не знакомились ещё.

Стоим и жадно курим оба,  
Полны взаимного добра,  
Как будто мы друзья до гроба  
Иль вместе выпили с утра.

И уступить спешим друг другу  
Мы лучший краешек окна.  
И вот мою он тронул руку  
И словно выдохнул:

— Она!

Она! — И тихо засмеялся,  
Как будто Волгу он, сосед,  
Мне обещал, а сам боялся.  
Что вдруг её на месте нет.

— Она! —

И справа, недалёко,  
Моста не видя впереди,  
Мы видим плёс её широкий  
В разрыве поля на пути.

Казалось, поезд этот с ходу —  
Уже спасенья не проси —  
Взлетит, внизу оставив воду,  
Убрав колёса, как шасси.

Но нет, смиренно ход убавив,  
У будки крохотной поста  
Втянулся он, как подобает,  
В тоннель решётчатый моста

И загремел над ширью плёса,  
Покамест сотни звонких шпал,  
Поспешно лёгших под колёса,  
Все до одной не перебрал...

И не успеть взглядеться толком,  
А вот уже ушла из глаз  
И позади осталась Волга,  
В пути не покидая нас,

Не уступая добровольно  
Раздумий наших и речей  
Ничьей иной красе окольной  
И даже памяти ничьей.

Ни этой дали, этой шири,  
Что новый край за ней простёр.  
Ни дерзкой славе рек Сибири,  
Коль их касался разговор.

Ни заграницам отдалённым,  
Ни любопытной старине,  
Ни городам, вчера рождённым,  
Как будто взятым на войне.

Ни новым замыслам учёным,  
Ни самым, может быть, твоим  
Воспоминаньям бережёным,  
Местам, делам и дням иным...

Должно быть, той влекущей силой,  
Что люди знали с давних лет,  
Она сердца к себе манила,  
Звала их за собою вслед.

Туда, где нынешнею славой  
Не смущена ещё ничуть,  
Она привычно, величаво  
Свой древний совершала путь...

Семь тысяч рек — ни в чём не равных:  
И с гор стремящих бурный бег  
И меж полей в изгибах плавных  
Текущих вдаль, — семь тысяч рек

Она со всех концов собрала —  
Больших и малых до одной,  
Что от Валдая до Урала  
Избороздили шар земной.

И в том родстве переплетённом,  
Одной причастные семье,  
Как будто древом разветвлённым  
Расположились по земле.

Пусть воды их в её течение  
Неразличимы, как одна.  
Краёв несчётных отраженье  
Уносит волжская волна.

В неё смотрелось пол-России:  
Равнины, горы и леса,  
Сады и парки городские,  
И вся наземная краса.

Кремлёвских стен державный гребень,  
Соборов главы и кресты,



Ракиты старых сельских гребель,  
Многопролётные мосты,

Заводы, вышки буровые,  
Деревни с пригородом смесь,  
И школьный дом, где ты впервые  
Узнал, что в мире Волга есть.

Вот почему нельзя не верить,  
Любуясь этою волной,  
Что сводит Волга — берег в берег —  
Восток и Запад над собой,

Что оба края воедино  
Над нею сблизились навек,  
Что Волга — это середина  
Земли родной. Семь тысяч рек!

Недаром наш народ веками,  
Невольный вздох тая в груди,  
С ней тосковал об океане,  
Куда ей не было пути.

И это чувство поколений  
И эту русскую нужду  
Великий вождь Владимир Ленин  
Меж прочих дел держал в виду.

И, уходя от нас, оставил  
Среди иных и тот завет,  
Что в наши дни исполнил Сталин,  
Защитник Волги в годы бед.

В степи к назначенному сроку,  
Извечный свой нарушив ход,  
Она пришла донской дорогой  
В бескрайний плёс всемирных вод.

Её стремленью уступила  
Водораздельная гора.  
И стало явью то, что было  
Мечтой ещё царя Петра.

И знают все на свете страны,  
Все острова, материки:  
Сроднились воды океана  
И Волги-матушки реки.

Пусть в океанском том смешенье  
Её волна растворена,  
Земли родимой отраженье  
Уже и там несёт она

И, в эту даль нас провожая,  
Напоминает нам сейчас,  
Мол, у меня вы все — волжане,  
А я — одна у всех у вас.

И званье — матушка — носила  
В пути своём не век, не два  
Лишь я, да матушка-Россия,  
Да с нами матушка-Москва.

Своим — своя, чужим — чужая,  
Я службу гордую несу,  
Грядущей славой мир венчая,  
Его величье и красу,

Его незыблемую силу,  
Его на свете торжество,  
Его Москву, его Россию  
И друга первого его.

## 3

На хуторском глухом подворье,  
В тени обкуренных берёз  
Стояла кузница в Загорье,  
И я при ней с рожденья рос.

И отсвет жара горнового  
Под закопчённым потолком,  
И свежесть пола земляного,  
И запах дыма с деготком

Привычны мне с тех пор, пожалуй,  
Как там, взойдя к отцу в обед,  
Мать на руках меня держала,  
Когда ей было двадцать лет...

Я помню нашей наковальни  
В лесной тиши сиротский звон,  
Такой усталый и печальный  
По вечерам, как будто он

Вещал вокруг о жизни трудной,  
О скудном выручкою дне  
В той небогатой, малолюдной,  
Негромкой нашей стороне,

Где меж болот, кустов и леса  
Терялись бойкие пути;  
Где мог бы всё своё железо  
Мужик подмышкой унести;

Где был заказчик — гость случайный,  
Что к кузнецу раз в десять лет  
Ходил, как к доктору, от крайней  
Нужды — когда уж мочи нет.

И этот голос наковальни,  
Да скрип мехов, да шум огня  
С далёкой той поры начальной  
В ушах не молкнет у меня.

Не молкнет память жизни бедной,  
Обидной, горькой и глухой,  
Пускай исчезнувшей бесследно,  
С отцом ушедшей на покой.

И пусть она не повторится,  
Но я с неё свой начал путь,  
Я и добром, как говорится,  
Её обязан помянуть

За все ребячьи впечатленья,  
Что в зрелый век с собой принёс,  
За эту кузницу под тенью  
Дымком обкуренных берёз.

На малой той частице света  
Была она для всех вокруг  
Тогдашним клубом, и газетой,  
И академией наук.

И с топором отхожим плотник,  
И старый воин — грудь в крестах,  
И местный мученик — охотник  
С ружьишком ветхим на гвоздях,

И землемер, и дьякон медный,  
И в блёстках сбруи коновал,  
И скупщик лиха Ицка бедный, —  
И кто там только не бывал!

Там был приют суждений ярых  
О недалёкой старине,  
О прежних выдумщиках — барах,  
Об ихней пище и вине;

О загранице и России,  
О хлебных сказочных краях,  
О боге, о нечистой силе,  
О полководцах и царях;

О нуждах мира волостного,  
Затмениях солнца и луны,  
О наставленьях Льва Толстого  
И притесненьях от казны...

Там человеческой природе  
Отрада редкая была  
Побыть в охоту на народе,  
Забуть, что жизнь невесела.

Сиди, пристроившись в прохладе,  
Чужой махоркою дыми,  
Кряхти, вздыхай — не скуки ради.  
А за компанию с людьми.

И словно всяк — хозяин-барин,  
И ни к чему спешить домой...

Но я особо благодарен  
Тем дням за ранний навык мой.

За то, что там ребёнком малым  
Познал, какие чудеса  
Творит союз огня с металлом  
В согласьи с волей кузнеца.

Я видел в яви это диво,  
Как у него под молотком  
Рождалось всё, чем пашут ниву,  
Корчуют лес и рубят дом.

Я им гордился бесконечно,  
Я знал уже, что мастер мог  
Тем молотком своим кузнечным  
Сковать такой же молоток.

Я знал не только понаслышке,  
Что труд его в большой чести,  
Что без железной кочедышки  
И лаптя толком не сплести.

Мне с той поры в привычку стали  
Дутья тугой, бодрящий рёв,  
Тревожный свет кипящей стали  
И под ударом взрыв паров,

И садкий бой кувалды древней,  
Что с горделивою тоской  
Звенела там, в глуши деревни,  
Как отзвук славы заводской...

Полжизни с лишком миновало,  
И дался случай мне судьбой  
Кувалду главную Урала  
В работе видеть боевой.

И хоть волною грозной жара  
Я был далёко отстранён,  
Земля отчётливо дрожала  
Под той кувалдой в тыщи тонн.

Казалось, с каждого удара  
У всех под пятками она  
С угрюмым стоном припадала,  
До скальных недр потрясена...

И пусть тем грохотом вселенским  
Я был вначале оглушён,  
Своей кувалды деревенской  
Я в нём родной расслышал звон.

Я запах, издавна знакомый,  
Огня с окалиной вдыхал,  
Я был в той кузнице, как дома,  
Хоть знал, что это был Урал.

Урал! Завет веков и вместе —  
Предвестье будущих времён.  
И в наши души, точно песня,  
Могучим басом входит он —

Урал! Опорный край державы,  
Её добытчик и кузнец,  
Ровесник древней нашей славы  
И славы нынешней боец.

Когда на запад эшелоны,  
На край пылающей земли  
Ту мощь брони незачехлённой  
Стволов и гусениц везли, —

Тогда, бывало, поголовно  
Весь фронт огромный повторял  
Со вздохом нежности сыновней  
Два слова:

— Батюшка-Урал...

Урал! И ныне люд вагонный  
Среди своих бесед, забав,  
Когда, добром его гружённый,  
На встречной воздух рвёт состав, —

Невольню связь речей теряя,  
На мир как будто шапку снял,  
Примолкнет, сердцем повторяя  
Два слова:

— Батюшка-Урал..

Урал! Я нынче еду мимо,  
И что-то ежалося в груди:  
Тебя, как будто край родимый  
Я оставляю позади.

Но сколько раз в дороге дальней  
Я повторю — как лёг, как встал —  
И всё теплей и благодарней  
Два слова:

— Батюшка-Урал...

Урал! Невольною печалью  
Я отдаю прощанью дань...  
А за Уралом —  
Зауралье,  
А там своя, иная даль.

## 4

Иная даль, иная зона,  
И не гранит под полотном —  
Глухая мякоть чернозёма,  
И степь без края за окном.

И на её равнине плоской —  
Где малой рощицей, где врозь —

Старообразные берёзки  
Белеют — голые, как кость.

Идут, сквозные, негустые,  
Вдоль горизонта зелена  
Да травы изжелта-седые,  
Под ветром ждущие огня.

И час за часом — край всё шире,  
Уже он день и два в окне,  
Уже мы едем в той стране,  
Где говорят:  
— У нас, в Сибири...

Сибирь! Не что-то там вдали,  
Во мгле моей дороги длинной,  
Не бог весть где, не край земли,  
А край такой же срединный,

Как на Урале был Урал,  
А там — Поволжье, Подмосковье,  
И всё, что ты уже терял  
За неустанной встречной новью.

И ненасытная мечта  
В пути находит неизменно:  
Две дали разом — та и та —  
Влекут к себе одновременно...

Стожок подщипанный сенца,  
Колодец, будка путевая.  
И в оба от неё конца  
Уходят, землю обвивая,  
Две эти дали — как одна.  
И обе вдруг душе предстали.  
И до краёв душа полна...  
Теплом восторга и печали...

Опять рассвет вступил в окно —  
Ему всё ближе путь с востока.  
А тот стожок давным-давно  
Уже на западе далёко.

И словно год назад прошли  
Уральской выемки откосы,  
Где громоздились из земли  
Пласты породы, как торосы.

И позади — вдали места,  
Что так же шли в окне вагона.  
И Волга — с волжского моста —  
И все за нею перегоны.

Столичный пригород, огни,  
Что этот поезд провожали,  
И те, что в этот час в тени  
Или в лучах закатных дали.

С дороги — через всю страну —  
Я вижу отчий край смоленский  
И вспомнить вновь не премину  
Мой первый город деревенский.

Он славой с древности гремел,  
Но для меня в ребячью пору  
Названья даже не имел —  
Он был один, был просто город.

И, как тогда я ни был мал,  
Я не забыл и не забуду  
Тот запах, что в избу вступал  
С отцом, приехавшим оттуда.

Как будто с поскрипом сеней,  
С морозным облаком надворья,  
В былинках сена из саней  
Сам город прибывал в Загорье.

Нездешний, резкий, привозной,  
Тревожно-праздничный и пряный,  
То запах жизни был иной —  
Такой несбыточной и странной.

Он долго жил для нас во всём —  
В гостинце каждом и покупке,  
В нагольном старом полушубке,  
Что побыл в городе с отцом.

Волненью давнему парнишки  
Доступна полностью душа,  
Как вспомню запах первой книжки  
И самый вкус карандаша.

Всем, чем к земле родной привязан,  
Чем каждый день и час дышу,  
Я, как бы ни было, обязан  
Той книжке и карандашу,

Тому ребячьему смятенью,  
С каким касался их рукой  
И приступал к письму и чтению —  
Науке первой городской.

И что ж такого, что с годами  
Я к той поре глухим не стал  
И всё взыскательнее память  
К началу всех моих начал.

Я счастлив тем, что я оттуда,  
Из той зимы, из той избы.  
И счастлив тем, что я не чудо  
Особой, избранной судьбы.

Мы все — почти что поголовно —  
 Оттуда люди, от земли,  
 И дальше деда родословной  
 Не знаем, предки не вели,

Не беспокоились о древе,  
 Рождались, жили в свой черёд,  
 Хоть род и мой — он так же древен,  
 Как, скажем, твой, читатель, род...

Читатели! Друг из самых лучших,  
 Из всех попутчиков попутчик,  
 Из всех своих особо свой,  
 Всё кряду слушать мастер дивный,  
 Неприхотливый, безуныный  
 (Не то что слушатель иной,  
 Что нам встречается в натуре:  
 То у него сонливый вид,  
 То он свистит, глаза прищуря,  
 То сам прорваться норовит).

Пусть ты меня уже оставил,  
 Загнув странички уголок,  
 Зевнул, — хоть это против правил, —  
 И даже пусть на некий срок  
 Вздремнул ты, лёжа или сидя,  
 С моею книжкой под рукой, —  
 Того не зная и не видя,  
 Я на тебя и не в обиде —  
 Я сам, по слабости, такой.

Продолжим, стало быть, беседу.  
 Для одного тебя, учти,  
 Я с юных дней иду и еду  
 И столько лет уже в пути.

И всё одна командировка.  
 Она мне слишком дорога.

Но что там — вроде остановка?  
 — Какая станция?  
 — Тайга.

Состав стоит, пробег немалый  
 В пути оставив за хвостом.  
 И от уставшего металла  
 Внизу течёт звенящий стон.

Снаружи — говор оживлённый,  
 В окне перрон, как днём, светло.  
 Опять за стенкою вагонной  
 Полтыщи вёрст в ночи прошло.



Прошли мосты, мелькнули реки,  
Минули целые края,  
Которых, может быть, вовеки  
Вот так и не увижу я.

И что за земли — знать не буду —  
Во сне ушли из-под колёс.  
А тут ещё — весны причуды —  
Не влясть ли время подалось.

Как будто мы в таёжный пояс  
Вошли за станцией Тайгой.  
Теплом полей обдутый поезд  
Как будто взял маршрут другой.

Как будто вдруг сменился климат.  
Зима — и всё вокруг бело.  
Сухой пурги дремотным дымом  
Костлявый лес заволокло.

Но с путевой надёжной сталью  
Смыкая туго сталь колёс,  
Спешит состав за новой далью.  
Гребёт пространство паровоз

И разрывает мир единый,  
Что отступает с двух сторон,  
На те большие половины,  
На юг и север вдоль окон.

Сквозь муть пурги ещё невнятно  
Вступает новый край в права.  
А где-то там, в дали обратной, —  
Урал, и Волга, и Москва,

Смоленск, мосты и переправы  
Днепра, Березины, Двины,  
Весь запад — до границ державы  
И дальше — по следам войны,

По рубежам её остывшим,  
По блиндажам её оплывшим,  
По стольким памятным местам...

Я здесь, в пути, но я и там —  
И в той дороге незабвенной,  
У тех у дорогих могил,  
Где ты, мой друг поры военной,  
С войсками фронта проходил.

Хоть та пора всё дале, дале,  
Всё больше вёрст, всё больше дней.  
Хоть свет иной, желанной дали  
В окне вагона всё видней.

А скажем прямо, что не шутки —  
 Уже одно житьё-бытьё,  
 Когда в дороге третьи сутки —  
 Ещё едва ли треть её.  
 Когда в пути почти полмира —  
 Через огромные края —  
 Пройдёт вагон — твоя квартира,  
 Твой дом и улица твоя...

В такой дороге крайне дорог  
 Особый лад на этот срок,  
 Чтоб всё тебе пришлось впору,  
 Как добрый по ноге сапог.

И время года, и погода,  
 И звук привычного гудка,  
 И даже радио в охоту,  
 И самовар проводника...

С людьми в дороге надо сжиться,  
 Чтоб стали, как свои, тебе  
 Впервые встреченные лица  
 Твоих соседей по купе.

Как мой майор, седой и тучный,  
 С краснотцей жёсткой бритых щёк,  
 Иль этот старичок научный,  
 Сквозной, как молодой сморчок.

И чтоб в привычку стали вскоре,  
 Как с давних пор заведено,  
 Полузнакомства в коридоре,  
 Где на двоих-троих окно.  
 Где моряка хрустящий китель  
 В соседстве с мягким пиджаком,  
 Где областной руководитель —  
 Не в кабинете со звонком.  
 Где в орденах старик кудрявый  
 Таит в улыбке торжество  
 Своей, быть может, громкой славы,  
 Безвестной спутникам его.  
 Где дама строгая в пижаме  
 Загромоздит порой проход,  
 Смущая щёголя с усами,  
 Что не растут такие сами  
 Без долгих, вдумчивых забот.  
 Где все — как все: горняк, охотник,  
 Путеец, врач солидных лет,  
 И лысый творческий работник,  
 С утра освоивший буфет.  
 Все сведены дорожной далью —  
 И тот, и та, и я, и вы,  
 И даже — к счёту — поп с медалью  
 Восьмисотлетия Москвы...

И только держатся особо,  
Друг другом заняты вполне,—  
Выпускники, наверно, оба —  
Молодожёны в стороне.  
Рука с рукой — по-детски мило —  
Они у крайнего окна  
Стоят посередине мира —  
Он и она, муж и жена.  
Своя безмолвная беседа  
У этой новенькой четы.  
На край земли, быть может, едут,  
А может — только до Читы.  
Ну, до какой-нибудь Могочи,  
Что за Читою невадали.  
А может, путь того короче.  
А что такое край земли?  
Тот край и есть такое место,  
Как раз такая сторона,  
Куда извечно, как известно,  
Была любовь устремлена.  
Ей лучше знать, что всё едино,  
Что место, где ни загадай,  
Оно — и край, и середина,  
И наша близь, и наша даль.  
А что ей в мире все напасти,  
Когда при ней её запас!  
А что такое в жизни счастье? —  
Вот это самое как раз —  
Их двое, близко ли, далёко,  
В любую часть земли родной,  
С надеждой ясной и высокой  
Держащих путь — рука с рукой...

Нет, хорошо в дороге долгой  
В купе освоить уголок  
С окошком, столиком и полкой  
И ехать, лёжа поперёк  
Дороги той.  
И ты не прежний,  
Не тот, чем звался, знался, жил,  
А безмянный, безмятежный,  
Спокойный дальний пассажир.  
И нет на лбу иного знака,  
Дымишь, как всякий табакур  
Отрада полная.  
Однако  
Не обольщайся чересчур...

Хоть не в твоей совсем натуре  
Трибуной тешиться в пути,  
Но эту дань литературе  
И здесь приходится нести.

Провинциальный ли, столичный —  
Читатель наш воспитан так,  
Что он особо любит личный

Иметь с писателем контакт,  
 Заполнить устную анкету  
 И на досуге, без помех  
 Призвать, как принято, к ответу —  
 Не одного тебя, а всех.

Того-то вы не отразили,  
 Того-то не дали опять.  
 А сколько вас в одной России?  
 Наверно, будет тысяча пять.  
 Мал, дело, собственно, не в счёте,  
 Но мимо вас проходит жизнь,  
 А вы, должно быть, водку пьёте,  
 По кабинетам запершись.

На стройку вас, в колхозы срочно.  
 Оторвались, в себя ушли...

И ты киваешь:  
 — Точно, точно,  
 Не отразили, не учли...

Но вот другой:  
 — Ах, что там — стройка,  
 Завод, колхоз! Не в этом суть.  
 Бывает, их наедет столько —  
 Творцов, певцов. А толку — чуть.  
 Роман заранее напишут,  
 Приедут, пылью той подышат,  
 Потычут палочкой в бетон,  
 Сверяя с жизнью первый том.  
 Глядишь — роман, и всё в порядке:  
 Показан метод новой кладки,  
 Отсталый зам, растущий пред  
 И в коммунизм идущий дед.  
 Она и он — передовые,  
 Мотор, запущенный впервые,  
 Парторг, буран, прорыв, аврал,  
 Министр в цехах и общий бал.

И всё похоже, всё подобно  
 Тому, что есть или может быть,  
 А в целом — вот как несъедобно,  
 Что в голос хочется завывать.  
 Да неужели в самом деле  
 Тоска такая всё кругом —  
 Все наши дни, труды, идеи  
 И завтра нашего закон?  
 Нет, как хотите, добровольно  
 Не соглашусь, не уступлю.  
 Мне в жизни радостно и больно,  
 Я верю, мучаюсь, люблю.  
 Я счастлив жить, служить Отчизне,  
 Я за неё ходил на бой.  
 Я и рождён на свет для жизни —  
 Не для статьи передовой.  
 Кончаю книгу в раздраженье.

С души воротит: где же край?  
А края нет. Есть продолжение.  
Нет, братец, хватит. Совесть знай.

И ты киваешь:  
— Верно, верно.  
Понятно, критика права...

Но ты их слышать рад безмерно —  
Все эти горькие слова.

За их судом и шуткой грубой  
Ты различаешь без труда  
Одно, что дорого и любо  
Душе, мечте твоей всегда, —  
Желанье той счастливой встречи  
С тобой или с кем-нибудь иным,  
Где жар живой, правдивой речи,  
А не вранья холодный дым.  
Где всё твоё незаменимо,  
И есть за что тебя любить,  
И ты тот самый, гот любимый,  
Каким ещё мечтаешь быть.

И ради той любви бесценной,  
Забыв о горечи годов,  
Готов трудиться ты и денно  
И ночью — душу сжечь готов.  
Готов на все суды и толки  
Махнуть рукой. Всё в этом долге,  
Всё в этой доблести! А там...

Вдруг — новый голос с верхней полки:  
— Не выйдет...  
— То есть как?  
— Не дам...

Не то чтоб это окрик зычный,  
Нет, но особый жёсткий тон,  
С каким начальники обычно  
Отказ роняют в телефон.

— Не выйдет, — протянул вторично.  
— Но кто вы там, над головой?  
— Ты это знаешь сам отлично...  
— А всё же?  
— Я — редактор твой.

И с полки голову со смехом  
Мой третий свесил вдруг сосед:  
— Ты думал — что? Что ты уехал  
И от меня? Нет, милый, нет.  
Мы и в пути с тобой соседи,  
И всё я слышу в полусне.  
Лишь до поры мешать беседе,  
Признаться, не хотелось мне.  
Мне было попросту занятно,

Смотрю: ну до чего хорош,  
 Ну как горяч невероятно,  
 Как смел! И как ты на попятный  
 От самого себя пойдёшь.  
 Как, позабавившись игрою,  
 Ударишь сам себе отбой.  
 Зачем? Затем, что я с тобою —  
 Всегда, везде — редактор твой.

Ведь ты над белою бумагой,  
 Объятый творческой мечтой,  
 Ты, умник, без меня — ни шагу.  
 Ни строчки и ни запятой.  
 Я только мелочи убавлю  
 Там, сям — и ты как будто цел.  
 И всё нетронутым оставлю,  
 Что сам ты вычеркнуть хотел.  
 Там карандаш, а тут резинка,  
 И всё по чести, всё любя.  
 И в свет ты выйдешь, как картинка,  
 Какой задумал я тебя.

— Стой, погоди, — сказал я строго,  
 Хоть самого кидало в дрожь. —  
 Стой, погоди, ты слишком много,  
 Редактор, на себя берёшь.

И голос вкрадчиво снижая,  
 Он отвечает:  
 — Не беру.  
 Отнюдь. Я всё препоручаю  
 Тебе и твоему перу.  
 Мне самому-то нет расчёту  
 Корпеть, черкать, судьбу кляня.  
 Понятно? Всю мою работу  
 Ты исполняешь за меня.  
 Вот в чём секрет, аника-воин,  
 И спорить незачем теперь.  
 Всё так. И я тобой доволен  
 И не нарадуюсь, поверь.  
 Я всем тебя предпочитаю,  
 Примером ставлю: вот поэт,  
 Кого я просто не читаю:  
 Тут опасаться нужды нет.

И подмигнул мне хитрым глазом:  
 Мол, ты да я, да мы с тобой...  
 Но тут его прервал я разом:  
 — Поговорил — слезай долой.

В каком ни есть ты важном чине,  
 Но я тебе не подчинён.  
 По той одной простой причине,  
 Что ты не явь, а только сон  
 Дурной. Бездарность и безделье  
 Тебя, как пугало земли,

Зачав с угрюмого похмелья,  
На белый свет произвели.  
В труде, в страде моей бессонной  
Тебя и знать не знаю я.  
Ты есть за этой только зоной,  
Ты — тень одна. Ты — лень моя.  
Естряхнусь — и нет тебя в помине,  
И не слышна пустая речь.  
Ты только в слабости, в унынье  
Меня способен подстеречь,  
Когда, утратив пыл работы,  
И я порой клоню к тому,  
Что где-то, кто-то или что-то —  
Перу помеха моему...  
И о тебе все эти строчки  
Чтоб кто другой, смеясь, прочёл —  
Ведь я их выдумал до точки,  
Я сам. А ты-то здесь при чём!

А между тем народ вагонный,  
Как зал, заполнив коридор,  
Стоял и слушал возбуждённо  
Весь этот жаркий разговор...

И молча тешились забавой  
Майор с научным старичком  
И пустовала полка справа:  
В купе мы ехали втроём.  
И только — будь я суевером —  
Я б утверждать, пожалуй, мог,  
Что с этой полки запах серы  
В отдушник медленно протёк...

## 6

Когда в безвестности до срока,  
Не на виду ещё, поэт  
Творит свой подвиг одиноко,  
Заветный свой хранит секрет,  
Готовит людям свой подарок,  
В тиши затеянный давно, —  
Он может быть больным и старым,  
Усталым — счастлив всё равно.

И даже пусть найдёт морока —  
Нелепый толк, обидный суд,  
Когда бранить его жестоко  
На первом выходе начнут, —

Он слышит это и не слышит  
В заботах нового труда  
Тем часом он — поэт, он пишет,  
Он занимает города.

И всё при нём в том добром часе —  
Его Варшава и Берлин,  
И слава, что ещё в запасе,  
И он на свете не один.

И пусть за критиками следом  
В тот гордый мир войдёт жена,  
Коснувшись, к слову, за обедом  
Вопросов хлеба и ршена, —

Все эти беды — к малым бедам,  
Одна беда ему страшна.

Она придёт в иную пору,  
Когда он некий перевал  
Преодолеет, взойдёт на гору  
И отовсюду виден стал.

Когда он всеми шумно встречен,  
Самим Фадеевым отмечен,  
Пшеном в избытке обеспечен,  
Друзьями в классики намечен,  
Почти уже увековечен,  
И хватать писать — пропал запал.

Пропал запал. По всем приметам  
Твой горький день вступил в права.  
Все — звоном, запахом и цветом —  
Нехороши тебе слова.

Недостоверны мысли, чувства,  
Ты смотришь в них — не те, не те...  
И всё вокруг мертво и пусто,  
И тошно в этой пустоте.

Да, дело будто бы за малым,  
А хватать-похватать — и ни рожна.  
И здесь беда, что впрямь страшна,  
Здесь худо быть больным, усталым,  
Здесь горько молодость нужна!

Чтоб не смириться виновато,  
Не быть у прошлого в долгу,  
Не говорить: я мог когда-то,  
А вот уж больше не могу.

Но верным прежней быть гордыне,  
Когда ты щедрый, не скупой,  
И всё, что сделано доныне,  
Считаешь только черновой.

Когда, заминкой не встревожен,  
Ещё беспечен ты и смел,  
Ещё не думал, что положен  
Тебе хоть где-нибудь предел.



Когда, покамест суд да справа,  
 Богат, широк — полна душа —  
 Ты водку пьёшь ещё для славы,  
 Не потому, что хороша.

И врёшь ещё для интересу,  
 Что труд суров и жизнь сложна...  
 Ах, как ты горько, до зарезу,  
 Попозже молодость нужна!

Пришла беда — и вроде не с кем  
 Делиться этою бедой.  
 А время жмёт на все железки  
 И не проси его. — Постой,

Повремени, крутое время,  
 Дай осмотреться, что к чему.  
 Дай мне в пути поспеть со всеми.  
 А то, мол, тяжко одному.

И знай, поэт, ты нынче вроде  
 Как тот солдат, что от полка  
 Отстал случайно на походе,  
 И сушит рот ему тоска.

Бредёт обочиной дороги,  
 Туда ли, нет — не знает сам  
 И счёт в отчаянной тревоге  
 Ведёт потерянным часам.

Один в пути — какой он житель!  
 Догнать, явиться: виноват,  
 Отстал, взыщите, накажите!  
 А как наказан, так солдат,

Так свой опять — и дело свято.  
 Хоть потерпел, зато учён,  
 А что ещё там ждёт солдата,  
 То всё на свете нипочём...

Изведав горькую тревогу,  
 В беде уверившись вполне,  
 Я в эту бросился дорогу,  
 Я знал, она поможет мне.

Иль не меня четыре года.  
 Покамест шла войны страда,  
 Трепала всякая погода,  
 Мотала всякая езда.

И был мне тот режим не вреден,  
 Я жил со всеми наравне.  
 Давай-ка, брат, давай поедем,  
 Не столько свету, что в окне.

Скорее вон из кельи тесной,  
И все не так, и ты хорош, —  
Самообман давно известный,  
Давно испытанный, а всё ж —

Пусть трезвый опыт не перечит,  
Что нам дорога — лучший быт.  
Она трясёт и бьёт, а лечит.  
И старит нас, а молодит.

Понять ли доброму соседу,  
Что подо мной внизу в купе,  
Как сладки мне слова: я еду,  
Я еду — повторять себе.

И сколько есть в дороге станций,  
Наверно б, я на каждой мог  
Сойти с вещами и остаться  
На некий неизвестный срок.

Я рад любому месту в мире,  
Как новожил московский тот,  
Что счастлив жить в любой квартире,  
Какую бог ему пошлёт.

Я в скуку дальних мест не верю,  
И край, где нынче нет меня,  
Я ощущаю, как потерю  
Из жизни выбывшего дня

Я сердце по свету рассеять  
Готов. Везде хочу поспеть.  
Мне нужны разом юг и север,  
Восток и запад, лес и степь,

Моря и каменные горы,  
И вольный плёс равнинных рек,  
И мой родной далёкий город,  
И тот, где не был я вовек,

И те края, куда я еду,  
И те места, куда нет-нет  
По зарастающему следу  
Уводит память давних лет.

Есть два разряда путешествий:  
Один — пускаться с места вдаль,  
Другой — сидеть себе на месте,  
Листать обратно календарь.

На этот раз резон особый  
Их сочетать позволит мне.  
И тот и тот — мне кстати оба,  
И путь мой выгоден вдвойне.

Помимо прочего, при этом  
Я полон радости побыть  
С самим собою, с белым светом,  
Что в жизни вспомнить, что забыть.

Но знай, читатель, эти строки,  
С отрадой лёжа на боку,  
Сложил я, будучи в дороге,  
От службы как бы в отпуску,

Подальше как бы от начальства.  
И если доброй ты души,  
Ты на меня не ополчайся  
И суд свой править не спеши.

Не метусись, как критик вздорный,  
По пустякам не трать огня  
И не ищи во мне упорно  
Того, что знаешь без меня.

Повремени вскрывать причины  
С угрюмой важностью лица.  
Прочти хотя б до половины,  
Авось прочтёшь и до конца.

1950—1952.



---

---

АСКЕР ЕВТЫХ  
★  
У НАС В АУЛЕ

Повесть \*

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

1

**В**ся жизнь аула переместилась в степь. И хотя нет тут улиц и домов, площади и школы, но всё, что происходит обычно на улицах и в домах аула, можно теперь наблюдать в степи. Письма и газеты, новости и песни, сельмаг и девушка с аптекой — всё направилось сюда. День, когда начинается уборка, — необыкновенный и радостный в жизни людей, хотя они видели его много раз, каждое лето. Когда-то первый колос срезал старейший в семье, по обычаю затыкал его за пояс, чтобы не болела спина, — ведь надо низко пригибаться к земле, работая серпом. Теперь уборку хлеба начал самый младший, Иван Маль, и ему не надо было затыкать колос себе за спину, чтобы она не болела: он стоял на мостике комбайна, выпрямившись во весь рост.

По горизонту, растянувшись на много километров, проходят комбайны. Приняв намолоченное зерно, от них, как лодки от корабля, отчаливают и направляются к току тяжело груженные бестарки. В первый день их встречали все, а потом к ним привыкли, и только старый Айтеч остался бессменным часовым у дороги.

Показался в степи дед-пасечник и тем всех удивил — редко-редко покидал он свои владения, огороженные сухим, колючим кустарником, а теперь и его потянуло на простор. Из-под белых, как вата, бровей старика глядели зоркие, всё замечающие глаза; обветренное, загорелое лицо поражало своим живым выражением; только вот ноги, короткие, вывернутые, с трудом удерживали свою ношу, и старик еле передвигался, опираясь на толстую суковатую палку, отшлифованную временем и ладонями.

— Мустафова внучка? — спросил он, увидев у вагончика трактористов Саиду.

— Да, это я, дедушка, — ответила Саида.

Пасечник строго и внимательно взглянул на девушку, пошевелил белыми усами; в эту минуту он был похож на кролика, сосредоточенно жующего стебелёк травы.

— Хороша, хороша, — похвалил дед. — Вся в родителя. Тебе бы на пасеку, ты вся, как белый воск, горишь. На комбайне работаешь?

— На комбайне, дедушка...

— Да-да-да! — Дед качал большой белоснежной головой, прикрытой широкополой соломенной шляпой. — Очень хорошо, очень! Пойду погляжу, как они плывут, ваши корабли...

---

\* Окончание. Начало см. «Новый мир» № 5 с. г.

Айтөч встретил бестарку, взял из неё горсть зерна, как делал всегда, и, увидев пасечника, пошёл к нему навстречу.

— Ванька! — крикнул Айтөч.

Дед остановился, вскинул голову и, узнав приятеля, обрадованно загудел:

— Живой, крепкий!

— Как дуб! — Айтөч поднёс к губам зёрна, рассыпанные на шершавой ладони, сделал короткий вдох, и зёрна, как живые, подлетели и упали на влажный язык. Тогда, поглядывая в небо, чуть наклонив голову, прислушиваясь к хрусту, Айтөч стал разжёвывать их. — Хорош!

Он угостил зёрнами пасечника.

— Хорош! — подтвердил дед.

Айтөч был доволен, словно угостил деда чем-то таким, чего тот никогда не ел.

— Заходи, — пригласил пасечник. — Мёд нынче славный!

— Буду идти в район — отдохну у тебя.

— А зачем тебе в район?

— Схожу побалакаю с Лаптевым-старшим... И другие дела есть. Старый Мустафа думает, что, раз он член правления, значит всё может себе позволить. Ничего подобного!

— Ты насчёт огорода?

— Насчёт многого! Мне большой должности не надо... — Айтөч понизил голос, на лице появилось выражение скромного достоинства. — Он в штате? В штате! Ты в штате? В штате. Даже мальчишки-водовозы, и те у нас штатные. А мне предлагают то одно, то другое, то сюда, то туда... Я найду закон! Будто я не знаю, что на огороде сторож требуется по штату. Они боятся меня, потому что я не разрешу воровать помидоры. Человек идёт домой, мимоходом берёт себе десятка два. Чепуха, конечно. Но если человек идёт домой два раза на день, а таких дней пятьдесят, то это мало-много двести кило будет! По два рубля — уже четыреста! — доказывал Айтөч, обрадованный тем, что нащёлся собеседник, готовый терпеливо выслушать его от начала до конца.

— А чего другие сторожа смотрят? — возмутился пасечник. — Слепые, что ли?

— А кто тащит? Ихние же родственники!

— Вот оно что!

— Коробоз сказал мне: всё равно, Айтөч, своего мы добьёмся, и ты будешь у меня в штате...

Деды, договорившись о встрече на пасеке, пошли каждый своим путём. Айтөч продолжал ворчать про себя, глубоко уверенный, что он давно заслужил право значиться в штате колхоза. Только в штате, потому что быть в штате означало какую-то прочность, постоянство, а именно в этом-то и нуждался он, столетний человек, — в прочности, постоянстве.

## 2

Аминет не умела и не любила шумно выражать свою радость, не была щедрой на улыбки, но в эти дни, как бы она ни уставала, лицо её светилось тёплым, чистым светом, светом счастья. Высоко поднялись золотые колосья, налитые крупным зерном. Да, она сдержала своё слово перед Сталиным, и если бы он, учитель и друг, был сейчас рядом, то, наверно, сорвал бы колос, взвесил на ладони его тяжесть, сосчитал зёрна и поразовался вместе с нею изобилию, рождённому трудом..

Многим отличался этот год от прошлого. Раньше, например, солому собирали в небольшие копны и, если успевали, понемногу вывозили. Но большая часть оставалась в степи и гнила, а когда начиналась пахота,

солому сжигали. По ночам к небу вздымалось высокое пламя костров, днём над степью стоял тёмный дым, по серо-чёрному пеплу шли тракторы, поднимая зябь или готевя землю под посев озимых. В середине зимы на фермах били тревогу — нехватало подстилки и корма. Тогда вспоминали про солому, но было уже поздно.

В этом году её не сжигали. Следом за комбайнами шли тракторные волокуши. Они стягивали солому в одно место — на краю участка вырос огромный стог, уже вырисовывались очертания второго. По чистой земле шли тракторы, производя пахоту. Уборка и очистка поля, пахота и вывоз зерна — все эти работы шли одновременно.

Новым был и сцеп, который убирал хлеб на полях колхоза «Путь к коммунизму»: трактор вёл за собой не один, а два комбайна.

— Если у них выйдёт, это хорошо, — сказал Аслан, следя за работой сцепа. Он стоял в тени полевого вагончика и беспрестанно пил воду, нацеживая её из бочки. — Я не понимаю, откуда берёте воду? — сердито спросил он у водовоза. — Из речки, что ли?

— Для машин — из реки, а для людей родниковую привозим.

— А почему она тёплая?

— Нагревается...

— Хоть бы пива привезли! — пожаловался Аслан. — Не дело это! Торговля резко отстаёт от запросов!

Беспокоясь о воде и рассуждая о торговле, он имел в виду одного лишь потребителя — себя.

Подождал Аминет, положила ладонь на нагретую поверхность бочки.

— Это что ж такое? Отчего бочка стоит на солнцепёке? — строго спросила она у водовоза и тут же распорядилась: — Переставишь в тень. Будешь накрывать бочку соломой и поливать водой. Люди работают в поте лица, а ты их кипятком угощаешь! Нехорошо. Вылей воду и привези свежую! — И, не дожидаясь ответа, она ушла своим лёгким, спокойным шагом.

Аслан удивлённо посмотрел ей вслед: жара, пыль — отчего на лице этой женщины ни следа утомления? И бегают, как молоденькая, — то она на току, то у одного комбайнера, то у другого...

— Что это? — внезапно воскликнул Аслан, показывая в ту сторону, куда ушёл сцеп — Остановился?

— В третий раз! — сообщил один из ездовых, сворачивая с дороги на стерню.

Аслан был раздражён. Он слышал о сцепе давно. Ещё до войны сцеп применяли на Кубани, а в прошлом и нынешнем году на этот метод перешли многие комбайнеры; они убирали по пятьдесят, шестьдесят и даже семьдесят гектаров в сутки. Аслан обрадовался, когда сцеп появился и на полях колхоза, где он работал уполномоченным; если сцеп оправдает себя, это тоже зачтётся ему. Но уже первый день обнаружил неполадки в работе сдвоенного агрегата, а сегодня сцеп трижды останавливался.

Вечером на доске показателей выросли цифры: Якуб одним комбайном убрал двенадцать гектаров, а Маль двумя — шестнадцать.

— Так это же безобразие! — возмутился Аслан. — Шестнадцать разделить на два — это восемь гектаров! Какой смысл волочить два комбайна, не понимаю!

— Всё-таки это лишь начало, — заметил Рамазан, защищая Маля. — Обождём немного!

— Я уже не раз слышал это! — возразил Аслан. — В первый день Маль обкаткой занимался, во второй день сле убрал десять гектаров...

— Маль — молодой комбайнер, это тоже надо учесть.

— Я приветствую новаторство на наших полях. Партия придаёт ему чрезвычайно большое значение. Но если новаторство снижает темпы, —

Аслан пожал плечами, — я скажу, что это, конечно, не то... Одним комбайном Якуб убирает почти столько же, сколько Маль двумя. В прошлём году Маль сколько давал?

— Двадцать, двадцать два, иногда больше, — сообщил учётик.

— Вот видите! — воскликнул Аслан. — Маль взялся не за своё дело, в результате и он проигрывает, и мы в убытке. Мы, стало быть, и его погубим, и нас за это никто не похвалит. А кроме того, учтите, товарищи, — специально для малевского агрегата мы взяли в эмтеэс грузовик и платим за него натурой, пшеничкой! Выполняет Маль свою норму или нет, а эмтеэс аккуратненько насчитывает пшеничку.

— Это да, — вздохнул Рамазан.

Разговор между уполномоченным райкома и председателем колхоза заинтересовал многих. Вокруг них собралась большая группа. Подошёл столетний Айтеш. Откуда-то вынырнула Нахдах — она принесла дочери литровую бутылку со сливками.

В небе зажглись первые звёзды. Вот-вот должна была вернуться машина с элеватора; по вечерам Хасан встречал её у дороги возле аула и сменял Фиж. Ночные поездки требовали опыта и большой выносливости, тяжесть таких поездок Хасан брал на себя.

Когда Хасан приехал на ток, Костя сразу же предупредил его об опасности, нависшей над Малем.

— Пусть даже и шестнадцать убирает, а сцеп должен жить! — доказывал Костя. — За наше комсомольское начинание мы будем бороться до конца!

— Вы будете бороться за то, за что следует бороться, — внушительно произнёс Аслан. — Коль скоро мы объявили, что вводим сцеп, значит на нас смотрят, и если мы провалимся, — а мы уже провалились! — всех нас поднимут на смех. Новаторство должно базироваться на технической грамотности и на правильных расчётах.

— Шестнадцать гектаров, конечно, мало, — сказал Хасан. — Ты неправ, Костя: сцеп, убирающий шестнадцать гектаров, нам не нужен.

Маль, услышав слова Хасана, был поражён в самое сердце. Как, парторг против сцепа? И он тоже не верит в успех? Что же это такое? Маль окинул собравшихся внимательным взглядом: неужели ни на одном лице не увидит он сочувствия, интереса к своему начинанию? Взгляд Маля дольше всего задержался на Якубе, — опытный комбайнер, он же знает, что сцеп имеет все права на существование!

— Может быть, скажут, что мы не специалисты, — продолжал Аслан. — Рубить с плеча не следует. Якуб, ты эти дела знаешь лучше нас, скажи, пожалуйста...

Маль с надеждой смотрел на Якуба.

— Сцеп, конечно, — начал тот нерешительным и, как показалось Хасану, не совсем искренним голосом, — имеет свои плюсы, но имеет и свои минусы...

— Непонятно, — вмешался Хасан. — Сцеп высвобождает один трактор, экономится и горючее. Какие же минусы?

— Да, конечно, — согласился Якуб. — Но, как заявил уполномоченный райкома, сцеп имел бы смысл, если бы выполнялась норма...

— Это же нечестно! — возмутился Маль. — Ты же знаешь... — И он в упор посмотрел на Якуба. — Ты же был у меня и видел, почему я стоял!

— А почему? — спросил Хасан.

— Воды не было!

— А в другой раз?

— Трос разъединился!

— А в третий раз? — спросил Аслан. — Поймите, товарищ Маль, вы и нам сорвете уборку и сами погорите материально.

— Новое никогда легко не даётся, — сказал Хасан спокойно. Он уже понял, куда клонится разговор и почему Рамазан отмалчивается, — председатель колхоза не хотел оплачивать работу грузовика, приданного сцепу для разгрузки. — Мы должны помочь Малю. Почему не было воды? Надо вызвать водовозов и спросить. А сцеп должен работать.

— Сцеп должен работать, — повторила Аминет, подходя к ним. За эти дни её лицо загорело ещё сильнее, в волосах и на плечах лежали тоненькие соломинки. — Работу сцепа мы обязаны наладить, иначе нельзя!

— Что значит «иначе нельзя»? Это безответственный разговор, — сказал Аслан, заранее раздражённый против Аминет, потому что она держалась независимо, распорядилась в степи по-своему и за всё это время ни разу ни о чём не посоветовалась с ним. Он и сам не знал, о чём это Аминет должна была советоваться с ним, но ему хотелось быть в центре всех событий и во всём задавать тон.

Нахдах заявила, что, по её мнению, колхозу незачем оплачивать пшеницей простой эмтеэсовского грузовика.

— А в самом деле! — поддержал Айтеш. — Что, некуда хлеб девать? Пусть наши бестарки возьмёт!

— Бестарки не поспеют! — не согласилась Аминет. — Почему вы решили, что Маля всё время будут преследовать неудачи? А если он начнёт набирать темп?

— Значит, всё, что говорит масса, тебя не интересует? — спросил Аслан. — Конечно, Нахдах не бригадир, а рядовая колхозница, и уважаемый всеми Айтеш тоже не член правления. Но мне лично их слово дорого, не менее дорого, чем твоё или Хасана. И считаться с мнением народа надо, Аминет, надо! Это один из главных принципов нашей партии. Конечно, ты беспартийная, тебе, может быть, и простительно, но уверен, председатель разрешит этот вопрос, считаясь с думами и чаяниями тех, которые...

— Будем возить бестарками! — решил Рамазан. — Когда составляли график почасовой работы для сцепа, мы думали, что он будет убирать по пятьдесят гектаров в сутки. Маль уверял нас, что при таких темпах бестарки не управятся. А теперь выясняется другое. Значит, обойдёмся пока что бестарками, я так полагаю.

— Верно! — поддержал Аслан.

Аминет была вынуждена сдаться перед двойным авторитетом — председателя и уполномоченного, но не скрывала, что она недовольна принятым решением и считает его неправильным. Хасан спешил к своему грузовику и на ходу, обернувшись к Малю, крикнул:

— А ты не унывай! Поговорим утром, как только сдам смену. Слышишь?

— Слышу! — ответил Маль, успев за короткое время разделить людей на две категории: на тех, кто против сцепа, и тех, кто верит, что он, молодой комбайнер, не сдастся так просто после первых неудач.

Зерно, очищенное веялками, поднималось в приёмник; грузовик стоял под ним, и в него золотистой струёй лилась пшеница. Неподалёку от машины Хасан увидел Фиж. Сестра братьев Пачешховых показывала ей отрез на платье, купленный тут же, в степном сельмаге.

— Китайский шёлк, — хвалила девушка свою покупку. — Сошьёшь мне, Фиж?

Слушая их болтовню, Хасан вспомнил, как, бывая в станции, не упускал случая заглянуть в Ювелирторг — ему давно хотелось купить что-нибудь Фиж в подарок. Рассматривая всё, что лежало под стеклом, он терялся — что выбрать? Золотые часики — неплохо, но слишком дорого стоят, сейчас нет у него таких денег. Бусы — слишком дешё-



вые... А что, если купить отрез китайского шёлка? Но однажды случайно он услышал, что дарить женщине на платье почти что неприлично. Чёрт, тонкое это дело!

— Ну, я поехала!.. — Фиж подошла к машине. — А ты чего тут? — спросила она, увидев Хасана. — Этот рейс мой...

— Ладно, ладно, — улыбнулся Хасан, — и я поеду. — Он сел с ней рядом. — Что-то не ладится с мотором, послушаю.

Мотор был новый, работал он хорошо, но Хасан считал, что нашёл благовидный предлог, чтобы побыть с Фиж, — в кабине им никто не мешал, никто не слушал их разговоров.

## 3

Скучно объездчику в широкой прохладной степи, ярко освещённой луной и заполненной гулом моторов. В стороне — могучий зелёный лес, дальше — родное селение и река, на взгорье — станица, под седлом — быstroногая лошадь с мягкой, золотистого отлива шерстью. Умная голова её высоко поднята, лошадь идёт строгим, размеренным шагом, гулко отдаётся в ушах всадника чёткий перезвон копыт по сухой дороге. Кажется, так много радостного вокруг, в самой степи с высоким, чистым небом, где переливаются тысячи звёзд, и всё же скучно ночному объездчику Дзагашту. Скуку, правда, можно одолеть песней, и он поёт о печальной судьбе Адыиф, но врывается мысль о самом себе: а не упустил ли он свою невесту? Саида — там, в степных просторах, на мостике комбайна. Сотни глаз смотрят на неё, она на виду у всего района, она в почёте. Чувствует Дзагашт: теряет он Саиду, всё дальше и дальше уносит его быstroногая лошадь...

Мимо него по дороге в станицу часто проезжала грузовая машина с зерном. Над радиатором, словно птица на привязи, бился красный вымпел. Видел он такие же флажки и на машинах других колхозов. По ним узнавались лучшие.

Нарочно или же случайно, а только мать сообщила ему, что Саида тоже работает с вымпелом, что передавали его торжественно и она держала ответную речь, выручая свего нелюдима Якуба.

Одно устраивало Дзагашта: все заняты уборкой, а он — на коне, хочет — едет туда, а нет — в другую сторону, сам себе хозяин. И всё же, объезжая поля, Дзагашт всё больше и больше сокращал петли вокруг тока и бригадного домика, где случалось бывать Саиде. Странное дело: прежде он всегда получал удовольствие просто оттого, что сидел на лошади, в седле. Его никогда не интересовало, куда его посылают и что за дело ему поручается, — хоть в ад, лишь бы в седле. Теперь, хоть и на лошади, Дзагашт тосковал.

Смешанное чувство тревоги, радости и стыда мучительно и властно завладело сердцем Дзагашта. Он потерял покой.

Ему казалось, что и правление, и отец, и товарищи нарочно посадили его на коня, чтобы отдалить от той большой радости, которую сами они испытывали каждый день и каждый час. Мальчиком завидовал он вместе с Муратом тем из взрослых, кому выпало счастье защищать Родину на фронте или в партизанских отрядах. Теперь он завидовал каждому, кто творил в степи большое дело, имел право на вымпел из алого шелестящего шёлка.

Иногда он убеждал себя в том, что можно обойтись и без вымпела, — что в нём особенного! Но он обманывал себя — и, главное, не надолго. Солнце всходило; в степи то там, то тут загорались красные, живые, трепещущие на ветру точки, — и снова становилось ему досадно, горько. Что только не мерещилось Дзагашту: начинал гореть хлеб, а он первым обнаруживал пламя и тушил его. С обожжёнными ресницами, в пепле, про-

пахший дымом, стоял он перед восхищёнными людьми... То вдруг комбайн ломался, а нигде не могли найти запасных частей. Можно, правда, достать в станице, но река снесла переправу, — он бросался в потоки мутной, холодной воды, и раненый комбайн оживал...

Но река не разливалась, комбайны не ломались...

Песня моя, где ты?

Вдруг фазан через дорогу,  
Горе, Адыф!

Дзагашт свернул с дороги и поехал по стерне. Прямо на него, освещённый огнями, шёл могучий комбайн. Дзагашт твёрдо решил: завтра же пойти на ток и потребовать другую, настоящую должность — пусьг трудную, а лошадь сдать соседу-инвалиду, уже не раз изъявлявшему желание стать объездчиком. Если не примут на степную работу, — итти к Мустафе в плотники. Старик хоть и ворчлив, но великодушен.

Комбайн шёл по стерне, забросив нож в пшеничную гущу; он делал последний круг — роса мешала уборке. Дзагашт хотел повернуть коня, когда впереди, шагах в пятидесяти от комбайна, увидел большую собаку. Бестарка подходила к комбайну. Вдруг лошади, вскинув головы, шараянулись в сторону. Дзагашт услышал крик ездового:

— Волк!

Пустая бестарка неслась по степи. Ездовой упустил вожжи и упал.

В бестарку были впряжены молодые лошади, их взяли из табуна весной, они выросли на степном раздолье и знали, какую опасность несёт зверь, пробежавший так близко от них. Описав по стерне круг, лошади мчались навстречу комбайну — их, вероятно, привлекал свет. Ящик свалился с повозки.

Проскочив мимо грохочущей машины, Дзагашт подлетел к бестарке, догнал лошадей и, поравнявшись с ними, прыгнул на спину ближайшей лошади, впряжённой с его стороны, вцепился в её гриву; бестарка резко свернула в сторону, а потом и остановилась.

К упавшему ездовому бежали со всех сторон. Кто-то, разодрав рубашку, перевязывал ему голову.

Дзагашт рысью выехал на дорогу. Он слышал, как его звали, но не откликнулся.

#### 4

Утром начался дождь, и не мелкими каплями, а хлынул как из ведра, пригибая к земле тяжёлые колосья. По канавам побежали тёмные ручьи размытого чернозёма; вся пыль, нанесённая за лето, ушла, растворившись в воде, и всё, что было в степи, — и пшеница, и деревья, и машины — приобрело другой, обновлённый вид.

Дзагашт, спасаясь от дождя, пришпорил коня. Хлопья грязи, вылетая из-под копыт, частенько попадали то в спину, а то и в глаза. Забрызганный грязью, всадник во весь опор мчался по той дороге, которая опоясывала шумящий под дождём лес.

Вдруг с поляны послышался резкий мальчишечий свист. Дзагашт натянул поводья, и конь, проскользнув с сажень, остановился.

— Черкес удалой!

Кто это смеётся над ним?

Дзагашт свернул с дороги — хотя дождь нещадно хлестал его, но казать голосистого свистуна хотелось до боли в руке, сжимавшей плётку. Выехав на поляну, Дзагашт внимательно осмотрелся, но ничего не приметил. Он уже собирался продолжать свой путь, когда совсем близко за его спиной снова прозвучал мальчишечий двупалый свист.

Нет, Дзагашт найдёт его, чего бы это ни стоило, и накажет!

На краю поляны росли одинокие старые дубы, отделившиеся от лесного массива, словно хотели они переключиться в степной простор, на волю, но корни, глубоко ушедшие в землю, не пустили их. Дзагашт остался под деревом — тут не так хлестало — и притаился. Оскорбительно то, что свистун видел его, а он — никого. Где же ты скрываешься, и чёрт тебя занёс сюда в такую непогоду! Но стой, стой, у меня выдержки хватит, я разыщу тебя да так отхлещу, что маму и папу вспомнишь.

Дзагашт щёлкнул портсигаром. Осторожно, чтобы не намочить, достал папироску и закурил.

Он долго простоял под деревом.

Вдруг над самой головой его, с дерева, раздался жалобный голос:

— Мне надоело...

Дзагашт встрепенулся, вскинул голову и, увидев босые ноги, свесившиеся с дерева, хлестнул по ним плёткой.

— Ага! — закричал он. — Вот ты где!

— Ой, больно!

— Больно? Ишь ты! — И он снова хлестнул по ногам.

— Мамочка! — заскулил голос, и Дзагашт понял, что переусердствовал.

— Становись мне на плечи! — дружелюбно предложил он и, поднявшись во весь рост, крепко утвердился ногами в седле.

— А не уронишь? — с подозрением спросили с дерева.

— Становись, говорят, а не то — так хлестну!

Видимо, удары плёткой были страшнее всякой другой опасности — Дзагашт почувствовал осторожное, нащупывающее прикосновение босых ног, потом тяжесть, заставившую его пригнуться, но всё же он устоял и, накинув плётку на руку, обхватил тонкий стан свистунишки, снял его с плеч и пересадил к себе в седло, а сам сел позади... И тут он узнал, с кем имеет дело: то была русоволосая Ирочка...

— Ты? — удивился Дзагашт и покраснел от стыда. — Извини, Ирочка, я же не знал.

— Не знал! — хныкала девушка. — Посмотри! — И она показала ему ноги в синих полосах. — Не знал...

— Ирочка, ну... Не знал же я, честное слово даю! Ну ударь меня, на, возьми, ударь! — умолял он, протягивая плётку.

— И ударю! — Ирина решительным движением вырвала из его рук плётку, замахнулась, и он уже ждал хлесткого удара, но увидел на её лице, только что рассерженном, злом, выражение растерянности и нерешительности. — И ударю! — грозились она, жалостливо глядя в его круглые, немигающие глаза.

Плётка тихонько опустилась, тонкая, омытая дождём рука ослабела...

— Я отвезу тебя! — предложил Дзагашт. — Сиди смирно, не бойся.

— Но у меня кошёлка там, под деревом.

— Сейчас.

Он подъехал к дереву. Увидев плетёную кошёлку, Дзагашт накренился в сторону, скользнул вниз, к земле, увлекая и девушку. Казалось, оба они вот-вот свалятся. Ирина готова была вскрикнуть, но тут же Дзагашт выпрямился — в руках у него была кошёлка...

Конь галопом вынес их на дорогу.

— Черкес... — услышал он над самым ухом, но теперь это не показалось ему обидным. Девушка посматривала на него не с насмешкой, а откровенно восхищаясь тем, как он держался в седле.

— Мне на пасеку, к дедушке! — предупредила Ирина, увидев, что конь направляется к селению.

— На пасеку?

— Да, да!

— Есть, на пасеку!

И конь размашистой рысью полетел на запад... Ни с чем нельзя было сравнить ощущение, которое испытывала Ирина. Всё, что когда-то прочла она у великих русских писателей о черкесском крае, оживало сейчас, и один бог знает, что она думала о себе, — может быть, что она пленница и её увозят неведомо куда и что кругом не поля, где движутся комбайны, а нетронутая, девственная степь, которую топчут копытами своих коней дикие всадники... «Жилин и Костылин» — промелькнуло в мыслях Ирочки. Душа её была захвачена быстрым бегом, всё — и деревья, и капли дождя, и пшеница, и тучи — сливалось перед глазами в одну, быстро уносящуюся, смутно различаемую полосу.

Но вот показалась пасека...

## 5

Под навесом, всматриваясь в степной простор, открывавшийся сразу же за воротами, стоял дед — могучий, беловолосый, на толстых вывернутых ногах. «Ну и медведь, настоящий старый медведь», — подумал Дзагашт, ссаживая девушку с коня.

— Это что такое? — удивился дед, тяжело переступая с ноги на ногу.

— Хорошо довёз, честное слово! — поспешил заверить его Дзагашт.

— А, это ты! Ну-ка, ну-ка! Отведи коня под навес, а сам ступай ко мне. Промокла... — ласково обратился старик к внучке. — А я ждал тебя, ждал... Ну иди, переоденься, а мокрое развесь, пусть сушится.

— Не беспокойтесь, дедушка, дождь тёплый! — радостно звенел голос внучки. — Принесла вам вареников и сметаны, дедушка, вот, — показала она кошель с продуктами. — Хотела голубя поймать, дедушка, на дубу их много...

— Дикие, они не дадутся. Ну что, башибузук, промок?

— Всё в порядке, Иван Митрофанович! — уверял Дзагашт. — Высохнем!

— Ступай, ступай... — Дед радовался нежданному гостю. — Барахла у меня много, найдём тебе и штаны и рубашку.

Он заставил юношу переодеться. Пока Ирина возилась в пристройке, отжимая своё платье и развешивая его, Дзагашт облачился в дедовскую одежду.

— Ничего, — утешал дед. — Рукава закатай и штаны подтяни. Не по росту, зато сухое...

Ирина вернулась. Омытая дождём, в цветастом сарафане, она выглядела теперь совсем иначе, — такую Дзагашт не осмелился бы посадить на коня и везти, обхватив за талию. И оба, взглянув друг на друга, смутились, но смущение это было радостным — как будто что-то, не известное до сих пор ни ему, ни ей, стало теперь известно.

Дед хлопотал по хозяйству.

Дзагашт ни разу не бывал тут, знал только, что в колхозе есть хорошая пасека, да каждую осень видел у себя на столе банки с янтарно-прозрачным мёдом, выданным на отцовские и материнские трудовые дни. Он ел этот мёд, что называется, ложками и никогда не думал о человеке, добывавшем его любимую пищу.

У Ивана Митрофановича везде был порядок, чистота, на некрашеной полке стояли книги, лежали стопкой газеты. Дед жил на пасеке один, с весны и до осени, пока пчёл не перевозили на зимовку, но в комнате стояло две койки. Вторая — для Ирины.

— Что, башибузук, нравится тебе у деда? — спрашивал Иван Митрофанович.

— Очень! — признался Дзагашт.

— Всё бы ничего, — пожаловался дед, — но беда: скуповат голова наш, батька твой... Кому ни скажу — не верят.

— Ну, дедушка, вы опять за своё! — вмешалась Ирина.

— А ещё об чём же, как не о своём? — спросил дед. — Оно ведь не только моё, а общее... Пчела при всём умении и старании тоже в руководстве нуждается... Вот, например, как сейчас? Все рамы в меду, ну и, конечно же, пчёлы на лаврах почивают. И правы: им некуда класть мёд... Поставить бы новые рамы да новые семьи отделить от старых — смотришь, и работа пошла шумнее, и мёду больше. А как скажешь твоему батьке насчёт ассигнований — у меня, говорит, другие проблемы. Четвёртый день пошёл, как качать надо, а никого не пришлёт, а сам я нутром, правда, железный, без ржавчины, да вот ноги в ремонте нуждаются, покалечены они...

— А что с ними? — осторожно спросил Дзагашт.

— А давай-ка поборемся! — неожиданно предложил дед. — Вот ты молод, а я стар, а давай-ка поборемся! — И глаза деда зажглись весёлым задором. — Многие пытались побороть меня, да никому это не под силу...

— Ну, уж не под силу! — не поверил Дзагашт.

— А в самом деле, давайте! — подзадорила Ирина. — Вы уже давно ни с кем не боролись, дедушка.

— Все знают — меня не поборешь, — утверждал дед. — Вот батька твой — до чего могуч, а и тот сдался мне...

Этому Дзагашт не поверил. Он много раз видел, как, бывало, отец зайдёт на кузню перед весенне-посевной кампанией и скажет: «Ну, мастера, пришёл качество ремонта проверять!» — и давай гнуть железо. А дед хвалится, что он поборол такого!

— Попробуем! — согласился Дзагашт, придавая себе молодецкий вид.

— С условием, однако, — предупредил дед, — я буду сидеть на табуретке.

— Что же это за борьба? — удивился юноша.

— А ты спихни меня! — задорно отвечал дед. — Спихни, коль ты силен.

Спихнуть деда с табуретки Дзагашту не представлялось трудным делом, и борьба началась. Она закончилась самым неожиданным образом. Дед внезапно схватил Дзагашта железными руками и так надавил ему на рёбра, что парень тихонько заскулил и побледнел.

— Чуешь, какая во мне сила? — спросил Иван Митрофанович, положив юношу к себе на колени и заглядывая ему в лицо добрыми, ласковыми глазами. — Так вот и батьку твоего пригнул! — хвалился дед. — В молодости, бывало, скажут: «Эй, Ванюша, а пробежишь ли версту с пятипудовым мешком на спине?». Ответишь: «Попробуем...» — и бежишь версту, народ удивляешь, ждёшь, когда богатея какой-нибудь серебряшку, гривенник; бросит тебе под ноги. Ну, хватаешь, конечно, рад. А в другой раз нацепишь на ноги гири, по два пуда, по пахоте дуешь и силой гордишься! Или завязнет хозяйская фура — и нет, чтобы четвериком тащить, а сам норовишь... Вот так, потешая кулачье, и покалечил я себе ноги. — Большая белая голова деда опустилась, он долго перебирал пальцами бороду, потом тяжело вздохнул, поднял голову, и снова на Дзагашта упал ясный, добрый взгляд. — Но сердце они не смогли исколечить, мотор работает чисто! Ну, ладно, — махнул дед, — угостил тебя рассказом, угощу мёдом.

Но угощала Ирина. На столе появились скатерть, тарелки и даже вилки. Дед жил, что называется, культурно и никак не походил на

угрюмых отшельников, какими представлял себе Дзагашт всех пасечников.

— Мне Костя, спасибо ему, обещал электричество провести! Тогда мы заживём, а? — К удивлению Дзагашта, Иван Митрофанович обратился не к Ирине, а к нему. — Э! Сюда бы, друг, одного неглупого молодого человека — и была бы у нас пасека знаменитой! Не делал бы я тогда рамы перочинным ножичком из жердочек, а настоящие ставили бы, двор огородили бы, дом, большой, с кабинетами построили, с лабораторией, да со стеклянным контрольным ульем, да журналы, да записи! Пасека, она научного внимания достойна. За науку о пчёлах сталинского лауреата дают — не слыхал? А ты слыхал про целебный мёд? А глянька на меня... Не на ноги, они само собой, а в лицо моё глянь, в глаза дедовские. Ну, седой я, оно, конечно, восемьдесят шесть лет — не двадцать, а скажи-ка: старый я, дряхлый?

Да, он был и сед, и стар годами, и немощен на ноги, но большое открытое лицо, широкий загорелый лоб и ясные, умные глаза говорили о другом — о несомненной душевной молодости этого человека.

— А всё мёд, а всё воздох! — ликующе гремел в комнате стариковский бас. — Дай бог и вам дожить до моих лет да здоровье сохранить!

Дождь слабел, всё реже и реже падали капли. Дед выглянул во двор, постоял там, потом позвал к себе Дзагашта и повёл его по пасеке, от улья к улью, находя что сказать о каждом из них.

Уже прощаясь, он сказал юноше:

— Умрёт пасека...

— Что вы, Иван Митрофанович! — испугался юноша. — Тут так хорошо!..

— Чует моё сердце, ох, чует: умру я — умрут и пчёлы мои... Раньше купцы да фабриканты перед смертью завешания писали, нотариусов звали. Делили: этому сыну — столько, дочерям — столько, да на помин души, на свечи, попам... Всё это, — дед широким жестом обвёл пасеку, — моё, дорогое... Из двух ульев расплодилось. И боюсь: пришлют сюда жулика, ленивого да никчёмного, заведётся трутень двуногий — и шабаш! Ну, да ладно, езжай! — махнул расстроившийся дед. — А знаешь что? — крикнул он, когда Дзагашт выехал за ограду. — Приходи, мёд качать будем... А?

И дед наставил ухо...

— Приду, Иван Митрофанович! — услышал он.

## ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

### 1

Высоко в небе плывёт белая тучка, тень от неё скользит по глади реки, темнеет на дороге, бежит по степи... Вдали, на горизонте, в ясные вечера виднеются цепи гор, окутанных воздушной дымкой; маячит посреди хлебного разлива одинокий курган; прямой, ровной оградой тянется с севера на юг лесная полоса, где все деревья посажены человеком, в балке, залитой тёплой водой, шуршат камыши.

Якуб, заслонясь от солнца ладонью, окидывал степь пристальным, острым взглядом и после этого всякий раз принимался насвистывать колыбельную песенку, что служило у него признаком отличного настроения. Да, он мог быть доволен — дела шли блестяще. Красный вымпел развевался на комбайне. Комбайн убирал по двадцать гектаров в день, и намолот превышал прошлогодний. За количество убранных гектаров на счёт комбайнера поступали деньги, а за тонны намолоченного зерна — натуральная, высококачественная пшеница.

Каждый день, покидая мостик комбайна и отправляясь на отдых, Якуб раскрывал записную книжку и аккуратным бухгалтерским почерком проставлял в ней цифры своего дохода. Потом не без удовольствия перечитывал смету расходов на постройку нового дома.

Дом этот имел свою очень длинную историю. После войны, когда Якуб вернулся домой, совет строиться показался бы ему насмешкой. Какого чёрта строиться, когда в доме ничего нет, когда братья погибли — один под Шяуляем, другой на Карельском перешейке — и их дети остались сиротами. Они радовались, когда он им отрезал кусок спрессованной мамалыги, а луковицу делил на равные дольки, словно это было яблоко. «Вот вам по бутерброду, ешьте!» — уговаривал он детей, а сам уходил, захватив жменью крепкого, вонючего, как кизяк, самосада. Не было дров. Рано утром, взяв верёвку, Дана отправлялась в степь и собирала стебельки трав; иногда она на берегу реки находила настоящее дерево — прогнившее удилище или сырую ветвь, принесённую водой.

Но постепенно, вместе с ростом машинно-тракторной станции, с каждым новым трактором, с каждым гектаром вспаханной и засеянной земли, жизнь в доме Якуба менялась, — может быть, и не так быстро, как ему хотелось, но ощутимо. Как-то незаметно стало хватать всем постельных принадлежностей, и вот однажды Дана, свернув новую постель, спрятала её в сундук — постель предназначалась для гостя. Для него же — неизвестного человека, который мог прийти и сегодня и через год, — в стеклянной сахарнице хранилось полкило белоснежного, с синеватым отливом рафинада, а на печке, в потайном месте, лежал кусок туалетного мыла «Ландыш».

Якуб стыдился своей бедности, бедности, в которой он не был виноват: война ограбила его семью. И он не хотел, чтобы бедность эта бросалась в глаза людям. Постелив чистую постель, подав чай с сахаром, новое полотенце и мыло, он и жена хотели с помощью всех этих вещей уверить гостя, что всё у них в порядке, жизнь идёт так, как ей полагается идти в семье советского комбайнера.

Но всё это отошло в прошлое, бедность осталась в воспоминаниях, теперь они думали о другом: перед их взором второй год рисовался высокий, просторный, многооконный особняк.

И сойдя с мостика, чтобы отдохнуть, Якуб доставал записную книжку, считал и пересчитывал, а потом, перевернув несколько страничек, чертил план будущего строения.

В самом начале был задуман трёхкомнатный домик, но потом, когда появились деньги, Якуб пририсовал к нему кладовую и небольшой чулан, где собирался хранить кое-какие вещи, имеющие отношение к его комбайну.

В этом году родился сын, Мишка. Вышел в степь Якуб, увидел высокую, тяжелоколючую пшеницу, взглянул опытным глазом на лес подсолнечника, прикинул в уме заработка Даны... Короче говоря, Якуб перечеркнул план трёхкомнатного домика и начал думать о пятикомнатном.

На нём он и остановился.

Но с каждым днём, убирая всё больше и больше гектаров, намолачивая тонны хлеба, Якуб задумывался: зачем строить саманный дом, когда есть на свете кирпич? И он уже начал мысленно подсчитывать, сколько тысяч кирпича и сколько листов железа понадобится для его особняка.

Саида, увидев, что её шеф находится в прекрасном настроении, напомнила ему, что из всех, кто находится в степи, только они не участвуют в соревновании.

— Кажется, работаем мы неплохо, — сказал Якуб. — Но обя за-тельства. . Милая, наш комбайн на виду у всего аула и даже района. И если хочешь, да — боюсь я... Машина — это металл, у неё нет чувства, она

не краснеет, не может понимать, как мучительно, когда в ней что-то не ладится, а ты царапаешь себе руки, лазишь туда и сюда, потом обливаешься и ищешь, в чём дело, почему заело... Вот и сейчас, когда мы сидим тут, я не знаю, не уверен — а пойдёт ли она, не закапризничает ли... Я как-то возвращался из Краснодара на попутной легковой машине, ночью. Дорога неплохая, грязи нет, а вдруг — бац-бац, чах-чах, и наша легковичка замерла на месте. И я и шофёр несколько часов и туда и сюда, крутили, вертели, наконец нам это надоело, мы устали. Проснулись утром и не знаем, что делать. Шофёр говорит: пересядь на другую машину. А мне неудобно покидать его. И от нечего делать, чтобы согреться, взялся я за ручку, крутанул разик — и что ты думаешь? Машина пошла с пол-оборота! Вот что иногда бывает, Саида. Я не могу рисковать своей честью, именем, полагаясь на шестерни, гаечки, звёздочки, болтики и прочее, потому что бац-бац, чах-чах, разорвался парус — и стой тогда. Вместо партии в шашки получается уже партия в поддавки... — Якуб помолчал и спросил небрежно, как бы между прочим: — Ну, а с кем, к примеру, мы могли бы вступить в соревнование?

— Я думаю, с Малем...

— С Малем? — удивился Якуб — Вызывать комбайнера, не выполняющего норму? У нас, как-никак, красный флажок, ты забыла? Хочешь, чтобы меня на смех подняли? Какой же толк в таком соревновании, когда Маль двумя комбайнами убирает меньше, чем мы одним!..

— Если мы вызовем Маля, то подтянем его!

— Смотри, надорвёшься! Пусть нажимает, старается.

— Ты отлично знаешь, Якуб, что не в нём дело. Даже уполномоченный райкома — и тот мешает сцепу. Мало кто верит в его успех. А дело новое...

— Это не наша забота. Пусть эмтеес думает. В конце концов, пусть расцепят этот сцеп. Не можешь, так нечего лезть в новаторы. Комбайн — это комбайн, передовая машина, так нет, каждый хочет воткнуть в него своё жалкое изобретение, свою досужую выдумку и выдать за новаторство. Кто только у нас не новатор, боже мой! Один верёвочек навязал, другой лишний гвоздь вбил там, где не положено, третий вообще целую часть снял, признав её лишней, — и на тебе, новаторство! Ты думаешь, конструкторы что, глупее нас? Не знают? — Якуб снисходительно улыбнулся. — Глупости говоришь, Саида, и ещё раз подтверждаешь этим, что ты женщина. Всё равно, что моя Дана, — слов много, а толку чуть. — Заметив, что Саида хочет заговорить, он притворно вздохнул. — Если женщина начала говорить, перебивать её бесполезно, остаётся смириться...

## 2

Саида стояла за штурвалом. В конце загона она внезапно ощутила что-то неладное в работе машины и остановила её.

«Кажется, звёздочка не в порядке», — соображала она, осматривая комбайн.

Саиду окликнул мужской голос — к ней, улыбаясь, подходил Аслан.

— Дай помогу тебе, — предложил он. — У меня на заводе немало всякой техники, и, если речь идёт о том, чтобы отрегулировать, — почему-то он выделил это слово, — я, кажется, умею.

Он долго заслушивался в работу механизмов, выбрал сразу именно тот ключ, который был необходим, и стал уверенно действовать им. Саида не предполагала, что он так хорошо разбирается в машинах. Вдвоём они быстро устранили неполадки.

— Якши? — спросил Аслан, заглядывая ей в глаза, вытирая запачканные руки куском ветоши.



То ли её обрадовало, что он произнёс это слово, любимое дедушкой, то ли Саида впервые увидела в Аслане человека, знающего и любящего технику, а может, тут сыграло роль и то, что не было давно ожидаемого письма от Мурата, — так или иначе, но Саида посмотрела на Аслана дружелюбно и приветливо поблагодарила за помощь. Он ответил, что готов помогать ей во всём, в любое время.

— Это хорошо,— заметила Саида.— Мы ведь соревнуемся теперь.

— Якуб согласился? — На лице уполномоченного было написано удивление.

— Принял вызов. Я уговорила его,— с гордостью воскликнула Саида и рассказала, как это случилось.

Накануне неподалёку от комбайна Якуба из пшеничной гущи показался запыхавшийся Иван Маль.

— Одну минутку! — крикнул он Якубу и побежал навстречу.— Заводите?

— Да,— ответил Якуб.

— Хорошо, что я во-время пришёл... — Маль вытер потное лицо.— От нашего коллектива и от себя лично поздравляю тебя, Якуб! — И Маль пожал ему руку.— И тебя, Саида! С вымпелом вас поздравляю ..

Якуб подозрительно смотрел на него, сомневаясь в искренности его слов.

— Спасибо,— ответила Саида.

— Но я не только за этим пришёл! — предупредил Маль.— Мне поручено от имени нашего коллектива вызвать вас на соревнование.

— Решил, значит, расцепить сцеп? — спросил Якуб.

— Нет, ни в коем случае!

— Как же тогда? . Ведь у вас выработка низкая... Ведь вы...

Но отказываться и вступать в длинный разговор Якубу не пришлось. Саида ответила, что вызов принимается.

— Только не воображайте, пожалуйста, что получите именно вот этот флажок! — И она указала на него.

— В самом деле! — крикнул Якуб.— Этот ни за что, пусть эмтеэс сошьёт вам другой!..

Аслан посмеялся вместе с Саидой, простился с девушкой, ласково заглядывая ей в глаза, и ушёл. Она с минуту задумчиво глядела ему вслед... Такой интересный, обходительный человек,—и почему это Фиж с ним не ужилась?

То, что происходило в степи, Аслан мерил своей меркой. Если Хасан хвалил братьев-колхозников, поддерживал Маля и восхищался зерноочистительным агрегатом, уполномоченному было совершенно ясно, что делается это неспроста.

— Хасан подхалимничает перед ними,— просвещал он Якуба.

— А какой ему смысл?

— Какой ты, однако, простак, Якуб! — удивлялся Аслан. — Год кончится, будет районная партконференция, а в ауле — отчёт правления... Хасан готовится, завоевывает себе авторитет, хочет выдвинуться. Понятно? А ты не заметил разве, с каким бесстрастным, невесёлым лицом стоял он, когда вручали тебе флаг?

— Это я заметил... — вспоминал Якуб.— И Саида заметила. Он потом сказал Саиде, что, дескать, Якуб живёт старым багажом, движется по укатанной дорожке. Хотя ребёнок понимает — какая может быть укатанная дорожка у комбайнера? У меня и у Маля участки одинаковой трудности, это скажет любой ..

— Ничего, ничего! — предупреждал Аслан.— Я не удивлюсь, если однажды тебе прикажут сдать машину Саиде, а самому перейти в помощники. Как же, кадры растут, этим можно козырять... Скофо на собствен-

ной шкуре поймёшь: Хасан выдвигает Маля, ради этого он на всё пойдёт, и тебя принесёт в жертву. Простак!

От предсказаний Аслана Якубу становилось страшно. Однако так просто Маля не обгонит его, нет! «Я не новатор, но как перевыполнять норму — мне это давно известно! — утешал себя Якуб. — Работать, кажется, ещё не разучился».

## 3

Приятно ночевать на соломе, под открытым небом. Ройтся вокруг лампочек мошकारа — можно подумать, что идёт снег. На дороге вспыхивают два электрических глаза грузовика. Убаюкивает далёкий рокот комбайна, шелест тучной пшеницы... Хорошо, хорошо на степном просторе!

Но ещё лучше просыпаться в степи рано поутру — роса освежила тебе лицо, а солнце высушит его...

— Сколько раз надо предупреждать! — гремел на току начальственно строгий голос аульского пожарника. — Каждый курит где попало, бросает окурки прямо на землю!

— А ты поставь нам пепельницу! — отвечал другой голос.

Аминет проснулась.

— Что случилось? — спросила она.

— А то, что наш прекрасный Рамазан распорядился убрать отсюда бочку с водой! — возмущался Абдуллах, убедившись, что самого Рамазана нет поблизости, иначе он, конечно, не разнесил бы его так грозно. — Я поставил тут бочку, написал на ней красными буквами «пожарная», а он отдал её кому-то другому!

— Ничего, — успокаивала Аминет. — Я видела твою бочку, распряжусь, чтобы её снова привезли сюда... Ещё какие претензии у тебя?

— Больше никаких, — серьёзно отвечал пожарник. — Ради бога, Аминет, прошу тебя — не разрешай им курить где попало, пусть курят возле бочки, а окурки бросают в воду...

— Будет сделано, — обещала Аминет. — Не волнуйся!

Утро начиналось тревожно — к Аминет подошёл Костя Шубин.

— Транспортная группа, — сказал он, — обслуживающая сцеп, осталась без старшего, Аминет. Хотелось бы назначить кого-то из комсомольцев.

— Пожалуйста, подбирайте кандидатуру, обсудим.

Аминет отправилась к комбайнерам. У Якуба всё благополучно, а вот у Маля... Сцеп двигался, подобно большому танку, облепленному автоматчиками-десантниками. Над всеми возвышалась фигура Ивана Маля. Поравнявшись с комбайном, Аминет ухватилась за поручни и поднялась к начальнику агрегата.

Потный, в промасленной спецовке, с выбившимся из-под кепки белокурым чубом, Иван подал ей горячую руку и, силясь перекрыть своим тонким, срывающимся голосом грохот машины, прокричал:

— Бестарок нехватает!

— Нехватает? — переспросила Аминет.

— Петя выжимает из трактора все силы. Поле ровное, пшеница чистая, одно уловствие убирать. Ну вот, а бестарки не успевают, они захлёбываются! Я вынужден сбавлять ход, разве это можно допускать?..

— Все подводы расписаны, Ваня.

— Не знаю, как они расписаны и где, а мне лично дайте ещё пять подвод — и точка. Я начинаю итти по графику. Иногда ко мне подъезжают сразу две-три бестарки, а когда надо — ни одной нет. Разве это поря-

док? Нет у меня старшего ездового, и никто не беспокоится. Было бы что-нибудь подобное с Якубом — он бы вам дал жару! Нехватает ездовых, а Дзагашт чем занят? Обьездчиком может быть и старик...

— Дзагашту не доверят транспортную группу.

— Кто не доверит?

— Отец.

— Не он, а ты бригадир. Ты начальник в степи.

— Молод он...

— А я что, стар?

— Ты — другое дело, Ваня...

— А Саиде сколько лет?

— Так то Саида! — воскликнула Аминет, покидая комбайн.

Бестарки всё подъезжали и подъезжали, забирали зерно, намолоченное комбайнами, и спешили к току. Возчики пили воду на ходу, бросали кружки наземь, отказывались от еды: некогда!

— Маль злой! — кричали они. — Мы еле поспеваем за ним, Аминет!

— Какое там поспеваем, задыхаемся!

— Маль просто сумасшедший! Хочет догнать Якуба.

— Ну уж, против Якуба...

— Где там Якубу! — спорили возчики. — Маль — огонь!

— В отца, это верно...

— А Якуб всё же впереди идёт и будет итти!

— Хорошо, хорошо! — успокоила их Аминет. — Продержитесь ещё немного, что-нибудь придумаем.

...Хасан только что подъехал к току, он сидел на подножке машины и курил. Рядом возвышалась массивная фигура Рамазана. Аминет подошла и рассказала им о виденном.

— Мы не должны мешать комбайнерам набирать темп, — сказал Хасан. — Не им к нам, а нам к ним надо приспособливаться. Сколько подвод Малю нужно?

— Пять... Пока пять.

— Пять! — воскликнул Рамазан. — А где их взять?

— Маль предупредил, — сказала Аминет, — я выше возьму, а если говорит, не будете успевать — акт составлю.

— Что он грозит мне! — возмутился Рамазан. — Если остановит машину, ему тоже влетит!

— А он не сказал, что остановит. Буду, говорит, высыпать пшеницу прямо на землю, а потом сами собирайте.

— Не высыплет!

— Что же ты предлагаешь? — нахмурилась Аминет. — Чтобы он вёл машину потише?

— Я ничего не предлагаю, — сердился Рамазан. — Это вы, не учитывая своих сил, берётесь за всё...

— Плохо, если ничего не можешь посоветовать, — сказал Хасан. — Надо решить хотя бы, кто будет старшим в транспортной группе, ввести у них твёрдый распорядок.

— Предлагаю Дзагашта, — сказала Аминет.

— Это кто тебе посоветовал? — возмутился Рамазан.

— Маль подал такую мысль.

— А что он понимает!

— Я говорила с Костей Шубиным, комсомольская организация подерживает. Он же спас нам лошадей...

— Но речь идёт о транспортной группе, — упирался Рамазан. — Костя Шубин, — подумает, авторитет!

Рамазан горячился, возражал, но на этот раз Аминет сумела настоять на своём. Один раз она уступила ему по глупости, разрешила отказаться

от грузовой машины и тем самым затруднила работу сцепа. Больше этого не будет!

— Дзагашта я назначу старшим ездовым, — сказала Аминет, как о деле решённом. — Маль требует, чтобы ему создали условия для работы, и он совершенно прав.

— Действуй, Аминет! — поддержал Хасан. — Решай — и точка!

Хасан радовался: до сих пор Маль избегал подавать решительный голос, эти дни он жил какой-то особой, скрытой, неприметной жизнью, ходил с опущенной головой, и Хасан побаивался: а что, если Маль так и не сумеет поднять голову? Но нет, молодцом оказался, во весь рост встал и даже грозиться начал...

— А если Дзагашт подведёт вас? — спросил Рамазан. — Потом и меня начнёте стыдить — отец и всё такое прочее?

— Знаем, какой ты педагог! — смеялась Аминет. — Ну, а если он всё же не справится, не придем к тебе за помощью, сами решим.

## 4

Дзагашт принимал транспортную группу. Он осмотрел все бестарки. Увидев, что ездовые сами замешивают полову, сами же получают отруби и приносят воду, все эти дела поручил одному из них, освободив его от другой работы. Ввёл по совету Маля график: ездовые обязаны бывать подходить к комбайну по номерам, которые он вывел на борту каждой бестарки. Заметив, что не все одинаково загружаются, Дзагашт, договорившись с весовщиком, решил проставлять вес на каждой подводе.

Комбайны набирали темп.

Айтеч, заглянув на ток, — он возвращался из райцентра, — недовольно покачал головой: плохо дело!

— А в других колхозах лучше? — спросил Рамазан. — Ничего, проставки выполним в срок.

— Не утешай себя! — рассердился старик. — Пора и нам в чём-нибудь да подавать пример, надоело другим подражать.

— Ты строгий нынче. Наверное, у сына был?

— И к нему заглянул, — уклончиво ответил Айтеч. — Вы думаете так: слово правления — закон.

— А иначе нельзя.

— А вот покажут вам, покажут! — пригрозил Айтеч. — Вы предлагаете мне сидеть с хворостинкой и кур отгонять, а я не хочу!

— Обижайся не на меня, а на своего друга. Это Мустафа сказал: Айтеч старый, пора ему на покой, а если ему что надо, пусть напишет заявление, и мы ему поможем... Заботимся о тебе, а ты жалуешься.

— Хорошо, хорошо! — Старик был необыкновенно бодр сегодня. — Вы ещё будете разыскивать меня да извиняться! Так-то!

Он собирался уже уходить, но, услышав, что Дзагашт кричит на одного из ездовых, задержался. Ездовой выпрягал лошадей, а Дзагашт торопил его.

— Ты мне ответишь! — грозился Дзагашт.

— А я виноват, если Маль сказал: гоните!

— Не Маль твой начальник, а я! Выпрягай Машку!

Дзагашт расчесал Машке гриву. Она спокойно стояла на месте, выражая свою благодарность тем, что тёрлась мягкой, лоснящейся на свету шеей о плечо Дзагашта, норовя при этом схватить большими чёрными губами шапку с его головы.

— Лошадь как лошадь, — говорил Дзагашт.

— Она норовистая, — уверял ездовой.

— Кого ты убеждаешь! — В ауле Дзагашта считали авторитетом по

части лошадей, скачек, сбруи и прочего, что относилось к лошадям. — Характер лошади испортился — значит виноват человек, а не лошадь.

Он внимательно осмотрел хомут, однако ничего подозрительного не обнаружил

— Держи Машку!

Увидев хомут, лошадь попятилась. Всё же Дзагашт запряг её, но Машка не сдвинулась с места, пока вторая лошадь сама не потянула бестарку. Дзагашт стоял в стороне и наблюдал за Машкой. Лошадь шла боком, выгнув шею.

— Стой!

Дзагашт подошёл к Машке, продел руку под хомут, стал ощупывать холку. Когда он, опустив руку чуть пониже, нажал пальцами, лошадь мотнула головой. Дзагашт снял с неё хомут и нашёл в нём, под кожей, что-то твёрдое, как камешек.

— Распряги Машку, — приказал он ездовому. — Хомут отнеси завхозу, а Машку покажи ветеринару, она освобождается от работы... Выпишешь ей дополнительное питание.

То, что лошадь освобождается от работы, Айтеча не то что удивило, нет, но этот случай напомнил ему о многом. Он принёс эту весть девушкам, работающим на току, и, может быть, на том бы и успокоился. Но, увидев улыбки на молодых загорелых лицах, услышав смех и слова: «Ну и что ж такого?», старик рассердился.

— Понимать надо... Лошадь освобождается от работы! Вот Глухой хан не то что скотину, а нас, людей, не щадил! А вам смешно...

— Прости, дедушка, мы же не знали, о чём ты думаешь...

— Не знаете, так выслушайте. Я хочу, чтобы вы выросли если и не самыми умными, то и не самыми глупыми. Когда вы говорите о том, про что написано в книгах, и когда я сам читаю хотя бы то, что написано крупными буквами, я горжусь... Потому что там сказано, что я — человек. А раньше? Когда Глухой хан купил сыну автомобиль, меня это обидело: не потому, что я хотел кататься, а потому, что я никаких прав не имел — ни шэфёрских, ни человеческих. А теперь даже Фиж — шофёр! О ханах говорили: у них такая чистая кожа, что когда они пьют воду, то каждый глоток просвечивает сквозь горло... А очень просто: они имели много мыла, в чистоте содержали кожу... Почему адыги называли обыкновенное туалетное мыло, цена которому рубль семьдесят, с л а д к и м? Почему юноша, найдя осколочек зеркала, дарил его любимой девушке, а она вмазывала стёклышко в стену, чтобы, не дай бог, оно не разбилось? Да, я говорю о маленьких примерах, но вы же неглупые! Посмотрите на бригадное зеркало — в нём человека во весь рост видно. Это что такое? — спросил старик, зачерпнув полную ладонь зерна. — Как называется?

— Пшеница.

— Пшеница... — повторил старик. — А почему она выросла? Откуда она взялась — из земли? Умный ответ, нечего сказать! Вы говорите — удобряем! Много вы понимаете! Чем удобряем? Суперфосфатом? Наша земля удобрена не порошками из пакетов, а нашей кровью, нашей слезой. Посмотрите! — указал он. — Что вы видите?

Девушки видели караван комбайнов и бестарок, золотое море пшеницы, лес да солнце над степью. А старик вспоминал другое, отошедшее страшное время.

Дзагашт подошёл к бестарке товарища, которого отвезли в больницу после случая с волком, проверил хомуты, смазал колёса, запряг лошадей, но не отъехал. Он принял все вещи, расписался в журнале, заведённом Аминет, но была одна вещь, которая не значилась в инвентарной кни-

ге, — красный треугольный флажок с надписью: «Отличнику вахты мира!». Он трепетал на коротком и тонком древке, прибитом двумя гвоздями к борту бестарки. Дзагашт не знал, как поступить: снять самому или же сказать Хасану. Но Хасана сейчас не было тут, а Дзагашту надо выезжать в степь... Тогда он взял клещи, осторожно вытащил гвозди и отнёс флажок Косте Шубину.

— Спрячь, пожалуйста, — попросил Дзагашт. — Увидишь Хасана — отдашь.

— А ты где взял его? — удивился Костя.

— С бестарки снял.

— Почему?

— Мне ехать надо.

— Да, но почему ты снял?

— Вот чудак! — нахмурился Дзагашт. — Вымпел же не мне принадлежит!

Костя понял наконец, в чём дело.

— Прикрепи! — распорядился он.

«Ишь, начальник какой! — думал Дзагашт. — Гордится тем, что комсорг, но и я не без гордости, чужой вымпел мне не нужен». Он так и сказал Косте:

— Я ещё ни одного рейса не сделал. Скажут: по блату получил... Сын председателя...

— Боишься, что отберут, так сам сдаёшь? Надо суметь удержать... Прибей вымпел на место! И работай, как чёрт, Дзагашт! Покажи, на что ты способен.

Дзагашт взял молоток, вернулся к бестарке и прибил вымпел на старое место. Проезжая по стерне, он встретился с товарищами, которые возвращались с полными бестарками.

— Старший выехал! — услышал Дзагашт.

— И вымпел наш на месте!

— Дзагашт гордый, не отдаст...

Дзагашт встал во весь рост, взмахнул кнутом, и в степном просторе послышалась его любимая песенка:

Конь несёт быстрее птицы  
Мою Адыф!..

## 5

В степь пришла почта. Аслан принял её, отобрал для себя газеты и, перебирая почту, заметил письмо на имя Саиды. Вместо обратного адреса Аслан увидел ряд цифр, и, хотя фамилия была написана неразборчиво, он догадался, кто отправитель. Решив обрадовать девушку — пусть-ка спляшет по этому случаю! — он спрятал письмо себе в карман, а остальные сдал в красный уголок дежурной.

В это время к Аслану подошёл Рамазан и предложил ему поехать вместе на участок, который убирает Маль. Председатель и уполномоченный ушли.

Дежурная выскочила из комнаты и крикнула всем, кто был поблизости:

— Налетайте! Письма пришли! Многим есть.

Все прибежали в красный уголок.

И Саида пришла, но не спросила, есть ли для неё письмо. Она жадными глазами поглядывала на столик, завистливым взором провожала чужие письма. Но вот она увидела треугольный конверт, — ну конечно же, это её письмо, это от него! Как будто с фронта: вместо обратного

адреса — цифры... Саида схватила треугольный конвертик, но тут же услышала:

— Это для Аминет, она, кажется, тут, передай ей.

Саида опомнилась. Горячий стыд обжёг ей лицо.

— Возьми и передай. Это от её сына, ты её очень обрадуешь, Саида...

— От Мурата? — спросил кто-то.

— Интересно!

— Поскорее передай! Может, он и нам привет шлёт.

— Я... Мне на комбайн пора... Аминет сама возьмёт.— Саида убежала из красного уголка.

Через несколько дней старый письмоносец, не шибко грамотный, но неутомимый. за что, собственно, и держали его на этой работе, снова принёс в степь пачку писем, и только теперь вспомнил Аслан, что он не передал Саиде треугольный конверт, присланный ей молодым пограничником... Аслан долго рылся в карманах, вытряхивая из них пшеничные зёрна и соломинки, попавшие туда за эти дни, и наконец нашёл то, что искал. Конвертик, склеенный из листа линованной бумаги, истёрся, залохматился, сухие, мелкие и твёрдые, как камешки, зёрна пшеницы продырявили его во многих местах. Не беда, если бы только конверт был испорчен, но этот юнец не догадался написать своё послание на отдельном листке, а использовал для объяснения в любви другую сторону обёртки, и теперь весь текст испорчен!.. Аслан с трудом разобрал несколько слов, другие додумал, и они поразили его: господи, есть же ещё на свете такие шалопаи, юнцы с необхожими от материнского молока губами,— что он пишет девушке! На что Саиде, такой красавице, умной и самостоятельной, твои глупые слова, юноша! Девушке не слова нужны, нет, нет!

Аслан и смеялся в душе и злился — до чего же наивен и прост этот Мурат! Нет, дорогой, если хочешь добиться любви, очаруй девушку взглядом, обожги её своим горячим дыханием, сядь рядом, возьми за руку и нашёптывай ей те самые пустяки, от которых так ярко вспыхивают девичьи щёки; а всё, что ты написал, находясь за сто километров отсюда,— всё это брошено в пустоту...

К чёрту такое письмо!

Аслан неторопливо порвал его, бросил клочья на ветер и преспокойно забыл о существовании пограничника.

## ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

### 1

Каждый вечер, к концу дня, у степного вагончика собираются комбайнеры и трактористы. Кто играет на баяне, кто медленно и угрожающе передвигает туру на шахматной доске, кто спит, кто орудует напильником. К запахам бензина, масла и керосина примешивается аромат степных цветов, собранных Саидой. Слышится её тихая, задушевная песня без слов, но по голосу и по взгляду нетрудно догадаться, как тоскует её душа по чему-то далёкому, по кому-то, кого пет рядом, кого бог знает когда она увидит. Но вот песня забыта. Держа шпильки в губах и одну за другой вкалывая их в косы, Саида смотрит далеко-далеко, через степь и горы, и никто не знает, что она видит теперь, что ей слышится. А слышит она, как накачивается на песчаный берег где-то в Архипо-Осиповке или Джубге, под Геленджиком или Туапсе чистая, прозрачная морская волна. Рано утром по берегу проходят молчаливо-строгие парни в накинутых на плечи плащ-палатках, с автоматами, и под их ногами шуршит гравий. Поздно вечером, когда становится темно, на мысу зажигается

яркий свет прожектора, и длинный луч сначала ложится вдоль берега, освещая воду, камни, рыб, которые стайками ходят тут; потом луч переkreшивает морское пространство, выхватывает из темноты высокие мачты и трубы корабля, скользит по гребням волн...

— Саида, пой! — просит чумазы́й тракторист. Пригнув голову к баяну, он перебирает клавиши, осторожно и тихо подсказывает песню, но нет, не хочется ей петь...

Мустафа, который пришёл навестить внучку, лежит возле вагончика на прогретой за день, медленно остывающей земле, жуёт травинку, искоса поглядывает на Саиду. Что-то она задумчивая, невесёлая! Чем бы её позабавить?

— Да... — говорит старик. — Теперь без электричества аул не считается за селение. Раньше тоже была своя точка зрения на хорошее и плохое: адыгейский аул не признавался за настоящий, если не имел своего колдуна...

— А у нас тоже был свой? — спрашивает чумазы́й тракторист.

— А как же, Чачу-Жамачу. Хотите, расскажу, как темиргоевский колдун взял было верх над всеми адыгейскими колдунами, но был наполеону победён нашим Чачу-Жамачу?

Мустафа ждёт, что Саида ответит на его вопрос, но Саида молчит.

— Политбеседа начинается, — шепчет молодой парень своему товарищу.

— Случилось это задолго до холеры, после большого пожара, когда селение наше выгорело дотла, осталась, как говорили, только вода в колодцах, да и та была горячеей. Где-то далеко от нас есть Сыбыр-гора...

— Не так уж далеко, — говорит парень. — Часов пять езды, если на «Побед».

— Ладно, не мешай!

— Так вот, — продолжает Мустафа, — на Сыбыр-горе собрались колдуны из адыгейских аулов, чтобы распределить тыщу недобрых дел и одно доброе — семена пшеницы... Наш Чачу обратился к старейшему колдуну из Шапсугского аула, к плешивому Индрису: «Семена отдайте мне.—сказал Чачу,—у нас семь лет подряд не было урожая!». Но и другие требовали. Завязалась драка. Старейшего Индриса-плешивого сбросили вниз, к чертям. Ещё трое пали в бою. А торбу с семенами захватил темиргоевский колдун, молодой, откормленный, в бухарской шапке, в хромовых сапогах со скрипом, сшитых лучшим мастером станицы. Богатый был колдун: кирпичный дом над рекой Фарз, шесть буйволиц, коровы, пять колод новых карт, с помощью которых он всех обыгрывал. Захватив торбу с семенами, темиргоевский колдун улетел. Но и наш Чачу не зевал. Прилетел домой, взял лук и стрелы, вышел на дорогу, над которой должен был пролететь темиргоевский колдун. Вот он показался... Чачу прицелился, выпустил стрелу. Прямо в торбу попал — и посыпались зёрна на нашу землю!.. Но темиргоевский колдун обнаружил дыру и заткнул её пальцем. Поэтому в тот год, хотя у нас был и неплохой урожай, а всё же не настоящий, — вот если бы все семена высыпались!.. Так рассказывали мне старые люди, — закончил Мустафа. — Ну, ладно, побалакал, и пора в путь. Надо возвращаться в аул. Мы, плотники, тоже колдуны, только мы обязаны сделать тыщу добрых дел.

Саида захотела немного проводить дедушку.

Когда они простились на перекрёстке двух дорог, уже стемнело. Саида ровным шагом шла по направлению к вагончику, ей издали приветливо мигал родной огонёк, милый свет полевого дома.

— Постой, куда торопишься? Я провожу тебя, — слышался знакомый голос, и Аслан зашагал рядом. Саида чувствовала, что услышит что-то особенное, — он давно уже искал возможности остаться с ней



наедине, но в разгар уборки не так-то просто поговорить с девушкой, в особенности, если она штурвальная на знаменитом комбайне...

— Я никогда не сужу о человеке со слов других и тебе не советую, — говорил Аслан, шагая с ней рядом, почти касаясь её плечом. — Ты взрослая, умная девушка и поймешь меня. Фиж распускает слухи, будто это она ушла от меня, бахвалится: бросила, мол, его. Что спорить с ней! Бросила! Можно бросить стул, зеркало, вещь какую-то, но бросить человека... Надо же выразаться вот так, по-феодалному!.. И, если не ужилась с мужем, — в этом мало чести для женщины...

— Главное, — сказала Саида, думая о своём, — верность. Обманываться в чувствах и обманывать — тяжело, и не знаю я, как можно жить, если ты обманул человека.

— Да, ты права, Саида. Никто ведь не тянет за язык: нет на душе такого чувства, — молчи и не обманывай.

— Да, да, — поддержала девушка, опять думая о своём.

— Когда я вижу тебя, Саида, твои глаза, твоё лицо, я знаю: не найдётся такого человека, который решился бы обмануть тебя!

— Не знаю, какие у меня глаза и лицо, но на свете есть люди, у которых слово, сказанное ими, живёт ровно до тех пор, пока живёт сам звук. Звук умер, не стало его, — умерло и слово...

— Таких людей презирать надо. Их надо наказывать забвением..

В темноте светился красный огонёк папиросы Аслана. Он слушал внимательно, подавал сочувственные реплики, и Саида думала: «Вот человек, который меня понимает, думает одинаково со мной..».

После небольшого молчания Аслан, как бы решившись, начал:

— Может быть, то, что я скажу, и не понравится тебе, но человек устроен так, что он должен надеяться, верить в лучшее. А я тоже человек, нравится это кому-либо или не нравится. Я уже не в том возрасте, да и по характеру не из тех, кто бросает слово на ветер, не из числа заносчивых юношей, переменчивых в своих чувствах. Как ты должна поступить и что ответить, — дело твоё, Саида, но я хочу сказать тебе...

— А вот и вагончик! — Саида ускорила шаг. — Как незаметно дошли, правда?

До вагончика оставалось ещё шагов двести. Аслан продолжал своё:

— Не сказать и молча носить в сердце — тяжело. Есть поговорка: некому исповедаться, — так посади свою шапку и ей расскажи... Вот до чего бывает нужно излить душу. В конце концов, Саида, не я виноват, если твой вид, твоя красота зародили во мне чувство...

— Ещё спать не легли... И Якуб тут, — обрадовалась Саида, словно Якуб был именно тем, в ком нуждалась её встревоженная душа. Она всё слышала, ни одного слова не пропустила, капля за каплей падали в её сердце удивительные, тревожные и в то же время приятные слова. Никогда он, Мурат, не говорил ей того, что она услышала от Аслана. Но всё же в глубине души жило то чувство, которое Саида питала к Мурату. И хотя она считала себя оскорблённой и всё время твердила себе: забудь его, он тебя обманул, — не думать о нём она не могла.

— Саида! Ты должна ответить мне. Нет, не сейчас! — великодушно разрешил Аслан. — Подумай. Да тут и народу полно. Я оберегаю твоё имя, как своё собственное, но нам надо поговорить наедине, Саида...

— Я всегда занята, Аслан, сам видишь, не могу отойти..

— Но, если такая возможность появится, мы встретимся?

— Такой случай будет, когда дождь выпадет, — звонко рассмеялась Саида. — А под дождём какая же беседа!

Они подошли к вагончику, вступили в круг света.

За бригадным домиком, на ровной площадке гудели веялки и электрический двигатель. Доносился разговор девушек.

— Саиде повезло,— сказала одна.

— Что ты имеешь в виду? — спросила другая.

— Специальность имеет.

— Подумаешь!

— А ты как школу кончила, одни наряды в голове! Даже газет не читаешь.

— Ничего, от тебя не отстану! Подумаешь, грамотная! Что ты вычитала из газет? Таблицу выигрышей? Объявления о разводе? Все хотят предать дело так, будто они кое-что понимают в политике. Была такая песенка — «Без тебя большевики обойдутся...»

— Нет, не обойдутся!

— Как-нибудь!

— Ну, что с тобой спорить! Я же знаю — у тебя самолюбия вот настолько нет!

— Ох, гордая!

— Да, гордая. Во всяком случае, не потерплю, чтобы меня каждый хватал, как только стемнеет.

— Ты это брось! Завидно, так помалкивай! Ишь, святая!

— Во всяком случае, я не позволю целовать себя, пока не выйду за него замуж. Нацелуется, а потом поминай его, как звали... Мужчину нельзя баловать. Чем строже с ним, тем он ласковее.

— Так вот почему ты о Саиде заговорила! Да, ей повезло.— сам уполномоченный ухаживает за нею.

— Я совсем не то имела в виду.

— Да чего там, — завидуешь, и всё! А ты не отчаивайся, — мало ли приезжает к нам командировочных? Найдёшь, кого полюбить. Говорят, киноэкспедиция ещё раз приедет к нам. И курган тоже будут раскапывать, из Москвы приедут,— кому-нибудь понравиться!

— Дура ты! Я о Саиде совсем в другом смысле сказала.

— В каком же это смысле?

— Она специальность получила, а мы что умеем делать?

— Любить! — воскликнула другая и запела:

У милого шапка набекрень,  
За семь вёрст ему не лень  
Приходить ко мне...

— Напрасно смеёшься,— послышался голос Саиды.— Поёшь ты хорошо, а работать не научилась.

— Ладно. Мы не на комбайне.

— Тебя возмущает, что меня в пример поставили, а зря! Школу ты окончила, семь классов, а какая у тебя специальность? Выйдешь ты через год-два в степь, у тебя спросят: «Ты чего, красавица, пришла к нам в степь?». «Работать», — ответишь ты. «А какая у тебя специальность?». «Какая,— колхозница я...». Люди засмеются: «А всё-таки, что же ты умеешь делать?». «Могу подавать зерно в веялки...». «Не надо, это делает транспортёр». «Хорошо, буду грузить машину...». «Зачем же,— это делается автоматически». «Что же, выходит, человек уже и не нужен в степи?». «Почему, — скажут тебе, — нужен, иди, управляй транспортёром». «Не умею я...». «Садись за руль». «Не сумею править...». «Хорошо, иди на радиоузел». «Этого я совсем не знаю». «Может, библиотекой будешь заведовать?». «Не училась я такому делу...». «Кто же ты, с какой планеты?» — спросят у тебя люди. У нас сейчас колхозниками считают-

ся все, кто живёт в ауле. Пройдёт время, положение изменится: в степи будут работать только те, кто диплом имеет, специальность получил. Я так думаю.

Наступила тишина. Девушки приумолкли. Саида встала и подшла к Косте Шубину, склонилась над мотором, вслушиваясь в его работу. То, о чём она говорила, как о будущем, уже существовало — ток, где работали девушки, требовал от них определённых навыков, умения. А ведь это было только начало.

И Саида сказала, переводя взгляд с одного знакомого лица на другое:

— Может быть, завтра Костя заболит. Что же, мотор должен остановиться из-за этого? Нет! Раньше адыгейку учили повелевать иглой, а мы, девушки, научимся повелевать электричеством, машиной. Думаю, что это гораздо интереснее. Научилась же Фиж!..

## 3

Искусство вождения автомобиля Фиж постигала с поразительной быстротой. Много раз удивляла она Хасана своей сообразительностью и тем особым чутьём, без которого ни одна машина не даётся полностью в руки Хороший шофёр, сидя за рулём, чувствует каждое изменение, которое происходит в машине, угадывает, какой из четырёх скатов ослаб, предупреждает появление перебоев и — что важно — мускулами и нервами ощущает профиль дороги. Уже во время первого рейса он прокладывает с во й след и по второму разу правит так, чтобы попасть на свою колею, которая неразличима для постороннего глаза, перекрыта и перечёркнута колёсами других машин.

Фиж не забывала о своём положении: её родители не пользовались особым почётом, сама она неудачно вышла замуж и ушла от мужа. Теперь он находился в её ауле, наблюдал за каждым её шагом, присматривался к каждому её движению, перехватывал каждый её взгляд, брошенный на Хасана, всё подмечал, и Фиж всегда чувствовала присутствие Аслана.

Пока ещё у нас в Адыгее вы не часто увидите адыгейку — шофёра, тракториста, механика... Великая техника, облегчающая труд человека, почти целиком находится в ведении мужчин. Мужская власть, самодержавная и сильная, господствует повсюду, где есть техника. А рядом, в станицах и на хуторах, громко звучат славные имена казачек — трактористок и комбайнерок...

Районного масштаба патриоты возразят: как, есть и у нас передовики из числа женщин, — например, такая-то работает у станка, в МТС, разве вы не знаете? Как же не знать, не знать её трудно: она — единственная на весь район!

Всё это вместе взятое заставляло Фиж относиться к новому для неё делу с особой страстью. И если вначале, когда Фиж вернулась в аул, некоторые люди смотрели на неё, как на несчастную, готовую ухватиться за первую же протянутую мужскую руку, то теперь они вынуждены были переменить своё мнение. Они видели не обездоленную, не одинокую страдалицу, не п х у ж — «старую дочь», а молодую, полную сил и здоровья женщину, занимавшую в колхозных делах такое же место, какое занимали передовые мужчины. От неё зависела честь и слава колхоза — от того, как она справится с вывозом хлеба на элеватор. От неё и от Хасана — в равной мере..

Машина приближалась к переправе. Фиж занимала одна мысль: как бы первой переехать реку и поскорее сдать зерно на элеватор.

Паром, подталкиваемый катером, уже подходил к пристани. Длинная вереница подвод и машин ждала очереди. Фиж выключила мотор и вышла из кабины. Стройная, в лёгком летнем комбинезоне, с белым чубчиком, чуть-чуть выбивавшимся из-под тонкой косынки, она прошла вдоль рядов машин и подвод, похожая не столько на шофёра, сколько на лаборантку.

Председатель аулсовета Али помогал паромщикам в наведении порядка на переправе. Сам он когда-то служил начальником контрольно-пропускного пункта под Туапсе и властно распоряжался дорогой, потоком машин и грузов. Он круто осаживал тех, кто вёз что-нибудь второстепенное, широко открывая дорогу боевым грузам. Этого требовали интересы фронта.

...Задние подводы напирали на передние, возчики нервно теребили вожжи, у шофёров грелись моторы — каждому хотелось одного: миновать передних и первым проскочить к переправе. Али замечал каждую хитрость, понимал каждый жест, каждый шаг возчика или шофёра. У переправы проявлялись все характеры, сказывались все страсти...

— Правой стороны держись! — твёрдо скомандовал Али усатому возчику, который неистово хлестал лошадей, заставляя их поднять дышло и обойти переднюю подводку. Позади возчика сидела женщина, нарядно одетая, с подчеркнута кротким видом. Женщина сошла на землю и неторопливым, степенным шагом направилась к Али. Она была уверена, что мужчина, неожиданно вмешавшийся в жизнь переправы, не знает, что она адыгейка, но как только узнает, сейчас же скажет «Сестра, извини меня» — и пропустит её подводу. Однако Али с довольно хмурым лицом слушал её намёки.

— Не знаю, сестра, из какого ты аула, но рад предложить себя в качестве бысыма, если не сможете сегодня переправиться, — галантно предложил он, досадуя на то, что его задерживают.

— Мы спешим в станицу, иначе не отказались бы от предложения такого человека, как ты, сочетающего в себе самые отменные качества адыга: решительность и скромность...

Через голову женщины Али крикнул возчику решительно, но не очень скромно:

— Стань на место!

А потом, сбегав к парому, скомандовал:

— В первую очередь — транспорт с хлебом! — и с грохотом опустил старый шлагбаум.

Распорядительность Али нравилась шофёрам, но не Фиж. Пересчитав машины с хлебом, она выяснила, что переедет через реку только со второй партией. А это её никак не устраивало. Тогда она вернулась к своему грузовику, включила мотор и осторожно поползла мимо шеренги машин и подвод.

На что она рассчитывала? Как она думала проехать?

Вот, увидев её, один из шофёров выпрыгнул из кабины, чтобы преградить машине путь, но Фиж, открыв дверцу, улыбнулась ему, как старому знакомому.

— Как дела, Саша?

Шофёр удивлённо смотрел на неё — миловидное личико, черноволосая, а чубчик белый. И откуда она знает его имя? Всё-таки приятно.

— Ничего, — скромно ответил Саша.

— Саша, а у тебя нет клея?

— Клея? — переспросил Саша. — Есть, да не взял с собой. Езжу с запасными камерами.

— Счастливец какой, а! Ах, какая жалость! Мне так нужен клей!

— Могу привезти следующим рейсом, — пообещал Саша.

— Милый, ты меня просто выручишь! — благодарила Фиж, а сама подруливала к переправе.

— Здравствуйте, Тимофей Яковлевич! — крикнула она другому, пожилому шофёру, тоже вышедшему навстречу, чтобы задержать её.

Тимофей Яковлевич строго взглянул на неё.

— Лосите! — крикнула Фиж и бросила ему ароматное яблоко, краснощёкое, большое. — Искровцы, небось, фруктов не едят? А у нас их много! — И, поправив косынку, заговорила другим, серьёзным тоном: — Константин Петрович, а, Константин Петрович! Вы не скажете, где бы мне достать пару свечей?

— Пару свечей? — озабоченно повторил Константин Петрович. — А попробуй в станице, в «Автотракторсбыте».

— Вы очень любезны, Константин Петрович! Нет, чтобы самому предложить.

— Были бы, — не отказал бы.

Надо сказать, что шофёры, молодые и старые, обрадовались, когда они увидели её впервые за рулём, и нередко помогали Фиж то налить воду в радиатор, то завести машину, охотно осматривали мотор, рылись в нём, что-то исправляли; они опекали её и очень гордились тем, что она работает вместе с ними на перегруженных, пыльных, тяжёлых дорогах.

— А шут с нею! — сказал Тимофей Яковлевич. — Пусть...

— Хороша девка!

— Адыгейки, они такие — или глядеть не на что, или же красавица тьмутараканская, — философствовал Константин Петрович. — В году, этак, кажется, не то девятьсот седьмом, не то восьмом, ухаживал я за одной...

— Не женился?

— Куды там! Родные, как узнали, так бедняжке жизнь испортили! Тогда же — при старом режиме — не то, что нынче...

Фиж стала на паром. Шофёры проводили её долгим взглядом.

— Хороша! — послышался чей-то вздох.

Али удивился, увидев Фиж на пароме.

— И как тебе удаётся, не пойму! — говорил он. — Другого избили бы!

— А я не другой, а другая! — отвечала Фиж.

Навстречу парому бежала серая, мутная вода. Она бурлила, несла солому — признак уборки, которая разгоралась повсюду. Из-под плывущего пучка соломы ударила большая рыба, наверное, головль.

— Тоже встречает уборку, — сказал паромщик. — Хитрая, хоть и рыба: знает, что зерно везут.

Паром причалил к станичному берегу. И сразу же Фиж включила мотор, преодолела дощатый настил и выехала на дорогу, которая тянулась берегом.

Ещё издали показался элеватор, высокий, увенчанный красным флагом, похожий на морской маяк. На него держали путь все машины и подводы, отовсюду направлялся к нему хлебный поток. Это ему, хлебному потоку, посвящались теперь передовицы газет, песни и стихи, о нём рассказывали голоса радиостанций.

Мощным потоком шёл хлеб для страны. Хлебному потоку все уступали путь, для него были открыты все дороги, свободны все переправы. Дорога гудела от напряжения, как туго натянутый ремень маховика. Над подводами и машинами реяли флаги колхозов и совхозов. Если смотреть издали, казалось, что мимо тебя движется большая праздничная демонстрация.

Фиж подъехала к станичному магазину «Автотракторосбыта», чтобы любой ценой, доплатив даже свои деньги, достать фильтр тонкой очистки, несколько лампочек и ещё кое-что, записанное на бумажку твёрдым почерком Хасана.

Фиж ещё ни разу не бывала в магазине, торгующем автомобильными частями,— она знала хорошо прилавки с шёлком и ситцем, нитками и обувью, скатертями и посудой, пудрой и губной помадой ..

За прилавком, стирая пыль и поправляя таблички с ценами, хлопотала большеглазая девушка в синем халате. Фиж поздоровалась с нею. Девушка оказалась ей заносчиво-капризной. Будь тут мужчина, всё равно—восемнадцатилетний юноша или же семидесятилетний старец,—он обратил бы внимание на вошедшую. Но продавщица даже не взглянула толком, кто стоит у её прилавка. А Фиж выглядела неплохо в своих лёгких брюках, с широкими бретелями, перекинутыми через плечи, с карманами на «молниях»; в одном — надушенный платочек, в другом — документы; кожаный красный поясок перехватывал тонкий стан; на ногах — яркие босоножки, на голове — тонкая газовая косыночка.

Нет, так легко Фиж не собиралась сдаваться

— Можно у вас попросить на одну минутку зеркальце? — спросила она, заметив на полке круглое, в никелированной оправе зеркало.

Девушка подала.

Фиж долго стояла перед ним, поправляя причёску, потом снова обратилась к девушке, на сей раз как к старой знакомой.

— Посмотрите, пожалуйста — Она повернулась спиной.— Мне всё время кажется, что сзади у меня морщит...

— Да что вы! — испугалась девушка и, бросив своё занятие, быстро вышла из-за прилавка с таким выражением на лице, словно ей сообщили очень тревожную весть.

Присев на корточки, она поправила что-то на брюках Фиж и сказала:

— Очень хорошо сидит.

— Правда?

— Честное слово!

— Сама сшила! — похвалилась Фиж

— Никогда бы не подумала!

— Почему?

— Так тщательно, чисто...

— Я всё сама себе шью... У меня есть напарник,— начала рассказывать Фиж, — мы ездим посменно: я днём, а он ночью . Так я успеваю и выспаться и хотя бы час-другой посидеть с иглой...

— Вы адыгейка, да?

— Да, я из аула, что по ту сторону реки...

— Вот как...

— И кофточку сама сшила, из китайского шёлка ..— сообщила Фиж, спуская с плеч широкие бретели, чтобы девушка смогла рассмотреть все складочки и в особенности рукава, сшитые «фонариками». — Ничего?

— Прелесть, просто прелесть! — восхищалась продавщица.— Как я вам завидую!

— Ну что вы!. Вот осенью, когда закончим уборку, сошью себе платье из пан-бархата.

— А сколько метров надо?

— Смотря на кого шить... Пан-бархат узкий.

— Ну, на меня...

— Боже мой, вам достаточно трёх метров! — воскликнула Фиж.— Вы такая тоненькая, изящная, одно удовольствие шигь на вас.

Девушка покраснела и с нежностью посмотрела на Фиж.

— Если хотите,— предложила Фиж,— я заеду к вам, когда у вас будет выходной день, и отвезу к себе, мерку снимем. Я с удовольствием сошью на вашу фигурку...

— Ой, что вы! Конечно, я очень благодарна вам, но вы, наверно, так заняты...

— Ерунда! — возмутилась Фиж.— Я же сказала — с удовольствием! Отвезу вас на своей машине, переночуете у меня, а утром ровно в восемь доставлю вас сюда.

— У меня есть отрез на платье.. И на халат...

— Ну и чудесно! Я покажу вам журнал, рижский, с ума сойдёте!

Теперь Фиж считала почву подготовленной и, взглянув на часики, украшавшие её тонкую загорелую руку, вскрикнула:

— Боже мой, заговорились! Ну и болтушка же я! — Она вынула из кармана листок, на котором Хасан записал ей всё, что надо купить. — Милая, я знаю, конечно, как трудно, и потом мы не от вас снабжаемся, но вы меня выручили бы...

— А что такое?

— Да вот тут... Сами прочтите. Ну так нужно, так нужно! — убеждала Фиж. — Просто до зарезу!

Девушка вернулась за стойку. Читая список, она морщила лоб, потирала висок, кусала губы. Взяв красный карандаш, поставила птички.

Фиж подошла к приёмнику. Он был включён, и стрелка на шкале стояла на той волне, на которой работала рация её колхоза. В приёмнике раздался щелчок, потом глухой шум, треск; продавщица, забыв о списке, подошла к приёмнику, повернула одну из ручек, и в станичном магазине «Автомоторсбыта» раздался тревожный голос:

— Эмтеэс, эмтеэс, эмтеэс!..

— Это у нас, — сказала Фиж. — Что-то случилось, голос нашего комбайнера. Неужели сцеп испортился?

— Какой сцеп? — заинтересованно спросила девушка.

— У нас же один комбайнер на двух комбайнах работает.

— Эмтеэс, эмтеэс, эмтеэс!..

— Да, да, да... — слышался далёкий голос машинно-тракторной станции. — Говорите!

— Трос лопнул... трос... Повторяю: лопнул трос...

— Какой трос? Какой трос?

— Трос для буксировки второго комбайна... Буксирный ..

— Понятно!..

— Сообщите директору... Вышлите новый... или скорую помощь... сообщите механику.

— Записала, конец приёма, конец...

Продавщица с тревогой посмотрела на Фиж, и та поняла, что Маль имеет какое-то отношение к этой большеглазой казачке, над рабочим местом которой висит табличка: «Старшая продавщица О. Десюненко».

Фиж не ошибалась: ещё весной, в поисках какой-то специальной книги, заходил сюда Маль, познакомился с Ольгой Десюненко, и с тех пор её приёмник всегда был настроен на волну аульской рации.

— Вы так встревожены... — начала Фиж, проверяя свои подозрения.

— Ничего подобного! — защищалась Ольга — Просто-напросто я понимаю, что значит перебитый трос... Его не так легко достать...

Они ещё поговорили, и Фиж, простившись с Ольгой, поехала домой, получив кое-что из того, что было заказано Хасаном.

## ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

## I

Да, трос разорвался: ездовые не успели за сцепом, не смогли вовремя разгрузить бункер второго комбайна, и трос не выдержал тяжести.

— Этот сцеп у меня в печёнках сидит! — нервничал Аслан. — Вас, товарищ Маль, температурит: то шестнадцать, то двадцать, то опять шестнадцать...

— И тридцать девять бывает... — отвечал Маль. — Трос мы укрепим, а температура поднимется и до сорока и за сорок!

Боевые рассуждения Маля были вызваны приездом директора МТС и небольшим совещанием у него. Директор собрал руководителей колхоза и, ознакомившись с работой сцепа, предложил обеспечить Маля бесперебойной разгрузкой.

— Предупреждаю, — говорил он, обводя и комбайнеров и руководителей взглядом усталых, строгих глаз, — каждую остановку сцепа, даже на пять минут, по вине колхозного транспорта я считаю преступлением. Дело не в актах. Что акты, даже если мы составим их и предъявим колхозу?..

Комбайнер в прошлом, а до того колхозник, директор МТС Меджид Чеучев не принадлежал к той категории работников, которые ищут выхода из трудного положения в таких документах, как акты, докладные записки на имя райкома или райисполкома, — он искал реального выхода.

— Я дал вам грузовик специально для сцепа, потому что с самого начала было ясно: только автотранспорт обеспечит Малю бесперебойную разгрузку сцепа. А вы как поступили? — Взгляд его задержался на Хасане. — Вы понимаете, как надо расценивать ваше отношение к сцепу? Только как антимеханизаторское!

— Я настаивал, — сказал Хасан. — Советовал закрепить за сцепом ваш грузовик.

— Настаивал? — переспросил директор. — Плохо ты настаивал. Настаивал? Какого чёрта настаивать, когда надо требовать!

— Я парторг, товарищ Чеучев, не администратор...

— Вот, вот! Боялся «подменить» председателя? — Чеучев обернулся к Аминет. — Ты бригадир, хозяин пшеницы, если не уберёте во-время, с тебя спросят.

— Знаю, — тихо ответила Аминет.

— Нет, не знаешь — не согласился Чеучев. — Знала бы, так не вернула бы мне машину.

— Так решили...

— Кто же решил, если и ты этого не хотела, и парторг не хотел, и комбайнеры не хотели? Вы, что ли, товарищ уполномоченный?

— Сцеп в те дни убирал до неприличия мало, двенадцать га...

— Неправда! — перебил Чеучев. — И двадцать четыре убирал!..

— Двумя комбайнами! — Аслан вскочил, заговорил раздражённо. — И вообще мне непонятно, что означает učinённый вами допрос? Приехали и кричите на наши руководящие кадры, при всех позорите людей, подрываете их авторитет... Я уполномоченный райкома, а не мальчишка какой-нибудь! — Он сел с оскорблённым видом.

— А ваш возраст меня не интересует, товарищ Умаров, интересует меня только сцеп. Кричу я, по-вашему? Голосовые связки у меня давно простужены, ещё в астраханских песках... А коль скорс вы уполномоченный, не пора ли прекратить поездки в станицу за пивом и заняться своим непосредственным делом? — прямо спросил Чеучев. — И не бойтесь, когда о вас что-либо говорят в присутствии других.



— Я ездил в станицу не за пивом, а на элеватор.

— А я против пива не возражаю, если привезёте его на ток...

— Может, вернёте нам грузовик? — спросил Хасан, прерывая разговор о пиве.

— Ну да! У меня их тыща! — вспыхнул Чеучев. — Машину я отдал будённовцам, они не такие шляпы, как вы. Натуроплаты испугались? А если запоздаете с уборкой, потеряете во сто раз больше, чем стоил бы грузовик. Ты в данном случае проявил политическую недалёковидность! — Чеучев посмотрел на Хасана. — Нельзя поддаваться старокрестьянским влияниям, товарищ парторг... Я уже выслал к вам самоходку, она сделает прокосы. Это значительно сократит длину рейсов ваших бестарок. Прорежем пять-шесть коридоров к сцепу, через весь массив... А то, чтобы подъехать к комбайну, вы описываете вот такой круг! — И он широко развёл руками. — Дураку семь вёрст не крюк, это верно... Да нельзя быть таким... — Он обернулся к двери — Ну что, Ваня, связали?

— Уже, товарищ директор! Сейчас начнём! — сказал Маль, вытирая руки тряпкой.

— Тут о сцепе речь, Ваня. Что ты нам скажешь, чем порадуешь? Да ты садись...

— Я вывел два комбайна в сцепе, и всё это было ново для меня... — сказал Маль, продолжая стоять. — Но период обкатки мы уже прошли — машины обкатали и себя тоже... Чувство страха перед новым мешало, сковывало наши движения... Не умели мы, ни я, ни тракторист, согласовывать свои действия: редкая ли пшеница, густая ли. высокая или низкая, — везде мы шли одним шагом... А теперь мы начинаем набирать темпы, и только одно нам помеха: бестарки не поспевают. Через день-два я загоню и лошадей и людей! — задорно прозвучал голос молодого комбайнера. — Больше ничего не скажу, мне к комбайну пора...

Все вернулись к сцепу. Ремонтники, привезённые Чеучевым, уже выполнили свою работу, скрепили трос. Иван Маль поднялся на мостик первого, головного комбайна. Его помощник побежал ко второму. Пётр Маль завёл трактор.

С мостика, где стоял комбайнер, раздался длинный, переливчатый свист — сигнал к движению... Трос натянулся. Следом за вторым комбайном, чуть покачнувшись, вдавливая в землю большие колёса, тронулся в путь и второй.

Дзагашт выехал вперёд, чтобы встретить сцеп у места разгрузки. Он дал команду своим товарищам, и бестарки свернули с дороги на стерню.

Вдали показался самоходный комбайн.

— Аминет! — позвал Чеучев. — Поручи кому-нибудь расставить вежи, и пусть самоходка проложит пять-шесть прокосов... И чтобы бестарки пользовались этими новыми, короткими путями.

— Постой! — крикнул Рамазан, останавливая бригадира. — Я сам распоряжусь.

Аминет покраснела: ей было стыдно, что председатель выказал своё недоверие при постороннем человеке.

— Но чую, прокосы не спасут вас, — продолжал Чеучев. — Маль начнёт давать и сорок и пятьдесят гектаров. Тут без грузовика не обойтись. А то как бы не повторился позапрошлый год. Напишите письмо в райисполком относительно грузовика, я поддержу. Но если узнаю, что сцеп стоял по вашей вине, тогда пеняйте на себя. — Чеучев поспешил к машине. — Жарко... — жаловался он, вытирая потное лицо — Поеду к искровцам. У них другая болезнь: не успевают с очисткой... Ну, пока, товарищи.

Машина отъехала.

## 2

— Грубый человек, — сказал Аслан после отъезда Чеучева.

Хасан пожал плечами.

— Да, вид у него такой, что можно подумать, кто мало знает его: зверь, а не человек! Но это совсем не так ..

— Однако он не очень посчитался с тобой. Нагрубил, накричал.

— Не думай, Аслан, что я без самолюбия, без нервов... Но я предпочитаю вот такого, откровенного, беспощадного к себе и к другим, прямого человека, чем лстивого, мягкого, неискреннего. Ты просто не знаешь Меджида. На Висле, раненный в обе ноги, — он был танкистом, — Меджид подбил два немецких танка и вывел свою машину невредимой... Когда-нибудь сходи с ним на речку — ты увидишь на нём такие шрамы, что удивисься, как он выжил! Сколько лет, по-твоему, Меджиду?

— Лет сорок пять.

— Пятьдесят восемь! Член партии с семнадцатого года, кочубеевец. Первый тракторист-адыг. Сколько раз подкапывались под него! А знаешь, почему? Из-за бензина. Заедет к нему этакий начальничек и спрашивает: «Как у тебя с бензином?». «Очень даже хорошо, бензина вволю». «Мне бы литров двадцать». «Сожалею, бензина нет!». «Ты же только что сказал: есть, и вволю». «То государственный запас».

— Таких людей я не понимаю, Хасан... Конечно, расхищать нельзя — это особ-статья, но не дать десять—двадцать литров, имея пять цистерн... Это даже не по-адыгейски.

— Он так и отвечает: знаю, говорит, что не по-адыгейски, зато по-советски. А постучись к нему ночью — он не будет знать, куда уложить тебя да чем накормить... Ну, ладно, — порадовался Хасан, — главное-то вот в чём: Меджид пообещал нам грузовик.

— Он мимоходом, сквозь зубы пробормотал что-то неопределённое, — сказал Аслан. — Какое это обещание?

Хасан засмеялся.

— Одно слово, сказанное Меджидом сквозь зубы, стоит длинных речей, которые произносят иные... Грузовик будет!

— А всё-таки неприятно... — поёжился Аслан. — То отказались от машины, то обращаемся за помощью... Как ещё посмотрят на наше письмо районные организации? Иждивенческие настроения — вот как это можно расценить. Беспомощность и безрукость.

Рамазан после отъезда Чеучева тоже не имел праздничного вида, хмуро поглядывал на Аминет и в особенности на Хасана. В подобных случаях председатель согласен был не спать и не есть, держать себя и других в предельном напряжении, лишь бы не обращаться к верхам. Каждый такой шаг, по его глубочайшему убеждению, вредил престижу колхоза. Что, разве мы отстающие? Есть колхозы послабее нашего, пусть они обращаются, просят и умоляют, а я не буду гнуть спину, вымаливая себе то да сё! Я сам осилю...

Он оберегал дорогое для него имя своего колхоза, ревностно следил за чужими успехами и изо всех сил старался, чтобы колхоз был передовым. Если Аслана беспокоило, как отразится подобное письмо на его карьере («мы послали уполномоченного, а он, на тебе, насаждает, клянит машину, вместо того чтобы искать выхода на месте, выжимать всё из наличной техники»), то Рамазан думал не столько о себе, сколько о чести и о добром имени колхоза.

— А мне не стыдно просить помощи, — заявила Аминет. — Меджид прав: если мы затынем уборку, то гектар начнёт давать сто, а потом — восемьдесят, а ещё дальше — шестьдесят и даже сорок пудов... Как было с нами в позапрошлом году? Не забывайте!

В летописи колхоза позапрошлый год считался позорным. В начале уборки гектар давал сто двадцать — сто тридцать шесть пудов. Радовались. А после четырёх дождей, бурно двинувших в рост траву, которая поднялась выше колосьев, сбор упал: гектар начал давать восемьдесят шесть пудов, а в иных местах — пятьдесят четыре. Прошло несколько дней, колосья под тяжестью травы пригнулись к земле, — комбайны косили и обмолачивали траву, и последние сто семьдесят шесть гектаров дали по тридцать два пуда.

Вот чего боялся Хасан, о чём не забывала и Аминет, что напомнил им резкий на слово, громкоголосый директор МТС. Вот с чем не мог не считаться Рамазан, преданный своему колхозу.

## 3

Саида спала в тени полевого тракторного вагона. В степи стоял благоустроенный домик колхозной бригады, всегда гостеприимно открытый для механизаторов, но комбайнеры и трактористы предпочитали свой вагончик, поставленный с колёс на четыре противотанковые надолбы. В сорок втором году по этим местам, через поля колхозов и совхозов, от излучины Кубани до Лабы, лёг вырытый населением глубокий противотанковый ров. Время шло, постепенно ров исчез, края его заровнялись, но кое-где остались надолбы. Плуги натывались на них, трактористы ругались, потому что каменные тумбы, глубоко ушедшие в землю, причиняли им немало беспокойств: никогда нельзя было предугадать, где они похоронены. Такая надолба с раскрошившимися гранями крепко сидела в земле, как корень старого дуба.

Тень, падавшая от вагончика, ушла в сторону, и Саида наполовину лежала теперь в горячих лучах полуденного солнца. Она проснулась и долго не могла сообразить, что же мешает её спокойному сну. Наконец нашла причину, ленивыми движениями уставших рук собрала свою постель и перенесла её в тень. Она уснула быстро, ей уже виделся, наверное, чудесный, запутанный сон, когда у её ног остановился взъерошенный, перепуганный Якуб.

— Саида! — позвал он, но девушка не услышала его. Тогда он опустился на колени и потной, пыльной рукой коснулся её плеча.— Саида!

Девушка открыла глаза.

— Саида, вставай!.. Парус порвался! Слышишь? Парус, говорю, порвался!..

— Парус? — Сон как рукой сняло. — Парус?

— Да... Комбайн стал, Саида, стал! А стоять нам нельзя. Мы же соревнуемся по твоей милости! — жёлчно напомнил он. — Маль нам на пятки наступает, на флажок метит. Тут каждый час дорог!

— Сейчас, — Саида встала. — схожу на рацию, вызову эмтеэс.

— Ни в коем случае! — запротестовал Якуб. — Хочешь, чтобы весь район узнал о нашем несчастье? Нет, нет!

— Вероятно, у тебя запасный есть?

Саида не зря задала этот вопрос. Якуб имел немало всяких запасных частей для комбайна; он прятал их в заветном сундуке, всегда запертом на секретный замок. Даже ей, своей помощнице, не доверял комбайнер тайну удивительного замка, и если бы (не дай бог, конечно!) Якуб скончался сегодня, сундучок пришлось бы хоронить вместе с ним. К удивлению Якуба, Саида улыбнулась: она представила себе, как, положим, лет через сто, например, стрыли бы его могилу, нашли сундучок и в нём — запасные части к комбайну образца первой половины двадцатого века.

— Запасного паруса у меня нет, — угрюмо ответил Якуб. — Ты всё смеёшься, а того не учитываешь!..

— Да, я смеюсь! — прервала его Саида. — Ты клянул все эти запасные части, гаечки и винтики, звёздочки и ножи, спорил и доказывал, что произошла путаница и тебя обошли... Ты и на свои деньги покупал, знаю! Да не ты один, — каждый комбайнер считает обязательным иметь пудов пять всяких частей, из которых, кажется, можно второй комбайн собрать. Нет того, чтобы они хранились вместе, как общее достояние, тут или в эмтеэс, а так вот: каждый в своём кармане держит. Почём ты знаешь, может быть, у Маля есть свободный парус?

— Есть или нет — меня не интересует...

— Вот, вот! В эмтеэс помчишься. А у него звёздочки не будет — тоже в эмтеэс, а их у тебя аж две штуки. Так и живёте, проклятые одиночники! — разозлилась Саида.

Она видела, что её слова попали в точку, в цель. Якуб переминался с ноги на ногу, вид у него был такой растерянный, жалкий, что Саида решила не продолжать этого разговора, пощадить его — кое-что дошло до него, кое-что он уже понял.

— Что же теперь делать? — спросила она.

— Я съезжу в эмтеэс, а ты тем временем всё тут приготовь, — сказал Якуб. — После отоспишься. Я прошу тебя.

— А чего просить! Только на чём же ты доберёшься до эмтеэс?

— Возьму мотоцикл у Рамазана.

— Тогда не стой, а поторапливайся... Мы ведь соревнуемся теперь, — Саида передразнила его интонацию, — по моей милости.

Якуб ничего не ответил.

## 4

Когда Дзагашт подъехал к комбайну, Маль спросил у него:

— Ты, кажется, проезжал мимо... Почему Якуб стоит?

— Э! — воскликнул юноша. — Сегодня мы его обгоним, Ваня. У него парус вышел из строя.

— Парус?

— Да.

— Ты это точно знаешь?

— Ну ещё бы! Мы строго следим за Якубом. Как же не знать, почему он стоит, если мы соревнуемся с ним? Он помчался в эмтеэс на отцовском мотоцикле.

— А Саида где?

— Саида что-то подтягивает. Злая, как наша соседская старуха...

— Значит, в якубовском сундучке не всё имеется! — засмеялся старший Маль. — А я думал — универмаг у него!

— Бакалея! — радовался Дзагашт, представляя себе, как вечером на доске соревнования появятся две цифры — против фамилий Маля и Якуба — и по ним люди узнают о первой победе их комбайнера. Братья Пачешховы, обслуживавшие комбайн Якуба, встречаясь с ездовыми из группы Дзагашта, проезжали мимо них с таким заносчиво-гордым видом, что Дзагашт много раз думал о Мале, как о безнадежно погибшем комбайнере. Правда, Маль делал успехи, но Якуб неизменно шёл впереди...

Бестарки послушно потянулись следом за сцепом, словно они были кусками железа, а комбайн — гигантским магнитом. Ловко правя парой гнелых, Дзагашт поравнялся с головным комбайном и принял зерно. На его место сразу же стала другая повозка. Они грузились, как грузятся катера в порту, и, отчалив от степного корабля, уходили в прокосы — новые, более короткие пути, проложенные самоходным комбайном.

Дзагашт выехал на дорогу. Вдали показалась вереница подвод — то возвращались порожняком семеро Пачешховых. Их комбайн стоял. Дза-

гашт подождал, и, когда братья поравнялись с ним, он, свернув с дороги, крикнул:

— Вам надо спешить, уступаю! Пожалуйста!

Подражая краснодарской милиционерше, что стоит на стыке главной улицы и улицы Мира и изящными, лёгкими жестами направляет поток машин то туда, то сюда, Дзагашт одну руку поднял, а другую прижал к груди...

Братья Пачешховы и тут, на уборке, оставались верны себе, — они простодушно поблагодарили юношу за честь, однако признали, что право на дорогу принадлежит гружёной бестарке Дзагашта.

— Прошу, прошу! — повторил Дзагашт. — Всё-таки я один, а вас семеро! Езжайте вы вперёд!

— За это, конечно, спасибо, — сказал старший, сидевший в коробе, поджав под себя ноги. — Только мы порожняком едем.

— Что, кончили уборку?

— Ха-ха-ха! — громко захохотал старший и, поднявшись во весь рост, обернулся к своим братьям, любопытствовавшим узнать, что там творится на дороге и почему старший хохочет от души. — Он... — и старший кнутовищем указал через плечо на Дзагашта. — Он подумал, мы потому возвращаемся порожняком, что уборку закончили! Ха-ха-ха!

— Ха-ха-ха! — пронеслось по всем бестаркам.

— Этот Дзагашт — я этого не подозревал — большой шутник!

— Я же не знаю, почему вы возвращаетесь порожняком... — Дзагашт прикинулся обиженным: нечего, мол, смеяться, если спросил. — А что я мог подумать? Вижу — порожняком едете...

— Ну ладно! Грешно было бы ссориться с человеком из-за одной его ошибки, — сказал второй брат. — У нас, сосед, несчастье — парус порвался.

— Да, это так, — подтвердил третий.

— Не повезло, — добавил четвёртый.

— И надо же было, чтобы он порвался именно теперь, во время уборки! — сожалел пятый.

— Небось, там, на заводе, ни один не рвётся, — подметил шестой.

— Ещё бы! — воскликнул седьмой. — Меня удивляет: почему именно наш порвался? Как будто на других комбайнах не такие же паруса...

Дзагашт взмахнул плёткой и поехал во главе братьев. Вскоре одиночество надоело ему, и он пересел к старшему Пачешхову, — лошади сами шли по дороге, хорошо и давно им знакомой.

— Закури, — предложил Дзагашт, раскрыв красивый, щегольской портсигар.

— «Дукат», что ли?

— Какой «Дукат» — «Ява»!

— А мы всякий курим...

— Зачем же тогда спрашивать?

— Надо же всё-таки знать, что кладёшь себе в рот... Они тоже закурили бы... — И старший, не оглядываясь, указал головой в сторону младших братьев.

— С вами опасно встречаться, ей-богу! Сразу же надо семь папирос доставать...

— Зато, юноша, когда мы угощаем, то тоже семь портсигаров протягиваем.

— Вы-то, может быть, и протягиваете, но не могу же я сразу семь папирос закурить. Ладно, берите!

И серебряный портсигар Дзагашта совершил длинное путешествие: сначала туда, от бестарки к бестарке, потом — оттуда и вернулся пустым.

— А ну вас к чёрту! — рассердился Дзагашт.

— Что ты ругаешься! Портсигар же вернули? Давай-ка лучше спойм!

— Давай!

Старший обернулся к младшим.

— Споём? — крикнул он.

Вопрос покатился по всем бестаркам. Дзагашт ждал. Через несколько минут вернулся ответ, и он поразил Дзагашта:

— А до пения ли нам, если у нас парус порвался?

В суровом молчании проехали три километра. Показалась балка, потём — колодец, вырытый когда-то трактористами. Он так и назывался — «тракторпсын»; псын — значит колодец. Решили напоить коней и самим напиться. Старший достал воду. Младшие ждали, когда он напьётся. Ведро пошло по рукам.

— Дай бог здоровья тому трактористу, который вырыл этот колодец, — произнёс старший Пачешхов. — Говорят, Меджид Чеучев вырыл, правда или нет?

— Директор эмтеэс?

— Чёрный?

— Этот сердитый?

— Тот, что весь в шрамах?

— Кто кричал тут на всех из-за сцера?

— Бывший танкист?

Семь вопросов.

На все ответил один Дзагашт:

— Да, тот самый, чёрный, Меджид Чеучев, весь в шрамах, танкист и директор, сердитый, что кричал тут на всех...

— Вот как! — воскликнули Пачешховы, словно они не знали, кто же вырыл колодец. Но им каждый раз доставляло удовольствие снова спросить об этом и получить вот такой обстоятельный ответ. Хорошая вода в этом колодце, такой нигде нет поблизости.

Все напились свежей колодезной воды и снова тронулись в путь.

Преодолев подъём, выехав первым на косогор, откуда открывался вид на всю степь, старший воскликнул:

— Посмотрите туда, посмотрите!

Толстое кнутовище указывало на север.

— Что такое? — удивились братья.

— Ваш комбайн косит, товарищи! — закричал Дзагашт. — Только не понимаю: неужели Якуб успел вернуться? Не может быть!

— А почему не может быть? — обиделся старший.

— Ну, сами же посудите! — убеждал Дзагашт.

— А что нам судить, когда видно: косит!

— Он думает так, — вмешался второй брат, — раз парус порвался — так два дня жди!

— Ему обидно, что наш комбайн тоже работает!

— Конечно!

— Иначе он не сомневался бы!

— Ишь, расстроился как!

— Ещё бы!

— Он просто молод и не знает, что такое соревнование! Разве можно радоваться чужой беде?

Дзагашт не знал, что им ответить. Попада́ло со всех сторон. Он уже не рад был, что связался с ними. Как доказать, что он не радовался их неудаче?

— Дайте всё-таки закурить! — попросил Дзагашт. — У меня никакого зла не было на душе, поверьте мне...

Каждый протянул свою табачницу — всего семь коробок с крепким самосадам, с аккуратно нарезанными газетными листочками.

— Вы какую газету курите? — заинтересовался Дзагашт.

— Мы выписываем две областные, две центральные, одну краевую и нашу районную... — перечислил старший. — Читать лучше всего «Правду», потому что в ней часто появляются хорошие фельетоны... «Правда» кричит смелее, чем наши... А курим мы районную... Не знаю, на какой бумаге она печатается, но от неё не кашляешь и не чихаешь...

— Вот как! — удивился Дзагашт.

— А зачем нам обманывать тебя? Правду говорим. Разворачивайтесь! — распорядился старший. — Жаль расставаться, юноша, но нам в обратную сторону.

— Всего хорошего! — крикнул Дзагашт.

— И тебе! — ответил старший. — И никогда не смейся над чужой бедой! — наставительно добавил он.

— Потому что неизвестно, что ожидает тебя самого! — крикнул второй.

— Может, и ваш парус порвался сейчас!

— А может, трос лопнул!

— Или звёздочка треснула!

— Или нож!

— Или хедер!

— Или трактор!

Дзагашт хлестнул коней, и тотчас же позади него раздался хохот — из всех семи бестарок! А через минуту грянула песня:

Эх, кума, не журился,  
Туда, сюда повернися!..

Братья, поднявшись во весь рост, гнали лошадей к своему ожившему комбайну, весело взмахивали ремёнными кнутами и вскоре скрылись в облаке серой, пронизанной лучами солнца пыли.

Якуб вернулся только к вечеру. Он уже подъезжал к стоянке, когда услышал рокот работающего комбайна, и ему показалось, что, миновав свой участок, он врезался в чужой. Осмотрелся... Нет, это его участок. Якуб удивился: комбайн без паруса, а работает! Он поспешил к Саиде, — да, это она стояла на мостике. Машина медленно прошла мимо него, и на мгновение ему показалось, что он тут чужой, ненужный, посторонний, что все прекрасно обходятся без него.

Якуб окликнул Саиду, но она не услышала его. Комбайн уходил всё дальше и дальше. Порожня бестарка спешила под погрузку, на помощь ей шла другая. Ездовой, самый младший из братьев, узнал Якуба.

— Маль оказался правильным человеком! — крикнул он Якубу.

— Да, ему повезло, — неохотно заговорил Якуб. — Бывает и такое...

Младший брат продолжал:

— Не только сам прибежал, но ещё помощников своих привёл, всех мобилизовал и поставил парус!

— Какой парус?

— Ну такой...

— Откуда он взялся?

— А это ты у Маля спроси!

— Постой, постой... Ничего не понимаю...

— И мы сперва не поняли. Комбайн стоял, мы поехали на ток. Думаем, куда-нибудь ещё пошлют. И вдруг, на полдороге, смотрим -- зашагала наша машина. Приезжаем, — Маль, говорят, парус принёс да сам же и поставил. Свой, значит... Стало быть, был у него в запасе.

Вот оно что! Хорошо, что было темно и ездовой не мог увидеть, как изменилось лицо комбайнера. Якуб побагровел, словно кто-то ударил его сс всего размаху: раз! — по левой щеке, два! — по правой.

Они встретились на току, в бригадном домике. Маль спал, сбив на сторону и простыню и суконное одеяльце, широко раскинув ноги, — даже спать он умел вот так, по-богатырски; сам небольшой, тонкокостный, а кровать ему мала. Якуб склонился над ним и долго стоял, вглядываясь в юные, мягкие черты. Под потолком тускло светилась лампочка. В тишине раздавался храп Маля, такой громкий, словно это не Маль, а великан тут спит!

— Ваня!.. — позвал Якуб. — А, Ваня!

Потом он вспомнил о чём-то, и лицо его просветлело. Он достал из кармана румяное яблоко и, тщательно вытерев его, поднёс к губам спящего. Нет, не так — разрезать надо! Но у него не было ножа. Тогда он надавил на яблоко толстыми, в масле и бензине пальцами, и яблоко треснуло, несколько капель пахучего, сладкого сока попало Якубу на лицо. Это было удивительное яблоко. Аромат, исходивший от него, заглущал запахи бензина и солидола, пропитавшие одежду комбайнера.

Маль чихнул.

— Будьте здоровы! — сострил Якуб и сам же удивился и обрадовался своему остроумию. — В самом деле, как будто нельзя выспаться потом... Вставай! — потребовал Якуб, тормоша спящего.

Маль собрал морщины на лбу и забормотал:

— Любой... можно и связать...

— Он опять о своём тресе! Не лопнул он! Скорей я лопну. Вставай, ради бога!

— Что? — испуганно, на этот раз уже очнувшись, спросил Маль. — Это ты, Петя? Проспал я...

— Да нет, это я, Якуб...

Маль сел.

— Откуси... — И Якуб снова поднёс яблоко к его губам.

Маль грыз яблоко с закрытыми глазами.

— О уи-уи-у! — вскричал Якуб.

Маль открыл глаза и, наконец, окончательно проснулся.

Всего у Якуба оказалось с собой двенадцать штук яблок. Пять он отложил для Саиды, а семь тут же были съедены Малем.

— А я не могу столько... — признался Якуб.

— А ты можешь съесть натошак хотя бы пару круто сваренных яиц?

— Круто там или не круто, мне всё равно, могу штук двадцать проглотить! — похвалился Якуб.

— Я говорю: натошак!

— Не то что натошак, а сразу же после обеда.

— А натошак?

— Натошак и двести съем!

Он был в весёлом настроении, и собственное остроумие доставляло ему неизъяснимое удовольствие.

— А пару не съешь...

— Триста съем!

— Нет. Потому что после первого остальные уже не натошак.

— Ах ты, чёрт тебя возьми! — И Якуб хлопнул Маля по плечу. — Вот оно что! — Он был поражён, впервые услышав эту шутку. Остроумие он умел ценить.

Несколько минут прошло вот в таком разговоре.

Потом наступила тишина.

Нарушил её Якуб.

— По пути я встретился с будённовцами. Остановили меня и спрашивают: как, говорят, ваш сёел поживает? Мы, говорят, слышали, что температура его?



— Я знаю, кто пустил эту фразу, — Аслан Умаров.

— А я, знаешь, что им ответил? Я сказал: наш сцеп... — впервые Якуб признал сцеп и обозначил своё отношение к нему. — У нашего сцепа, говорю, верно, температура повышенная: он убрал вчера тридцать девять га! Ха-ха! — обрадовался Якуб. — Здорово я им ответил? — Он привирал немного: ни о какой температуре не слышал, никакие будённовцы у него не спрашивали о сцепе. Но сейчас Якуб был готов на всё, на правду и неправду, лишь бы доставить удовольствие своему собеседнику, чем-нибудь обрадовать его, отблагодарить. — Ты замечаешь, Ваня, кое-где пшеница начинает полегать, имей это в виду...

— Не знаешь, который час? — спросил Маль.

— Нет. Часы я оставил дома. А где твои? Ты же недавно купил «Победу». И, знаешь, когда мне сказали об этом, я подумал — ты автомобиль купил.

Якуб первый засмеялся своей шутке.

— Часы оставил помощнику...

— А на что они ему, да ещё ночью?

— Как на что? График обязывает.

-- Ты, значит, не отказался от него? И что, помогает?

— А ты сам рассуди...

Маль придвинул стол, достал планшет из-под подушки, вынул бумаги и расправил их. Якуб увидел пшеничные поля вдоль леса, потом те, что шли мимо подсолнечников и спускались к берегу реки. Поля были разбиты на квадраты, помечены крестиками, возле которых стояли цифры — часы и минуты; одни квадраты были перечёркнуты синим, другие красным карандашом.

— Синим я отметил всё, что пошло насмарку, то есть убрано было без графика, как попало. Ты знаешь, мне долго не удавалось войти в график. Но вот отсюда, с первой красной пометки, мы уже пошли по графику. А тут опять срыв — воду не подвезли. И тут срыв — трос лопнул. Говорят, скоро дадут автомашину, Чеучев обещал помочь. Аминет послезавтра едет в райцентр всё это оформлять. Как только будет грузовик, я перейду на новый, ускоренный график... В середине дня, когда пшеница подсохнет, можно итти на третьей скорости. Я уже пробовал — хорошо получается, никаких потерь.

— Но всё-таки трудно работать на сцепе.

— Трудно? Вначале — да, а теперь — нет. У меня два помощника. Я третий. Двое работают, один отдыхает. Как по-твоему, я неплохо спал?

— Дай бог каждому...

-- Нервы в порядке. Сейчас мы убираем тридцать девять га в день. Как только будет машина, дадим сорок пять и пятьдесят. Учти: второй трактор, высвобожденный благодаря сцепу, пашет!

— Да, я видел его — уже много вспахал. Это верно.

— Надо выжимать из техники всё, что в ней заложено. Нельзя считать нормальным, когда «СТЗ-НАТИ» буксирует один «Коммунар», а «С-80» — один «Сталинец-6»: они могут и по два тащить! Наши тракторы — как танки! Сильнющие!

— Очень трудно, видимо, составить такой график, как у тебя... — Якуб осторожно прощупывал почву. Ему не хотелось прямо признаваться, для чего он этим интересуется.

— График составит тебе учётчик. А хочешь — я помогу... Надо знать длину и ширину загона. Ну, а захват хедера — величина постоянная. Всё поле разбивается на загоны. Вот так, ты смотри внимательно... — И, снова разложив карту своих полей, Маль начал объяснять, из каких элементов складывается почасовой график.

Они долго просидели вместе, советуясь, обдумывая, прикидывая...

## ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

## 1

Некоторое время дорога шла балкой, а там, где края балки раздвигались, она снова выходила на простор. Каждый раз, проезжая здесь, Дзагашт вспоминал старинную легенду: когда-то, утверждали люди, никакой балки тут не было, но однажды, в сильную грозу, над этими местами вспыхнула яркая молния, остриё огненной стрелы вонзилось в землю, и из образовавшейся расщелины взвилась к небу гигантская змея о семи головах, которую где-то там, на невидимой высоте, испепелил божий гнев... Так образовалась наша балка.

Вот и сейчас, проезжая низом, где по обе стороны тракта росли колючие кустарники тёрна, вились длинные, в острых шипах, побеги ожины, Дзагашт вспомнил легенду. Волны марева причудливо переливались над берегами балки и... Что это? Что такое?

Какая-то девушка в ярком, цветастом платье бежала по балке, то исчезая среди колючих кустов, то снова возникая с простёртыми к небу руками.

Там, на высоте, над самой её головой, шла чёрная туча, единственная в этот безоблачный, яркий, солнечный день. И даже не туча, а круглый шар. Разве круглый? Вот он вытянулся и стал похож на большую каплю тёмной воды... И не так! В каждую следующую минуту живая туча приобретала иной вид!

Фу ты, чёрт возьми, да это же рой летит!

Над головой Дзагашта пронёсся мягкий гул, и он увидел живой ком пчелиного роя. Ирина бежала за ним, исцарапанная, в колючих репейниках, с распущенными волосами, босая...

— Уходит! — кричала она на всю степь, не узнавая Дзагашта, потому что всё её внимание было сосредоточено на пчёлах. — Ах, это ты! Какой рой, какой рой! Дедушка бросился было за ним, но свалился и говорит: «Воробья поймал, а ты рой лови!». И побежала я... Уходит, мамочка, уходит! — И Ирина пробежала мимо бестарки.

Долго не раздумывая, Дзагашт отвязал ведро, которым он поил лошадей, и тоже побежал без дороги за роем.

Ирина обрадовалась ему, а больше всего, кажется, оцинкованному ведру, крикнула:

— Брызни на них водой, водой окропи!

— Да ведро-то пустое! — растерянно отвечал юноша.

— Вот тебе на! А ты набери!

Чтобы набрать воды, пришлось вернуться назад, к «тракторпсыну». Набрав полное ведро и сгибаясь под его тяжестью, Дзагашт, решивший во что бы то ни стало помочь Ирине и тем обрадовать Ивана Митрофановича, не без труда догнал девушку и хотел окропить рой свежей, холодной водой, но пчёлы летели высоко...

— Не отставай! — подбадривала Ирина, уставшая, с засохшими и свежими царапинами на ногах и на открытых до плеч руках.

Половина воды уже выплеснулась из ведра, однако Дзагашту казалось, что кто-то снова и снова подливает воду, — он гнулся под тяжестью, онемевшие руки наливались свинцом, пальцы отекали, на сгибах кожа покраснела и вздулась. Но он продолжал бежать рядом с девушкой, сам увлечённый погоней, в безотчётном азарте всё время следя за полётом роя.

Балка уже кончалась. Вдали вырисовывался чёрный лес. Показалась опушка его, уже различались ближние деревья.

— Давай! — требовала Ирина. — Жми!

Дзагашт что-то хотел сказать, но ему показалось, что если он скажет

хоть одно слово, то тут же и упадёт, истратив на это слово остаток своих сил.

Балка поднялась, слилась с опушкой леса, кустарники и колючая трава остались позади.

Рой задержался на первом же дереве, цепко ухватившись за длинную дубовую ветку, и повис тёмнозолотистой каплей. Казалось, вот-вот капля оторвётся от ветки и рухнет на землю.

— Где цыбарка? — крикнула Ирина.

— Вот она...

— Подставляй!

По-мальчишески ловко, обхватив ствол гибкими ногами и подтягиваясь на руках, она вскарабкалась наверх и осторожно, чтобы не потревожить рой, стала одной ногой на ветку.

— Подставляй, да смотри, точно! — распоряжалась она. — На руках держи, выше! Над головой!

Ирина наступила ногой на ветку, сильно раскачала её и отпустила. Рой оторвался, и большая, живая, гудящая капля упала в ведро. Дзагашт качнулся, присел, но ведра не выпустил, а сразу же, по совету Ирины, накрыл его своей рубашкой.

— Молодец! — похвалила Ирина, спрыгивая вниз — Ну, дедушка наш обрадуется, я не знаю как! Если бы не ты, рой ушёл бы, куда там! — И она смотрела на него ласковыми и добрыми, как у дедушки, глазами. — Утомился? Ну, отдохни, отдохни, а потом пойдём...

Хорошо было им на солнечной поляне, под тенью старого дуба, ловить еле-еле заметный степной ветерок, освежавший их горячие щёки и губы.

Ирина взялась за ведро.

— Пойдём, Дзагашт... Или посидим немного?

— Нет, надо итти. — Только теперь он вспомнил о лошадях.

Он хотел взяться за ведро; девушка, жалея его, не разрешила, но он всё же ухватился за ручку.

— Я сама! — спросила Ирина. — Иди, ты устал, ты бежал всё время с тяжестью! — И она завертела ведром, чтобы отцепить его руку, завертела, и как-то так вышло, что обвилась вокруг него, и он, не отдавая себе отчёта, сам не зная, что делает, увидев перед глазами милое лицо, поцеловал её...

Дзагашт вернулся на ток пешком, без лошадей, без рубашки и без кепки, которую он потерял где-то в балке. Бестарку, оставленную им на дороге, привели его товарищи, и на вопросы Аминет они, конечно, никакого ответа не могли дать, пока не явился сам Дзагашт.

— Ты где был? — спросила Аминет, с трудом сдерживая гнев. — Где ты был?

— А ну-ка, дыхни, — потребовал Мустафа.

Дзагашт дыхнул.

— Нет, не выпил, — смутился Мустафа. — Может; с ума спятил — жара...

— Ты пропустил два рейса! — сказала Аминет сурово. — Из-за тебя Маль вынужден был остановить сцеп! А ты знаешь, что такое сцеп? Это два комбайна!

## 2

Загадочное исчезновение ездового, его молчание, пропавшая рубашка — всё это стало предметом разговоров в степи. Высказывались самые различные предположения: одни говорили, что он с кем-то дрался, только не признаётся, потому что его здорово отколотили; ещё кто-то пустил слух, что одежду Дзагашт проиграл в очко; третьи утверждали, что он купался, оставив одежду на берегу, — не брать же её с собой в воду, —

и кто-то утащил его рубашку... Самым правдоподобным казался первый вариант: ободранные руки и ноги подтверждали, что парень участвовал в какой-то драке. И характером он такой — дерзкий, драчливый; верно говорит дед Иван Митрофанович — башибузук! На днях он хлестал плёткой внуку деда, Ирину, и если бы не подбегавшие люди, исполнил бы девушку. Боже мой, в каких только грехах не обвиняли его! Всё вспомнили: и его детские шалости десятилетней давности, и яблоки, украденные им из колхозного сада, и то, как он подныривал под гусей, плававших на реке, хватал их за ноги и окунал в воду...

— Радуйся! — кричал Рамазан. Бедная жена его не знала, что сказать в защиту своего сына. — А, молчишь? А чтобы ты сказала, если бы открыла, положим, рот свой в защиту сына? Не бей мальчика! — передрознил он жену. — Это феодализм, капитализм, пережитки!.. А теперь сама переживай, переживай сама! Не бей его по голове, дураком вырастет... Вот и вырос, и не дурак — хороший дурак это ещё не беда, — а бандитом вырос! Волк он!

— Кажется, ты ему отец...

— Я ему отец? Никакой я не отец! Это ты его мать, вот это верно! У нас в роду не было таких сумасшедших, это от вашего рода!

— Как тебе не стыдно!

— Ого! Ни капельки мне не стыдно! Изобью бандита! — грозился Рамазан. — Где плётка? Хватит с меня. Иду искать твоего обожаемого сына...

— Никуда ты не пойдёшь... — Жена преградила ему дорогу.

А в это время на току шёл горячий разговор.

— Выговор по комсомольской линии у него уже есть, — взволнованно говорила Саида. — Мы ему оказали доверие, думали — исправится, а он даже не желает отвечать на вопросы.

— А что ему отвечать, и так ясно! — кричал Костя Шубин.

— Неясно, где он был...

— А тебе не всё равно?

— Факт остаётся фактом: бестарку бросил!

— Исключить такого из комсомола...

Дзагашт вскочил. Он окинул товарищей быстрым взглядом, в глазах пробежали огоньки, блеснули на свету белки.

Но что это?

Опираясь на толстую, в крупных сучках палку, тяжело переставляя толстые, по-медвежьи вывернутые ноги, шёл сюда Иван Митрофанович. Ирина то отставала от него, то забегала вперёд — никогда, по её мнению, дедушка не шагал так медленно, как теперь.

Дед с ходу обратился к собравшимся:

— Слова прошу! — Он почтительно снял с головы широкополую, пропахшую мёдом и воском шляпу... — Исключаете?

— Будет комсомольское собрание, дедушка, там обсудим... — ответил Костя, не понимая, почему нелюдимый дед проявляет к Дзагашту такое внимание.

— А я прошу вас, ребята... — И дед окинул ребят добрым, умным взором. — У нас по району пасек много... И вон там и там! — Дед ткнул палкой налево и направо. — И повсюду пчёлы одинаковы, и продукция тоже — мёд!.. А пасечники — разные... Частенько, ребята, слышу я: ж-ж-ж-ж!.. Гуд идёт. Думаю — мой, что ли, роятся? Нет, не мой. А слышу: ж-ж-ж!.. — И в тишине прожужжала пчела, живая, настоящая. — А-а! — воскликнул дед, ткнув палкой вверх. — Узнаю их: то не наши пчёлы, а того аула! Я, ребята, давно там не был и не знаю, кто у них пасекой заведует, но каждое лето ихние пчёлы, пролетая через мою пасеку, рассказывают: дрянь, дрянь, а не пасечник!.. Я, ребята, шестой

рой посадил. Это, ребята, шесть новых ульев, они, ребята, дадут двести кило мёду, или четыре тыщи деньгами, коли не больше. Так вот, ребята, цена пчелы... Дзагашт поймал сегодня большой рой, я посадил его в два улья, — это уже тыща рублей. — Дед затопал к Дзагашту, стал с ним рядом. — Я не комсомолец, ребята, но по-дедовски, по-колхозному говорю вам: Дзагашт ни в чём перед вами не повинен. Мой рой — значит и спрос с меня. — И он опустил голову с видом провинившегося. — Если уж всё говорить, то молодому человеку надо спасибо сказать, вот как...

Дзагашт поднял голову. Все ждали, что он скажет. Ирина смотрела на него встревоженными, сочувствующими глазами.

— Я... — Дзагашт взглянул на Саиду, потом на Костю. — Я виноват, конечно, что не сказал сразу... — С трудом далось ему это признание. — Все мы понимаем, что мёд вкусная штука, и я это знаю...

— Губа не дура!

— А вот никто пасекой не интересуется! — продолжал Дзагашт уже другим, уверенным тоном. — Надо заставить наших руководителей помочь пасеке, я так считаю...

— Так ты, милый мой, вместо того чтобы рассуждать, поступай снова в школу пчеловодов!

— Поступлю или нет, это моё дело! — в запальчивости бросил Дзагашт. — А всё равно надо заботиться о пасеке...

Аслан сидел рядом с Саидой и не вмешивался в разговор, он был занят другим — любовался девушкой, её нежным лицом, раскрасневшимся от волнения, движениями, полными неосознанной девичьей прелести.

Подъехал Хасан, усталый, весь в пыли и в масле, и спросил, что тут происходит. Ему рассказали.

— Неустойчивые у вас молодые кадры, — заметил ему Аслан, кривя губы. — А старые не умеете беречь.

— Это ты насчёт Галима? — в упор спросил Хасан. — Да, сняли его с фермы, потому что не справлялся с работой. Ну и что же?

Аслан растерялся. Он любил начинать издали, по адыгейской манере, и не был готов к такой откровенной беседе. Хасан сбил его с привычного тона.

— Да, и о Галиме хотел поговорить, — признался Аслан. — Круто вы расправились со стариком, круто. Галим — давний член партии, человек с заслугами, и он этого так не оставит, имей в виду, Хасан. Я знаю старика. Как бы не пришлось вам ответить за это.

— Да и я тоже немного, кажется, знаю его, — улыбнулся Хасан. — Придётся отвечать — отвечу. У тебя всё?

Решительно, с ним невозможно разговаривать, с этим Хасаном... Ошалел от гордости.

— И ещё, — продолжал Аслан, — когда Якубу вручили флаг, ты один не обрадовался этому. Говоришь о нашем лучшем комбайнере, что он отжил свой век, устарел, ни на что не годен... И всё это — за его спиной!

— Говорю. И не в спину Якубу, а ему в глаза, что я бы его не награждал вымпелом. Формально он имеет на него право, но только формально, — сказал Хасан. — Я дал бы с самого начала флаг Малю, хотя он и не выполнял тогда свою норму, авансом дал бы, за смелое начинание... Тут мы разошлись с Чеучевым, но таково моё мнение. Мне некогда, у меня что-то не ладится с машиной, так что, с твоего разрешения, мы продолжим этот разговор потом...

Он повернулся и ушёл к машине.

— Как ты думаешь, Хасан, правильно ли я поступила? Выслушай меня и скажи...

Так начала Аминет свой рассказ, вернувшись из райцентра.

— Приезжаю туда и, поскольку Лаптева-старшего я лучше знаю, думаю — зайду в райком. Поднимаюсь по ступенькам и вспоминаю: много раз бывала я тут — и на конференции бригадиров, и когда орден вручали в честь двадцатипятилетия автономии, и когда письмо Сталину подписывали... Всегда нас принимал он, Максим Михайлович, как хороший хозяин принимает дорогих гостей.

Иду по коридору, собственные шаги слышу, в кабинетах отдаются. Кабинеты почти все пусты. Уборка! С рассыльной знакомой встретилась. Лаптев, говорит, новые скаты поставил, на тридцать тысяч километров хватит; вчера только уехал... Секретарша спрашивает, какое у меня дело, предлагает оставить заявление... Я пошла в райисполком, к Исмаилу Шикову. В лицо я его знала, а разговаривать не приходилось... Жена его, сестра Аслана, помнишь, приезжала к Фиж, хотела помирить её с братом своим?

— Войдите, — говорит Шиков.

Пригласил сесть.

Максим Михайлович, когда войдёшь к нему, встанет, обрадуется, сам же и стул тебе выдвинет.

А этот не встал, очки на меня поднял, «слушаю», говорит...

Я не обиделась — человек он занятой, да и кто я, чтобы вставать ради меня да встречать? Усталый взгляд у него, не живой... Рассказала я о нашей работе — с первого дня уборки начала... Знаю, что длинно получается, а жаль что-нибудь пропустить, всё, что происходит в степи, мне кажется важным, значительным. Обо всём рассказала ему и жду его слова.

— По какому делу ты в райцентре? Тебя уполномоченный райкома послал?

Объясняю, что приехала относительно грузовика.

— А почему, — спрашивает, — у вас так получается: уполномоченный одно говорит, а парторг — другое?

— Значит, — говорю, — взгляды разные.

— У нас, — говорит, — может быть только один взгляд — партийный.

— Ваш уполномоченный, — говорю, — не поверил в сцеп. Он и наш председатель отказались от эмтеэсовской автомашины. Уполномоченный ошибся...

— Я не знаю, что там произошло, но о работе уполномоченных мы судим по выполнению поставок. Ваш колхоз идёт в первой пятёрке. Если бы уполномоченный работал плохо, этих успехов у вас не было бы.

— Как, — говорю, — не было бы? Да разве уполномоченный косит? Он возит? Видели мы немало уполномоченных. Были хорошие, они, действительно, помогали нам, но попадались и неважные. Вот как, например, Умаров. Может быть, у себя на маслосырзаводе он спец, но в нашем деле отстал. Он далёк от народа. Оторвался от него.

Не знаю, что я сказала ещё, я обо всём забыла — и где я и кто передо мной...

Но вот вижу, поднялся он из-за стола, очки поправил, закурил. Посмотрела я на него и поняла: что-то я не так сказала, в чём-то ему не угодила.

— Да, — говорит. — Интересно. Значит, вы решили итти против райкома?

Я испугалась: что он говорит?

— Кто дал вам право охаивать представителя райкома?

— Критика, — говорю.

— Это не критика, а заушательство. Вы задались целью дискредитировать нашего уполномоченного: он говорит белое, а вы — чёрное. Ну, ты человек беспартийный, какой с тебя спрос, но Хасан... Что это у него за гонор, откуда такое болезненное стремление быть первым, всё делать по-своему, подмять под себя и председателя и уполномоченного? Все перед ним на цыпочках, что ли, должны ходить? Вы говорите: Аслан отдал грузовик. А ты где была? А председатель где был? Не сваливайте свои ошибки на уполномоченного, это нечестно! Вас хватает только на то, чтобы склоку разводить. С Хасаном мы поговорим...

Вижу, Аслан постарался, залепил Исмаилу глаза. Что ж, думаю, побеседуй с Хасаном. народ наш выслушай, авось больше увидишь. Я заговорила о деле — так и так, нам совершенно необходима машина.

Он подумал и ответил мне:

— Надо, — говорит, — уметь составлять план уборки, предусмотреть заранее, что нужно. А вы этого не сделали. Транспортom себя не обеспечили, а у меня что, горьковский автозавод? Вы же хвалили своего шефа, консервный завод, а помогает он?

— Очень даже. Наш огород поднимается...

— Главное сейчас — хлеб. И нечего, — говорит, — гастролировать, возвращайтесь в степь и работайте...

Я простилась, а сама стою и уйти не могу.

Беспартийная я... Он это бросил, как упрёк. Тут словно что-то подтолкнуло меня, и, помню хорошо, задала я такой вопрос:

— Что ж, — говорю, — коммунисты так и родились коммунистами? Да, я беспартийная. Но мне никогда в голову не приходило смотреть на райком, как на такую организацию, как на такой дом, куда я не имею права зайти... Я много раз бывала там, и никто не давал мне почувствовать, что я чужая или глупая. Мне всегда было уютно у Максима Михайловича, как в своём доме. Смотри, Исмаил, руководители приходят и уходят, а народ остаётся!

Не знаю, как он воспринял мои слова, ушла я от него.

Ушла, а сама думаю: хорошо, я ему не понравилась, да и он мне не слишком, ну, а дело, а сноп, а хлеб? Что же теперь делать? Возвращаться домой, ничего так и не добившись? Позвонила в эмтеэс, Чеучеву. Дозволилась. Девушка в райком помогла мне, спасибо ей.

Чеучев приехал в райком, посадил меня в машину и повёз, а куда — сама не знаю и не спрашиваю: строгий он, сердитый. Вижу — ток светится, только не наш. Чеучев вышел, спросил о чём-то у людей, те отвечают: «Нет, Максим Михайлович уехал к будённовцам, нету его тут».

Поехали к будённовцам. А уже второй час ночи. Приехали. На току, под палаткой, спит наш Максим Михайлович. Я говорю Чеучеву:

— Не надо его будить, устал человек, сам видишь...

— Конечно, — говорит Чеучев, — жалко, но что же поделаешь!..

И разбудил он Максима Михайловича.

— Это ты, Аминет! — обрадовался он мне. — Как там Хасан да братья Пачешховы поживают? Скоро буду у вас, ждите. Как, — спрашивает, — уполномоченный? Боевой парень?

— Нет, — говорю, — прошлогодний лучше был, Максим Михайлович. Рассказала, как у нас дела с уборкой.

— А зачем ты приехала ко мне? Говори, член бюро райкома, — это он Чеучеву, — зачем в ночное время катаешь женщину на казённой машине?

Чеучев говорит Лаптеву:

— Максим Михайлович, получается так: «Путь к коммунизму» нуждается в машинах, а в это время грузовики «Союззатоттранса» про-

стаивают. Что если мы введём график по району? Нет хлеба на току у кировцев, пусть машины идут к Рамазану. Сами шофера жалуются, что не загружаем их. У искровцев одна машина занята на хозработках. Безобразие это!

На том и порешили.

— ...Нам помогут, машины будут присланы. А наш грузовик мы должны бросить на помощь Малю. Вот и всё, — закончила Аминет свой рассказ.

— Ну что ж, — сказал Хасан. — Хорошие вести ты принесла, спасибо. А Исмаил Шиков, конечно, не Лаптев-старший.

— Как можно сравнивать? — удивилась Аминет. — Что ты!

— А я и не сравниваю, я о разнице думаю...

## 4

Аминет шла по стерне, следом за комбайном, и проверяла качество уборки. Она доверяла комбайнерам, работавшим на полях колхоза, уважала их и любила. И всё-таки нет-нет да и проверяла их работу, без шума, потихоньку, спокойно.

Нет, в соломе потерь не видно. Аминет радостно зашагала навстречу большой, грохочущей машине.

— Ванюша! — крикнула она. — Ваня!

— И я не могу догнать его! — послышалось сзади неё.

Сюда, к комбайну, шёл колхозный почтальон.

— А тебе он на что?

— Ну как же! — воскликнул почтальон. — Каждый день приношу ему письмо, а он мне вручает ответ. Не знаю только, когда успевает писать этот человек! Не комбайн, а учреждение!

— А кому же он пишет?

— О. Десюненко! — воскликнул почтальон. — В «Автотракторсбыт».

— Кому?

— О. Десюненко.

— Что значит: «О. Десюненко»?

— А я сам не знаю... Какие имена есть на О?

— Осип, например.

— Женское!

— Ольга.

— А ещё?

— А почему ты решил, что он женщине пишет?

— А кому же?

— В учреждение, например, руководителю...

— С такой настойчивостью?

— Ты же сам сказал, что он шлёт свои письма в «Автотракторсбыт».

— Я тоже сперва думал: по поводу запасных частей пишет. Но об этом можно раз, ну два раза, ну пусть три раза, но каждый день писать — нет, не поверю!

— Иногда приходится напоминать.

— Слава богу, не первый год ношу письма, знаю. Если бы речь шла о запчастях, Маль, написав раза два в магазин, в следующий раз обратился бы в «Правду», в «Крокодил», а он всё пишет в одно место!

— И ты думаешь...

— Я уверен, что в «Автотракторсбыте» есть очень важная вещь, необходимая нашему Малю, только не стану утверждать, что её зовут Ольга. Говорят, есть и такое имя — Олимпиада. А я до сих пор думал, что олимпиада — это вроде соревнования по спорту и прочее... Интересно знать, кто она, Десюненко, Ольга? Или Олимпиада?

— От этого ничего не меняется.

Почтальон шагал рядом с Аминет.



— Мурат прислал письмо, — сообщил он.

— Где же оно?

— Не тебе.

Аминет решила, что письмо это для Саиды, и отошла от почтальона, чтобы не смутить девушку. Вспомнился ей разговор между Саидой и её сыном, тогда ещё, в лесу. Но теперь она видела другое: Аслан часто останавливается возле Саиды, о чём-то говорит с ней, да и она выделяет его. Аминет собиралась поговорить с нею, но передумала: если Саида забыла Мурата, вмешательством только напортишь, да и сын её не полюбит такую.

Но письмо Мурата было адресовано не Саиде, треугольный конверт оказался в руках Фиж.

— От Мурата, что ли? — спросила Саида и сразу же сделала безразличное лицо. Вот как — всем пишет, только не ей! Очень интересно...

Не отрываясь от письма, Фиж ответила, что да, это от него, от Мурата.

Не хотела Саида спрашивать и всё же не сдержалась:

— А о чём же он пишет тебе?

— Так, ни о чём... — неохотно ответила Фиж. — Просит достать одноактные пьесы, посылает список. У них там самодеятельность, и он участвует.

— Что-то уж очень длинный список он прислал... — заметила Саида, подозрительно косясь на письмо. — Где же ты достанешь их?

— Просит съездить в станицу, к О. Десюенко.

— О. Десюенко?

Фиж засмеялась.

— Кажется, я знаю такого товарища. Впрочем, это нетрудно проверить — наш Маль очень интересуется станичной самодеятельностью.

И она ушла своей особенной походкой, слегка покачивая плечами.

## 5

Ток стал центром всех событий, бригадный домик подле тока — местом, где спорили, обменивались новостями, решали самые важные вопросы. Сюда заезжали гости из других колхозов, приходили из аула и с ферм.

Вечер. Аминет только что накормила людей вкусным ужином. Пронёсся слух, что сельмаг наконец привёз пиво. Это вызвало оживлённый обмен мнений.

— Запах пива и до нас донёсся, — заявил, спрыгивая с коня около бригадного домика, старший табунщик Осман. — Вот я и не усидел у себя на ферме!

— У меня семь рублей есть, — подсчитал Айтёч.

Нашлись деньги и у других стариков, и они тоже заказали себе пива. Старики охмелели от первой же кружки. Айтёч предложил оказать уважение Аминет, спеть старинную песню в честь хозяйки.

— Господи благослови! — начал он быстрым речитативом.

Весна настанет,  
и снег сойдёт,  
выйдут на луг гуси твои,  
в поле потянут плуг  
волы золотошёрстые  
волы быстроногие...

Хор всеми голосами подхватил припев:

-- Пусть будет так, хозяйка, нас угостившая!

Айтөч продолжал той же скороговоркой:

— А кто не захочет, чтоб так у тебя было,  
 пусть ползает он на карачках,  
 пусть мордой роет землю,  
 по-волчьи пусть воет,  
 ноги его пусть высохнут,  
 в конопляные стебли превратятся!

Хор соглашался:

— Пусть будет так, хозяйка, нас угостившая!

Аминет от души рассмеялась, смеялись и девушки.

Подождав, пока смолкнут голоса, столетний человек на всю степь провозгласил слова следующего куплета:

— А у добрых людей пусть звёзды вечно сияют,  
 пусть будет луна у них вечно молодой,  
 пусть будет солнце у них вечно ярким,  
 а сердца их — вечно горячими!..

Осмэн, Мустафа и другие завершили куплет:

— Пусть будет так, хозяйка, нас угостившая!

— Здорово поют! — восхищался Костя. — Прямо хор имени Пятницкого! Их надо по радио транслировать, честное слово!

— Дочка у добрых людей пусть не засидится! —

пел Айтөч, опираясь на палку, покачиваясь.

Замуж за любимого выдайте её!  
 Пусть будет она широкобёдрой,  
 каждый год — один мальчуган!  
 Да чтоб рождённые ею не умирали,  
 не голодали и не хворали!  
 Пусть пребывает в здравии муж,  
 пусть в каждой семье прибавляется,  
 а не убавляется!

Хор:

— Пусть будет так, хозяйка, нас угостившая!

Но поскольку у Аминет не было дочери, а только сын, песня же пелась в её честь, то Айтөч решил, что на этом кончать нельзя, надо пожелать Аминет, чтобы ей досталась хорошая невестка. И он запел:

— Пускай невестка твоя ложится с трудом,  
 встаёт же легко, с охотой,  
 пусть не покажется ей плохим,  
 что скажет свекровь,  
 пусть не считает она по пальцам,  
 что сделает в твоём доме!

Старики подхватили:

— Пусть будет так, хозяйка, нас угостившая!..

— Запевай другую, Айтеч, — кричал, постукивая кружкой по столу, Мустафа.

Так веселились старые люди, собравшись подле колхозного тока, счастливые оттого, что вырос замечательный урожай и их дети стали мастерами большой колхозной жизни.

## ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

### 1

Медленно течёт река. Берега после спада воды тёмные, покрыты скользким, клейким илом, — трудно подойти к воде в таких местах. На берегу — выловленные жителями аула и станицы коряги: река принесла их издалека, сорвав с высоких берегов, и неделю, а может, и дольше, пробыли они в воде, пока доплыли сюда.

За лето, если нет дождей, берега высыхают, ил затвердевает, а потом трескается на куски, и тогда берег выглядит так, как будто он выложен плашками паркета. В трещины ила входит горячий дневной воздух, прокалённый солнцем, он проникает в глубину, сушит всю толщу пласта.

Вдоль берегов растут высокие старые вербы, в пыльные дни невзрачные, неприятно шумящие на ветру, и прекрасные в тихий вечер, особенно если перед этим прошла гроза. Тогда издали вербы кажутся сизыми, их окутывает лёгкая, прозрачная дымка, меняющая свою окраску каждую минуту — и от проходящей тучи и от косою солнечного луча. Вербы стоят у самой воды, в которой ясно и правильно отражается каждый их лист, большие, притихшие, задумчивые; у ног их тихо течёт река, словно ровно разлитое жидкое стекло. Если в такой день проберётся сюда рыбак с удочками, забудет он обо всём на свете, очаруют его эти великаны-деревья, эта плавно текущая река с отражёнными в ней очертаниями берегов.

Вот в таком месте, вдоль левого берега реки, пасся косяк лошадей, принадлежащий колхозу «Путь к коммунизму». Под старой вербой, постелив бурку, сидел новый табунщик — Галим. Шла вторая половина ночи. Позади Галима, под той же вербой, стояла большая, сытая лошадь, дальше, на ровной площадке, где росла невысокая, но освежённая росой трава, паслись молодые кони, а вокруг них — взрослые; и только Цитрофен не знал покоя, ходил и ходил, описывая большие петли вокруг табуна. Иногда, если слышался подозрительный шум — чаще всего со стороны реки, он поднимал голову, водил чуткими ушами и продвигался в ту сторону, чтобы первым встретить опасность и защитить табун.

Галим достал кيسет, свернул себе цыгарку. Ему было о чём подумать. Да, крутая перемена нарушила течение его жизни! Когда его сняли с должности заведующего фермой, Галим никак не мог осознать случившееся и поверить, что он уже больше не руководитель.

— Значит, так, Хасан, пустили меня на понижение? — спросил он дрожащим от обиды голосом, зайдя к парторгу на другой день после собрания. — Сбросили со счётов, выходит! Дослужился! Стало быть, теперь перебрасываете меня на периферию!

Как ни мало было селение, в котором они жили, а всё-таки оно имело свой центр и свои окраины, но ещё никто никогда не говорил о периферии. Услышав новое слово, Хасан внимательно посмотрел на своего собеседника, хотел улыбнуться, но сдержался. Периферия... И надо же придумать! Конферма, как и овцеферма, лежала в стороне от аула, далеко. Табуны и чабаны редко появлялись в ауле. Но Галим подразумевал другое, и Хасану его рассуждение не понравилось.

— Если говорить по-партийному, — ответил он Галиму, — нет, не пони-

зили тебя. Когда партия перебрасывает коммуниста с одного участка на другой, это делается не для того, чтобы избавиться от него, сбросить, как ты говоришь, со счётов. Когда коммунист недостоеин своего звания, его исключают,— просто и ясно. Такая возможность у партии всегда имеется. Если ты душой принадлежишь партии, ты должен сделать для себя правильные выводы, Галим.

— Какие? — спросил он. — По-твоему, выходит — я чуть ли не радоваться должен.

— Нет, радоваться тебе рановато. Вот когда там, на периферии, как ты это назвал, беспартийные почувствуют, что среди них есть коммунист, можешь радоваться, Галим. Тогда и мы разделим твои чувства. За тем и посылаем тебя туда.

Вот о чём думал теперь Галим каждый день, каждую ночь, особенно когда оставался один и никто не мешал его мыслям.

— Тяжело,— тихо проговорил табунщик, затягиваясь табачным дымом. — Если бы кто знал, как мне тяжело. Марш отсюда! — прикрикнул он на Цитрофена, который принохивался к лежащей на земле бурке. Цитрофен не очень-то благоволил к Галиму, считал его чужаком, ибо слишком свежи в его памяти были запахи другой, прежней бурки, на которой спал Осмэн. — Тоже мне, начальника изображает! — злился Галим. Он немного побаивался Цитрофена, зная его крутой нрав, необузданность. Из всех табунщиков только один Осмэн решался ездить на Цитрофене, другие боялись. Цитрофен сбрасывал их после первого же шага. — Ничего! Оседлаю я тебя, поезжу, не таких усмирял, — пригрозил Галим, и сам порадовался своему порыву, потому что эти слова напомнили ему о молодости, о тех днях, когда он лихо вскакивал в седло, брал призы на скачках, смело выступил против ветеринара — врага народа.

Было время, было! И слава гремела, и на гармошке песни играли в его честь, и даже стихотворение было напечатано в областной газете. Жаль, что сама газета не сохранилась.

Он чёрной буркою накрыт,  
Отважный наш джигит  
Вокруг от тысячи копыт  
Земля горячая дрожит.

Да, было время!..

Так просидел он до рассвета. Собственно говоря, табунщиком тут был Цитрофен, он устанавливал свой порядок, беспокоился обо всём, и любо было смотреть, как, услышав ржание начавших драку коней, вожак табуна тревожно вскидывал красивую тёмную голову, смотрел большими, смелыми глазами и с места бросался в бег, взмахивая чёрным чубом и космами густой гривы. Завидев несущегося к ним Цитрофена, лошади тотчас же разбегались в стороны, подальше от поля боя, которое занимал теперь он, Цитрофен. Никому не хотелось оспаривать его первенство. Цитрофен круто останавливался, поднимал голову, оскаливал белые крупные зубы и оглашал степь громким, переливчатым ржанием.

Галим собирался ехать завтракать. Он хотел было оседлать своего коня, но передумал, когда увидел Цитрофена, только что завернувшего к табуну отбившихся кобылиц. Цитрофен подпустил к себе табунщика, покорно принял седло, и Галим рысью направился к ферме. Дорога шла через балку, заросшую мелким камышом, с неглубокой, затянутой зеленью водой. Звенели лягушечьи голоса,плыли, раздвигая зелень, большие, закованные в броню черепахи; с одного берега на другой чёрной молнией пронеслась длинная, тонкая змея. Цитрофен брезгливо посмотрел в воду, нагнул шею, принохивался, но пить не стал — он знал вкус другой воды, чистой, речной.

— Но, но! — прикрикнул Галим. — Поехали!

И он хлестнул Цитрофена плёткой. Цитрофен мотнул головой, без раздумья прыгнул в воду, и всадник со всего размаху шлёпнулся вниз, а жеребец через минуту выскочил, как ни в чём не бывало, на противоположный берег.

— Ах ты, собака! — закричал Галим. — Что со мной сделал!

Мокрый, в грязи, он с трудом выбрался на берег. Цитрофен нёсся к ферме. Галим поплёлся следом. Ни одна лошадь ещё не сбрасывала Галима. В этом краю, где дети приучаются ездить верхом с того самого момента, когда они начинают ходить по земле, падение с лошади было таким же событием, как автомобильная катастрофа; об этом сразу же узнавали все, и такой случай надолго оставался в памяти людей. Если бы Цитрофен не убежал, Галим сумел бы поймать его, и тогда, конечно, никто не догадался бы о его позоре. Но теперь было уже поздно думать об этом.

— О уи-уи-у! — воскликнула при виде мокрого Галима женщина, которая готовила работникам конефермы еду. — Можно подумать, что уже нет на свете настоящих адыгов! Никто не может справиться с Цитрофеном.

Галим молчал.

— Уважающая себя женщина не стала бы тебя кормить, — продолжала повариха, — ни за какие трудовни!

Из домика вышел заведующий конефермой, старый Осмэн, и, увидев Галима, сразу догадался, что произошло.

— Сними с себя одежду, — сказал он Галиму, — пусть выстирают. Иди завтракай, я сам его поймаю.

Галим молчал, и думал он не о еде, нет... «Что же это такое? — рассуждал он сам с собой. — Какой позор! Какой позор! Неужели я отвык от всего, что знал и любил? Ну хорошо, ферма, где мычат коровы, не моё дело, — соглашался он теперь, — пожалуй, и не надо было мне браться за такую работу. Дана всё это знает лучше, а главное — она любит коров. Но лошади! Я же вырос с ними, и отец был табунщиком, и, в конце концов, какой же адыг не умеет оседлать скакуна, обуздать дикую степную лошадь! Может, я и аркана не смогу уже бросить? Это было бы совсем смешно!»

Повариха поставила перед ним большую чашку с зелёным чаем, принесла горячие, ароматные лепёшки, поджаренные на топлёном масле, даже чёрный перец появился, но Галим ничего не замечал. Падение с лошади он переживал, кажется, сильнее, чем падение с поста заведующего фермой. Появилась даже мысль: а что, если Хасан нарочно перевёл его сюда, чтобы опозорить перед людьми, а потом исключить из партии? О нет, не всё доступно для этого молодого, самоуверенного человека, нет, нет, есть власть и повыше Хасана, есть райком и райисполком, понадобится — так Галим съездит туда, защитит себя, свою партийную честь! А пока что напишет заявление. Пусть там разберутся, можно ли так бросаться заслуженными, потрудившимися людьми.

## 2

Галиму хотелось встретиться с Асланом и поговорить с ним, но как это сделать, он не знал. Поехать к нему на ток? Нет, это всем бросится в глаза. Если бы Галим жил в ауле, а не на «периферии», он пригласил бы к себе уполномоченного на ужин, и всё в порядке. А как поступить теперь?

Галим знал, что Умаров всеми силами старается вернуть к себе Фиж, несколько раз видел их вместе и от души надеялся, что его вздорная дочь одумается, вернётся наконец к тому, кого так легкомысленно оставила.

Глупая, она не знает, что лучше Аслана ей не найти: он молод, директор, сам председатель райисполкома покровительствует ему, и со временем он займёт важный пост в районе, а может даже, его переведут в областной центр. Грамотный, умеющий расположить к себе людей, по-адыгейски щедрый, Аслан представлялся старику тем человеком, для которого открыта широкая дорога в будущее. Он мысленно сравнивал Аслана и Хасана. Хасан вроде и посерьёзнее Аслана и спокойнее, не найдётся, пожалуй, человека в ауле, который не признавал бы его авторитета. Но всё же Галим выбирал Аслана, его симпатии были на стороне светлоглазого, обходительного уполномоченного, — таких, как Хасан, в каждом ауле найдёшь, они, да, труженики, но их знают только на местах, а Аслан со многими повыше себя дружит, умеет сделать так, чтобы его заметили и отметили.

Есть такая поговорка: тот, о ком ты думаешь, уже стоит на твоём пороге. И в самом деле, вечером, только что напоив лошадей, Галим увидел всадника, направлявшегося в его сторону. Лошадь шла спокойным, широким шагом, и хотя другой не приметил бы ничего особенного, но он, старый табунщик и наездник, сразу же понял и по осанке и по манере держать повод и плётку, что всадник молод и умеет ездить в седле. Когда приедет, миновав балку, поднялся на косогор, Галим узнал его. Хотя всадник был гораздо моложе Галима, но табунщик вышел к нему навстречу, взял коня за повод, потом поддержал стремя, и Аслан легко, бесшумно спрыгнул на землю.

— Я, пожалуй, расседлаю коня, пусть отдохнёт, — предложил Галим. Несведущий в адыгейской дипломатии может подумать, что Галим беспокоился о коне, — нет, он хотел выяснить, как долго пробудет с ним всадник. Аслан понял собеседника и, поддерживая разговор именно в том стиле, в каком он был начат, сказал, что ехал всё время шагом, лошадь перед отъездом накормлена, так что не следует ни снимать с неё седло, ни отпускать от себя, тем более, что Цитрофен может покусать её.

— Да, ты прав, — согласился Галим, — я совсем упустил из виду, что Цитрофен злой, как волк. Ладно, тогда я подпруги поменьше отпущу, — предложил он. Аслан не возразил. И Галим понял, что гость всё же задержится у него, раз можно ослабить подпруги.

— Хорошо тут! — произнёс Аслан, присаживаясь на бурку.

Со стороны реки дул прохладный, чистый ветерок, над головой шумели листья, высоко в небе плыло белое, похожее на рыбацкий парус облако.

Галим сидел, опустив веки, приняв благообразный, покорный вид; потом, спохватившись, предложил гостю свой кисет, но Аслан раскрыл пачку «Казбека». Всё же Галим успел услужить ему, поднеся горящую спичку. Хотя тут не было дома, не было стульев, но, поскольку Аслан приехал к нему, Галим считал себя чем-то вроде бысыма, хозяина, и потому молча ожидал, когда заговорит гость. И Аслан заговорил.

— Кажется, это то место, — начал он, оглядываясь вокруг, — где раньше, до войны, тракторная бригада стояла?

— Да, то самое, — подтвердил Галим. — Интересно, как ты не забыл этого!

— Я же тогда горючевозом работал, — объяснил Аслан. — Горючее брали в станице и всегда ездили через ваш аул.

То, что он когда-то был горючевозом, вспоминалось теперь, как что-то очень смешное, — кто бы мог подумать, что паренёк-горючевоз станет директором завода! Вот что значили эти воспоминания, если перевести их на простой, откровенный язык, и вот почему они были приятны Аслану.

— Горючевозом быть тоже неплохо! — смеялся он. — Отольётся литр двадцать бензинчика — вот тебе и папиросы и кружка пива! Ну что ж,

пожалуй, пора ехать. Совсем нет свободного времени. То с одним комбайном не ладится, то с другим. Да и с транспортом неважно. За всеми надо следить, всех подгонять — трудная работа, а всё же хочется пораньше выполнить поставки.

— Кажется, дела у тебя идут неплохо,— осторожно заметил Галим, не решаясь откровенно похвалить Аслана. — Поставки закончишь вовремя. Люди очень довольны, что именно тебя прислали к нам,— польстил Галим, хотя никто ему не хвалил Аслана.

— Да пока что никто не жалуется,— скромно ответил Аслан.

— Хасана, конечно, я не беру в расчёт,— продолжал Галим.— Этот всегда недоволен...

Только теперь начинался настоящий разговор, важный для обоих.

— Ты обращался в райисполком? — спросил Аслан, как бы между прочим.

— Нет.

— Тогда напиши маленькое заявленьице, я отвезу Шикову.

— Я написал уже. Только не знал, отправлять ли. Но раз ты советуешь...

И Галим сразу повеселел.

Аслан небрежно пробежал глазами письмо, которое табунщик извлёк из кармана, пообещал передать его по назначению, встал, подтянул подпруги, поправил седло, ловко вскочил на коня.

Галим побежал к лошадям, оседлал своего коня, и хотя по возрасту ему полагалось ехать с правой стороны, но он скромно занял место слева. Всадники выехали на дорогу. Нет, не напрасно верил Галим в своего зятя. Только глупая Фиж не знает ему цену,— да ради такого мужа ей надо было работать, не разгибая спины, обхаживать его, угождать ему, ценить и беречь!

— Как только налажу порядок тут, на нашей ферме,— сказал Галим, хотя порядок был давно налажен,— я съезжу к твоему дяде. Давно не видел его, соскучился. Он кем теперь работает?

— Заведует током.

— Ишь ты, старый джигит! — воскликнул Галим. — Молодец, ей-богу, молодец! — хвалил он человека, с которым встречался всего лишь раз, много месяцев назад, когда Фиж была перевезена на «Победу» из отчего дома в дом молодого мужа.— Приятно моему сердцу слышать такую есгы, очень приятно!

— Я постараюсь передать ему о твоём желании, может, он сам приедет,— предложил Аслан.

— Ради бога, попроси его! И наша дура тоже будет рада! Конечно...— Галим снова опустил веки, прикрыл ими глаза.— Конечно, то, как она поступила, достойно осуждения, и не думай, что мы, её родители, не ценим твоего расположения к нам.

— Моё желание — это сохранить в чести и своё имя и ваше имя. Люди знают меня, и мне всегда казалось, что со мной можно ужиться. И она молодая, и я не стар, оба мы кое в чём, может быть, и виноваты друг перед другом, но...

— Нет, нет, не хочу слышать! — прервал Галим.— Тебя никто ни в чём не винит! Я и ей сказал и тебе сейчас говорю: не ты, а она виновата! Ничего, одумается, не настолько же она глупа, чтобы не понимать, где её счастье! Я отец, и, если отцовское слово чтонибудь значит,— можешь быть уверен, я скажу ей только одно: ни себя, ни нас не делай несчастными. да, да!

Они и не заметили, как выехали на большую дорогу. Аслан простился, хлестнул коня и рысью поскакал к току. Галим проводил его долгим взглядом.

Все шли на речку — девушки и юноши вместе, замужние женщины отдельной группой, и совсем стороной брели мужчины в лётах. На подступах к реке произошли изменения: юноши присоединились к мужчинам, а девушки к женщинам. Речку поделили так: женщинам уступили пологий берег с песчаной отмелью, где неглубоко и тихо, мужчины отошли за старые вербы, и совсем особняком купались старики, бородатые, лохматые, серьёзные.

Дзагашт прыгнул с берега вниз головой и поплыл по-оленьи, держа голову высоко над водой, а руки отведя на спину и растопырив пальцы; потом нырнул, и долго не знали, где он покажется; наконец, продемонстрировал женский стиль плавания — отчаянно колотил ногами и руками, взбивая белую, шипящую пену.

Солнце уже садилось, тени от прибрежных деревьев доходили до середины реки. После купания, когда восстановился прежний порядок и девушки присоединились к юношам, Дзагашт зашагал рядом с Саидой.

— Блаженствуешь? — спросил он.

— Да, — ответила она, закалывая на ходу мокрые волосы. — А ты?

— И я блаженствую!

Саида тревожно посматривала вперёд, а он нарочно замедлял шаги.

— Помнишь, Саида, как ты ругала меня, когда я бросил бестарку, спасая рой?

— Да, помню.

— И до этого не раз ругала. Если говорить правду, то я многим обязан тебе, Саида. Кажется, повзрослел я с весны, хотя совсем не много времени прошло. Почему так? Семь лет подряд сидели мы с тобой за одной партией, и все эти годы ты называешь одним словом — дружба.

— А разве это маленькое слово?

— Подожди. Я давно хотел тебе сказать... Я и за то благодарен, что ты не посмеялась над моим чувством, не рассказала о нём своим подругам...

— Ну вот ещё! — вспыхнула Саида.

— Конечно, мы можем не нравиться тем, кто нравится нам, и я ведь не один на этом свете, но и ты не одна, Саида...

— Ты говоришь так, Дзагашт, словно я навязываюсь, а ты отстраняешься.

— Нет, — не согласился Дзагашт, — ты не понимаешь, я совсем о другом...

Раньше он всегда чувствовал себя ниже Саиды, боялся не угодить ей, разойтись с ней во мнениях, потерять её. Он постоянно бывал неправ и перед нею и перед остальными, и каждый считал своим долгом сделать ему замечание или сказать наставительную речь, поучить уму-разуму. А теперь... Вымпел, который он хотел снять, считая его чужим, теперь по праву развевался на передке его бестарки. Дзагашт был главой целой вереницы подвод, он всё чаще подавал голос, если шло обсуждение колхозных дел, и с ним считались, его выслушивали от первого слова до последнего. И вот впервые заговорил он с Саидой, как равный с равной, не подлаживаясь и не заискивая, а давая понять ей, что хотя она и красивая, и такая и сякая, но есть ещё на свете другие девушки, которые не уступят ей ни в работе, ни в красоте.

Саида удивлённо посмотрела на него. Её самолюбие было задето. До сих пор она относилась к нему если не снисходительно, то просто как к товарищу, к младшему товарищу, хотя они были однолетками, — может быть, потому, что она, дочь Ахмеда Джолова, рано узнала настоящую беду, и это делало её как бы старше сверстников. Ведь не одни лета определяют возраст человека.



— Мне одно непонятно, — сказал Дзагашт задумчиво. — Хотелось бы слышать имя того человека, которого ты всем другим предпочла. Но до сих пор о таком я не слышал. И какое у него лицо, и есть ли он на свете, как его зовут — не знаю.

— Дзагашт, пойми меня, — начала девушка, но он перебил её. Прошли те времена, когда он выслушивал Саиду со стеснённым дыханием, считая каждое её слово милостью, щедрым даром судьбы.

— Пусть бы такой человек существовал; знаешь, мне было бы легче. Я говорил бы себе — Саида не одна. И если то, что произошло между нами, лично для меня надо назвать таким словом, как горе...

Саида рассмеялась.

— Гора нет ни в моей, ни в твоей жизни, Дзагашт. Успокойся, я не останусь одна, как и ты, конечно, не умрёшь бобылём. Найдётся, очевидно, в мире человек, который введёт меня в свой дом, назовёт женой. Я ведь не чудовище, чтоб меня избегать. Знаешь, однажды, ещё в детстве, переплывая реку, услышала я крик матери. Она хотела, чтобы я вернулась к нашему берегу, — боялась, что утону. Я оглянулась и поняла — надо плыть вперёд, к другому берегу, он для меня стал ближе, чем тот, от которого я ушла...

— Правильно, я понимаю, Саида, — значит, ты что-то уже решила для себя?

— Не знаю... Жизнь моя только начинается. Я смотрю в будущее и с тревогой и с надеждой, — иначе не стоило бы жить.

— Значит, есть другой?

Саида не отвечала.

— Кто же он?

Саида шла молча.

— Одно время закралось подозрение в мою душу насчёт Мурата. Я думал, он будет писать тебе. Я ждал этого. Но он многим прислал письма, а тебе нет. Кого же ты избрала, Саида? А может быть, Мурата, может быть, всё-таки его, хоть он и холоден к тебе? И такое в жизни бывает.

— Нет, не его, — еле слышно отозвалась Саида. — Не его... Ты вернись на ток другой дорогой, а я пойду по этой...

И они расстались на развилке двух дорог.

## 4

На курган, одиноко возвышающийся в степи, комбайны не поднимались. Они обходили его, как нож цирюльника обходит бородавку на лице человека. Увидев, что вокруг кургана уже обкошено, а оставшаяся на нём пшеница торчит золотым чубом, Аминет направила туда косаря, но Рамазан перехватил его и сам поднялся на возвышенность. Широко ставив ноги, он сделал первый осторожный взмах косой; тонкая, отточенная сталь запела, и пучок ровно срезанных колосьев мягко лёг на стерню.

Отсюда, с кургана, открывался вид на всю степь. С южной стороны в мягкое тело кургана врезалась глубокая щель, поросшая травой, — в позапрошлом году тут стучали лопаты и кирки научной экспедиции: говорили, что исследователям удалось найти монеты и древнюю золотую утварь.

В старину курган считался священным местом. Рассказывали, что по ночам тут собираются джины; на середину большого круга выезжает золотая колесница; женщины с длинными косами пляшут при луне, курган дрожит. Суеверный крестьянин объезжал его по самой дальней дороге, чтобы не попасть в плен к джинам. Но старики утверждали, что если бы кому-нибудь удалось пленить длиннокосую ночную плясунью, женщину-

джина, и заручиться её клятвой, тот мог бы жить припеваючи до самой смерти. В пору пахоты он оставлял бы на своём участке плуг и борону, а сам возвращался домой — вместо него работали бы джины, успевавшие за ночь вспахать и заборонить всё поле. То же самое повторялось бы при уборке.

Рамазан, обкашивая курган, получал неизъяснимое удовольствие. С тех пор, как появились комбайны, всё реже и реже он брал в руки стальную косу, а ведь в нём ещё жил дух его предков, тех, для кого переход от серпа к лобогрейке был подобен революции. Для Рамазана слово пшеница звучало по-особенному, свяшенно. Выросший в степи, Рамазан не знал другого места на земле, где дышалось бы так легко и свободно. Он завидовал комбайнерам, безраздельно хозяйничавшим в пшеничном разливе, поднимался к ним на мостик, к штурвалу, и, зорко поглядывая вперёд, потный и запылённый, часами простаивал на высоком посту жнеца. Дождавшись ночи, он бросался в пахучую, тёплую солому и спал глубокоим, юношеским сном, не меняя положения, словно лежал в колыбели, повязанный мягкими повивальниками.

— Фу ты чёрт, уже всё! Паршивый же курганчик, надо сказать! — воскликнул он, скосив последний ряд, и сожалея, что так скоро закончил работу и лишился редкого в нынешнее время удовольствия.

Рамазан окинул взглядом степь. Курган был единственным на его территории. Но он не ушёл отсюда; поднявшись на вершину, он снял сапоги, вытряхнул из них зёрна, потом достал из кармана кипу бумаг — сводки и всякого рода документы — и начал исполнять свою председательскую должность: на одних он ставил круглую печать, другие украшал своей подписью с завитушкой, в третьих уточнял цифры.

Дана искала Рамазана. Сперва она зашла в правление колхоза, хотя знала, что он вернётся сюда лишь после уборки хлебов. Дождавшись возчиков, Дана вместе с ними приехала на ток. Но Рамазана и тут не было. В бригадном домике, в мужской его половине, стояла пустая койка Рамазана. На тумбочке лежали газеты и журналы, копии старых сводок и журнал, раскрытый на статье «Учёба председателей колхозов».

— Где же мне искать его? — спрашивала Дана, теряясь в догадках.

— А что у тебя за дело? — поинтересовалась Аминет.

— Пришла баржа от консервного завода, трубы прислали... Я же артезианский колодец рою, хочу автопоение ввести. Трубы мне вот так нужны. И рельсы для узкоколейки, чтобы корм подвозить. Груз важный, надо заприходовать, доставить ко мне на ферму, а Рамазана нет!

— Умоляю тебя, заведи его! — попросила Аминет. — Ты знаешь, у меня такое ощущение, словно я на подозрении у него.

— Что ты, Аминет! Он никак не нахвалится тобой!

— Да, да! Это он только говорит, — возразила Аминет. — Ну, чего он, скажи на милость, днюет и ночует в степи? Я понимаю — да, надо проверять бригадира, помогать ему; нельзя всецело полагаться на него, а самому сидеть сложа руки. Но Дана! Тогда для чего я, если он не может ни на один час покинуть степь? Ты не подумай, что всё это я говорю из какого-то дешёвого желания обратить на себя внимание. Но и мне тоже хочется... — Аминет посмотрела на Дану, проверяя, понимает ли она. — Мне хочется знать, что я бригадир, что мне можно доверять людей и такую степь! — Она кинула взгляд далеко-далеко, обозревая свои владения.

Дана тоже оглядела степь. Большая, солнечная, простирается она до самого горизонта. Глухо рокочут моторы. Слешат бестарки. Полощется над бригадным домиком красный флаг, выгоревший по складкам. На какую-то минуту Дана поняла страстную привязанность Рамазана к этим

местам и, кажется, готова была простить ему безвыездное пребывание в степи, но вот, перебивая её мысли, Аминет снова заговорила:

— А если ошибусь, Дана, я хочу, чтобы и ошибка тоже была моей. Чтобы не могла родиться трусливая мысль: в случае чего председатель поправит, он же всегда тут. Понимаешь, Дана, иногда я вижу: надо сделать так, только так, но молчу. Потому что знаю, всё равно Рамазан вмешается, скажет: «Нет, не так, а вот так!». Над душой он стоит, вот что!

— А мы в ауле скучаем по нему, ей-богу! — призналась Дана. — Хоть бы раз заглянул на ферму, — куда там! И на аркане не затащишь! Пусть бы даже покричал. А то слишком тихо у нас. Всё ему степь да степь; а мясо ведь в степи не растёт.

— Отчасти и растёт, — заметила Аминет. — Без степи и мяса не будет — корм ведь отсюда...

— Корм, корм! Вы даёте нам какие-то отходы, и то не столько нам, как птицеферме! Слава богу, — Дана не удержалась, чтобы не похвалиться, — силосом запаслись на весь год! Уже запечатали башню. Абдуллах увидел и говорит: как особую московскую запечатали! Да... Но где же найти Рамазана? Мне необходимы подводы, без этого хоть не возвращайся в аул.

Аминет подумала и решила:

— Я дам тебе одну подводу, больше не могу. На два дня, ладно?

— Спасибо, Аминет, ты, можно сказать, выручила меня!

— А насчёт всего остального решай с председателем.

Показалась длинная фигура Коробова: потный, злой, он шагал по пыльной дороге, направляясь к току, в одной руке парусиновая кепка, в другой — папка.

— Куда запропастился Рамазан? — закричал он, подойдя к женщинам. — Баржу задерживаем, а этого никак нельзя допустить! Я должен пристань строить, отгружать овощи — и за каждой подписью мчусь сюда! Благодарю покорно! Где Хасан хотя бы?

— Осматривает машину.

Коробов направился к парторгу. Изю дня в день повторялись эти сцены: на току собирались люди с ферм, искали председателя, Рамазан подписывал документы на мешках, на колене, на чьей-то во-время подставленной ладони.

— Я не могу подписывать, — сказал Хасан, — эти дела решает только председатель. Если бы он находился в командировке...

— В командировке! — горячился Коробов. — Он выехал сюда, в степь, на весь сезон, а это хуже всякой командировки!

Хасан понимал, что люди правы, и решил раз и навсегда положить конец председательским увлечениям.

И вот на закате, когда Рамазан, уставший и голодный, вернулся к стану, Хасан созвал коммунистов и, не называя это собранием, рассказал им о создавшемся положении.

— Лаптев достаточно ясно предупредил нас: бороться за многоотраслевой колхоз, а мы...

— Извини, пожалуйста! — перебил Рамазан. — Уборка хлеба — сезонное дело. Надо уметь находить главное звено, ухватившись за которое можно потащить всю цепь. Диалектика это или что, по-вашему? — Он искал сочувствия, надеялся, что собравшиеся поддержат его, а не парторга. — Я так понимаю: колхозник без хлеба — это всё равно, что печать без герба! Степь — колыбель наша!

— Не единым хлебом жив человек...

— Давайте предложим Рамазану как коммунисту покинуть степь! — сказал Хасан.

— Что? — удивился Рамазан.

— Вряд ли можно выносить такое решение, — осторожно заметил Аслан. — Манёвренность, я бы даже сказал, мобильность руководителя порой зависит от транспортных возможностей. Был бы у Рамазана автомобиль «Победа», а не мотоцикл, тогда успевал бы он и фермы объехать и в степи побывать.

— Пора председателю колхоза покончить со стихийностью в руководстве, с крестьянской манерой быть и тут и там, никому не доверять, всё делать самому, — резко сказал Хасан. — В степи есть ответственное лицо — Аминет, она в силах решать все вопросы.

## 5

Уже стемнело, когда Рамазан выехал в селение. В тот вечер впервые после долгого перерыва засветились окна правления, и Рамазан был приятно удивлён, когда на свет сошлись люди — с огорода, с ферм, из строительной бригады.

— Демобилизовался? — спросил Мустафа, с хитрецей поглядывая на председателя.

— То есть? — переспросил Рамазан.

— А что такое то есть, когда тебя выгнали из степи! — смеялся и радовался бригадир строителей. — Как только хлеб созрел, ты сейчас же айда в степь, до осени! Я уже не раз подумывал: может, нам следует выбирать не одного председателя, а двух — степного и аульского?

— Не очень-то радуйся, — предупредил Рамазан. — Живёте тут, как на курорте, палочки стругаете...

— Пожалуйста, посмотри, пойдём, — заволновался Мустафа. — Начали строить пристань, ферму механизуем...

— Сперва загляну к себе домой, а потом с тобой походим.

Дома, где каждая вещь лежала на своём месте, давно не тронутая его рукой, Рамазану не понравилось — ему показалось тут и неуютно и скучно. На столе лежала раскрытая книга. «Учится», — отметил Рамазан и вспомнил про свой журнал с недочитанной статьёй, оставшийся в степном домике. «Все читают, — рассуждал он, покидая дом. — Не колхоз, а какой-то университет...»

Возвращаясь в правление, он вспомнил те годы, когда жители аула собирались по кунацким и слушали чтеца, открывавшего им новый, большой мир. Тогда же выяснилось, что они, адыги, лишь маленькая часть этого большого мира. Сначала это открытие разочаровало их, а потом, когда они поняли и увидели на деле, что и им, немногочисленным, даны такие же права, как и другим многомиллионным народам, адыги взялись строить новый, советский мир. Рамазан, вспоминая путь, пройденный его народом и им самим, с удовольствием поглядывал по сторонам: не самое плохое селение в Адыгее, честное слово, не самое плохое! И если несколько часов назад, слушая упрёки Хасана, он считал их несправедливыми и был склонен обратиться за защитой к Аслану Умарову, то теперь он уже иначе относился к происшедшей перемене, или, как метко определил Мустафа, к своей демобилизации. Он хотел видеть свой колхоз действительно передовым, достойным его названия — «Путь к коммунизму». И если товарищи твои, обеспокоенные тем же и в той же мере, как и ты, советуют лучшее — стоит ли сопротивляться? Отбросив мелочные чувства, председатель широким шагом шёл теперь по селению, один в ночь, видел то там, то тут огоньки электроламп, и на сердце у него становилось теплее.

— Пойдём, пойдём! — услышал он голос Мустафы, показавшегося в освещённом круге, палавшем от фонаря. — К реке! Посмотришь, какую мы начали строить пристань! Прямо порт будет! Шефы оказались стоящие...

В эту неподходящую минуту из темноты возникла Нахдах и попросила председателя задержаться.

— Что случилось? — спросил Рамазан. — Ты же видишь, я тороплюсь, у меня дела.

— Однако и у меня есть дела, — ответила Нахдах. — Вы, руководители, очень любите упрекать других, или, как говорит Хасан, критиковать, но не забывайте, что это право и нам дано.

— Критикой меня теперь не испугаешь! — воскликнул Рамазан. — Ладно, так что у тебя за дело?

— Я не понимаю! — сразу же начала Нахдах возмущаться. — Говорим, говорим, а толку не видно. Назначили меня заведующей ларьком по продаже овощей, а самого ларька нету! Частники, конечно, могут торговать со стойки, — что там у них: кружочек сыру, полкило масла? А у меня большой товар, на тонны меряю! Посмотришь на другие колхозы: у людей и помещение есть, и вывеска, и свои весы, и касса...

— Ну, насчёт кассы ты не надейся! — охладил её пыл Рамазан. — У нас не «Гастроном».

— Да она не нужна мне, я, слава богу, и до миллиона сосчитаю! — воскликнула Нахдах. — Вы мне ларёк постройте, и не из фанеры, а настоящий!

— Я не могу разорваться! — сразу же ошетинился Мустафа. — Проживём пока без ларька!

— Много ты понимаешь! — набросилась на него Нахдах. — Твоё дело маленькое — скажут, и построишь. Я не к тебе, а к председателю обращаюсь.

Рамазан обдумывал требование Нахдах. Его радовало, что она так серьёзно взялась за дело. Даже и без своего помещения, торгуя со стойки, Нахдах приносила из станицы каждый день то две, то три тысячи. Это большое подспорье для колхоза. Ларёк нужен, но, с другой стороны, Мустафе действительно приходится туго. И ферму надо механизировать, и столбы для радио ставить, и артезианский колодец рыть...

Нахдах ждала. Всю жизнь, если она обращалась к руководителям колхоза, то слышала от них: «Ладно, иди!», а что касается Рамазана, так тот и вовсе подсмеивался даже над нею. Что же он скажет теперь? Опять «ладно, иди»?

Долго думал Рамазан, долго и терпеливо ждала Нахдах.

— Ладно, — сказал Рамазан. — Ты иди... — Нахдах посмотрела на председателя. — Ты иди, Мустафа, а я догоню. Мне надо поговорить с Нахдах.

И Рамазан, осторожно взяв Нахдах за локоть, повёл её в правление.

## 6

Река, омывавшая земли колхозного огорода, бурлила под крутым, отвесным берегом. При ярком электрическом свете шла разгрузка баржи, притянутой к готовому концу новой колхозной пристани, которую строила бригада Мустафы. На корме баржи спал человек. Шум вокруг не мешал ему; прижавшись к борту, тихо покачивался катерок, ожидая конца разгрузки.

С баржи несли трубы, рельсы, кровельное железо, на неё грузили овощи. Распоряжался работами Коробов.

— Говоря откровенно, — признался Рамазан. — не ожидал я такой помощи от нашего шефа.

Вдруг он увидел свою жену, которая вместе с подругой несла длинную трубу. Осторожно перешагнув через борт баржи, женщины взошли на пристань, секунду отдохнули тут, поправили на плечах мешки, подложенные под трубу, и пошли дальше, к подводе.

— Одну минутку! — крикнул Рамазан и побежал к женщинам. — Дайте мне! — Сняв с плеча жены мешок и переложив его на своё плечо, Рамазан один подхватил и понёс трубу.

Узнав Рамазана, жена заметнo повеселела. Где-то вблизи вспорхнула лукавая песенка, зазвенели голоса девушек с молочной фермы. Они пели не хуже тех, кого любил слушать Рамазан, днюя и ночуя в степи. Разгрузка подходила к концу. Человек, спавший на корме, проснулся. Послышалось дробное тарактенье катерка.

— Спа-си-бо! — кричала Дана, прощаясь с баржей, которая привезла столько добра. — Передайте всем от нас спасибо!

Коробов удивился, обнаружив среди работающих Рамазана со слипшимися рыжими волосами, шумно-весёлого, измазанного чем-то белым.

— Что ж, Пётр Ильич, кончилась тихая жизнь, — сказал Рамазан Коробову. — Огород поднимается, это хорошо. Ты обязан на тот год дать нам тысяч пятьсот чистого дохода деньгами.

— Посмотрим...

— Нет, брат, извини: без всяких «посмотрим»! Наличными, в кассу, на текущий счёт — пятьсот да ещё с хвостиком... Иначе, помяни моё слово: и тебе и мне отвечать перед Лаптевым! Я видел: ты недогрузил баржу. Что, нет овощей?

— Есть, да не успели, а задерживать нельзя.

— Придётся научиться поторапливаться. Ладно, я из степи демобилизовался вчистую, перебросили меня сюда, займёмся вашими делами.

Коробов, ероша волосы, смотрел вслед Рамазану, который зашагал к подводе, увозившей работниц фермы. Значит, кончилась «командировка» председателя? Так, так. Это хорошо.

— Что втихомолку едете? — спросил Рамазан, догнав подводу. — Пойте, как поют в степи!

— А ты всё о степи, председатель!

— Там хорошо, — отвечал он.

— И у нас неплохо!

— Запевай, сестрѐнка, — попросил Рамазан самую голосистую из всех.

— Твою любимую?

— Неплохо бы...

И девушка запела:

Майскими, короткими ночами,  
Отгремев, закончились бои,  
Где же вы теперь, друзья-однополчане,  
Боевые спутники мои...

Девушка пела громко, во весь голос, как вообще поют на Кубани, где кругом степь да степь. Тосковал Рамазан по однополчанам, ждал, не заявится ли и в самом деле кто-нибудь из них в его края в отпуск или в командировку — всё равно... Думая о такой возможности, Рамазан делался молчаливо-серьёзным, придирчиво оглядывал свои владения, стараясь представить себе, как они будут выглядеть под строгим, оценивающим взором боевых товарищей.

Где вы, друзья-однополчане, в каких районах и на каких постах?

Кто-то, конечно, варит сталь на Урале, кто-то гонит плоты вниз по Каме, кто-то ведёт тяжеловесный состав...

Кого только не было в нашем полку!

«Где же вы теперь, друзья однополчане?» — спрашивала и вздыхала песня, и вместе с нею вздыхал и он, участник великого освободительного похода...

## ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

## I

После ухода Рамазана из степи Аминет почувствовала себя гораздо свободнее. Хасан не стеснял ровного, хозяйского шага бригадира, не перебивал её спокойно-рассудительного голоса. Только Аслан Умаров смотрел на Аминет свысока, но это её не очень стесняло, поскольку уполномоченный не любил «чёрную» работу и в мелочи не вникал...

Аслан ходил с видом человека, которому всегда везло в жизни: все успехи он относил к результатам своего руководства, тем более теперь, когда в степи не стало председателя, а оставался только бригадир да к тому же женщина... Правда, был ещё Хасан, но по ночам он отвозил зерно с малевского сцепа, а днём отдыхал или же уходил к комбайнерам, большей частью к Якубу.

Аслан ежедневно посылал в райисполком и райком сводки о ходе хлебопоставок, и оттуда ему сообщали, что колхоз идёт в первых рядах. Сейчас все его мысли были заняты одним — рапортовать первым о выполнении поставок. С этим событием Аслан связывал очень многое в своей жизни... Он всегда видел мысленно высокую, упирающуюся в небо служебную лестницу; сейчас он стоял на одной из нижних ступенек; но рыбок, рапорт о выполнении поставок — и он ухватится за следующую перекладину!

Все эти дни он напряжённо присматривался к жизни Фиж, следил за каждым её шагом, ловил каждое её слово. Мучило и оскорбляло его не только то, что он потерял красивую молодую женщину. Нет, его раздражал её самостоятельный вид, уверенные движения. А главное, со всех сторон он слышал одно и то же: Фиж бросила мужа... Не он её бросил, а она! Аслан пытался спасти свою мужскую честь, он намекал, что сам отдалился от молодой жены, хотел её ухода, но народ твердил своё: Фиж бросила мужа.

«Но мы ещё посмотрим! Сама же поклонись мне в ноги! Ты очень, очень ласковыми глазами посматриваешь на Хасана, при встрече с ним как-то так наклоняешь голову, что нетрудно догадаться, какие мысли не дают тебе покоя... Я всё вижу, всё!.. Он тоже думает, что гораздо счастливее меня, считает себя чуть ли не пупом земли, зазнаётся, под ложной скромностью прячет свои далеко идущие мысли, — ничего, товарищ парторг, я знаю, как сбить с ног такого, как ты!»

Сближаясь с Саидой, Аслан хотел убить сразу двух зайцев: увлечь девушку и вызвать в Фиж ревность, заставить её соперничать с Саидой. Уже несколько раз Фиж видела их вместе, каждый такой случай Аслан мысленно отмечал. Он подходил к Саиде в такие моменты, когда и Фиж находилась неподалёку. Тогда он начинал шутить, рассказывать смешные анекдоты, и Саида смеялась, а Фиж вздрагивала от её смеха, собирала вокруг глаз сердитые морщинки, а иногда, не сдержавшись, набрасывалась на девушку:

— Прекрати этот глупый смех!

Саида удивлённо и испуганно взглядывала на свою подругу и спрашивала:

— В чём дело, Фиж?

— А в том! — неясно отвечала Фиж. — В том!..

— Если тебе не смешно...

— Да, не смешно! Ты лучше занимайся своим комбайном и поменьше болтай с мужчинами, а то как бы потом плакать не пришлось!

Аслан ухмылялся, самодовольная усмешка кривила его пунцово-влажные губы...

— Не выносит, когда я с кем-либо разговариваю, — объяснял он Саиде. — Что за характер!

Саида смотрела на него сочувствующими глазами.

— Она очень и очень изменилась за последнее время, — жаловалась Саида. — Не понимаю, что с ней происходит...

— А я тебе скажу, Саида, — ревнует.

— Кого?

— Меня.

— К кому же она ревнует тебя?

— К тебе, конечно.

— Что ты! — Смуглые щёки девушки вспыхивали тёмным, еле заметным румянцем.

Что-то подсказывало Саиде, что она поступает нехорошо, разрешая ему подолгу оставаться около себя, и в то же время она не имела сил отстраниться от него, запретить ему стоять или сидеть рядом... Ни о чём определённом с нею он не говорил, и если бы она вдруг сказала: «Не подходи ко мне», это могло прозвучать, как намёк на возможность каких-то особых взаимоотношений, как невольное признание в том, что сердце её затронуто. В конце концов, он уполномоченный и имеет право подходить к любому колхознику или работнику МТС, его всё может интересовать... Ну и пусть подходит, пусть сидит рядом — не съест же он её. По крайней мере, с ним не скучно.

## 2

Наступили самые жаркие дни на Кубани. С утра до вечера горело в чистом небе раскалённое докрасна солнце, и только среди ночи дышалось чуть легче, свободнее... На дорогах, разбитых за лето тяжело груженными подводами и машинами, весь день клубилась пыль, красная, непроглядная; машины зажигали фары, сбавляли ход, неистово ревели и гудели, предупреждая о своём движении в облаках красной пыли... Всем нехватало воды — и людям и машинам. Купание не приносило облегчения — вода в реке была тёплой...

Колхоз «Путь к коммунизму» давно уже не ощущал недостатка в транспорте — предложение Чеучева, одобренное Лаптевым, сделало своё дело: машины «Союззаготтранса» совершали рейс за рейсом, каждая тонна намолоченного зерна сразу доставлялась на ток, очищенное зерно тут же грузилось в автомобили и шло на элеватор.

Районная газета напечатала очерк о сцепе. На шите, где каждый день вывешивалась корейская сводка, против фамилии Маля появлялись цифры, которые не могли не беспокоить Якуба. Не сегодня-завтра вымпел получит! Да, о Мале теперь уже нельзя было сказать, что его температурит, — температурило самого Якуба и, кажется, не только в переносном смысле.

С тех пор, как работа сцепа вошла в график, Якуб, видя, что его обгоняют, находился в состоянии непрерывной тревоги. Он почти не сходил с мостика, потерял сон и аппетит, стал придирчив к людям, никому, ни себе, ни другим, не давал покоя...

Иногда, в сумерках, он отправлялся на участок Ивана Маля и подолгу наблюдал за работой сцепа...

Вот сцеп поравнялся с Якубом... В синем комбинезоне, в парусиновой кепке, стоит на мостике невысокий парень Льяного цвета чуб спадает ему на лоб, почти касается очков, защищающих глаза от пыли. Агрегат грохочет, и, кажется, в железной трескотне человеку никак не разобратся. Но Якуб различает характерные звуки каждого узла и по ним безошибочно узнаёт, что машина идеально отрегулирована.

Сцеп подходит к концу загона.

Иван Маль достаёт из широкого кармана записную книжку и смотрит на часы.



Взмах рукой -- и к головному комбайну подруливает грузовая машина...

Из рукава бункера льётся пшеница...

Постояв у чужого участка, Якуб возвращался к своей машине. Нет, у него всё было не так, как у Маля, и Якуб начинал кричать на всех по очереди. Правда, какое-то внутреннее чувство справедливости подсказывало ему, что эти люди ни в чём не провинились и причину отставания следует искать в другом, но такие прояснения длились недолго, всё перекрывала горечь обиды. То ему казалось, что его нарочно поставили на плохой участок, то он начинал подозревать Саиду в каком-то сговоре с братьями Маль и даже с Хасаном.

— Слежу я за тобой, Якуб, — заметил ему однажды Хасан, вглядываясь в небритое, усталое, злое лицо комбайнера, — слежу и думаю: устал ты...

— Не на курорте, — мрачно отвечал Якуб.

— Конечно, все в какой-то мере устают, я не о том.. Мне кажется, ты не из техники выжимаешь всё то, что она может и должна дать, ты технику эксплуатируешь, а эксплуатируешь себя. И делаешь это с упрямством, достойным иного применения У нас теперь нет волов, но ты их видел много раз Идут они по дороге, в ярме, ровно и хорошо, и вдруг ни с того, ни с сего один начинает тянуть в сторону. Хлещешь его хворостиной, хочешь, чтоб шёл по дороге, а он упрямо лезет на кочки, сбивает себе ноги Так и ты — тянешь неведомо куда, когда так ясно, где она, настоящая дорога. .

— А где она? — спросил Якуб с усталой усмешкой на обветренных губах. — Где?

— А вон там! — и Хасан указал на юг, где работал сцеп. — Вот где... — он поднял руку с часами и постучал пальцем по стеклу. — График...

— Оставьте меня в покое! — закричал Якуб. — Каждый считает своим долгом учить, проповедовать...

— Ты всё-таки сдерживай свои нервы, — заметил Хасан осторожно, чтоб не раздражать Якуба — Я ведь тебе помочь хочу.

— Малю помогай!.. Ты же тащишь его в Герои, вот и занимайся им!..

— Маль сам выйдет в Герои. Речь не о нём — о тебе речь.

— А я как-нибудь своим умом проживу! Без ваших забот...

Якуб только что сменился и собирался отдохнуть в бригадном домике, но раздражение и тревога заставили его вернуться к машине.

— Что это такое! — закричал он Саиде. — На полхедера работаешь! — С трудом, напрягая уставшие мышцы, Якуб вскарабкался на мостик комбайна и оттолкнул Саиду от штурвала... И только тут заметил свою ошибку -- комбайн брал полный захват. Ему стало стыдно перед своей помощницей, и, чтобы как-то сгладить свою вину, он торопливо предложил Саиде пойти отдохнуть.

— У конца загона — остановка! — перекрывая шум машины, крикнула Саида и тут же, достав свисток, подала сигнал. Агрегат остановился. Начался технический осмотр. Тракторист и его сменщик занялись своей машиной. Подошла бочка с водой. Все — и копильщик, и водовоз, и трактористы -- бросились помогать Саиде.

— Не разливай масло! — прикрикнул Якуб на копильщика, с радостью ухватившегося за маслёнку. — И не лезь не в своё дело! — отстранил он водовоза. — Дай-ка сюда! -- выхватил он ключ из рук Саиды.

Он никому не доверял, за всё брался сам.

— Якуб, -- попросила Саида, — ты же устал, иди отдохни. Право, мы всё сделаем сами.

— Какой там отдых! — возмутился Якуб. -- Надо поменьше думать

об отдыхе — не на пляже, кажется, находитесь, не время загорать... Раз ты встала на мостик комбайна — забудь о тряпках, о развлечениях, забудь о сне, работай до одури, зубы стисни и терпи...

— Ты неправ, Якуб,— возразила Саида.— Техника нам даётся для облегчения...

— Для облегчения? — оборвал её Якуб. — То-то я вижу, отстаём мы от всех! Не о работе думаем, а как бы полегче! Потеть надо, вот что! Кто потеет, тот и есть труженик...

Дальнейший разговор продолжался в том же духе.

Технический осмотр закончился, и комбайн тронулся в путь. На мостике теперь сгояла не Саида, а сам Якуб. Его не интересовали мысли и чувства его помощницы — он думал о гектарах...

## 3

Якуб упрямылся, не щадил ни себя, ни других. С опалёнными, иссечёнными губами, покрытый пылью и маслом, заросший, он не уходил с комбайна, простаивал на нём по пятнадцать, а иногда и по восемнадцать часов подряд, а если, по настоянию Саиды, отправлялся поспать, то через полчаса вскакивал, как ужаленный, и бежал обратно. Он прогнал от себя Дану, которая приехала в степь его навестить, и только если кто-нибудь упоминал о Мишке, губы его трогала слабая улыбка.

— Не учите меня дезертирству,— отвечал он тем, кто советовал ему выспаться как следует

Хасан сообщил директору МТС, что Якуб переутомился. В тот же день, к вечеру, приехал молодой комбайнер, высокий детина, пышущий здоровьем, безмятежно жизнерадостный, розовощёкий. Одного его вида было бы достаточно, чтобы вывести Якуба из себя, а тут ещё речь шла о том, чтобы передать этому гастролёру комбайн...

— Никому и никогда не отдам я его! — отрезал Якуб. — Даже если директор сам вздумает работать на нём, — и ему, директору, не видать моего комбайна. Лягу поперёк борозды, но не пропущу. А интересно, где вы были, голубчики, когда я воскрешал свою машину, собирал её по винтику, пальцы себе обдираю? Где, а? — кричал он на опешившего комбайнера. — Так и передай пославшему тебя: не отдам!

Молодой комбайнер уехал, он ещё никогда не видел такого рассерженного человека.

Дела у Якуба шли всё хуже и хуже. Беспощадным отношением к себе, бессонницей он подорвал своё здоровье и уже не мог стоять на мостике комбайна. Но и теперь Якуб не соглашался покинуть степь. Тяжёлой походкой, с трудом переставляя ноги, он выходил навстречу комбайну и следил за его работой, а если проводился технический осмотр, требовал сделать одно, другое и третье, ещё раз проверить то, что вообще не вызывало сомнения.

Саида молча выслушивала его придирки, ни одним словом не давая Якубу понять, что он не нужен тут и попросту мешает, — она щадилась своего учителя. Больше того, Саида сама беспрестанно обращалась к нему, спрашивала, советовалась, хотя и без него знала, что нужно делать. Он отвечал с серьёзным, озабоченным видом, она благодарила и бежала к машине...

Положение Якуба всех тревожило. Аминет начала сама призывать ему пищу, готовила для него особенные пирожки, начинённые свежей бараниной, Маль старался помогать Саиде и уже не раз в отсутствие Якуба поднимался на мостик якубовского комбайна... Заволновались и братья Пачешховы.

Однажды к Якубу заглянул старший из братьев Пачешховых — высокий, усатый, длинноногий человек.

— Что, Якуб, немного прихворнул? — спросил он с участием.

Якубу понравилось, что человек сказал именно так -- «прихворнул», да ещё «немного», а не «заболел». Ему показалось, что и в самом деле он не болен, а так просто «немного прихворнул». Он не знал, что братья, народ здоровый во всех отношениях — и духом и телом, — никогда не произносили этого слова — «заболел».

— Говорят, пенициллин помогает. — осторожно посоветовал гость.

— Какой там пенициллин! — махнул Якуб. — В нашей аптечке иод да бинт...

— А зачем аптечка, чудака-человек! Пенициллин не в аптеках отпускается... Ладно, я выручу тебя. — Достав из кармана четвертинку особой московской, он вручил её больному и громко захохотал, довольный своей шуткой.

Посещение этого человека, его участие и шутки развеселили Якуба, и они вдвоём выпили бутылочку.

— Люблю пирожки! — признался гость

— Кажется, ты всё любишь — и мясо и помидоры. .

— А ведь ты правду сказал! — удивился гость. — Смотри, пожалуйста, и как ты узнал, что именно я люблю?

— Глядя на тебя, нетрудно догадаться. Здоров, вот и любишь всё.

— Я сам не знаю, откуда у меня это здоровье, ведь я ем всё, что падается...

— Потому и здоров. Нервы у тебя крепкие, спокоен ты. .

— Да, разозлить нас, братьев, нелегко!.. Это удалось только одному человеку.

— Кому?

— Гитлеру. Ох, и разозлились же мы тогда! Не дай бог! Попались он мне — я бы его, сукина сына, как кол в землю пятками вогнал! . Да, на нервы мы, братья, не жалуемся. Я бы не советовал выводить нас из терпения, ей-богу! Мы спокойны, это верно, но до поры, до времени... А если нас разозлить, тогда хватаем что попало: автомат — так автомат, вилы — так вилы, и тут уж всё: давай уноси бог ноги!.. Ну как, помогает пенициллин? Ещё бы! Appetit появился — смотри, ты уже все пирожки съел! Вот и хорошо Ты должен заботиться о себе, Якуб: у тебя ведь Мишка, сын. Славно мы поговорили — поеду теперь.

Нелёгкую жизнь прожил Якуб. Всё его детство, а потом и юность прошли в непрерывных трудовых заботах. Когда оба брата его погибли на войне, заботу о воспитании их детей Якуб взял на себя. Он не привык, чтобы о нём заботились, никак не предполагал встретить в людях внимание и нежность. Признаться, ему казалось, что каждый думает только о своём деле, а теперь люди, которых он давно и хорошо знал, раскрылись по-новому, заставляя его иначе смотреть и на их жизнь и на свою.

Якуб очень удивился, когда однажды Хасан, сдав машину Фиж, пришёл к нему и предложил вместе провести день, отдохнуть. Как, после всего, что было? Ведь это он, Хасан, дал знать директору МТС о провале Якуба, это по его милости явился тот глупый верзила. .

— Отдохнуть? Только тем и занят, что отдыхаю, — ответил Якуб. — Ночи мало, так я и днём лежу.

Якуб и раньше не знал, как провести свободный день, если такой выпадет, — отдых тоже требует умения, а отдыхать он не умел. Теперь безделье тосило его.

— А ты не лежи, пойдём!

— Куда это? — удивился Якуб.

— Пешли, пошли! — настаивал Хасан — Никому не показывал, а тебе покажу: есть тут поблизости одно местечко — удивишься, увидев его!

— Наши места я знаю наизусть. Нет на нашей земле ничего такого, чем ты мог бы меня удивить.

— А вот увидим..

Эти слова заставили Якуба подняться.

## 4

Адыгея — маленькая область. В иных местах ширина территории Адыгейской области не превышает двадцати километров, нет в ней недоступных горных мест, непроходимых лесов, — кажется, вся она на виду, исхожена, распахана и засеяна, во все уголки её заглянул человек, вырыл колодцы, проложил дороги. И всё же попадаются места такой дивной, нетронутой красоты, что при виде их даже тот, кто прожил тут весь свой век и, казалось бы, хорошо знает край, останавливается очарованный и спрашивает себя: «Да неужели я в Адыгее?».

Хасан увлекался рыбной ловлей, занимался ею ещё в детстве, не бросил и теперь.

Надо сказать, что существует убеждение, будто адыги, верные старинному обычаю, не слишком уважают рыбные блюда, щуку, например, считают попросту несъедобной, признают только сазана и сома, а что касается раков, то будто бы вовсе не представляют себе, как можно варить и есть их. Так ли это?

Верно, что в ауле вам редко доведётся отведать рыбы, но виноваты не столько старинные обычаи, сколько вполне современная лень. Те же самые адыги, выехав в Краснодар, Лабинск или Армавир, от рыбных блюд не отказываются, а раков шелушат с таким мастерством и с такой хирургической скрупулёзностью, словно век свой провели за этим занятием. Что действительно правда — так это то, что, имея полную возможность создать пруды и затоны, развести рыбу и получать от этого доходы, тут ждут, когда привезут им рыбу с Дальнего Востока, с Курильских островов.

Однажды, уже после войны, Хасан тихим, тёплым вечером забрёл в незнакомое ему место.

Неторопливо бежала узкая речонка, а над нею, купая в тёмной воде тяжёлые ветки, стояли в два ряда старые, невысокие, коренастые нвы, наклонясь к реке. Речка эга вливалась в другую, большую; в устье маленькой реки стояла глубокая, спокойная вода, и Хасан вообразил, что это речка остановилась на минуту, чтобы прислушаться к звону большой реки, понять, о чём та говорит и что у неё за нрав, но вот, доверившись старшей сестре, шагнула вперёд и слилась с ней в одном потоке, чтобы дальше бежать вместе, не разлучаясь и не изменяя друг другу. Там, где обе реки сходились, было просторно. Большая река разливалась широко и текла ровной, глянцевитой лентой, позолоченная лунным светом, вся забрызганная большими звёздными каплями. По берегам рос густой, высокий, зелёный лес. Трудно было представить себе место более поэтичное, сильнее чарующее душу, чем это.

Хасан, когда выдавалось свободное время, часто приходил сюда, хотя были другие, более рыбные места. Но и тут водилась рыба, — посреди ночи вдруг взмахнёт хвостом могучий, неповоротливый сом, поднявшись из своей ямы, опишет два-три круга и уйдёт дальше, на охоту. Проскользнёт, рассекая гладь воды длинным, стройным телом, пудовая щука, схватит голавля или чернопуза и скроется в глубине реки... А то смотришь — вдруг кто-то качнёт ветку, и по глади реки промелькнёт тень большой птицы. Или вот в стороне от тебя неуклюже прешмыгнёт, прижимаясь к земле и содрогааясь всем гибким телом,

чёрная выдра, тихо шлёпнется с берега в воду, скользнёт в свою нору — и опять тихо. Вокруг — жизнь; жизнь, ни на мгновение не утихающая, разнообразная, жизнь на земле, под нею, в воде, в лесу и в высоком небе.

В один прекрасный день Хасан пришёл сюда с новым грузом — большой пятилитровой стеклянной бутылкой. Закрепив удилище, закинув в воду два перемёта, он пошёл вдоль берега, ища давно примеченное им место. Хасан нес бутылку на плече и, то и дело поглядывая на неё, раздумывал, верна ли его догадка, сбудутся ли мечты и кто будет тот человек, который первым скажет: «Товарищи, а ведь Хасан прав!».

Раздвигая густой камышёвый лес, стеной стоявший по-над рекой, Хасан спустился вниз и склонился над водой, которая стояла в котловане и отсюда небольшим ручейком втекала в речку. Серо-мутная, на вкус неприятная, она не замерзала и в самые лютые морозы, над нею всегда стоял негустой пар. Обычно каждое устье реки богато рыбой, но тут, где в речку впадала теплая вода из котлована, рыба почти не встречалась. Долгое время Хасан считал, что рыбы избегают этого места из-за прожорливых сомов. Но потом он призадумался: ведь в устье других рек тоже немало сомов и щук, однако там ещё больше сазанов, густеры и леща. Хасан стал искать разгадку и нашёл её: скрытая от людей в густом камышёвом лесу, прикрытая непролазной сетью из длинных, как веревки, побегов ожины и дикого хмеля, из-под крутого берега котлована вытекала горячая струя какой-то особой воды.

Во время войны где только Хасан не бывал, у каких рек и озёр не стоял солдат, из какого бочажка он не пил воду, черпая её каской... Хорошо запомнился Хасану сернистый запах целебных источников.

Бутылку, не без труда доставленную в аул, была торжественно поставлена на стол в помещении правления, но ни в ком интереса не вызвала. Рамазан, отпив немного воды, тут же выплюнул её, сказал, что он, славу богу, здоров, а в случае чего есть банки, — и ушёл по своим делам. Но Хасан продолжал верить в счастливую судьбу открытого им источника. Пока что он не настаивал на своём, зная, что перед колхозом стоят другие, более важные задачи... Но время от времени он приходил к своему источнику, а теперь привёл с собой и Якубу.

— Ну что? — спросил Хасан, когда они закончили путешествие и Якуб подробно осмотрел эти места. — Нравится?

— Мало, если скажу — нравится. — Якуб глубоко втянул в себя свежий речной и лесной воздух. — Умирать не хочется при виде такой красоты!

— Ещё бы!

— А что, если я выкупаюсь в источнике?

Хасан пригнул голову, пожал плечами.

— Как тебе сказать? По-моему, рискованно.

— В самом деле? — испугался Якуб.

— Ты много потеряешь, если выкупаешься..

— А что я потеряю? — не понимал Якуб.

— Килограмма два масла, литров пять бензина, вернёшься чистым, а тебя не узнают... Нет, нет, не советую! — смеялся Хасан. — Эх, чудак-человек, конечно же, выкупаемся!

— И в самом источнике можно?

— А кто нам запретит?

— Прямо курорт! — радовался Якуб.

— А ты как думал? Будет тут курорт, помани моё слово.

— Что и говорить, место чудесное!

— ...И у входа, — мечтал Хасан, — напишем так: «Дом отдыха и лечебница колхоза «Путь к коммунизму». Работать мы научились, пора научиться беречь себя и отдыхать как следует, Якуб...

## 5

Аслан Умаров только что вернулся из районного центра, куда он ездил по своим делам, и теперь с недовольным видом стоял около бригадного домика — отъезд его прошёл незамеченным, и приезд не вызвал ни в ком интереса.

Ни тут, на току, ни там, в широкой степи, не имел он близкого человека, с кем мог поговорить по душам, поделиться мыслями, посидеть плечом к плечу, покурить, посмеяться. Он видел, с каким интересом всматриваются в небо братья Пачешховы, перечисляют звёзды и узнают их, уверяя, что те же самые звёзды горели над ними, когда они лежали в окопах на передовой, и вот точно такая же луна плыла тогда в военном небе, освещённом ракетами... Ни о чём особенном они не говорят, эти братья, гадают о завтрашней погоде, просто болтают пустяки, им хорошо вместе. А он, Аслан, чужой тут, всем чужой, так и не стал своим.. О, это всё из-за него, из-за Хасана, это он настраивает колхозников. И ещё есть одна причина. Какой адыг будет уважать мужчину, которого после года семейной жизни бросила жена?

Аслан не находил себе покойного места в широкой, бескрайней степи, ему было тесно из-за Хасана, заслонявшего собой и свет и простор. Каждый раз, когда Хасан садился за руль и выезжал в дорогу, Аслан молил бога об одном: как было бы хорошо, если бы машина слетела с обрыва, ударились бы о встречную, о белые бетонные указатели, лишь бы навсегда исчезли с земли и этот взгляд, и эти брови, и эти губы — всё, всё, всё то, что вместе составляет этого крепко сложенного, уверенного в себе человека.. И каждый раз, когда он видел их рядом, Фиж и Хасана, он, забывая о людях, о приличиях, о своём положении, порывался встать, подойти к ней, схватить её за белый, сводящий его с ума белый локон и вырвать его, лишить того, что отличало её от тысячи других.

Мысли Аслана были прерваны появлением Хасана, — он принёс ведро холодной родниковой воды и поставил у входа в домик.

— Выпей, очень освежает, — предложил он Аслану. — Ведь ты с дороги...

Аслан ничего не ответил. Он догадывался, что Хасан не только ради воды ходил к источнику, и ждал появления Фиж, чтобы встретить её уличающим взглядом. Он смотрел на тропишку, которая вела к роднику и на которой ещё блестели свежие пятна воды, пролитой Хасаном. Но Фиж пришла не оттуда — она вышла из бригадного домика и, стоя на пороге, заложив руки за голову, потянулась, как будто только что сладко спала.

— Жарко... — пожаловалась она.

— Что ж, напейся.. — посоветовал Аслан. Он был совершенно уверен, что Фиж ходила с Хасаном и прошла в домик через другой вход. — Вода, как лёд, только что принесена.

— Ты принёс? — И в глазах Фиж, больших, лукавых, блеснули задорные огоньки.

Аслан наслаждался тем, что это он заставил их играть, — эта мысль принесла ему некоторое облегчение.

— Я волу не ношу, — сказал он важным тоном — На такие дела не мастер

— Спасибо. Когда захочу пить, воспользуюсь. Ты очень любезно предлагаешь воду, которую не ты принёс.

Фиж ушла в дом. Аслан и Хасан остались вдвоём.

— Вот ты и шофёр, и парторг, да к тому же в институте учишься, — начал разговор Аслан. — Не трудно?

— Очень даже трудно.

— А почему бы тебе не перевестись?

— Куда?

— Ну, например, в райцентр, на руководящую работу. Тебе расти надо...

— Расти и в колхозе можно.

— Это лозунги...

— Нет, это то, во что я верю вот уже много лет.

Аслан пожал плечами.

— Давай поговорим спокойно, Хасан, без демагогии. Мы много раз спорили, бросали друг другу в лицо тысячи необдуманных слов...

— Я свои слова обдумывал. И отречься от них не собираюсь. Я слышал, что ты написал докладную записку. Много строчек в ней посвящено мне. Очевидно, райком вызовет нас обоих, чтобы разобраться. Ну что же, по мне всегда лучше добрая ссора, чем худой мир.

— Я не хотел бы, чтобы мы простились врагами, Хасан. Если хочешь, я могу забрать докладную записку, переписать...

— Как?

— Ну, кое-что опустить... В части, касающейся тебя. Конечно, если ты тоже согласишься. Не будешь так выпячивать мою роль в истории с этой несчастной машиной. В конце концов, я не знал ещё местных условий...

— Предложение пойти на мировую? — в упор спросил Хасан.

— Называй, как хочешь... Моё желание — не делать вреда кому бы то ни было, тем более своему соотечественнику...

— А правда?

— Что — правда? — не понял Умаров.

— Есть правда, в которую ты веришь душой, сердцем? Как коммунист, как человек, советский человек?

— Ты не имеешь права задавать мне такие вопросы, — с достоинством ответил Умаров

— Что же это за правда, если ты так легко отказываешься от неё, готов подчистить, изменить, переписать, переписать? — говорил Хасан. — Маленькая твоя правда. Нет, на мировую я не пойду. Ты бросил мне много тяжких обвинений, я со своей стороны считаю, что ты вёл неправильную линию, и замазывать всё это не намерен. Сейчас у меня работы по горло, а закончим уборку — я выеду в райком, и пусть партия нас рассудит. Я готов за всё отвечать — и за Якуба, которого мы будто бы тут затравили, и за то, что выгнал из степи самого председателя колхоза, и за плохую работу со старыми кадрами, и за недостаточно почтительное отношение к уполномоченному... Шиков, когда узнает правду, поддерживать тебя не захочет и не сможет.

Аслан подумал и выложил ещё один козырь, который он до этого придерживал в запасе, — поделился с Хасаном новостью, что кто-то написал анонимное заявление. В этом заявлении Хасана обвиняют в том, что он скрыл своё социальное происхождение.

— Я сам видел заявление, — уверял Аслан. — Шиков не поверил, говорит: «Не может быть этого». Он так возмутился! Я советую тебе сейчас же съездить к нему. Он выручит тебя, поможет. Он так и сказал мне: «Пусть, говорит, приезжает, поговорим...» Всё-таки, Хасан, хорош или плох, на твой взгляд, Шиков, но он адыгесц и, конечно, скорее поможет... Ты все на Лаптева ориентируешься, но Лаптев беспощаден, для

него нет своих людей, ему никого не жаль. Ты знаешь, он получил жалобу Галима и недоволен тем, как ты поступил с ним...

— А как я поступил?

— Ну ты сам знаешь! Коммуниста перевёл на рядовую работу — человек был заведующим фермой, а теперь простой табунщик. Разве же можно так?

— Если он коммунист, так ему и закон не писан?

— Не будем спорить, — отмахнулся Аслан. Галим его сейчас не интересовал. — Всё-таки поезжай к Шикову... Верю, от всей души верю, что ты чист, как стёклышко, и не боишься решительно никаких анонимок, а всё-таки лучше заблаговременно всё уладить. Сам знаешь, у каждого из нас, адыгов, столько родни по разным дальним аулам. Конечно, седьмая вода на киселе, но если уж какой-то сукин сын взялся раскапывать прошлое с археологической точностью, то тут без неприятностей не обойтись... Я мог бы тебе помочь, я в райцентре свой человек, знаю все ходы и выходы. За обман партии ведь по головке не погладят!

— Слушай, ты! — Хасан с трудом сдерживался, чтобы не ударить этого человека. — Ты мог бы не прятать голову, как черепаха, а подписать свою анонимку!

— Мерзавец ты после этого! — Аслан побагровел. — Я с тобой по-хорошему, а ты так... Свои обвинения я подписываю, знай это! Мне нечего таиться перед тобой, да! Скажите, какой правильный, какой хороший и принципиальный отыскался! А сам используешь своё положение парт-орга, травящего старого, уважаемого человека только потому, что хочешь силком заполучить его дочь себе...

— Это... это ты о Галиме? — задохнулся от негодования Хасан. — Ну, знаешь...

— О Галиме. О честном Галиме, который предпочёл потерять должность, чем допустить, чтоб жену уводили от живого мужа. Фиж — моя жена, она зарегистрирована со мной законным браком, и я не позволю...

— Ничего, развод не так сложно оформить... Фиж вышла на свою дорогу, и не мешайте ей!

— Ты, что ли, вывел её на дорогу?

— Жизнь вывела.

— Ты же сам обучал её шофёрству!

— Да, обучал.

— А ещё чему обучал?

— Ещё обучал тому, чтобы уметь различать людей, знать им цену...

— Всё одно к одному — обман партии, бытовое разложение, — подытожил Аслан. — Так вот, советую держаться на приличном расстоянии от моей жены. — Он многозначительно подчеркнул последние слова. — В противном случае...

Из домика вышла Фиж. Она мельком бросила взгляд на обоих мужчин, замолчавших при её появлении, зачерпнула кружкой воду и выпила глоток.

— Тёплая. Уже нагрелась. — И она огорчённо выплеснула остаток воды на землю.

## ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

### 1

Хасан как раз собирался уезжать с тока, когда подошёл посыльный и вручил ему записку от Рамазана. В ней сообщалось о том, что Хасан должен немедленно выехать в райком.

— При мне был звонок, ехать надо, — подтвердил посыльный.

— А о чём речь шла? — спросил Хасан.

— Не знаю. Сказано было — срочно.



Через час Хасан был уже в ауле. Он не знал, на чём ему выехать в райцентр. Правда, можно было бы взять мотоцикл у Рамазана, но тот покинул степь обиженный, и теперь, посещая фермы, колхозный огород, принимая людей, при каждом удобном и неудобном случае, о чём бы речь ни шла, не забывал подколоть Хасана, упомянуть про его невозможный характер, неуживчивость. Всё это Рамазан говорил просто для того, чтобы вызвать к себе сочувствие. На самом деле он скучал по своему пафтору, а тот, находясь в возбуждённо-подозрительном состоянии, считал, что Рамазан его и знать не хочет.

Хасан уже собирался выйти на шоссе и проголосовать, когда к нему пришёл сам Рамазан и спросил:

— Едешь, что ли?

— Да,— угрюмо ответил Хасан.

— Скажи, пожалуйста, эта анонимка — она на машинке отпечатана или же от руки написана?

— Не знаю. Технология анонимных писем меня никогда не интересовала...

— Может, узнаешь по почерку? Ты, например, мой почерк хорошо знаешь — я так полагаю...

Они встретились взглядами, посмотрели друг другу в глаза, и как ни тяжело было на душе у Хасана, как ни злился он на целый свет, включая сюда и того же Рамазана, а тут не смог не улыбнуться.

— А может, ты почерк изменил? — сказал Хасан и увидел, как в то же мгновение председатель вдруг преобразился: весь вид его выражал теперь растерянность, исиуг.

— Ты что?.. Серьёзно, что ли?

— А ну тебя!.. — махнул Хасан. — С тобой и пошутить нельзя!

— В другое время я бы понял шутку, но теперь...

— Что — теперь?

— Теперь, когда мы, можно сказать, в ссоре...

— В ссоре? — удивился Хасан.

— Ты же постарался, чтобы я ушёл из степи...

— А, вот ты о чём! Смотрю я на тебя — гигант, богатырь, а рассуждаешь по-ребячьи — поссорились! На годовом отчёте, вот где мы поссоримся! Ну ладно, пошёл я...

— Мотоцикл я смазал и горючим заправил,— торопливо сообщил Рамазан.— Сто километров — и то не страшно, гони! Только поскорее возвращайся — буду ждать!

— Ладно!

— Постой! А деньги есть у тебя?

— Какие деньги?

— Ну, может, в гостинице переночуешь. Мало ли на что понадобится!

Хасан проверил карманы. Всего у него оказалось двадцать семь рублей. Рамазан достал свой бумажник, вынул все деньги.

— Возьми...

— А сколько тут?

— Да ладно, потом подсчитаешь. Не время сейчас.

Мотоцикл с оглушительным треском рванул с места.

Однажды вечером любопытные увидели на улице незнакомого худого старика в чёрной каракулевой шапке, с палкой, на которую он не опирался, а держал за спиной, обхватив её откинутыми назад руками, словно хотел выпрямить свою согнутую спину. Старик шёл не просто так, как ходят все, а выступал. важно и с достоинством. И хотя основ-

ное чувство, которое владело им сейчас, было любопытство, однако он старался не проявлять интереса к окружающему с той целью, чтобы, во-первых, показать, что он не то ещё видел, и, во-вторых, не дать повода жителям этого аула утвердиться в мнении, будто они хоть в чём-то опередили другие селения. Минувя цилиндрический корпус силосной башни, старик не замедлил шаг и даже не взглянул в сторону башни — видимо, такая же в его ауле была с давних пор... Зато, увидев ряды шпал, проложенных от башни к коровнику, он остановился, но ни о чём не спросил, сразу же сообразив, в чём тут дело, и прошёл дальше.

— Кто это? — спросила Дана, увидев старика.

— Гость! — ответила доярка.

— Это тот, что на такси приехал?

— Да.

— А к кому он приехал?

— К Аслану.

— Его отец?

— Нет, дядя.

— А почему он приехал?

— Спроси у Нахдах!..

Старик, осмотрев аул и начатые сооружения, направился домой, к своему бысыму — он остановился у Галима, — и начал расспрашивать Нахдах о наиболее уважаемых, почтенных людях селения.

— Тот старик, который, по слухам, построил отличный зерноочистительный агрегат, кто он?

— Это Мустафа, — объясняла Нахдах. — Он бригадир строительной бригады, сам и плотник и кузнец. Один из наиболее уважаемых...

— Пригласи его, — потребовал гость.

— Хорошо.

— Слышал я о каком-то столетнем Айтече, — не тот ли, у кого сын хирург?

— Тот самый.

— Обязательно пригласи и его, — потребовал гость. — Или нет, сделаем так: пусть Галим, как только приедет с конефермы, сходит со мной к Мустафе, а от него отправимся к Айтечу. Думаю, что в таком случае он не сможет отказаться. Ещё вот о чём хотел спросить тебя. Я недостаточно осведомлён о нравах ваших уважаемых и почтенных стариков. Пустоголовый парень, за которого я хлопочу, ничего мне толком о них не рассказал, — старик имел в виду Аслана, — но дело в том, что... Тут сестра его дала мне кое-что с собой. Водка, что ли... Пьют ваши старики?

— Есть и такие, — отвечала Нахдах, — но Мустафа не пьёт, а что касается Айтеча — всё испортишь, если покажешь ему питьё. Он иногда кружку пива выпьет, не больше. И то хмелеет.

— Плохо, когда не знаешь людей. Кажется, хотел угодить, а чуть всё не испортил. Не знаю, что было бы без тебя. Тебе одной трудно будет приготовить еду. Всё-таки жаль, что наша невестка скрывается от меня. — Старик считал, что Фиж не совсем покинула мужа, а так просто, дурит, и неизменно называл её невесткой.

— Она, как и все, работает в степи, — защищала Нахдах свою дочь. — И потом, ты сам знаешь её характер...

— Да и наш пустоголовый тоже хорош! — воскликнул старик. — Хоть бы раз показался!..

— Он уполномоченный, у него немало забот...

Вскоре в дом пришли старики — семнадцать человек. Гость уступал место каждому из них, но они отказывались от предлагаемого стула и говорили: «Ты наш гость, сиди, сиди, о нас не беспокойся, мы себе место найдём». А после того, как все расселись, начался один из

тех адыгейских разговоров, который не имеет конца: вспоминали то, что произошло сто лет назад, и по-стариковски деловито заглядывали наперёд.

## 3

О многом говорили старики и до обильного угощения, поданного Нахдах, и во время еды, и после, помыв руки и прополоскав рты холодной колодезной водой... Некоторых уже клонило ко сну.

Тогда, улучив удобный момент, разговором завладел гость.

— У нас, у адыгов, — начал он издали, — не принято спрашивать у гостя, из-за чего он приехал и надолго ли. Гость сам должен сказать о своём деле.

— Да, есть такой обычай, — подтвердил Айтеш.

— Я вынужден был побеспокоить вас, — извинился гость.

— Велико ли беспокойство!..

— Должен отметить с радостью — и не потому, что я придаю значение своей голове, а для того, чтобы засвидетельствовать своё уважение к тем, кого я просил прийти сюда, — никто из приглашённых не отказался...

— Далеко ли итти было!

— У каждого из вас свои дела, а я отвлек вас...

— Если не уметь поступиться своими интересами, так что же тогда ты за человек! Тогда ты и вовсе не человек.

— Я заговорил о своём деле не для того, чтобы намекнуть, будто наш вечер на этом завершается. Кому как, а мне пригнана эта встреча и сама по себе, без всякого дела...

— Если гость доволен, мы целиком в его распоряжении, — уверяли старики, подобравшие от хорошего угощения.

— Я считаю так, — продолжал гость, — встреча людей всегда приятна для души... Я приехал из другого аула. Плохой или хороший — не мне судить, мы, его жители, любим свой аул...

— Любовь к родному месту — черта не зазорная.

— Правда, кое в чём вы опередили нас...

— Мы никогда не задавались целью кого-то оставить позади себя...

Просто-напросто действуем в меру своих сил.

— Может быть, перемены эти вы считаете незначительными, не знаю, однако заметил я, что вы крепко взялись за ферму, механизмируете...

— Какая там механизация! Просто приспособляемся к электричеству, которое нам дали в изобилии.

— Электричеством и нас не обидели, жаловаться грех.

Тут началась осторожная перебранка; начали утверждать, что не все колхозы приняли одинаковое участие в прокладке трассы от ГЭС, стало быть...

— Это не значит, что мы требуем, чтобы вы остались без электричества, — заметил Айтеш, глядя в сторону гостя. — Нет. Просто мы напоминаем, что в другой раз, когда начнётся другая общая стройка, надо соблюдать честность.

— Не будем ссориться из-за упущений, которые допускаются теми, кто руководит нами, — решил гость, охотно свалив всю вину на председателей. — Я хочу изложить свою просьбу, если у вас есть охота выслушать меня и помочь... Вы знаете, что одна маленькая женщина из этого аула в прошлом году была выдана замуж. Я говорю о дочери замечательно потрудившейся для нас доброй хозяйки этого дома, где мы сидим с вами. Вы, очевидно, знаете и парня, за которого она была выдана. Я говорю о нём не потому, что он примечателен чем-нибудь, нет! Он один из тех пустоголовых парней, каких много и у вас и у нас...

— Я не для того беру слово, чтобы защищать наших парней,— перебил Мустафа,— нет, конечно, но наши юноши не заставляют нас краснеть и сожалеть об их присутствии на земле... Говори, я перебил тебя.

— Говори,— поддержал Айтеч.— Мы не торопим тебя, это так, но нет ничего странного, если имеющий дело проявит беспокойство о своём деле...

— Наверное, я надоел вам,— продолжал гость,— но пустоголовый, о котором я упоминал, приходится мне как бы вроде племянника, а я, значит, как бы вроде его дядя...

— Говори...

— Говори...

— Мы,— продолжал гость, перейдя на множественное число и выступая теперь от имени своей стороны,— мы не требуем, конечно, чтобы эту маленькую женщину принудили жить с парнем, за которого она выходила замуж. Нет, конечно. Это их дело. Но если видишь недоразумение, цель каждого из нас в том, чтобы навести порядок, а не поддерживать беспорядок. Я не скажу, будто тот дом, куда вошла эта маленькая женщина, оказался лучше того, что она покинула, выходя замуж, я далёк от такой тщеславной мысли. Но, по-моему, нет такого дома, в котором нельзя было бы ужиться. Эта маленькая женщина совсем молодая, многого ещё не понимает. Небольшого ума и он тоже. Я не намерен возвышать одного или чернить другого — я хочу, чтобы вы помогли мне навести порядок в молодой семье, установить мир и благоденствие. Если бы я не рассчитывал на вашу помощь, я бы не приезжал сюда, оставив множество дел в колхозе, где я, как и вы здесь, приношу посильную пользу, которую не намерен преувеличивать. Мы тоже кое-что механизуем, председатель просил меня вернуться поскорее. Я не для похвальбы это говорю, но поскольку я заведующий током...

— Как ваша пшеница? — спросил Мустафа.

— Неплохая,— скромно ответил гость.

— Что-нибудь строите?

— А теперь нет места, где бы не строили...

— Лес где берёте?

— А у нас есть договор с Приморским леспрохозом — мы посылаем туда ежегодно пятнадцать человек и пять подвод, плату берём не деньгами, а лесом.

— Это вы хорошо придумали,— позавидовал Мустафа.

— Не будем отклоняться,— вмешался Айтеч, досадуя на себя за то, что не может вести с гостем вот такого, как Мустафа, делового, обстоятельного разговора.— Мы выслушали просьбу гостя, надо дать наш ответ. Мы должны сделать всё от нас зависящее, чтобы установился мир и благоденствие. Я слышал так, будто Фиж ушла от мужа по своей охоте, по своей воле. Что теперь требуется от нас?

— Чтобы вы поговорили с ней, убедили её, что она делает ошибку, поступая таким образом.

— А что мать говорит? — спросил Айтеч.— Девочка моя! — позвал он Нахдах.— Зайди. Мы хотели бы слышать твоё мнение.

— Моё мнение...— Нахдах считала, что лучше иметь мужа, чем не иметь его.— Я не знаю, право... У меня нет никакой обиды к тому дому

— Не тебя выдавали!— заметил Мустафа.

— Не перебивай! — потребовал Айтеч.— В старину вот так же собирались люди, много прожившие на свете, и решали участь женщины — жить ей с мужем или не жить, суд старейших был. Но так делалось в старину. Я не хочу кривить душой, обижать Фиж или твоего племянника, гость,— нет, для меня все люди есть люди. Я не скажу маленькой Фиж «возвращайся туда», если она того не хочет. И не скажу «не воз-

вращайся», если она хочет вернуться. Возможно, что она погорячилась, — семья не легко создаётся, семья крепнет с годами, и надо, чтобы жена умела кое-что прощать мужу. Надо, чтобы он тоже умел прощать ей...

— Это верно, — обрадованно закивал гость. — Ты выразил то, что и я нышу в сердце...

— Поэтому, — продолжал Айтеч, — навязывать что-то своё нельзя, но и отказать в совете — тоже нельзя.

— Вот именно! — поддержал гость.

— Фиж я знаю, она не вредный человек, она, как воск, — что захочешь, то и вылепишь... Я думаю так: надо поговорить с ней... Мацина, на которой ты приехал, дорого берёт?

— Нельзя же делать дело, ничего не теряя, — важно ответил гость, — мы не богаты, но у нас всегда было и, наверное, будет, если бог даст здоровье, то немного, что требуется для оплаты проезда, — пусть это вас не беспокоит.

— На юношей и девушек я смотрю, как на своих детей, — закончил Айтеч, прощаясь с гостем. — Если они счастливы — и я счастлив, а плохо с кем-нибудь — плохо и мне... Я встречусь с Фиж, а потом с тобой, — обещал он, выводя следом за собой остальных стариков. — Пусть ночь будет покойной!

— И для вас пусть будет она покойной!..

## 4

Нет, ни для кого она не была покойной, эта ночь, хотя выдалась необыкновенно хорошая погода — над аулом простёрлась глубокая синева, пронизанная тысячами малых и больших звёзд, и деревья, распустив мохнатые головы, поблёскивали в лучах лунного света молодыми, туго налитыми плодами. Галим только что вернулся домой; он и Нахдах долго просидели вместе, обсуждая свои дела. Долго не мог уснуть Аслан, ворочаясь на своей койке в бригадном домике. Над головой его противника разражалась гроза. Хасан зашатался; возможно, что его исключат из партии. Теперь, таким образом, самое удачное время, чтобы примириться с Фиж, и если она не окончательно ослепла, то поймёт, за кем следует идти. Не спал в эту ночь и Хасан, встревоженный приездом старика, которого он никогда до этого не видел. Хасан накануне поздно вечером вернулся из райцентра и теперь сидел у раскрытого окна, курил папиросу за папиросой и ждал рассвета: вместе с восходом солнца либо начнётся для Фиж новая жизнь, либо возобновится прежняя. Какое решение примет Фиж? Неужели она такая безвольная и легкомысленная, что даст уговорить себя и уедет опять в дальний аул, чтобы жить затворницей, не видеть людей, не знать радостей труда? А почему, даже если она и согласится, нужно считать её безвольной и легкомысленной? Может быть, она любит Аслана, может быть, их разрыв — одно лишь недоразумение, и сейчас, сожалея о случившемся, Фиж с нетерпением ждёт рассвета, чтобы вернуться в дом любимого? Нет, нет, не должна, не может она любить такого человека. Иначе это была бы не она, не та Фиж, к которой он привык, которую так хорошо узнал за это лето... Весёлая, наивная, чистосердечная Фиж, ты нашла свою тропинку, не оглядывайся же назад и не сожалея о прошлом!..

Кто-то входил во двор. Хасан услышал стук калитки, потом медленные шаги.

— Это я, — объявил Айтеч, переступая порог дома и усаживаясь на единственный стул. — Уже проснулся? Приехал гость... — Айтеч подробно рассказал о всех событиях. — Странный человек он...

— Ты считаешь? — спросил Хасан, хотя и сам был того же мнения.

— Да, странный. Он хочет воскресить ушедшее. То, что отнесли на кладбище, обратно не приносят.

— Но ты же сам обещал поговорить с Фиж.

— Да, обещал. Кто знает? Может, она ушла от него по несправедливой причине — из каприза; если так, почему бы им не помириться?

— Ну что ж, мири, мири! — сказал Хасан. — Может, и помиришь их, а потом сядешь в такси и прокатишься до того аула...

— А твоё мнение какое?

Его мнение? Если бы он мог высказать то, что лишало его сна, не давало покоя; то, почему он с нетерпением ожидал рассвета...

— Ты партийный человек, — напомнил Айтеч.

Хасан взглянул на старика и задумался: в самом деле, что он должен ответить как коммунист, если отбросить всё личное, накопившее и посмотреть на происходящее так, как того требовал Айтеч? И наперекор себе Хасан вынужден был сказать, что да, конечно, надо поговорить с Фиж — передать ей слова дяди, выяснить, как она на это смотрит. Её слово — решающее.

— Я тоже решил поступить вот так же. — Айтеч обрадовался, что его мысли совпадали с мыслями парторга. — Ты прав: я не буду ни отговаривать её, ни уговаривать, а передам всё сказанное гостем, и пусть сама решает...

На этом они расстались.

Айтеч торопился исполнить выпавшее на его долю поручение. Взойдёт солнце, его лучи осветят радость одних и печаль других. Кому это утро принесёт радость? Хасану или Умарову? Айтеч неспроста заходил к Хасану, — старик догадывался кое о чём и хотя вынужденно согласился быть ходатаем от Аслана, но душой был на стороне Хасана. Он знал, в каком положении находится молодой человек, которого оклеветали перед партией, шёл к нему с самыми лучшими чувствами и, если бы Хасан сказал ему: «Отец, помоги мне, я люблю Фиж...»

«Нет, мужчина, адыг, никогда так не скажет! — говорил себе Айтеч. — Я бы тогда разочаровался в нём. Нет, нет! И в горе надо оставаться мужчиной... Ты хорошо поступил, Хасан, и за это я ещё больше уважаю тебя... — рассуждал старик, шагая узким прохладным переулком. — Глупо поступит та женщина, которая откажется от тебя, очень глупо!»

На рассвете Айтеч с попутной телегой отправился в степь, подстерг на дороге машину, передал Фиж слова представителя семьи Умаровых и получил ответ: она оставила мужа, никакого дяди не хочет видеть, всё это ни к чему...

Айтеч встретился с гостем и передал ему слова Фиж.

— Так и сказала, — закончил Айтеч.

— Да, но ты же обещал помочь мне... — упрекнул его гость, ждавший иного исхода. — Неужели ты и другие не имеете авторитета хотя бы настолько, чтобы образумить глупую женщину?

— А почему ты решил, что она глупая? — возмутился Айтеч. — Человек, не имеющий своего принципа в жизни, и сорняк — одно и то же. Фиж имеет свои желания и мечты, за это я уважаю её. А что касается Аслана... Люди у нас не слепые и не глухие, они всё видят, всё примечают. Другие уполномоченные вели себя иначе. Не лаптевский он, твой племянник.

И Айтеч объяснил. За лето даже те, кто когда-то осуждал Фиж, поняли, что женщине, уважающей себя, действительно трудно, невозможно с ним ужиться. Он не считался с народом. Тех, кто стоит ниже его, он вообще ни во что не ставил. У этих, стоящих ниже, он готов был отнять и подушку и матрац чтобы самому помягче спать. Зато всякому, кто стоял выше, от кого зависела его судьба, его благополучие, готов

был отдать последнюю подушку, лить воду на руки, держать стремя. Люди, убирая хлеб, любовались золотым потоком зерна, радовались, видя в этом мощном потоке силу и здоровье народа,— для Аслана уборка была всего-навсего этапом его продвижения, каждая лишняя тонна зерна укрепляла его карьеру, способствовала процветанию рода Умаровых; каждое малое зёрнышко, добытое трудом других, прибавляясь к общей куче, увеличивало тот курган, по которому предстояло ему, Аслану, подняться к высотам славы и благоденствия.

— Значит, ты считаешь... — начал было гость, но Айтеч перебил его:

— Всё ясно, наш гость! Девочка прямо сказала мне: «Я поступила так, как хотела, дедушка, и хотя мне неловко говорить с тобой о таких вещах, но скажу, чтобы ты не перестал уважать и любить меня: Аслана я узнала хорошо и с таким человеком не стану жить».

— Однако...

— Вот и всё, — закончил Айтеч.

Гость собирался предпринять ещё какие-то шаги, но Аслан, явившийся наконец в селение, решительно воспротивился.

— Напрасно ты приехал, — начал упрекать он своего дядю.

— Об этом твоя сестра просила, мать и отец просили. Да и ты, насколько я понял, не возражал.

— Ставишь меня в смешное положение этими старомодными приемами. Пойми: то, что ты делаешь, называется сейчас обидным словом — феодализм. Ты отстал от века.

— Дурак ты после этого! — разозлился старик. — Даже не ты дурак, а я! Поделом мне, поделом! Я бросил все дела, бросил ток, хотел помочь тебе! Ты говоришь, меня называют обидным словом? Если хочешь знать, я ни в ком не встретил здесь неуважения, а вот о тебе рассказывают такое!... Право, можно пожалеть, что породнился с родом Умаровых.

Айтеч, услышав про эту ссору, передал через людей (встречаться старики не находили больше возможным) следующий полезный совет:

— Пусть скорее уезжает, — говорят, за один километр такси берёт два рубля, а час стоячки тоже не дёшево стоит!

— Нечего считать деньги в чужом кармане — передайте этому старику, — ответил гость.

— Подумаешь, чем удивил: на такси приехал! Передайте ему, что в Краснодаре продают «Победы» по шестнадцать тысяч — пусть купит!

— Куплю! — грозился гость.

— Не купит! — отвечал Айтеч. — Я знаю, кто купит: Иван и Пётр — вот кто! — Он имел в виду братьев Маль. — Аминет купит... Саида купит... Братья Пачешховы, если захотят, и пять штук купят! Да, да!

В полдень гость выехал из аула.

## 5

Галим пас коней у дороги и думал о судьбе своей дочери, но мысли его были прерваны сигналами автомобиля. Галим оглянулся. Машина подъехала, вышел Хасан.

— Ну что? — спросил он, идя Галиму навстречу, чуть усмехаясь. — Как идут дела на периферии?

Галим спешился.

— Ничего...

«Такой же, как и всегда, — отметил он про себя. — И не скажешь, что у него неприятности...»

— Привык уже? — задал вопрос Хасан.

— А что мне привыкать? Я человек простой, трудовой. Живу помаленьку.

— Трудовой — это хорошо. Но ты коммунист, Галим. И как коммунист обязан вести и общественную работу на ферме. Помаленьку — это у нас с тобой не пройдёт, нет. И не только на своей ферме, этого мало, ты должен охватить ещё чабанов.

— И что я должен делать?

— Я советовался с Рамазаном, с Мустафой. Мы решили поручить тебе быть агитатором. Утром загляни на ток, подробно поговорим. Вот так.

Хасан отъехал.

Галим задумался. Оказывается, не так просто жить и тут, на периферии. Трудно это, наверное, — быть агитатором, да ещё не только у себя, но и у чабанов. Стоит ли браться за эту работу? Теперь Аслан взял в свои руки его судьбу — может быть, всё вообще изменится в другую сторону?

Галим направил коня к табуну.

На обеих фермах каким-то образом очень скоро узнали, что у них теперь есть свой собственный агитатор, и, к удивлению Галима, авторитет его сразу повысился, хотя он не провёл ещё ни одной беседы. Однажды, собираясь в ночное дежурство, он вышел из домика фермы, чтобы оседлать коня; его остановил Осмэн.

— Я думаю, тебе нельзя ехать в эту ночь. — И Осмэн принялся седлать свою лошадь.

— Почему?

— Завтра беседа. Стало быть, отдохни, подготовься, а я вместо тебя подежурю, мне всё равно, где спать, тут или в степи.

— Нет, нет! — возразил Галим, хотя ему было приятно видеть такое внимание к себе. — Беседа завтра вечером, впереди целый день!

Галим уже выезжал со двора, когда у дороги ему встретился заведующий овцефермой. Он спросил:

— На беседу и чабаны приглашаются?

— Конечно!

— Пришлю! — обещал заведующий.

Беседа, как пояснил Хасан, должна была состоять из вопросов и ответов, причём Галим не должен смущаться, если попадутся вопросы, на которые он не сумеет ответить, — в этом случае вопрос следует записать и передать ему, Хасану, а он постарается дать ответ. Галиму это предисловие не очень-то пришлось по вкусу. Он решил, что Хасан не доверяет его знаниям и, не желая говорить об этом прямо, всё же достаточно ясно намекает. Но, господи, неужели так трудно ответить на вопросы табунщиков, а тем более чабанов? Что, они академии кончали? Ничего подобного — учились всего-навсего на трёхгодичных агрокурсах, тут же в ауле, он их хорошо знал и ясно представлял себе, кто о чём может спросить. Братья Пачешховы, те действительно башковитые, а чабанов он может десять лет подряд обучать наукам, рассказывая всё время новое, о чём они ни разу не слышали!

— Вся беда в том, — предупредил его Осмэн, выслушав однажды эти рассуждения, — что и среди чабанов тоже иногда очень башковитые встречаются. Хотя ты удачно назвал овцеферму периферией (к своей ферме Осмэн это название не относил), но не забывай, что у них имеется приёмник!

— Ну и что?

— Приёмник всё время гудит, они не отходят от него. Слушая умные речи, не становишься глупее.

Вечером, в назначенный час, собрались все. Чабаны приделались, побрились, выкупались в речке, кожа на их лицах блестела. Табунщики тоже не уронили чести своей фермы, они, пожалуй, даже перешеголяли чабанов: откуда-то появился стол, накрытый красной материей, и хотя не было графина, но в углу на табуретке стояло полное ведро воды.



— Без радио всё-таки не то, — произнёс один из представителей овцеводческой фермы, деликатно напоминая табунщикам о богатстве, которым владели чабаны.

— Без радио тоже можно прожить, — заметил его товарищ. — Смотря какие люди и какие вкусы.

— Начнём, товарищи, — предложил Галим и для чего-то достал карманные часы, послушал их, приложив к уху, и положил перед собой. Любил он такие начальственные замашки, кое-что ещё осталось в нём от той жизни, которую он вёл, когда заведовал молочной фермой. Этот жест очень понравился Осмэну, который счёл своим долгом сделать всё от него зависящее, чтобы заставить чабанов обратить внимание на часы.

— Который час? — спросил Осмэн.

— Без двух минут восемь, — ответил Галим.

— Без двух минут восемь? — переспросил заведующий овцефермой. — Тогда мои ведут себя очень странно! Выходит, что они спешат ровно на семь минут! Каждый день сверяю по радио, а они то спешат, то отстают!

— Может, тут под ногами у нас аномалия какая-нибудь? — пошутил молодой чабан. — Вроде Курской...

— Конечно, я не берусь утверждать, что знаю всё на свете, — начал Галим, уверенный, что хотя он и не знает всего на свете, но всё же сумеет с блеском выдержать экзамен тут, на периферии. Возможно, возникнет вопрос, на который не то что я, а даже академик Лысенко не ответит. Если такой вопрос появится, мы его запишем и передадим Хасану, а он найдёт нам ответ. Понадобится, так и в академию обратится!

— Чтоб один человек всё знал — это, конечно, невозможно, — поддержали его. — Если один человек всё знает, тогда другие не нужны!

Спросили, конечно, про шагающий экскаватор, и, хотя Галим не видел его, всё же он знал, что это за машина; он даже назвал её царь-машиной и рассказал слушателям, как она шагает и что такое пневматика. Слушатели были удовлетворены. Больше всего спрашивали про международное положение, что очень обрадовало Галима. В вопросах международной политики Галим всегда был силен.

Заговорил молодой чабан:

— А всё-таки насчёт часов интересно получилось у нас... — Ему, видимо, хотелось напомнить о своей шутке, на которую не обратили тогда должного внимания. — Я сказал: а что если под нашей землёй что-то лежит, вроде Курской аномалии... Курская аномалия — это интереснейшая, скажу я вам, особенность природы. Меня вот занимает, как там разрабатывается эта аномалия?

— Какая тебе аномалия! — рассердился Галим.

— Курская, конечно, — подсказал чабан.

— Ты что-то путаешь, — Галим говорил нравоучительным тоном, — может, ты про Курскую дугу хотел спросить? Могу рассказать.

— Ты мне про Курскую дугу не рассказывай, я сам там воевал! «Тигров» бил! — волновался чабан. — Я познакомился там с лётчиком, сам он наш был, кубанский, из станицы Ново-Мышастовской, так он мне рассказывал: если, говорит, летишь над Курской аномалией, не очень доверяй стрелкам приборов, потому что они отклоняются...

— Если тебе известно даже то, что какие-то мелкие стрелки отклоняются, зачем же задаёшь вопрос? — разозлился Осмэн.

— Так мне хочется знать, как она, аномалия, разрабатывается или нет и что из неё, из аномалии, делают...

Галим молчал. В самом деле, оказывается, чабан не шутит, есть эта самая аномалия. Интересно, что это такое — аномалия? Галим записал на бумажке: спросить у Хасана, что такое аномалия, но тут же зачеркнул —

нет, не будет он спрашивать про аномалию, сам разберётся, книгу прочтёт.

Чабаны, прощаясь с коневодами, поблагодарили их за приятно проведённый вечер, похвалили стол, накрытый красной материей, и воду, которую они пили. Но Осмэн хмурился — всё бы ничего, да вот молодой чабан подвёл своим вопросом. Да, давно пора приёмник иметь свой, давно пора. Как же, раскошелится Рамазан! Надо поговорить с Хасаном.

## ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

### 1

Широко раскинулся колхозный огород. На самом краю, у крутого обрыва, в маленьком доме стоит сильная машина. От неё через стену домика уходит толстая труба и, круто выгнув чёрную железную шею, окунается в воду. В вырезе берега, в котловане, стоит спокойная, чистая вода. Гулко рокочет машина, стучит выхлопная труба над крышей домика, и по длинным трубам, покоящимся на деревянных козлах, бежит речная вода. Перейдя по трубам через дамбу, защищающую огород и селение от паводка, вода выливается в главный оросительный канал и от него растекается по временной сети орошения.

Женщины несут корзины. В них — туго налитые, сочные томаты, большие белоснежные кочаны капусты, баклажаны с синевато-чёрным отливом, коричневые луковицы, петрушка, сельдерей, морковь... Чего только не растёт на колхозной земле!

Иногда на землю ложится большая, стремительно движущаяся тень; она пролетает по грядкам, бежит по речной глади — то с шумом пронеслась птичья стая. Вот она врезалась в правый, отвесный берег реки, птицы рассеялись по гнёздам, выдолбленным в красной скале, нависающей над рекой. Их тысячи тут, птичьих гнёзд, — одно над другим, десятками ярусов расположены они по срезу берега.

— Кшы, кшы, фулиганы! — кричит сторож Айтеч, взмахивая длинными, лёгкими стариковскими руками, от чего издали и он тоже кажется большой, неуклюжей птицей. — Постой! — зовёт он какого-то человека, сразу же отличив его от тех, кто работает на огороде. — Тебе что надо? — Старик приближается и узнаёт одного из ездовых колхоза. — Зачем ты въехал на территорию?

— Как зачем? Выписали помидоры и капусту...

— Кому? — допрашивает Айтеч.

— На общественное питание!

— А ты какие же погрузил? Высший сорт! — возмущается Айтеч. — Сгружай! — Он подходит к подводе, осторожно переворачивает красные плоды. — Да, ты не дурак! Ишь, отобрал! Сейчас же сгружай! И капусту долой и морковь долой!

Однако ездовой никакого внимания не обращает на старика. Проверив; не распустились ли хомуты, собрав вожжи, парень подходит к подводе, становится спиной к борту и, не глядя, точно вскидывает своё тело в повозку, прямо на стёганку, сложенную вдвое и прикрытую мешковиной.

— Я что сказал? — скрипит Айтеч.

Ездовой щёт кнут. Наконец находит, — оказывается, он всё время сидел на нём.

— Накладные я сдал, груз получил, а остальное — не моё дело! — отвечает он, усаживаясь поплотнее. — У нас такие порядки, отец, — уважаем витамины, предпочитаем из всех сортов высший!

— Ну хорошо! — грозит Айтеч. — Ты меня не понял, так я тебя научу! — Опираясь на палку, он тоже влезает на подводу.

— Кататься захотел? — хохочет парень. — Пожалуйста, отец, не жалко!

— Вези к Коробову! — величественно приказывает Айтеч.

Дорога опоясывает владения Айтеча длинной петлей, всё время идёт у подножия дамбы, проходит под трубами. Ещё немного — и пристань. Айтеч подзывает Коробова, и они вдвоём осматривают груз.

— Сгружайте! — говорит Коробов. — Вы погрузили овощи, предназначенные для экспортной перевозки.

— Какой там у вас экспорт! — возмущается ездовой, но добросовестно снимает корзины и думает про себя: «Глупо, что не послушался сразу. А теперь снова ехать! Чёртов старик, он ещё сто лет проживёт!». — А какие же мне брат, Пётр Ильич? Приказ правления... — напоминает он.

— Возьмёте второй сорт.

— Совесть надо иметь! — ворчит Айтеч, провожая ездowego строгим взглядом. — А фулиганить не надо!

Попав на пристань, Айтеч и здесь держит себя по-хозяйски — строго посматривает на работающих, проверяет корзины; нашёл один томат с трещинкой и уже распекает, кого следует.

Пристань, что строил Мустафа, готова. Дошатаый настил прочно покоится на сваях, вбитых в речное песчаное дно. Возле пристани — длинная и широкая баржа. Трюмы её открыты. «Наш подарок стройкам коммунизма» — так написано на барже. Коробов перед погрузкой сам осматривает каждую корзину; если есть трещинка на томате, если кочан капусты помят, он их перекладывает в другие корзины.

Айтеч, шевеля губами, читает надпись на барже. Где-то далеко отсюда тысячи людей и тысячи машин строят великое сооружение из железа и бетона. Это хорошо...

Человек устроен так, что он не может не строить что-то — маленькое или большое. Айтеч всегда ждал строительных новостей. Но в те далёкие годы они ни разу не принесли ни ему, ни его соотечественникам обычной, простой радости. Пошёл слух, что на Новоросий — так называли они Новороссийск — ведут железнодорожную ветку и прорубают в толще горы подземный путь; адыги седлали коней и ездили смотреть. Однажды, когда тоннель вот-вот должны были закончить, в тёмной глубине раздался выстрел. Потом из тоннеля вынесли труп инженера. «Почему он застрелился?» — спрашивали люди.

Тоннель прорубали с двух концов. В определённый день и час строители, идущие с двух сторон, должны были встретиться. Так рассчитал инженер. Он подписал договор с хозяином. День настал, и час пришёл. А встречи не произошло. Хозяин пригрозил инженеру арестом, судом и ссылкой на каторгу. Инженер застрелился. А через пять часов после его смерти строители встретились.

Когда строили дорогу на берегу моря, тысячи людей умирали от малярии. И если Айтеч слышал: там то-то и то-то строят, ему становилось тревожно, он ожидал новой беды.

Но после революции началось другое — всенародное строительство. С тех пор, что ни строили, всё касалось Айтеча, шло ему на пользу, доставляло радость. В ауле построили школу — эту школу окончил его сын. Потом проложили шоссе — по этому шоссе сын уехал учиться на доктора. Да разве перечислишь!

— Что задумался, Айтеч? — спросил Коробов.

Айтеч стоял у края пристани и смотрел в воду.

— Так и жизнь... — задумчиво проговорил старик. — Бежит... Уже погрузили? — спросил он, увидев, что баржа готовится в путь. — Как скоро! С ними поедешь?

— Да, Айтеч, с ними, — ответил Коробов. — И прошу, Айтеч, за всеми делами следи! Ты хозяин!

— Не беспокойся!

Тяжело груженная баржа, буксируемая катером, медленно разворачивалась. Длинный трос, провиснув, касался воды. Но вот катер прибавил ходу, трос натянулся, и баржа пошла посредине реки вниз по течению. Справа шёл высокий красный берег, слева — низкий, в вербах и камышах. Река петляла, бежала на запад, потом, передумав, возвращалась на восток, но твёрдые породы поворачивали её на юг и снова на запад...

Айтеч вернулся к своему шалашу. Вскоре из камышёвого балагана послышался тихий старческий голос. Напевному бормотанию вторил тоненький, комариный звук самодельной адыгейской скрипки, где вместо струн конский волос, натёртый канифолью.

— Моя песня... моя песня... — были первые слова старого сторожа, после чего наступило долгое молчание. Скрипка всё время тоненько голосила, искала никому ещё не известную мелодию.

Я пою о том, что вижу каждый день...  
Этот огород — очень большой,  
всё, что надо, растёт:  
помидоры, морковь, капуста...  
Всё это в пищу идёт...  
Перец вкус придаёт,  
а петрушка здорово пахнет...  
Кто покушает — скажет спасибо  
в Краснодаре, Майкопе, Москве...

## 2

Аслан открыл калитку. Он шёл искать Фиж.

Зная, что Аслан ищет встречи, Фиж не захотела оставаться дома и решила переночевать у Аминет. Фиж знала, что Аминет не станет спрашивать её и пытываться, почему она ушла из дому, — и не ошиблась. Аминет обрадовалась, приготовила ужин и постелила госте в своей комнате, где давно уже, сразу же после отъезда сына, появилась вторая кровать: Аминет часто приглашала к себе то одну, то другую из своих подруг и оставляла на ночь, чтобы не быть одинокой.

— Ложись, — уже несколько раз предлагала Аминет. — Теперь ты можешь отдохнуть, Фиж, поставки выполнены.

— Чует моё сердце: явится ко мне сюда. — Фиж зябко повела плечами. — Я не сказала матери, что переночую у тебя, но он узнает.

— А пусть, — спокойно рассуждала Аминет. — Ложись спать, а гостя я сама приму.

— Хорошо у тебя, Аминет. — Фиж оглядела комнату. — Книг сколько!..

— Остались от Мурата. Но есть и мои. Я так решила: занята не занята, а читать понемногу каждый день. И знаешь, — чем больше вчитываюсь, тем обиднее: годы наши по-глупому прошли, Фиж... Когда он был жив, — Аминет не называла мужа по имени, а говорила «он», — мне казалось: всё для него, всё ему — опора семьи, глава, мужчина... А жизнь иному научила! О, если бы он был теперь рядом, тут, со мной! — вырвалось у Аминет неожиданно для неё самой и для Фиж. — Пойду я, — спохватилась она, — надо посуду вымыть, утром рано — в степь.

— Всё хотела спросить тебя, Аминет... Уже много лет ты одна — тяжело так...

— Тяжело, да, — согласилась Аминет.

— Почему ты не подумаешь о себе, не изменишь свою жизнь?

— Изменить жизнь?

— Ты ещё молода, Аминет.

— Да... Никогда я ещё не была такой молодой, как теперь! Я словно ребёнок, который учится ходить. Степь большая, людей много и машин тоже. Самолёты даже есть! Иногда думаешь: я ли это управляю всеми? Или же мне снится от тщеславия? Но нет — степь настоящая, хорошая, — лучше, чем во сне! И чувствуешь много, много сил в себе, Фиж, словно вернулось девичество!

— Да, это верно. Я хотела спросить о другом... Почему бы тебе не выйти замуж?

Но тут послышались шаги, открылась дверь в мужскую половину дома, пустовавшую со времени отъезда Мурата, и человек спросил:

— Неужели никого нет в этом доме?

Женщины узнали гостя. Аминет пошла встретить его.

— Кажется, побеспокоил тебя, — говорил Аслан, усаживаясь на предложенный стул. — Поздно уже. Не буду делать длинных вступлений, мне необходимо поговорить с Фиж. — Фиж тем временем успела постоять у зеркала, оправить складки на платье, что-то такое неуловимое проделать со своей причёской, словно хотела очаровать того, кто ожидал её. И, когда она вышла к нему и Аслан увидел её тут, в комнате, у стола, покрытого скатертью, а не там, в степи, где она попадалась ему на глаза усталая, запылённая, в комбинезоне, со сбившейся на затылок косынкой, — Фиж показалась ему новой, особенной и не той, какой она была, когда он впервые увидел её девушкой, и не той, какой узнал её, когда она стала его женой. Какие-то перемены произошли в ней за это короткое лето, она окрепла, возмужала, солнце и степной воздух отложили на её лице отпечаток зрелой, установившейся красоты.

И она, в свою очередь, смотрела на него оценивающим взглядом. Да, привлекателен был Аслан, когда она впервые увидела его и, очарованная его красотой, цветом лица, округлыми чёрными бровями и горящим взглядом молодых глаз, подумала с завистью о той, которой суждено назвать его своим... И теперь он был красив, но уже не так, как раньше, хотя прошло немного времени: морщины в углах рта придавали его лицу что-то скорбное, усталость сквозила во всех его чертах. И на мгновение, когда он пригнул голову, чтобы зажечь спичку, и на щёки упала тень, Аслан показался ей старым.

— Мы встречаемся, как незнакомые, — проговорил он, затянувшись и потом выпуская дым аккуратными кольцами.

Она вспомнила: если он волновался, то начинал пускать вот такие кольца и подолгу сидел, наблюдая за ними.

— В этом есть даже что-то приятное. Я вспоминаю нашу первую встречу...

Из кухни донёсся звон посуды. Аслан приободрился — коль скоро хозяйка дома начала готовить угощение, значит можно посидеть, спокойно переговорить обо всём. Он давно готовился к этому разговору, знал, с чего начнёт и чем закончит.

— Из того, что произошло между нами, можно сделать вывод... Пусть не покажется тебе странным, если я скажу, что наша размолвка принесла свою пользу...

Фиж удивилась его словам, но ни о чём не спросила, хотя её так и подмывало заговорить. В её больших чёрных глазах на мгновение загорелись задорные огоньки. Она погасила их.

— Наш разговор только в том случае будет успешным, если он пойдёт по руслу откровенности. — Аслан любил такие сложные и многозначительные фразы. — Когда ты ушла, я на весь мир разозлился, проклинал твоё имя и говорил себе: пускай, пускай, мне же облегчение, мне

же возвращена свобода!.. И долго продолжал я думать в том же плане... А потом разобрался. Да, я ошибся, я не ценил тебя. Вместо того чтобы бывать с тобой почаще, я взвалил на твои плечи всё хозяйство, дом, стариков, а сам бежал. По воскресеньям, приезжая с маслосырзавода, я смотрел на тебя, как на чужую, как на нашу работницу, что ли...

— Очень рада, что ты понял это, — сказала Фиж, хмурясь.

— Да, моя вина, моя вина! Но прошлое — это прошлое, подумаем о нашем будущем... — И он начал рассказывать ей об иной, новой жизни, которая ожидает их, когда она вернётся к нему. — Маслосырзавод мне надоел, я не намерен долго засиживаться в нашем райцентре. Он райцентр, — раздельно, по слогам, произнёс Аслан, — но райского в нём ничего нет. В город, в город! Мы жили вместе, но смею утверждать: ты ещё не знаешь меня...

— Я и сама только что подумала так, — призналась Фиж.

— В город, в город! — восторженно повторял Аслан, прохаживаясь по комнате. — Я не принадлежу к тем ископаемым, которые считают зазорным показываться в театре вместе с женой. Ты не могла этого проверить, у нас не было условий для культурной жизни. Я решил так: пусть мои старики и вся родня живут там, где они родились, — им что, лишь бы быть сытыми. А мы родились в другой век, кроме хлеба и мяса, нам нужны ещё и витамины культуры: асфальтированная улица, магазин «Гастроном», вывески с зеркальными буквами, — он не без самодовольства выговорил эту фразу, которой про себя гордился. — Я знаю всех, кто живёт в городе, — ты будешь задавать тон. Ведь они, городские адыгейки, одеваться ещё не научились, а ты, слава богу... — И совсем уже по-дружески, доверительным тоном добавил: — Я строю дом в городе, пятикомнатный, с ванной, кладовыми, водопроводом. Каркас уже поднят, покрою не дранью, а железом, — достал! И знаешь, это даже хорошо, что ты научилась управлять машиной.

Он рисовал ей заманчивые картины будущего: они купят «Москвич», начнут выезжать по воскресеньям в горы, летом — к морю... И театры и кино — всё к их услугам! Неплохо это: подкатить к театру на собственной машине, раз — затормозить, открыть дверцу... Все думают, сейчас выйдет шофёр, а выходит она, в вечернем платье, в перчатках. «Вот это да, с таким шофёром ему не скучно», — слышатся завистливые голоса.

— Да... — задумчиво проговорила Фиж. — Интересная жизнь будет у тебя.

— Ты можешь разделить её со мной. Это в твоей власти.

Он вёл её по освещённым городам; они вместе пересекали кавказские горы и, удивлённые глубокой синевой воды, останавливались у берегов Рицы, оттуда спускались вниз, на Сухумское шоссе; купались в бассейне на палубе теплохода «Россия»...

— Ты увидишь места, которых не видела и без меня никогда не увидишь! Перед тобой откроется новый мир!

— Год назад я вышла за тебя и без всего этого, Аслан, ни о чём таком не думая, просто так. В каком-то угаре была. А теперь... Отчего ты думаешь, что это для меня всё так ново? — спросила молодая женщина. — Почти каждый год бывала я в пионерских лагерях... И в заповеднике, и на Гузерипле, и там, где река Белая берёт своё начало. А ты не был? Вот где красиво!

Аслан слушал её не столько с интересом, сколько с удивлением: Фиж видела и знала больше! То, о чём он только мечтал, чем надеялся увлечь её, она уже испытала.

— А я и не знал! Мы никогда с тобой об этом не разговаривали!

— А много ли ты вообще со мной разговаривал?

Аслан уже не перебивал её — не она, а он был теперь слушателем.

— Да, я была в этих местах и ещё не раз, наверно, побываю, — сказала Фиж спокойно. — Новый мир, говоришь? Он не всегда открывается тому, кто уехал далеко от дома. Я отвечу тебе откровенно, Аслан, так, чтобы и мне было покойно и чтобы у тебя не оставалось никаких сомнений...

— Именно за этим я и пришёл, Фиж. Я уже кое-какие вещи отвёз туда, в город. Не одному же жить!

— Ты меняешь свою жизнь, но и моя изменилась. Как это назвать, я не знаю, но у меня такое ощущение, словно я долго сидела с закрытыми глазами, а потом открыла их и увидела всё ново — людей, золотое солнце, синюю реку... Я по твоей вине, Аслан, осталась безмужней. В двадцать два года. Почему? Что, война была и мой муж погиб? Что, старость к нему подкралась, пришла смерть? Дом, говоришь, строишь? В городе? Многооконный, пять комнат? Больше мы никогда не встретимся, поэтому скажу... В том доме будет темно для меня и тесно. Душе тесно. А в кабине грузовика — просторно и светло, есть рядом любимый...

Побелевшее лицо Аслана дышало ненавистью. Он задыхался от гнева.

— Из твоих слов я делаю вывод...

— Говори хоть теперь человеческим языком! — не выдержала Фиж. — Ведь мы... прощаемся, Аслан! Когда-то я тебя... — Она прикусила губу. — Тяжело мне, как тяжело!..

— А будет ещё тяжелей! — заговорил Аслан. — Ещё тяжелей! И ты горько покаешься, Фиж! Шофёрская жизнь прельстила? А я тебе скажу: ни руля, ни должности!.. Слышишь? Этот твой... Хасана я сомну, слышишь? Его выгонят из партии в два счёта! В райкоме уже известно, да, что его дядя был помещиком, по пятьдесят восьмой статье осуждён, расстрелян!.. На этой неделе бюро райкома... Рядовым будет завтра этот твой Хасан!

— Рядовым? А ты будешь занимать, конечно, высокий пост?

Аслан что-то хотел сказать, но тут и он и Фиж увидели в дверях Аминет; щёки её горели, наверно, от плиты.

— Хасана ты не трогай, — спокойно, сдержанно прозвучал её голос в наступившей тишине. — И не так бы мне хотелось принимать гостя, но не моя вина. Хасана не трогай... — Аслан искал кепку. — Рядовой, говоришь? Выслушай, Аслан, рядовую женщину. Ты знаешь, кто кормит и одевает мир? Рядовые. А кто войны выигрывает? Рядовые. Откуда герои, генералы? Из рядовых. Постой, не спеши, Аслан! Всё может сделать и всё делает народ, тысячи и миллионы рядовых! Не забывай этого!.. И никогда не мешай любви других — грешно это, надо уметь быть гордым, ведь ты мужчина!..

Аслан шёл к двери. Никто не задерживал его. Но вот он остановился в дверях, обернулся:

— Я заставлю тебя сожалеть об этом и каяться! Скоро ты будешь завидовать Саиде.

— Саиде? — удивилась Аминет. — Как это Саиде?

— А очень просто, — ответил Аслан, в упор глядя на Фиж. — Я увезу её в город!..

— Ну нет! — воскликнула Фиж. — Этому никогда не бывать — слышишь? Никогда!

— А это не твоё дело!

— Нет, моё!

Аслан хлопнул дверью, ушёл...

То, что Якуб выздоровел, не уходя даже из степи и не ложась на лечение, Аминет отнесла за счёт своих пирожков, братья Пачешковы — за счёт «пенициллина». Но сам Якуб поверил в целебность источника, а Хасан считал его первым курортником будущего колхозного санатория и шутя просил Якуба изложить в книге записей свои впечатления.

Якуб и Саида сидели в вагончике. В открытую настежь дверь виднелся спеш Маля и на нём флажок, привезённый из областного центра с надписью: «Лучшему комбайнеру Адыгеи». Высокая награда! Якуб смотрел в ту сторону и сам удивлялся, отчего этот флажок, укреплённый на чужом комбайне, не вызывает в нём ни чувства ревности, ни сомнения в справедливости этой награды. Раньше он обязательно задал бы себе вопрос: а действительно ли Маль убрал за лето так много и качественно, всех опередил, и нет ли тут приписки, ошибки учётчика или бригадира, какого-то блатя? Теперь он ни в чём не подозревал товарища, знал, что это заслуженный успех молодого комбайнера.

— Саида! — позвал Якуб. — Достань-ка бумагу и карандаш. Вон там, у меня на полке. И записывай. Сядь за столик и записывай, а я буду говорить тебе.

Саида послушно присела к столику. Якуб раскрыл свой заветный сундук и начал перечислять свои сокровища. Чего только тут не было, господи! Даже старый немецкий зенитный снаряд!

— Никогда не знаешь, что тебя выручит, — говорил, бывало, Якуб.

Саида никогда раньше не удостоивалась чести заглянуть в эту святая святых, а потому обрадовалась случаю, подседа к Якубу и начала перебирать вещи с таким интересом, словно в сундуке лежало её приданое.

— Этот снаряд, — рассказывал Якуб, — я купил на рынке в Майкопе...

— Как на рынке? — засмеялась Саида. — Хороший товар! Неужели же ты заплатил за него?

— Двадцать рублей...

— Двадцать рублей? За немецкий зенитный снаряд?

— Тогда кусок металла радовал так, словно то был слиток золота. Мы собирали всякую трофейную ерунду. Приехал я на рынок в Майкоп, хотел купить пальто жене. Купил. А потом пошёл по другому ряду. Фуганки, рубанки, стамески и отвёртки, старые замки — всякая всячина продавалась в том ряду. Иду, смотрю и не верю глазам своим: что такое? Снаряд? Подхожу. Да, зенитный немецкий снаряд возвышается над кучей всякого барахла. Старушка сидит. Посмотрела она на меня, а я на неё, и спрашиваю:

— Что, бабушка, снаряд-то...

И боюсь спросить, продаётся ли, — стыдно. Люди засмеять могут.

— А что снаряд... — говорит бабушка. — Снаряд он настоящий, от зенитки.

— От зенитки? — переспрашиваю.

— Да что, — говорит, — креста, что ли, на мне нет, обманываю вас? Батарея ихняя стояла у меня во дворе, на огороде, вытоптали всю морковь. А когда удирали, шестнадцать штук снарядов оставили. Этот последний, — говорит, — берите.

— А сколько стоит? — спрашиваю.

— Да как и другим, — двадцать рубликов.

В жизни не покупал снарядов, а тут купил.

— Однако он так и не пригодился тебе, — заметила Саида.

— Да он ни на что и не годен.

— Но, однако, купил же ты его!

— И ты бы купила.



— Я? — удивилась Саида. — Да что я, с ума сошла!

— Чтобы поставить батарею, немцы снесли хатёнку старушки. Шесть месяцев прожила она в сырой землянке. Единственный её сын погиб на фронте. Я бы купил у неё и десять снарядов, но этот был последний.

Саида пожалела, что смеялась над странной покупкой. Кажется, знаешь человека, хорошо знаешь, а оказывается — нет, не совсем ты его знаешь.

Якуб протянул девушке замочек, тот самый, особенный, с секретом. Саида повертела его в руках.

— Не откроешь? — спросил Якуб. — Дай-ка мне.

И он показал ей, в чём тут тайна. Круглое тело замка было составлено из колец с цифрами; поворачивая кольца, надо было набрать в одну линию цифры 987654321, только тогда он открывался.

— Но невозможно же запомнить столько цифр!

— Ничего нет проще: от девяти вниз до единицы, — объяснил Якуб. — Ну, всё записала?

— Всё.

— Вместе со списком надо все эти детали передать машинно-тракторной станции.

— Но тут многое куплено на твои деньги.

— Да... Для этого я, помню, и курить бросал. Бывало, поеду в город, решаю — надо бы Дане капроновые чулки купить, а потом, как увижу «Автотракторсбыт», думаю — ничего, походит и в простых шёлковых... Ну, не будем вспоминать, — прервал Якуб самого себя. Многое из прошлого ему не хотелось теперь восстанавливать в своей памяти. — Пойдём, посмотрим лучше машину.

Он помог ей сойти по ступенькам, чего никогда не делал, и они пошли рядом, освещённые лучами заходящего августовского солнца, к своему комбайну, немало поработавшему за это лето, заслужившему право на отдых.

## 4

Саида давно ждала этой встречи, чувствовала, что рано или поздно Фиж обязательно заговорит с нею. Но она никак не ожидала, что Фиж начнёт с того, с чего начала теперь.

— Ты получила письмо от Мурата? — спросила Фиж. — Почему не ответила?

Чёрное, вспаханное и заборонованное поле колхоза напоминало море, затихшее перед штормом, с нависшими над ним грозвыми тучами. Вдалеке, на южной стороне хмурого неба, временами светились бледные молнии. Доносился приглушённый, мягкий рокот грома. Дул порывами ветер, он трепал косынку, шевелил юбку Саиды. Фиж была в своём комбинезоне, когда-то нарядном, теперь изрядно выгоревшем за лето.

— Письмо от Мурата? — Саида широко раскрыла глаза. — Никакого письма я не получала!

— Не лги, Саида!

— Фиж!..

— Я знаю, почему ты не ответила, — продолжала Фиж, не обращая внимания на восклицания подруги. — Глупая, наивная девочка, неужели ты не видишь, что он не любит тебя. Не может он полюбить ни тебя, ни другую — полюбить так, как мечтает о том девушка... Такое чувство ему чуждо, он всегда, даже и во сне, думает про свой высокий пост.

— О ком ты говоришь, Фиж?

— Не прикидывайся дурочкой, Саида! Я долго верила, что ты действительно неопытная, наивная и легковёрная девочка. По глупости

верила... Но ты, оказывается, прекрасно умеешь завлечь мужчину, очаровать его скромными, невинными глазками...

— Как ты смеешь, Фиж!

— А ты помолчи! — строго сказала Фиж. — Мы до сих пор были подругами, доверяли друг другу все свои тайны... Сейчас я должна поговорить с тобой самым откровенным образом и решить, что же ты... Я знаю, что Мурат писал тебе, не притворяйся, пожалуйста! А ты не ответила ему... И глубоко ошиблась, Саида. Никто не знает Аслана так, как я его знаю, — всё-таки я была за ним замужем. Со стороны посмотришь — жила я хорошо, в неделю раз он приезжал ко мне, привозил и масло и сыр, подарки мне и другим. Но очень скоро я стала понимать, Саида, что моя жизнь безнадежно испорчена. Не было дня, не было ночи, чтобы он не мечтал, но о чём? О высоких постах. Начинал с райисполкома, а потом, увлекаясь, доходил до министерского поста... «А что, — говорил он мне, — дайте мне аппарат, машину, «ЗИМ» или «ЗИС», секретарей — так, милая моя, писали бы в газетах, передавали бы по радио: «У нашего микрофона министр Умаров... В беседе с нашим корреспондентом министр Умаров заявил...» Сперва я смеялась, думала — шутит человек, но вскоре убедилась: нет, не шутит. И знаешь, что страшно? Чтобы достичь своей цели, он не пожалеет ни отца, ни мать, ни сестру. Продал же он сестру!

— Фиж, ты увлеклась, милая. Не хочу хвалить его, но рисовать из него зверя... Как продал?

— Самым настоящим образом. Как в старину продавали?

— Так то в старину!

— А, в старину! Да, наше государство запретило продавать девушку, запретило выдавать её за нелюбимого... Это так... Калыма нет и в помине. Но люди вроде Аслана способны на всё. Если бы он жил сто лет назад, он взял бы за сестру полтабуна. Но он живёт теперь... Как быть? Заключается сделка: «Я помогу тебе жениться на моей сестре, а ты помоги мне должность получить и продвигай меня дальше, вверх по служебной лестнице...»

— Значит...

— Вот именно: он обменял её на директорский пост, выдав сестру за Исмаила. Только это нельзя доказать. Но я-то была за ним замужем, меня не обманешь. Это продажа!

— Ты пугаешь меня, Фиж...

— Скажи мне, Саида, только так, по-честному... Скажи — ты любишь его? Ладно, ладно, не ври только... А нравится он тебе, хоть чуточку? Качаешь головой, нет? Тогда скажи, почему ты не ответила Мурату на первое письмо?

— Фиж, клянусь тебе... — Слезы навернулись на глазах девушки. — Памятью моего отца клянусь тебе, Фиж... Не получала я... Ни единого словечка не получала.

— Теперь я верю, Саида, верю, милая... Я получила письмо от Мурата... Помнишь? — Конечно, Саида помнила. — В нём говорилось не только о самодеятельности. Поклянись, что не выдашь меня, не признаешься и ему, даже если станешь его женой! Мурат написал мне, но чтобы я никому — ни тебе, ни другим — не говорила об этом. Он спрашивал о тебе, Саида. Просил, чтобы я откровенно написала ему. Может, говорит он, Саида полюбила его, Аслана... Кто-то написал ему, вот что...

— Бог мой! — вырвалось из груди Саиды. Девушка закрыла лицо руками, словно внезапно прямо на неё упал яркий сноп света. — Никогда не думала, что жизнь моя так сложится, Фиж... То ли в школе, то ли дома научили меня, но мне всегда казалось, что так просто это — разобраться в людях, в чувстве... Послушай, Фиж... Передают — не знаю, правда это или нет, — что Аслан сказал на днях такие слова: «А что касается Фиж,

то она в браке со мной, никакого развода я не давал ей, и к осени, как только закончил все работы, она, я думаю, вернётся ко мне... Она кое-что поняла, и, если я ей свистну, она прибежит... Другое дело, говорит, захочу ли я свистнуть...»

— Он свистнет? Вот как... Не даст мне развода? Я сама возьму! И как бы он ещё партбилета не лишился при этом!

— Что ты говоришь, Фиж!

— Я знаю, что я говорю! Я буду бороться за себя, за своё счастье, а если кто помешает — тому не сдобровать! Хватит, прошло то время, когда адыгейка кланялась в ноги мужчине, унижалась перед ним, всё сносила, боялась, что он выгонит её из дому и она на всю жизнь останется обездоленной, лишённой любви! Ты понимаешь... Ты должна понять — ты женщина... Я люблю, Саида... Люблю... Только теперь я начинаю понимать, какое это большое, радостное чувство — любить!.. Мне кажется, скажи он: «переплыви море» — и я, не задумываясь, брошусь в волны... Мне кажется, я бы и на смерть пошла ради него.. Он посмотрит на меня — и радостная волна разливается по сердцу, мне всё легко, мне хорошо... И я бы всё отдала, чтобы не жить в этом ауле, чтобы очутиться с ним где-нибудь в глубине России, где меня не знают, где нет наших стариков и старух, наших старинных обычаев, нашего проклятого прошлого; нет этого вечного опасения — а что скажут люди, как на это посмотрит последняя старуха аульская, которая не завтра, так послезавтра умрёт... Что скажут наши семнадцать глубокоуважаемых стариков... Будь мы далеко-далеко отсюда, где нас не знают, я первая открылась бы ему, встречалась бы с ним на виду у всех, шла бы с ним рука об руку, прижимаясь к его плечу, заглядывая в его глаза... Ну ничего, любовь моя победит, я в это верю! Развода не даст? Вырву, если не даст! Заставлю! Потребую судом! До Верховного Совета дойду, там поймут меня, разберутся! А ты... ты не будь дурочкой... В такого, как Мурат, надо верить! Ты сама виновата в своих страданиях... Помнишь, как мучила себя какой-то большеглазой казачкой? А это Оля Десюненко, Олечка... И любит она не твоего Мурата, дурочка ты этакая, а Маля.

Фиж помолчала, о чём-то подумала и заключила энергично:

— Ну постой, я этому проклятому почтальону усы оборву! Дознаюсь я, куда он задевал письмо Мурата...

— Не надо, Фиж, — попросила Саида.

— Как это — не надо?

— Выслушай меня. Только теперь я поняла, что к чему. До сих пор мне это не приходило в голову. Когда только перебрались мы в поле, то первую почту принёс Аслан... Ещё в тот день от Мурата пришло письмо к матери... Может быть, было и второе, но...

— Аслан? Ты уверена?

— Да. Почтальон отдал ему газеты и все письма, а сам ушёл... Вообще Аслан всегда требовал, чтобы газеты вручали ему... Пер-со-нально ему...

— Подумаешь! — презрительно сказала Фиж. — Газеты читает! Он думает рано или поздно найти себя среди награждённых. Ничего, я разузнаю, в чём тут дело...

— Не надо ничего узнавать, Фиж, милая. В конце концов обернётся дело так, будто мы склоку разводим, клеветаем на уполномоченного. То письмо, что Мурат написал, оно у тебя с собой? — спросила Саида.

— Да, в машине.

— Покажи мне...

— Пойдём...

Они подошли к машинс.

— Не понимаю... — говорила Саида. — Зачем понадобилось Аслану брать моё письмо?

— Не понимаешь? — спросила Фиж. — Да посмотри на себя в зеркало, дуручка, посмотри на свои щёки, глаза; посмотри и, может быть, поймёшь, что он хотел сорвать этот цветочек... От нечего делать, мимоходом... Жизнь гораздо сложнее, чем ты её представляешь себе, Саида, гораздо сложнее. Я-то понимаю, что за философия у этого типа... Он что хотел? Вызвать во мне ревность к тебе: ах, какой он хороший, какой он красавец, а я, глупая, отдаю его такой девчужке, как Саида, не борюсь за него, не страдаю!.. А он хотел двух зайцев убить — и меня к себе вернуть и с тобой погулять...

— Да что ты говоришь!

Фиж достала письмо Мурата и отдала его Саиде.

## 5

Если проследить жизнь аула на протяжении хотя бы одного века, то можно заметить в ней одну странную черту: больше всего люди боялись перемен в своей жизни. Настоящее им никогда не казалось хорошим, но будущее всегда пугало их неопределённостью, неизвестностью. Кто мог сказать, что ждёт человека завтра или через год? Люди, заканчивая свой трудовой день, ложились с мыслями о том, чтобы завтрашний не оказался беднее и безрадостнее прожитого. Человек боялся перемен. Пусть не богата его жизнь — несколько кур, полмешка кукурузной муки, кубышка соли, — но всё-таки и куры, и мука, и соль — вещи реальные, существующие в наличии. А будущее? Что сулит оно? Никому не известно... Судьба человека в руках всевышнего, а пути всевышнего неисповедимы.

Если же спросить, что больше всего радует жителей аула сегодня, можно с уверенностью сказать: перемены. Без них жизнь не представляла бы такого интереса. Перемены больше не страшат человека — он сам их готовит, добывается их и, можно сказать, ради них и живёт. Завтрашний день не кажется теперь чем-то неопределённо угрожающим, будущее имеет ясные, хорошо различимые черты, и каждый знает — если сегодня он живёт лучше, чем год назад, то на будущий год будет жить лучше, чем нынче.

С такими мыслями шёл к себе на огород Пётр Коробов, с такими мыслями встречала утро нового дня и Дана. То, о чём она мечтала, склоняясь над книжками, то, за что сражалась с Галимом, необходимость чего так страстно доказывала Рамазану, начинало в какой-то мере сбываться.

Во дворе, огороженном плетнём, поднялась силосная башня. В райцентр привезли уже аппараты для электродойки, надо было поехать и получить их; Костя, насвистывая, тянул шнур по стенам, навинчивал розетки. Правление приняло решение в следующем году построить большой светлый коровник по типовому проекту. Из артезианской скважины по длинным трубам текла вода. Легче было теперь поддерживать чистоту, легче и веселее — да, именно веселее — стало работать женщинам на ферме.

Раньше девчужка, окончив семилетку, и думать не хотела о ферме, вертела носом. Охота была тащить на себе сено, сгибаться под тяжестью ведер, ходить с ними от колодца по скользким, шатким мосткам и в дождь и в снег. Нет, наш век — век механизации, найдётся в колхозе работа поинтереснее!.. А теперь, прослышав про аппараты, то одна, то другая девушка заговаривала с Даной, как бы между прочим, о том, что она с детства очень любит коров, умеет с ними ладить.

Дана вышла из коровника. Утренний раздой коров заканчивался. Бидоны с тёплым молоком, взвешенные и занесённые в книгу, отправляли

на маслосырзавод. Хорошо... А разве это конец, завершение? Нет, только самое, самое начало.

Сколько было их, перемен в нашей жизни, а всё мало, новых хочется. Будут они, перемены, каждый следующий день будет приносить нам новые радости, новую борьбу, новые большие желания!..

— Я скоро вернусь, — предупредила Дана свою помощницу. — Пусть никто не уходит, сегодня будем возить солому. Схожу к Аминет, она обещала мне дать подводы.

— Ты лучше её не трогай сегодня, — сказала доярка, которая жила по соседству с Аминет. — Она получила телеграмму с заставы. Разве ты не знаешь?

— Что случилось? — испуганно спросила Дана. — Какая телеграмма?

— С Муратом несчастье.

## ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

### 1

Когда Саида вошла к Аминет, в большой комнате сидели, кроме самой хозяйки, Хасан и Рамазан.

— Говорят, ты получила телеграмму... — начала Саида. — Люди хотят знать, Аминет... Что касается меня — я твоя соседка... Если бы у меня было горе, я пришла бы к тебе, как к матери.

— Ничего особенного... — Бледное лицо Аминет было спокойно, строго. — Не беспокойся, иди домой, Саида.

— Зачем ты меня обманываешь? Покажи мне телеграмму.

— Мурат ранен при выполнении задания, — сказал Хасан. — Серьёзно ранен. Была операция...

— Ранен? — переспросила Саида. — Откуда вы узнали? — спрашивала она, забыв про телеграмму. — Почему же... почему Аминет не едет к нему?

— Уже звонили Лаптеву, — объяснил Рамазан. — Он обещал вызвать самолёт.

— Так зачем же время терять? Помогите Аминет собраться. И скажите ему...

Не в силах продолжать, она выбежала в сад и тут дала волю набегавшим слезам.

Дзагашт нашёл Саиду и сел рядом. Он долго молчал, не зная, как утешить её.

— Саида, не надо так, перестань, — просил он. — Ты же адыгейка. Вспомни войну, Саида. Я хочу тебе сказать...

Девушка подняла голову и заплаканными глазами смотрела на Дзагашта.

— Да, я не был таким, как он, это я могу сказать теперь, и мне не стыдно в этом признаться, Саида... Не плачь же! — потребовал он. — Ты не маленькая, нельзя так... Ты должна держаться мужественно, слышишь? Как солдатка!

— Солдатка... — повторила Саида. — Всё лето провела в ожидании чего-то хорошего... И в тревоге... Спасибо тебе, Дзагашт... За это слово спасибо.

Через час самолёт увёз Аминет. Те, кто провожал её, удивлялись: ни слезинки на её лице, ни одного слова жалобы, словно это не с её сыном случилась беда. Она нашла в себе достаточно мужества, чтобы ничем не выдать своих чувств, это мужество красило Аминет, делало её, мать пограничника, строгой, сильной, негибавшей.

Горевал в своём шалаше старейший человек аула. Айтеч узнал, что

вместе с матерью к Мурату вылетел и его сын, врач Ибрагим. Каждый человек, приходивший на огород, приносил ему новые подробности. Все хотели теперь одного — как только Мурату станет получше, привезти его, если можно, в родные места, положить в районную больницу, где главным врачом был сын Айтеча.

Если бы не то, что сын улетел, Айтеч сейчас же отправился бы к нему и объяснил Ибрагиму, как глубоко надеются на него жители родного аула. Нет, должен жить наш пограничник, должен, иначе нельзя!.. И ты не сын мне, если не спасёшь его... Вспомни своё детство, каким ты был... Мы жили очень бедно... Никогда бы не подумал, что ты, мой сын, станешь врачом. Но тебя научили этому ремеслу. А для чего? Чтобы возвращать жизнь... На тебя столько надежд возлагают!.. Ведь ты исцелитель — тот, кто отстраняет смерть и даёт возможность торжествовать жизни.

Айтеч ждал, когда сын вернётся, чтобы встретиться с ним ещё раз и строже, чем все другие, по-отцовски сказать ему одно слово, заключающее в себе все надежды:

— Исцели!

## 2

Ярко горела переносная лампа, освещая лица двоих, склонившихся над автомобильным колесом.

— Чепуха! — воскликнул Хасан. — Сейчас залатаем... Будет время — проложим сюда широкую дорогу, посыплем чистым речным гравием.

— И ты веришь? — спросила Фиж.

— А ты нет?

— Мне тоже хочется увидеть всё, о чём ты говоришь, но когда это будет?

— Скоро, скоро! — обещал он, принимаясь за починку камеры, пробитой острым куском железа. — Я думал, ничья нога тут не ступала, кроме моей, а оказывается — вот, железо валяется... Наверно, осколок в войну залетел.

— А что если я выкупаюсь? Моя помощь не нужна?

— Иди, купайся.

Фиж отошла от машины. Где-то, совсем неподалёку, на каменистом перекате шумела река... Вот густой, высокий лес камыша; вода сразу за камышами, но подойти к ней нет возможности. Не то что дороги — и тропинки нет! И надо же было выбрать да полюбить именно эти места, дикие, неприступные... Но что это? Смелая рука прорубила в камышах просеку, прямую, ровную, и в конце её виднелась вода, освещённая высокими, мерцающими в синем небе, большими звёздами. Его руки трудились тут, в те дорогие редкие минуты, когда он был свободен от ежедневных своих забот... Он проходил вот этой дорогой, твёрдым шагом своим приминая траву, отстраняя руками камыши, колючие кусты тёрна, крепкие побеги ожины... Вот и вода... Да, тёплая, даже горячая... Вокруг шелестели камыши, над ними где-то высоко шумели верхушки вековых деревьев, еле различимые в темноте. Но Фиж не боялась шелеста камышей. Родившись в селении, омываемом двумя реками, малой и большой, она с детства полисбила воду, знала её и охотно доверялась ей. Не пугала её и темнота — сколько раз приходилось совершать на своей машине далёкие ночные рейсы, задерживаться в пути и под дождём искать, какая свеча даёт перебои или где ослаб контакт.

Она присела на берегу, потом опустила ноги в воду, подумала, стоит ли всё-таки купаться, и решила, что стоит. Хорошо плавала Фиж — бесшумно, легко. Она забыла о времени и купалась, пока не услышала призывные гудки машины.

— Иду!

Он, оказывается, подъехал к самым камышам.

Они вышли из камышёвого коридора.

Оба сели рядом. Вдали, во тьме, на высоком станичном берегу, светились огни. Справа — там, где река разливалась вширь, — на островке грел костёр: рыбаки варили уху.

— Как хорошо здесь! — вывалось у неё от души. — И если бы не то...

— Не надо! — запретил он. — Незачем в такую ночь думать о печальном.

— Я рада не думать, но нет покоя... Сколько же ещё ждать?

— Не знаю, я и сам не нахожу себе места... Хорошо, что у нас люди в ауле такие, — никто из них не даёт мне почувствовать того... того, что я, быть может, обманул партию. Я жил до сих пор с чистой совестью... не лгал никому... А теперь... Не знаю, может быть, и был такой человек, — на родине матери я не бывал никогда, и оттуда никто к нам не приезжал. Я и мать не помню — мне было два года, когда она умерла. Отец пережил её на пять лет. Иногда, если я шалил, обижал товарища и не слушался, отец упрекал меня: «Хорошо, что мать твоя умерла. Она покинула этот свет с твёрдой уверенностью, что ты вырастешь, станешь человеком...» Мать!.. Я сам, когда меня обижали, когда мне было трудно, обращался мыслями к ней: она бы защитила меня, не ходил бы я в рваном, нестиранном... Сестра моя, на три года старше меня, рассказывала о матери... Я ходил по ночам на кладбище, не боялся: там лежала мать. Со слов отца знал, что она из бедной семьи. А теперь оказывается, что дядя был помещиком. Этого я не слышал, ни от кого не слышал...

— Аслан говорит, что не видать тебе партбилета, как своих ушей. На Шикова надеется.

— В райкоме есть люди, кроме Шикова. Есть Максим Михайлович...

— Когда же бюро?

— Как только вернётся инструктор, посланный в Приморский район.

— Ночь какая! — воскликнула Фиж. — Там что, эмтеэс?

— Нет, лесопильный завод...

— А там?

— А там эмтеэс...

— Вот как!.. Тебе не кажется, что нам пора домой?

— Нет, не кажется! Со временем эти места изменятся, да, да! Но как бы ни менялась природа, эти места и сама жизнь, я никогда не забуду этой ночи! Тут будут светить огни, шуметь голоса, а для меня... в моей памяти останется вот это — ты и ночь... Я никогда... ты слышишь?..

— Я тебе верю... Верю тебе, как никому... Всё лето думала только о тебе... И боялась: пройдёшь мимо, не взглянешь — страшно мне... Я думала — о другой твои мысли...

— Глупая!..

— Ну что ж, пусть глупая, но так мне казалось...

— Но ты же сама понимаешь... Мы в степи всегда на виду у людей. А мне легко ли было? Я то верил, то терял надежду...

— А теперь веришь?

Бесшумно пролетела ночная птица. В малой речке, что впадала в этом месте в большую, раздался сильный всплеск.

— Как это дорого, если бы ты только знала, что ты пришла ко мне, когда мне было так трудно! В самый трудный час моей жизни...

— Пора возвращаться. — сказала Фиж. — Пойдём...

— А зачем? Укройся. — Он бережно накрыл её шинелью. — Переночуем, а на рассвете выедем.

## 3

С благодарностью в душе думала Аминет о людях, которые посчитались с её желанием и помогли ей перевезти сына в районный госпиталь. У изголовья Мурата дежурили лучшие врачи. Наконец настал день, когда Ибрагим, положив руку на её плечо, сказал: «Радуйтесь, ваш сын вне опасности!». Памятный день...

В госпитале у Аминет был свой халат, она приезжала к сыну через день, имея на то особое разрешение Ибрагима.

Сегодня — её день, скоро она поедет...

Аминет сидела у себя в большой комнате; перед ней на столе лежал лист чистой бумаги, стояла чернильница с ручкой. Не простое это дело — написать заявление о том, что ты хочешь вступить в коммунистическую партию. Всего несколько фраз, так не много слов, но слова эти должны быть особенные, идущие прямо от сердца, широкие, как мир, чистые, как песня.

Её знают в селении, вся её жизнь прошла на виду у людей. Председатель Совета Али обещал поручиться за неё. Мустафа тоже не откажет...

...Каждая мать думает, что выращивает сына себе на радость, но вот сын вырос, и мать видит, что он не только ей принадлежит. Врачи, оберегавшие покой Мурата, наравне с нею, матерью, допускали к нему и других: Хасана, Рамазана, Костю Шубина... Посетил Мурата секретарь райкома ВЛКСМ, пришла к нему незнакомая девушка с хутора, чтобы спросить, не нужна ли раненому кровь.

Все предъявляли на него свои права.

У Аминет появилось не надолго чувство обиды, ревности к другим, но очень скоро ревность сменилась гордостью за сына.

Значит, достигла она своей цели, вырастила из него человека! Ну что же, если и другие тоже предъявляют свои права на него, тем лучше — значит он дорог им, значит никогда не будет Мурат одинок.

Аминет подписала заявление, перечитала его, бережно сложила и спрятала в ящик стола.

Подумав с минуту, она вышла из дома. Было ещё рано. Солнце только что всходило. Но уже издали, приближаясь к дому Мустафы, она увидела, что семья проснулась. Старик хозяйничал по двору, Саида несла в дом охапку дров.

Мустафа открыл калитку, впустил Аминет и тотчас же крикнул своим:

— Гордость ослепила вас, никого уже не замечаете!

— Чем же они гордятся? — спросила Аминет.

— А как же! Уверяют, что ни одна из женщин с фамилией Джолова не поднималась так высоко, как наша!

— Он всё истолковывает по-своему, — объясняла жена Мустафы, встречая соседку. — Я действительно сказала так, увидев внучку на комбайне... Но я имела в виду высоту машины.

— А я к вам с просьбой... — начала Аминет.

— Чего же во дворе стоять? — перебил старик.

Все вошли в дом.

— Только что собиралась к тебе, — рассказывала старуха, обращаясь к Аминет. — Кажется, ты к сыну едешь, а мы тут немножко приготовили ему. Выходит, не только ты с просьбой, но и я...

Она достала из шкафа плетёную корзиночку. — Вот небольшой подарок ему...

— А моя просьба несколько иная, — сказала Аминет. — Сегодня мне некогда ехать к сыну, я пришла просить, не сможет ли Саида съездить, отвезти и ваш дар и то, что я приготовила ему?



Саида боялась, как бы дедушка не предложил свои услуги, — он не посчитает за труд съездить к Мурату. Старые люди мудрее, чем это кажется молодым, — старуха во-время опередила мужа.

— Ничего с ней не случится, если сходит к нему! — заявила она решительным тоном, как будто внучка её отказывалась от такого поручения. — Жить надо не только для себя, а и для людей, для аула... Сделаешь людям добро — добром же ответят...

— Это так, — согласился старик, удивляясь рассудительной мудрости своей старухи.

— Но она что-то помалкивает, — сказала Аминет, взглянув на девушку.

— А я... — Саида замялась. — Я как раз хотела съездить в райцентр. Потому что... Литература поступила для нас, очень важная...

— Ты собирайся, — сказала Аминет, — а насчёт машины я уже договорилась.

Вскоре под окнами раздался сигнал автомобиля. Саида выбежала из дома.

— Ого! — воскликнула Фиж. — Какая нарядная! Это розовое платье отбрасывает на лицо удивительно нежный свет. Тебя следовало бы отвезти на «Победе»...

— А что, Фиж, это было бы очень хорошо!

— На будущий год, может быть, и «Победа» будет...

Саида, сидя в кабине автомобиля, решала задачу: сколько же времени уходит на то, чтобы добраться до районного центра, если автомашина идёт со скоростью пятьдесят километров в час, а километров — одиннадцать? В эту поездку дорога показалась ей необыкновенно длинной. Но вот машина остановилась у ворот госпиталя. Фиж помогла Саиде сойти, подала ей вещи. Она казалась грустной, утомлённой.

— Что с тобой, Фиж? — спросила Саида.

— Сегодня в четыре часа бюро... Будут обсуждать дело Хасана. Ох, Саида, я так волнуюсь!

— Фиж, милая! Дедушка говорит — ни в чём Хасан не виноват. Максим Михайлович справедливый, разберётся.

## 4

Саида вошла во двор больницы. Она удивилась и испугалась, когда ей сказали, что сегодня — неприёмный день.

— Но я же приехала издалека — доказывала Саида.

— Все издалека приезжают, — отвечала девушка в белом халате и белой шапочке. — Есть определённый порядок...

— Будь я на вашем месте, а вы — на моём, — уверяла Саида, — я бы пропустила вас. Есть же выход...

— Какой?

— Сказать ему самому...

— А вы кто будете?

— Из аула. Скажите ему так: Саида...

— Сестра?

— Нет, не сестра...

— А! — Девушка посмотрела на неё с любопытством. — Конечно, обидно, что и говорить, возвращаться ни с чем. Ох, и влетит же мне, если главврач узнает, что пропустила тебя...

Девушка легко взбежала на второй этаж, а через минуту вернулась и поманила за собой Саиду. Саида ещё легче взбежала наверх.

— Только не надолго, — предупредила девушка. — А я пока у дверей подежурю, а то, не дай бог, ещё главврач увидит...

Саида стояла с небольшим чемоданчиком и плетёной из лозы корзиночкой и не знала, что же теперь делать... Но вот он узнал её.

— А я так ждал! — признался он, приподнимая голову.

Саида положила вещи, подошла к нему, остановилась возле койки.

— Присядь, — попросил он.

Она села.

— Мать тоже приехала?

— Нет... — с трудом выговорила Саида. — У неё много дел, она сегодня не смогла...

— Ты пешком пришла?

— Что ты! У нас теперь два шофёра — Фиж получила права...

Он, оказывается, сдвинул подушку, когда повернулся, чтобы увидеть её, а теперь ему было неудобно. Саида поправила ему изголовье.

— Так хорошо?

— Очень...

— Ноги прикрой! — Саида подобрала краешек свисающей простыни, расправила одеяло, подоткнула, чтобы не дуло ему в спину, — она хлопотала над ним, как солдатка, и этим вернула себе спокойствие. Как-то так случилось, что он поднял руку и убрал с её лица прядь волос, провёл пальцами по её щеке... Саида потянулась к нему.

Он обнял её за плечи, и по тому, как они дрожат, понял, что девушка плачет. Стараясь утешить её, он спросил шёпотом:

— Отчего ты плачешь, Саида? Расскажи мне, я же ничего не знаю.

— Знаешь... — ответила она, не поднимая головы. — Знаешь...

— Саида, посмотри на меня. Я готов всё сделать, чтобы ты никогда не плакала...

— Да? — Она подняла голову, вытерла щёки, глаза. — Мурат! — Она посмотрела на него так серьёзно, так пристально, что он смутился под её взглядом. — Ты сказал сейчас дорогие слова. Это правда или просто так, для утешения?

— Конечно, правда! Я не знал только, что ты ответишь мне...

— Глупый! — обрадовалась она. — Но вот что интересно... Теперь мне не стыдно... Мне не стыдно сказать тебе вслух всё, что есть на душе...

— Я хочу тебе сказать, Саида... Что теперь я и ты...

Он недосказал — в палату вошёл главврач Ибрагим. Саида отпрянула от Мурата, далеко отошла от койки.

— Что-то не помню, чтобы я давал разрешение на это посещение, — хмурясь, резко заговорил врач. — Тут тоже есть свой порядок, есть границы, через которые нельзя переходить!

— Это я виновата, а не он... — сказала Саида.

— А тебя кто пропустил? Ты думаешь, от твоего посещения больному стало лучше?

— Да, доктор, мне лучше... — слышался голос самого больного.

— Вот как! — воскликнул Ибрагим, скрывая улыбку. — А ты кто для неё?

— Я... — Мурат затруднялся сказать, кто он для неё. — Мы из одного аула...

— Я дочь Ахмеда Джолова, — сказала Саида.

— Вот оно что... — Теперь Ибрагим посмотрел на неё не так строго. — Почему ты стоишь, Саида? Присядь... — Он взял руку больного. — А тебе, в самом деле, гораздо лучше. Рад, очень рад. Хорошее сердце у тебя, Мурат...

— Это верно, — поддержала Саида.

— Оказывается, и ты это знаешь! — улыбнулся Ибрагим. — А я думал, только мне, врачу, это известно... Ну хорошо, даю вам пять минут, не больше!

И вышел из палаты.

Пять минут!

Он отпускал им пять минут!

Смешной он, врач Ибрагим, сын Айтеча. Кто же будет смотреть на часы? Пять минут отпускал он им — нет, вся жизнь, долгая и радостная, полная высоких помыслов, благородных чувств, принадлежала им, а он говорит: пять минут!

В большой, светлой, залитой солнцем палате назло тем, кто покушался на его молодую жизнь, на его любовь, на его счастье, назло тем, кто день и ночь готовит планы уничтожения таких людей, как Саида и Мурат, на страх и на зависть им раздаются его слова. Они звучат торжественно, как слова из большого человеческого гимна, вечного и всегда радостного:

— Как же не любить мне тебя!

## 5

Когда Ибрагим вернулся в свой кабинет, он застал там Лаптева-старшего.

— Я на минутку,— говорил секретарь райкома.— Только взгляну, как он там, и сейчас же уйду.

— Все так уверяют,— устало возразил Ибрагим.— Что ж, пройдите.

Лаптев вошёл к Мурату. Тот был уже один.

— Здравствуй, Мурат! — Максим Михайлович подошёл к больному, широко ладонью накрыл его руку под простынёй.— На поправку пошло?

— И очень резко, Максим Михайлович. Садитесь.

— Нет, спасибо, я всего лишь на одну минуту. Сегодня у меня бюро, а завтра еду в ваш аул. В наш аул,— поправился он с улыбкой.— Вот буду возвращаться, привезу Аминет к тебе...

— Не надо, Максим Михайлович. У неё так много своих забот. Я не узнаю маму — общественницей стала.

— В партию принимаем!

— В партию? — переспросил Мурат.

— А чего удивляешься?

— Что, это решённое дело?

В тоне Мурата Максим Михайлович уловил не то удивление, не то беспокойство.

— Хасан давно готовит её. Рекомендации она собрала, поручители у неё имеются.

— Кто же они, её поручители?

— Первый, конечно, Мустафа...

— А ещё?

— Али...

— Али? — переспросил Мурат.

— А чего ты удивляешься? Тебе что, не верится, что ли, что её примут? Примут! Твоё дело маленькое — выздоравливай, а эти дела мы сами как-нибудь решим!

— Я выздоравливаю, Максим Михайлович... Мать, значит, в партию вступает... — Мурат подумал немного и, видя, что секретарь райкома собирается уходить, сказал: — Максим Михайлович, я прошу вас присесть и выслушать меня...

Максим Михайлович сел.

— Вы мою маму знаете хорошо,— начал Мурат.— Больше того — это вы её готовили в партию... Как и меня, как и каждого из нас... Это великое счастье для матери и сына — быть рядом. Я не знаю... Трудно мне... — Мурат откинул простыню. — Может, я и неправ... Выслушайте и решайте... Знали вы такого человека — Хашхова Туркубия?

— Хашхова? Что в лесу работал?

— Да.

— Видел его раза два... Кажется, он сидел в тюрьме за участие в похищении девушки. Это ты о нём?

— Да, о нём. Когда Хашхов переводился в Приморский лесхоз, ему понадобились справки. Хвалебную характеристику выдал ему Аслан Умаров. Выдал справку и председатель Совета Али... Моя мать тоже подписала ему справку... Али и моя мать рассуждали так, — я представляю себе это: «Уезжает? И слава богу!» А уезжал он в погранполосу. В общем, Максим Михайлович, обернулось так: когда врагу понадобилось укрытие, он нашёл его у Хашхова... Там, в лесу, у сторожки, ночью меня и ранили... Хашхов арестован. Вот и всё. Я задержал вас и говорю, быть может, о том, что вы и так знаете...

— Ты говоришь как раз о том, о чём мы не должны забывать, но что, к сожалению, если говорить напрямик, часто забываем, — серьёзно отвечал Лаптев. — Враги нас учат, а мы всё никак не научимся помнить, даже и во сне, что нас, советских людей, они ненавидят так же, как и тридцать лет назад. — Лаптев встал, прошёлся по палате, остановился у широкого окна, откуда открывался степной простор, окаймлённый тёмной полосой кубанского правобережья. — Да... Одна справка! Бумажка, подпись... — Он взглянул на напряжённое лицо юноши и стал прощаться:

— Выздоровливай, дорогой, а я пойду...

— Спасибо, Максим Михайлович! А с мамой... — Мурат посмотрел ему в глаза, — ...сами решайте, Максим Михайлович. Я знаю, вы решите правильно...

— Не беспокойся! — Лаптев вышел из палаты.

## 6

Давно следовало Фиж вернуться домой, но, тревожась за Хасана и желая знать, чем закончится бюро, она поставила свою машину в широкой тени, падавшей от акации, около здания райкома, и стала ждать.

Через каждые полчаса молодая женщина, взволнованная и озабоченная, заходила в райком и получала от дежурной один и тот же ответ: «Бюро продолжается...»

Возле здания райкома стояли легковые машины — директора МТС Чеучева, председателя райисполкома Шикова, директора маслосырзавода Умарова и других. Фиж, как и всякий шофёр в районе, знала все машины и по ним представляла себе тех, кто сидел в кабинете Лаптева, где шло бюро... В стороне от машин — три линейки, одна из них пришла из колхоза «Путь к коммунизму», привезла Хасана, Рамазана. Возле плетня стоит на привязи и бьёт землю копытами сильный, неистовый Цитрофен. Фиж знала, почему приехал сюда Галим: отец подавал в своё время заявление против Хасана, в те дни, когда он, сброшенный Цитрофеном, был зол на весь свет и, в частности, на Хасана, который сделал его табунщиком. Но жизнь во многом убедила Галима, и вот он стоял сейчас в коридоре райкома, ждал вызова, готовый сказать честно и открыто, что его заявление было ошибкой.

Время от времени Галим спускался вниз.

— Ты бы ехала домой, — уговаривал он свою дочь. — Зачем тебе ждать... Уже известно, что анонимное заявление — чистейшая клевета, инструктор ездил в Приморский райком и всё выяснил: не дядя Хасана был помещиком, а его однофамилец. Какая подлость! — возмущался Галим. — Анонимщик указал только фамилию, запутал дело, но Лаптева-старшего не обманешь!..

— Ты иди, папа, стой там у двери,— советовала Фиж.— И сразу же заberi своё заявление, заberi, а потом уже разговаривай — понятно?

— Заберу, — отвечал он, пряча глаза. Тяжело было ему сейчас; тяжело, но будет ещё тяжелее, если он не скажет всю правду...

Бюро началось в четыре часа дня, а закончилось в сумерках. Люди выходили из здания райкома разморённые духотой, долгим сидением, с жадностью вдыхали свежий воздух. Фиж стеснялась подойти и спросить, что же решило бюро, но и так, глядя издали, догадывалась она...

Первым показался Чеучев, позвал шофёра, отдал какое-то распоряжение, потом притянул к себе Хасана, крепко потряс его руку, а в заключение хлопнул по плечу. Вышел на крыльцо Максим Михайлович, его окружили, и некоторое время Фиж ничего не могла разглядеть. Но вот Максим Михайлович спустился по ступеням, подошёл к Хасану, что-то сказал ему, протянул папиросу, они прикурили от одной спички, и Фиж чуть не вскрикнула от радости: уж если мужчины прикуривают друг у друга — полный порядок тогда, ура!.. Шиков стоял в стороне, невесёлый, с усталым лицом. А вот и Умаров!.. Аслан сошёл с крыльца с кепкой в руке; он, ни на кого не глядя, вышел со двора, сел в свою машину и уехал. Чеучев посмотрел ему вслед и покачал головой... Но то, как прошло бюро, легче всего можно было узнать по Рамазану, потому что этот богатырь не умел скрывать ни своих огорчений, ни своих радостей.

— Молодец, старик! — громко похвалил он Галима, выходя с ним на улицу. — Запрягай! — крикнул Рамазан своему кучеру. — И гони прямо к чайной! А это что такое? — воскликнул он, узнав колхозный грузовик. — Ты что, сестричка, стоишь тут?

Фиж смутилась, но на душе у неё было так хорошо и Рамазан был в таком весёлом настроении, что она во всём призналась.

— Хорошая жена будет из тебя! — решил Рамазан, выслушав её. — И отец у тебя неплохой — ты верь мне, верь, своих людей я знаю, сестричка, знаю, и я горжусь ими, да, да! Подкатывай-ка свою машину к чайной! — распорядился он. — В жизни не пил в центре, — смеялся Рамазан, — а по такому случаю выпью, не посмотрю ни на Лаптева-старшего, ни на Шикова вашего! Даёшь чайную!

Все направились к чайной, и никто из них не заметил, как, покинув ту же чайную, навстречу прошли по другой стороне улицы семеро крепких, здоровых мужчин. Они срезали угол, сокращая дорогу, перемахнули через ограду (чисто адыгейская привычка: не ходить по улице, а всё через дворы), пересекли двор райкома наискосок и один за другим по ступенькам поднялись в белое здание.

Пустынный коридор несколько смутил их, но вот они увидели надпись на дверях, и старший постучался.

— Можно? — спросил он, приоткрывая дверь и заглядывая в кабинет.

— А! — воскликнул Лаптев, выходя из-за стола навстречу гостю, впервые заявившемуся в райком. — Прощу, прошу! Наконец-то!

— Я не один... — предупредил гость.

— Пусть и он зайдёт!

— Нас не только двое, Максим Михайлович...

— Ну и третий пусть зайдёт!

— А нас всё-таки чуть-чуть больше, ей-богу, — клялся гость, держа в руке неизменный во всех его походах ремённый кнут.

— Всех давай!

Гость на минуту вышел, потом снова появился, ведя за собой братьев. Началась церемония рукопожатия. Потом каждый взял себе стул. И все рядышком, полукругом, присели к лаптевскому столу.

Лаптев радовался гостям, но не знал, чем объяснить их одновременное появление.

— Одну минутку, я сейчас...

Он вышел, но вскоре вернулся, а минуты через две буфетчица внесла на подносе восемь стаканов чаю и восемь бутербродов.

— Не пугайтесь, это лишь черновой набросок,— предупредил он гостей, и, пока они пили чай, особенно приятный на исходе жаркого дня, Лаптев позвонил домой.— Это ты, Катя? Катя, у нас гости будут... — Жену Лаптева звали Кацу, но она одинаково охотно откликнулась на оба имени.— Кто? Когда-то ты была их соседкой, помнишь? Через двор от вашего дома. Молодец, не забыла! Да, да, именно они! Ну, каждому по одной курице это слишком, у нас не птицеферма — их ведь семеро, Катя... Хорошо, хорошо, знаю, знаю! Соус приготовь, чэтлибж, а пиво мы сами принесём! Действуй, милая! — Положив трубку, Максим Михайлович занялся своим стаканом.— Вы по какому делу в райцентре? — спросил он и посмотрел на старшего Пачешхова.

— Столбы для радио возим, из Приморского лесхоза... Аминет не даёт покоя: «Торопитесь, говорит, дороги могут испортиться, осень идёт, так и будем сидеть без радио».

— Это верно,— согласился Лаптев.— Вы знаете, что у нас выставка открылась районная? Не думаете посетить?

— Немножко посмотрели, и неприятно стало на душе...

— Вот как...— удивился Лаптев.

— Очень неприятно,— подтвердил второй брат.

— Каждый что-то выставил,— добавил третий.

— Даже чабаны,— пожаловался четвёртый.

— Индюшек — и тех показывают...

— Индюшки не беда — рыб привезли!..

— И даже коноплю!

— А тыкву ты не видел?

— Так что же вам не понравилось? — удивлялся Лаптев.

— Я,— сказал самый старший.— нашу жизнь понимаю так, Максим Михайлович, если не ошибаюсь... Скажите нам, Максим Михайлович, будут ли при коммунизме ездовые, кнуты, колёсная мазь — всё это? Каждый век, Максим Михайлович, своим отличается... Наш век — это век техники. На индоферме — и то есть техника! А про эмтеэф нечего говорить! Даже пожарник наш — и тот с техникой: шесть штук огнетушителей, насос!..

Максим Михайлович понял, к чему клонится разговор. То, что происходило в каждом селении, в каждом колхозе, затронуло и братьев, коснулось большой семьи Пачешховых.

— Честно говоря, не думаю, чтобы при коммунизме были кнуты, и ездовые, и бестарки, но знаю твёрдо, что и ездовые вместе со всеми строят коммунизм,— сказал Лаптев.

— И мы знаем! — воскликнул старший. — Иначе давно к чёртовой бабушке посжигали бы свои кнуты! Отец сказал нам так: «Ребята, говорит, вы лишнее задумали, вы, гворит, семью рушите»... Но мы не согласны с ним. Наоборот, укрепится она, если трое из нас поедут на курсы. Я уже стар. и он немолодой, он тоже, а вот они,— старший указал на трёх младших — Барбеча, Асланбеча, Джамбеча, — им надо ехать на курсы...

— На какие?

— Мы — транспортники, Максим Михайлович, это наша профессия.

— Значит, на курсы шофёров?

— Я же говорил вам! — радостно воскликнул старший Пачешхов, окинув братьев быстрым взглядом.— Я же говорил вам ещё в лесу: Максим Михайлович сразу поймёт нас!

— Да, хотим быть шофёрами, — подтвердил самый младший из братьев, Асланбеч. По левую руку от него сидел Барбеч, по правую — Джамбеч. — Они скажут то же самое!

— Что же, друзья... — Лаптев раскрыл пачку папирос и предложил гостям. — Не вижу причин, почему бы не осуществиться вашим желаниям. И я помогу от всей души. Вот вы говорили, чем отличается наш век. Да, и техникой. Но я ещё назвал бы наш век веком большой учёбы. Веком мастеров, преобразующих облик земли. И не рушится семья, так и скажите отцу, а крепнет, набирается сил!

Резко зазвонил телефон.

— Да, я... А, это ты, Катя!.. Идём, идём, а как же! — Положив трубку, Максим Михайлович встал и следом за собой повёл семерых гостей.

Братья хотели сказать ему, что они только что в чайной были, но передумали: ничего, переживём и это!..

## ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

### 1

Весть о том, что секретарь райкома не только не отругал его сыновей, а, напротив, обещал им помочь, вскоре дошла до родительского слуха, и старик Пачешхов рано утром, напившись чаю, вышел в селение. Он направлялся в самое оживлённое место, средоточие всех дел и новостей — правление колхоза. Всю дорогу он думал над одной и той же фразой, привезённой сыновьями из районного центра: наш век — век учёбы. Родитель братьев Пачешховых, не особенно доверяя сыновьям, решил сам проверить, так ли надо называть этот век, как называли сыновья.

В правлении было шумно. Пётр Коробов требовал, чтобы вызвали бригадира тракторной бригады и предложили ему направить два трактора на огород. Он собирался весной попробовать сеять томаты прямо в грунт. Рамазан, занимаясь текущими делами, всё время держал перед собой папку с надписью: «Материалы к годовому отчёту». Да, год шёл к концу... Всем этот год жизни принёс немало разных перемен.

Зашёл Хасан, попросил председателя послать всадника на конеферму и сообщить Галиму, что во вторник вечером состоится совещание беседчиков и агитаторов.

Старик решил, что дела Хасана имеют отношение к веку учёбы, но тут же про себя отметил: значит, можно учиться и не выезжая из аула? Тогда непонятно, почему его сыновья — Джамбеч, Асланбеч, Барбеч — решили ехать в город? Мало у них книг в доме? Нет их в колхозной библиотеке, в сельмаге? Карандашей нет, чернил нехватает?

Увидев, что всем не до него, старик решил заглянуть в Совет, к Али. Он добрее, что-нибудь скажет.

Придя к Али, старик, чтобы не выдавать истинной цели своего прихода, начал так:

— Скажи, пожалуйста, Али, как там, нет задолженности по моей семье?

— А ты у секретаря спроси, некогда мне! — ответил Али. Он только что вернулся из райцентра, настроение у него было плохое.

— Мне тоже некогда, — заявил старик. — Ты, конечно, знаешь, какая перемена в нашей семье? Трое — Асланбеч, Джамбеч и Барбеч...

— Ну вот и спроси у младшего! Он же ведаёт у вас всеми документами!

— Так было, но теперь эту часть дел придётся мне взять, потому что трое — Асланбеч, Джамбеч и Барбеч, — как ты сам слышал...

— Ты понимаешь или нет, отец, я занят сейчас вот так! — И Али провёл рукой под самым подбородком. — Сегодня радио заговорит, знаешь об этом? Вы уже купили себе репродуктор?

— Он у нас висит пятый год. И приёмник «Родина» есть! Мы не могли ждать, пока вы, председатели, осчастливите нас...

— Это хорошо, что вы с приёмником, но я о других забочусь!

— Не хвались, ради бога! Всё это Аминет устроила. Хотел бы я знать, что бы вы делали, если бы рядом с нами не было станицы? Радио взяли у них, станичным клубом пользуетесь нашармака; надурницу хотите прожить!

— Мы тоже помогаем станице!

— Чем это?

— Мы разрешили им пользоваться нашим источником...

— Он разрешил! Лаптев и Шиков, а не ты! Благодарите бога, что рядом с вами станица, а то мы превратились бы совсем в диких! А наш век — это век учёбы. Трое — Асланбеч, Джамбеч, Барбеч...

Вошла Аминет. Старик хотел встать и отдать ей свой стул, но она не разрешила ему.

— Ничего, я постою, молодая, — пошутила Аминет.

Да, молодая... Морщины, наложенные на её милое лицо войной, загладились, в глазах струился радостный свет, да и одета она, как молодая: серый шерстяной костюм, белая шёлковая кофта, коричневые туфли на высоких каблуках. Слово из города приехала.

— В новом году в Краснодаре открывается четырёхмесячная школа для председателей колхозов. Надо, чтобы Рамазан поехал, — сказала Аминет.

— Если пошлют...

— А пусть не сидит, а добивается!

Старик тихонько поднялся с места. Сегодня, видно, всем не до него...

— А в той школе нет класса, в котором шофёры будут заниматься? — спросил он у Аминет.

— Нет, — ответила она. — Твои сыновья поедут в другую...

— Да я не о них беспокоюсь! Что касается Барбеча, Асланбеча и Джамбеча, о них сам Лаптев-старший позаботился, — заверил старик, с важным видом покидая Совет.

День был шумный, весёлый; широкими шагами входили в селение белые столбы, высоко поднимая над землёй длинные провода. Линия шла из станицы — от того самого столба, на котором станичный председатель повесил когда-то репродуктор, принесший столько радости девочкам и Айтёчу. Многие парочки ходили к нему слушать песни, и тропа, которая вела сюда, получила имя «Дорога к радио», хотя её можно было бы назвать ещё иначе: «Дорога любви».

По ней шёл сейчас Иван Маль. Он направлялся в станицу, к Ольге, — время, когда они объяснялись в письмах, прошло, настали иные дни. Маль, подойдя к реке, снял ботинки, закатал брюки и пошёл по воде. Над ним гудели провода — какую песню передают они сейчас? Он не знал названия той песни, но глубоко верил, что она о любви...

Али и Аминет вышли вместе из сельсовета. Али искоса поглядывал на праздничное лицо Аминет. Она ещё ничего не знает... А он уже получил своё — ему вписали выговор за справку, выданную Хашхову.

— На следующей неделе мы собирались принять тебя в партию. Но... — Али вздохнул. — Моя рекомендация теперь уже недействительна.

— Почему?

— А ты спроси у Хасана... У Лаптева спроси, он сегодня приедет! — И, не добавив больше ни слова, Али ушёл.



## 2

Центральная улица, которая тянулась от реки и делила селение на две части, укатанная и ровная, блестела, как ремень, смазанный подсолнечным маслом. Звон железа, шум моторов стояли над аулом. Из всех звуков, сливающихся в один своеобразный и по-своему стройный гул, выделялся отчётливый стук четырёх колёс большой бестарки, в которую запряжена была пара лучших коней. Ход этой подводы — медленный, тяжёлый — волновал всех, её рейсы и остановки служили предметом обсуждения. Максим Михайлович, переходя из одной части аула в другую, расспрашивая людей и отвечая на их вопросы, не забывал о большой бестарке, искал в общем хоре её голос, мысленно сопровождал её.

На дворе фермы несколько человек, став цепочкой, передавали из рук в руки кирпичи, а двое укладывали их ровными рядами на ребро. Хасан, открыв капот двигателя, счищал с него пыль. Лаптев среди разговора замолчал, прислушиваясь к чему-то.

Большая бестарка в этот день совершала короткие рейсы — от колхозного амбара до дворов колхозников. Все ворота были нараспашку: или большая бестарка уже побывала, или же вот-вот должна прийти. Бестарка развозила пшеницу, выданную на трудодни. Вот она остановилась. Лаптев не видит бестарки, но по тому, на сколько минут она задержалась во дворе, он безошибочно определяет, чей это двор.

— Что-то долго разгружается, — бросает Лаптев.

Движение в цепи, передача из рук в руки на секунду приостанавливается — люди с разведёнными руками, красными от кирпичной пыли. тоже прислушиваются: нет, не слышно большой бестарки.

— По-моему, — говорит Лаптев, — она во дворе Малей.

— Нет, правее, — возражает Хасан.

Но вот, разгрузившись, большая бестарка вылетела на улицу, и все убедились, что она стояла во дворе Малей.

— Я, брат, слухач неплохой! — радовался Лаптев. — Мали никому не уступят по заработку!

Аул выглядел необычно. Колхозники взяли наконец за благоустройство той части колхозной земли, на которую раньше никогда не обращали внимания, считая её «ничейной» территорией, — я говорю об улицах аула. Сегодня подводы одна за другой проезжали по улицам, высыпали гравий, хворост, кирпичную крошку. Работали все — от самых маленьких до столетнего Айтеча. И за расчистку своих дворов принялись люди. Председатель аулсовета Али раздавал домовладельцам железные номерные знаки, и его главным помощником был старый почтальон — он радовался, что селение будет иметь теперь названия улиц и каждый дом — свой номер. Раньше как получалось? Вместо обратного адреса — просто название селения и фамилия адресата. А теперь, извините, товарищ Маль, будете указывать: улица Комбайнеров, дом № 12, Ивану Анисимовичу Маль... К сожалению, старый почтальон больше не приносил Малью письма от некоего или некой О. Десюненко; в те дни, когда он бился над разгадкой и выпрашивал у людей, какие есть имена на «О», жизнь была, честное слово, интереснее...

— Когда я убрал свой двор, курятник к чёртовой матери отодвинул подальше от дома, сено тоже отнёс на задворки, а себе предоставил весь простор, — ей-ей же мне стало лучше, я всей грудью задышал! — уверял Мустафа. — А когда я замостил часть улицы напротив моего дома, сделал тротуар, — в собственных глазах возвысился! Потому что никто не застрянет на моём тротуаре, дойдёт ко мне человек. А кто ко мне ходит? Все достойные люди: Айтеч, секретарь райкома, председатели,

Хасан... И моя внучка не измажет своих туфельек, а это совсем хорошо! Когда много радостей, хотя бы и небольших, то жизнь украшается ими, значит и работает лучше и дольше на свете проживёшь... Давайте поднимем вот этот столб!

Длинный, белый четырёхгранный столб обхватили сильные руки, Мустафа подал команду, люди подняли столб и положили на плечи.

— Понесли!

— Вот для кого строим! — сказал один из плотников, указывая на школьников, участвовавших в воскреснике.

— Ты так думаешь? — переспросил Мустафа. — Нет, сосед, и для себя строим. Айтеш говорит так: «Сто лет — что это за норма? Советский человек должен перевыполнить её!».

Наступил вечер. Хасан, сославшись на крайнюю необходимость заглянуть домой, побежал к себе. Он жил неподалёку — в ауле вообще всё недалеко: и правление, и Совет, и сельмаг, все жители чувствуют себя соседями.

Вот и домик...

Сколько лет в нём не было хозяйки — с тех пор, как сестра Хасана вышла замуж и уехала. Дом из года в год сдавался в аренду, Хасан оставлял себе только одну комнатку.

Подойдя к калитке, Хасан обрадовался: его дом выглядит не хуже соседних, если не лучше. Под окнами — цветы, от калитки к парадному входу ведёт песчаная дорожка. На длинном шнуре, с подпоркой посредине, стиранное руками его жены бельё. В коридоре пахнет олифой и цинковыми белилами. Но где же сама хозяйка? Верно, на кухне? Я чуть не забыл, что у нас и кухня есть! Интересно: раньше я ел всё, что попадалось, не разбирая, солёное или недосолённое, всё наспех, а теперь, извините, — режим! Не имеешь права уходить, не позавтракав, кто-то запрещает тебе курить натошак, тот же властный, милый голос требует не бросать окурки где попало и стряхивать пепел не под стол, а в гранёную стеклянную пепельницу. Кто-то наливает тебе воду в умывальник, и уже не краснеешь перед людьми из-за недостающей на рубашке пуговицы, к тебе охотнее прежнего заходят твои товарищи, и милые руки накрывают на стол, — приятно, чёрт возьми, чувствовать себя главой семьи, спешить домой, где тебя ждут...

— Фиж! — звал он жену. — Где же ты? Вот где! — Он столкнулся с ней у входа. — Ну как, всё в порядке? Да ты не одна, а и Хорошая хозяйка тут! Добрый день, Хорошая хозяйка! — Нахдах и дочь вносили в дом корзину с помидорами. — Дайте, я сам! — И он отнёс им корзину на кухню. — Значит, будем угощать Лаптева-старшего салатом?

— Пока жива я, Хорошая твоя хозяйка, — серьёзно отвечала Нахдах, — тебе не придётся краснеть перед гостем, пусть он хоть из Кремля, а не то что из райцентра!.. Маринованные помидоры любишь?

— Обожаю!

— Всю зиму будешь иметь! — уверяла Нахдах.

— А Лаптева-старшего чем же угощать будем?

— Ты сперва подумай о том, придёт ли он к нам, — заметила Фиж. — У Максима Михайловича свои законы.

— Это, конечно, верно, — согласился Хасан. — Но вы всё же будьте начеку! А я постараюсь затащить его к нам!

— Старайся.

Хасан вернулся к Максиму Михайловичу. Лаптев беседовал с Якубом: Мишка сидел у отца на руках и блестящими чёрными глазёнками как-то очень осмысленно глядел в лицо секретарю райкома.

— Как только показывается ваша машина, Максим Михайлович, мой сынок машет рукой... Узнаёт, просто удивительно! — уверял Якуб.

— Мишка — парень боевой, — смеялся Лаптев. — Не в отца, а в мать!  
 — Отцовское тоже не отнимешь, — с достоинством заметил Якуб.  
 — Мускулатура у него — да, твоя.

Хасан ждал, когда Якуб перестанет наконец хвалить своего сына, но Лаптев слушал его с удовольствием.

— Вот подожди, пойдут у тебя ребяташки, — сказал он Хасану, когда комбайнер отошёл, — поймёшь тогда, как интересно и о чужих послушать и своими похвалиться. Ну что ж, — Лаптев расправил плечи, — день закончен...

— Да, пора на покой, — сразу же поддержал Хасан, преследуя свои корыстные цели.

Подожёл Абдуллах и стал приглашать Максима Михайловича в гости. Он чувствовал себя на высоте. Во-первых, весной своими руками восставил вышку, а во-вторых, за всё лето не было ни одного пожара в степи и ни один мальчишка не проник через живую изгородь, окружающую колхозный сад.

Хасан весьма неодобрительно смотрел на Абдуллаха:

— Сперва пойдём к нам, посидим, отдохнём, решим...

— И у нас есть на чём сидеть, — не уступал Абдуллах. — А потом к тебе перебазировемся, — предлагал он Хасану. — Мой дом не может, конечно, поспорить с твоим в смысле разных специй, твоя теща в этом недопражаема, но кое-что и у нас найдётся!

— Теща! Фу, как грубо! — засмеялся Лаптев. — Хасан всегда называет Нахдах Хорошей хозяйшкой.

— Мне редко приходится встречаться со своей Хорошей хозяйшкой. Перед тем как жениться, я сказал себе следующее: «Абдуллах, не будь дураком и не бери себе в жёны девушку из своего аула. Одна женщина в доме — это нельзя сказать чтобы хорошо, но необходимо и, во всяком случае, нормально. Но две женщины... Ты этого не вынесешь при твоём слабом здоровье!». Я отъехал за сорок километров и там выбрал себе девушку.

— Хитрый! --- воскликнул Лаптев. — Нет, Абдуллах, увы, у нас сегодня с тобой ничего не получится. Отложим до другого раза. Пошли, Хасан! — И он тут же огорошил довольного Хасана: --- Если хочешь, можешь со мной зайти к Аминет, она тебе тоже будет рада...

Вот оно что!..

Да, Лаптев всегда верен себе, — и как же он, Хасан, не сообразил! Правильно, Максим Михайлович, правильно! Надо к Аминет...

— Вы идите, — сказал он Лаптеву, — а я подойду через несколько минут.

— Добре!

## 3

Она знала, что он придёт к ней, и давно уже было готово всё, чтобы угостить людей.

Как она радовалась, когда на столбе рядом с пожарной вышкой появился серебряный круг репродуктора, как ждала дня, когда над площадью поплывут звуки музыки, — и вот этот день вместо праздничного, радостного, торжественного стал для неё тяжёлым, оскорбительным, чёрным днём. Простое, привычное дело — приготовление угощения — превратилось в такое сложное, словно ей было десять лет и она не знала, что первым опустить в воду: картофель, капусту или же мясо. То ей казалось, что она недосолила, то боялась, как бы не пересолить, печка то гасла, то слишком разгоралась.

— Вот вы где! — услышала Аминет и увидела на пороге кухни его, Максима Михайловича. Он прошёл к печке, опустился на низенькую

скамеечку, взял кочергу, ловко пошуровал ею, подбросил дров. Аминет стояла, как немая: и надо что-то сказать, а что — неизвестно.

— Иначе мы не можем поступить, — заговорил Лаптев. — Рекомендация Али недействительна. Если говорить о формальной стороне, — да, вы не обязаны были указывать, кто такой Хашхов, вы просто подтвердили, что он работал в вашей бригаде девять месяцев. Но что значит — не обязаны? Вы знали, что Хашхов едет в Приморский леспромхоз, в пограничную полосу. Можно принимать вас в партию после такой оплошности, чтобы не сказать резче? Как вы сами на это смотрите?

— Не знаю, Максим Михайлович...

— Должны знать!

— Я не секретарь райкома...

— Не то говорите. — Лаптев, прищурившись, смотрел на огонь. — То, что произошло, должно заставить задуматься всех. В известной мере выстрел в Мурата был подготовлен тут, в ауле.

— Максим Михайлович! — умоляюще произнесла Аминет, бледнея и отстраняясь от него.

— Надо уметь смотреть в глаза суровой правде, как бы она ни была для нас неприятна. И ещё одну вещь скажу вам... При обыске у Хашхова нашли разорванные клочки исписанной бумаги — это оказался черновик того самого анонимного письма, с которым нам столько пришлось повозиться, которое много крови испортило Хасану.

«Да что я, как каменная? — думала Аминет. — Отчего молчу? Надо сейчас же, пока не пришли остальные, сказать, объяснить... чтоб не думал...»

— Вот они где! — Рамазан со свёртком в руках боком протиснулся через узкую дверь. — Где ставить, хозяйка? — обратился он к Аминет. — Вот эту штуку советуют охладить сперва... Само государство предупреждает: — шумел он, доставая бутылку; столичная водка налита была в такое чистое стекло, что бутылка казалась пустой. — Хасан, принеси ведро воды, чтобы была прямо из колодца!

С приходом людей, которые вели себя не как гости, а как хозяева, всё в доме пошло ходуном: круглый обеденный стол из угла вытащили на простор, придвинули стулья, вскоре с какими-то пакетами и свёртками пришли Дана и Фиж...

Что ты сидишь, Аминет? Словно в гостях! Эти люди — самые близкие, родные тебе! Они пришли, понимая твоё состояние. И как они хлопочут — словно в чём-то провинились перед тобой. А на самом деле это ты виновата перед людьми, перед Муратом. Перед Хасаном и Фиж. И перед тем человеком, книгу которого любил Мурат больше всех других. Книга эта кончается словами, которые он не раз при тебе повторял: «Люди, я любил вас, будьте бдительны...»

## 4

— Ты же отлично знаешь, где у меня посуда стоит! — сказала Аминет, увидев, что Фиж ставит на стол простые тарелки. — Сервиз бери!

— Так я же... — Фиж что-то хотела сказать, но так и не закончила, прошла в соседнюю комнату, принесла оттуда другие тарелки. Дана несла огромную чашу.

— Чэтлибж? — поинтересовался Лаптев.

— Чэтлибж! — улыбалась Дана.

— Настоящее адыгейское блюдо! — воскликнул Рамазан.

— А тебе я подам пшеницу в чистом виде! — смеялась Дана. — Ты так любишь её!

— В Кабарде утверждают, что чэтлибж — настоящее кабардинское блюдо, — заметил Хасан.

— Я знаю одно,— вмешался Лаптев,— попытка Майкопского торгового закрепить за собой приоритет в отношении чэтлибж позорно провалилась: в меню майкопских столовых чэтлибж значит, как какое-то мифическое блюдо, потому что никто не видел его в глаза.

— А ведь так просто готовить! — удивлялась Дана. — Курятину обжарил в масле с перцем — и всё!

— У нас что просто, то и сложно.

Гости заняли места.

Рамазан всем налил. Он был необычайно любезен и предупредителен — всё-таки и тут пшеница: хлебное вино!.. Всё из пшенички делается!..

— Честное слово, — признался он вдруг, — никак не ожидал, что дела в моём ауле могут так успешно сдвинуться с места! Даже в воскресники я не верил! А посмотри, пожалуйста, как много изменилось к лучшему!

— Выходит, не всё сводится к копик, — заметил Лаптев. — Смотри, Рамазан, надо не упиваться первыми успехами, а наступать по всем направлениям. По всем, ясно? — Он погрозил ему пальцем. — Я предлагаю тост за скорое выздоровление нашего славного пограничника — многим мы обязаны ему и его товарищам, без них мы не сидели бы за этим столом...

— За твоего сына, Аминет!

— Нет, ты должна выпить с нами. Обязательно!

Перед ней стояла пустая рюмка. Хасан налил ей вина.

— Жаль, Мустафы нет с нами.

— А где он?

— В станице.

— А Якуб, конечно, не пришёл. Сидит с Мишкой. Честное слово, накажу этого домоседа, уведу у него Дану, — басил Рамазан, заставляя Дану краснеть.

— Вы продолжайте, товарищи, а меня извините, мне ехать надо, — предупредил Лаптев. — И вот что... — обратился он к хозяйке. — Мы решили дать тебе, Аминет, партийное поручение...

— Я беспартийная, — тихо промолвила Аминет.

— А поручение партийное, — строго произнёс Лаптев. — Урожай этого года у вас неплохой...

— Сто тридцать восемь пудов с гектара, вкруговую, — напомнил Рамазан.

— Но это не потолок, как говорят в авиации, — продолжал Лаптев. — У ваших соседей, станичников, он выше.

Рамазан стал что-то говорить про почву, но на него зашикали.

— В станице собираются открывать школу мастеров, — продолжал Максим Михайлович. — Я разговаривал с председателем «Красного партизана» товарищем Десюненко. У нас иногда довольно странно получается: Адыгея да Кубань — рядом: переехал через реку — и вся Кубань перед тобой; а опытом работы не делимся, мастерство кубанских колхозников доходит до нас через газеты, узнаём о нём из «Правды». Конечно, можно бы организовать учёбу для вас на месте. Но дорого другое — чтобы вы занимались вместе со станичниками, переняли их опыт...

Хасан пояснил:

— В школу мастеров принимаются окончившие трёхгодичные агрокурсы. Школа будет обучать бригадиров, заведующих фермами, животноводов, будет готовить специалистов. По окончании — диплом, если сдашь экзамены.

— Ты всё это уточнишь в самой станице, — сказал Лаптев Аминет. — Мне обещали для вас семь-восемь мест, а ты постарайся побольше получить.

— Восемь нам мало, — сразу же решила Аминет.

— Приятно слышать, — значит, принимаешь партийное поручение? Аминет подняла глаза на Лаптева, взглянула на Дану, потом на Фиж, на Хасана.

— Кто же отказывается от партийного поручения?

## 5

Они подняли тост, и в это время послышался звон колёс, голоса людей, твёрдый удар копыт — мимо двора шла большая бестарка. И так случилось, что они подняли тост за неё, тост безмолвный, — хотя никто слова не сказал о ней, но яснее слов говорило выражение на их лицах, когда они слушали голос большой бестарки.

— Хо-ро-шо! — сказал Рамазан.

Они шутили, радовались, а того не знали, что мимо их окон уже несколько раз проходил Мустафа, вернувшийся из станицы. То, что его не пригласили на вечер, оскорбило старика. Больше всего он обижался на Лаптева-старшего. «Конечно, — рассуждал Мустафа, во второй раз пересекая полосу света, падавшую из окон, — Аминет могла и не сообразить... Может быть, ей и некогда было, она одна в доме... Поскольку я, слава богу, мужчина, она и считала, что пригласить меня должен мужчина, а из них никто не догадался. Разве Рамазан встанет с места? Ни за что!.. — Так постепенно подбирался он к Лаптеву-старшему. — На Хасана не буду обижаться: целый день работал, устал... А Лаптеву-старшему немножко должно быть стыдно! Впрочем, что я, в самом деле, напряшиваюсь! Пойду лучше домой!..»

Но и дома не повезло: Саида ушла к себе, села за стол, раскрыла тетрадь, никого и ничего не слышит, пишет письмо. Когда он вошёл к ней, она испугалась, прикрыла ладонью написанное. Что случилось? Почему всё избегают его, прячутся? Не нужен стал...

— Я, кажется, помешал тебе, — произнёс он таким голосом, который говорил: «Смотри, какой я несчастный и жалкий!..» — Если помешал, я уйду, — сказал он. — Мне только бы книгу найти...

— Какую? — Саида встала, подошла к полке. — Какую тебе?

— Да вот... Дай мне ту... Что вчера купил...

— В синем переплётё? «Счастье»?

— Да, счастье! — громко сказал Мустафа и ушёл с книгой... А Саида снова взялась за перо.

Товарищи отстранили его от себя, внучка пишет Мурату и прячет от него строчки — это и есть его счастье. Книга мне понадобилась! Мне нужен живой человеческий разговор, немного участия, вот что! А она говорит счастье... Несчастье! — так надо назвать этот вечер в моей жизни!

У ворот остановилась машина. Саида выскочила на улицу. Ах, это Лаптев-старший! Дедушка уже встретил его...

Увидев внучку, Мустафа сказал ей:

— Иди в дом, у нас разговор важный.

Саида ушла.

— Аминет хотела пригласить тебя, но ей сказали, что ты в станице... Мы все сожалели, что тебя не было с нами. — Лаптев присел на ступеньки. — Что же, старик, жизнь идёт, идёт своим шагом. Мы стареем, а дети наши подрастают. Хочешь, сообщу одну новость? Похоже, что скоро Мурат заберёт у тебя Саиду. Следовало бы взять с тебя плату за радость, если хочешь знать.

— Ты такой человек, Максим, — отвечал Мустафа, — не приезжаешь с плохими вестями. Я не только о себе говорю. Иногда так: если едет начальство — получай выговор! А ты не сыплешь выговоры, ты приезжаешь помочь, порадовать...

— Ну, ты захваливаешь меня, дорогой! А к выговорам у меня такое отношение, Мустафа,— если райком вписал его коммунисту мсего района, значит вписали под копирку и лично мне...

— Не зайдёшь?

— Нет, я тороплюсь. Завидую, что у тебя в доме скоро свадьба будет... Ничего, мои тоже подрастут! Всего доброго, Мустафа!

— Жене привет передай!

— Спасибо!

Машина отъехала. Мустафа долго смотрел ей вслед. Что, собственно говоря, произошло? Приехал человек, побыл день или там два, а то и несколько часов — бывает всяко,— он не вспахал нам и не засеял ни одного гектара земли, не рубил дров, не пилил досок. Отчего же после него всегда так хорошо на сердце, глаза смотрят лучше, им открывается простор?

Бросая в ночь два луча, машина скрылась за садом. Мустафа вернулся в дом, прошёл к Саиде. Подойдя к ней, он протянул большую, сильную руку, ладонью прикоснулся к волосам девушки. Она встала, подошла к нему и уткнулась головой в тёплую дедушкину грудь. Редко он ласкал её, хотя никто и не любил её так, как он.

— Глупая ты... очень глупая... маленькая ты...— шептал он, обняв её.— Хорошо же, хорошо... Только уже поздно, легла бы спать, глупенькая... Глаза заболят от лампы...

— Так она же электрическая! — сказала Саида.

— А! — вспомнил он.— Вот что! А я и забыл... А всё-таки, ложись спать, я прошу тебя...

Остаться дома Мустафа уже не мог, его тянуло к людям, в селение. Он вышел на улицу, постоял у ворот и пошёл дальше, в глубь аула. На площади, перед колхозным садом, у подножия вышки на траве сидели люди.

Сел и Мустафа. Совсем близко раздался стук колёс, храп лошадей — через площадь, мимо вышки, шла большая бестарка.



---

## СОВРЕМЕННЫЕ ИТАЛЬЯНСКИЕ НОВЕЛЛЫ

Авторы публикуемых ниже новелл — известные прогрессивные писатели Италии. Амедео Уголини — мастер коротких рассказов, часто печатающихся в «Унита». Либерио Биджаретти — писатель старшего поколения, романист, активный деятель Национального синдиката итальянских писателей. Феличе Киланти уже знаком советскому читателю как талантливый очеркист, смело разоблачающий в своей публицистике реакционную политику правителей Италии. Доменико Реа — молодой неаполитанский писатель, получивший в 1951 году высшую литературную премию «Виареджо» за сборник рассказов о тяжёлой доле бедняков Неаполя. Рената Вигано — автор романа «Тосаричч Аньезе», высоко оценённого итальянской прогрессивной общественностью и знаемого уже советскому читателю.

АМЕДЕО УГОЛИНИ

★

### МЫ НЕ УЙДЕМ ОТСЮДА

**З**а невысокой изгородью простиралось поле — огромное, бесплодное. Далеко за поворотом дороги свежий утренний ветер трепал ветви деревьев.

Крестьяне долго стояли молча. Наконец кто-то сказал:

— Идём!

Люди перемахнули канаву у обочины дороги и двинулись по полю. Сначала они шли медленно, нерешительно, с каждым шагом постепенно побеждая в себе издавна укоренившийся страх, потом побежали — побежали напрямик, словно охваченные неодолимым желанием оживить своим быстрым движением эту бесплодную землю. Они остановились далеко в глубине поля, и в воздухе вдруг сразу засверкали мотыги и лопаты.

— Боже милостивый, никогда бы не поверила, что это сбудется, — проговорила одна из старух.

— Сбылось, потому что поднялись сообща, — ответил Джузеппе. — А пока не взялись все вместе, так и подыхали с голоду...

Антонио покачал головой.

— Нам это так просто не сойдёт.

— Но ведь у нас нет земли, — сказал Джузеппе твёрдо. — Помещик не обрабатывает этот участок уж какой год... На нём давно ничего не растёт. А для нас земля — хлеб, жизнь...

— Верно, верно, — подтвердила старуха. — Сколько я помню, это поле всегда было таким. И кто бы подумал, что наступит день и мы придём сюда...

Из года в год эта земля оставалась невозделанной, бесплодной. Девушки, возвращаясь поздно ночью с деревенского праздника, делали большой крик, чтобы не проходить мимо этого заброшенного поля.

— Нас отсюда выгонят, — стоял на своём Антонио. — Ведь земля не наша.

Он бросил работать и беспокойно смотрел на дорогу. Джузеппе пожал плечами.



— Они пока ничего не знают. Если б они знали, то давно бы уже были тут. Они не допустили бы нас на поле. Теперь, если и спохватятся, то мы уж тут славно поработаем, и им будет трудно выгнать нас отсюда.

— Трудно? Почему трудно?

— Да ведь мы поднимем всю целину!

Однако, сказав это, Джузеппе призадумался.

— Неужели же бедняки не имеют права запахать брошенную землю? — снова начал он после долгой паузы, в течение которой энергично работал лопатой. — Нет! Когда мы вскопаем это поле, мы отсюда не уйдём, — решительно заключил он.

Ветерок легко пробегал по редкой, высушенной траве. Облака, с утра закрывавшие небо, рассеялись, и ярко светило солнце.

Крестьяне работали напряжённо и сосредоточенно, словно торопясь как можно скорее кончить дело. Только Антонио не прикасался больше к лопате. Он шагал взад и вперёд, поглядывая на дорогу. Временами он засовывал руки за пояс, его худые плечи поднимались тогда, и казалось, что он зябко жмётся.

Потом он вышел на дорогу и направился к повороту. Старик Джероламо посмотрел ему вслед и зашагал по тропинке наперерез. Джероламо шёл не спеша, но скоро поравнялся с Антонио, и некоторое время они шагали рядом, ничего не говоря друг другу.

— Ты не хочешь работать? — вдруг спросил его Джероламо.

— Всё это не кончится добром... У меня двое детей, и жена скоро должна родить третьего. Как прожить с семьёй, если работаешь в году всего три-четыре месяца?

— Да, невозможно. Но теперь с этой землёй...

— Не верю я в эту землю. Мне обещают постоянную работу в поместье. На конюшне. Ты понимаешь, что значит постоянная работа для того, кому надо кормить семью?

Джероламо нёс на плече лопату. Ладони у него были широкие, тёмные, как земля.

— Эх, дорогое я время теряю! — сказал он. — Но всё-таки я хочу тебе сказать...

Антонио схватил его за руку.

— Всё это плохо кончится, — заговорил он с каким-то отчаянием в голосе. — Неужели ты не понимаешь? Ведь невозможно, чтобы хозяин так оставил это дело и ничего не предпринял.

— Но мы уже целый час работаем...

Джероламо повернулся, чтобы уйти, но Антонио снова схватил его за руку и заставил остановиться.

— Разве ты не видишь, что нет Коста?

— Где же он?

— Они знали, что он всему нашему делу голова, и арестовали его. Так арестовали, что никто и не заметил. Он очень рано встал и вышел на улицу. Тут они его и забрали. В ловушку он попал. А сейчас они следят за нами.

Антонио снова пугливо посмотрел на пустынную дорогу.

— Они следят, — повторил он. — Это всё ловушка. Они знали, что на заре мы пойдём занимать землю. Они ушли и увели с собой Коста, но сейчас они должны быть где-то здесь...

Антонио наклонился к старику и зашептал дрожащим голосом:

— Они знали. Это я их предупредил. Они мне обещали постоянную работу на конюшне. Но я не хотел никому делать зла. Я думал, что всё равно у нас ничего не выйдет, потому и предупредил их. Но теперь я боюсь. Что они замышляют?

Джероламо шагал молча, словно ничего не слыша.

Они миновали поворот; отсюда далеко вокруг виднелись поля и поля. Стало жарко. В неподвижном воздухе повисла дымка марева.

Джероламо заговорил; не поднимая головы:

— Мы тут все бедняки. У многих из нас детей больше, чем у тебя. Зачем ты рассказал им о нашем решении? Ты сделал большое зло.

Не дожидаясь ответа, он повернулся, перепрыгнул канаву и пошёл напрямик через поле к работающим.

Антонио опустил на землю. Он долго неподвижно сидел у дороги.

Солнце жгло. Листья деревьев поседели от пыли. Там, далеко в поле, люди работали, не разгибая спины. Старуха принесла им ведро воды напиться.

Вдруг на повороте дороги показались полицейские в сопровождении управляющего. Их было человек десять. Они шли плотной группой, держась близко друг к другу, с винтовками на изготовку.

— Они идут! — закричал Антонио. — Слышите, идут!

И он отчаянно замахал руками.

Крестьяне продолжали работать.

Управляющий спрыгнул в канаву и приложил винтовку к плечу. Антонио бросился к нему.

— Что ты хочешь делать? Люди работают!

— Пошёл вон, — буркнул управляющий. — У нас с тобой условие ясное: место получишь. А теперь убирайся.

Но Антонио кинулся на него, пытаясь вырвать винтовку.

Управляющий отскочил назад. Раздался выстрел.

Крестьяне даже не подняли головы. Попржежнему их лопаты откидывали тяжёлые комья земли.

— Ну, одного уложили, — сказал унтер-офицер. — Он, видно, на страже стоял. Пошлём пока за подкреплением — нас слишком мало. Может быть, удастся ночью занять поле, когда они уйдут.

И цепочка полицейских, крадучись, скрылась за изгородью.

Солнце наконец село, описав на небе свою длинную дугу. Крестьяне перестали работать только с наступлением темноты. Но они не ушли с поля; они расположились здесь, на этой вспаханной ими земле, и негромко запели песню.

По ту сторону дороги чернели неясные очертания деревьев, дальше — колокольня; поле, огромное и молчаливое, терялось в темноте.

Глубокой ночью вдруг раздался крик. Кто-то бежал от поворота и кричал:

— Они убили Антонио! Он лежит в канаве!

Несколько фигур метнулись к дороге. После долгого молчания послышалось причитание старухи:

— Он мёртв, бедный мальчик! О горе, он мёртв!

Тогда раздался звучный голос Джероламо:

— Антонио не был шпионом. Он погиб и спас жизнь кому-то из нас. Он был такой же крестьянин, как и мы. Он остался здесь. И мы не уйдём отсюда.

## ПОНЯТНО БЕЗ СЛОВ

Франческо молчал. В последнее время, когда его обуревали слишком гажкие мысли, он не разговаривал целыми часами. Он бесцельно бродил по комнате, заходил в кухню, возвращался обратно...

Двое старших сыновей были в школе; самый маленький выпил молока и теперь, сидя на стульчике, с любопытством разглядывал клеёнку на столе. Сегодня с утра он ни разу не заплакал.

Наконец жена сказала, взглянув на Франческо:

— Ну, как же?

Но ответа она не ждала и отвела взгляд. Франческо сделал несколько шагов.

— Мне сегодня должны дать ответ в одном месте. Скоро. После полудня. Я сейчас пойду.

Жена промолчала, словно не слышала, и Франческо вышел. Спустившись по лестнице, он зашагал по тротуару, держась близко к стенам домов. Анна, конечно, стоит сейчас у окна в кухне, чтобы увидеть, как он будет переходить улицу, и, наверное, ждёт, что он помашет ей рукой, как раньше. Но он продолжал идти, не оборачиваясь и не переходя на другую сторону.

Вот уже два месяца каждый день жена молча поджидала его у окна. Но она ни о чём не спрашивала. Ответ его был бы всегда один и тот же. К чему было повторять ей то, что говорили ему: «К сожалению, работы нет. У нас всё переполнено».

Но сегодня не от кого было ожидать и такого ответа. Всюду его ждало только молчание, такое же, как и дома.

На узкую улицу, зажатую старыми, обветшалыми домами, попадало мало солнца. Люди жили здесь в сырой, промозглой тени.

Франческо шёл наудачу. Вскоре он очутился на широкой улице, обсаженной деревьями. В конце её, перед строящимся домом, виднелась толпа.

Какая-то старуха сказала, проходя мимо Франческо:

— Говорят, будто этот несчастный был сам виноват...

На углу несколько человек ждали трамвая.

— Демонстрация, — сказал один из них. — Этот народ во всякое время норовит устроить демонстрацию.

Он недовольно покачал головой и уткнулся в газету.

Дом был высокий, весь в лесах. Мимо него трамваи не проходили. Там был квартал богачей, с широкой мостовой, чистыми тротуарами.

Какой-то человек отделился от толпы и подошёл к трамвайной остановке. Он был красный от возбуждения и размахивал руками.

— Что там случилось? — спросил Франческо.

Человек сердито повернулся.

— Если бы землетрясение случилось, они и тут нашли бы, на кого свалить вину, — почти прокричал он.

Толпа у дома молчала. Вот показались носилки, их внесли в машину скорой помощи. Дверцы захлопнулись с глухим шумом, и машина помчалась, протяжно и зловеще гудя.

Люди медленно разошлись. Франческо пошёл было в сторону, но вдруг, словно ему что-то неожиданно пришло на ум, повернул обратно.

У строящегося дома неподвижно стоял какой-то рабочий.

— Он ранен? — спросил Франческо.

Рабочий отрицательно покачал головой.

— Скончался. Он упал с шестого этажа.

Ветер мял листья деревьев и вздымал облака пыли.

— Большое несчастье. — негромко сказал Франческо. — Я тут проходил и вижу — народ толпится. Я безработный, ищу работу... У меня семья...

— Работа? Теперь здесь освободилось место... Только вот подрядчик ушёл. Он скоро вернётся. Орал, что нужно быть осторожнее. На всех нас орал. Говорил, что этот парень сам виноват. Целую речь тут произнёс. А вина вот чья...

Рукой, выпачканной извёсткой, он хлопнул по лесам.

— Вот где вина: лесов мало. На нас экономию разводят... А сейчас придёт жена этого несчастного. Она ему каждый день еду прино-

сит. Они живут где-то тут поблизости, да только мы не знаем, в каком доме. Она вот-вот должна прийти, как всегда... Работа... Есть теперь свободное место. Он как раз полдня отработал. На лесах сэкономили, собачьи дети, а сейчас такой ветер — он и сорвался. Я видел, как он падал: на спину, раскинув руки.

— Что ж теперь будет? — сказал другой рабочий, сидевший на приступочке у двери. — Как жена?

— Когда рабочий умирает, на этом всё и кончается. Никто больше о нём не думает..

Он оборвал фразу.

По тротуару быстро шла женщина; ветер раздувал её широкую юбку и платок на голове.

Рабочий, стоявший у лесов, помахал ей рукой и поспешно пошёл на встречу. Другой смотрел, нахмурившись.

Женщина остановилась. Рабочий что-то говорил ей и всё показывал на улицу, на длинный строй высоких, красивых домов.

Женщина посмотрела на дом и застыла на месте. Сумка повисла в её неподвижной, словно безжизненной руке. Она не сказала ни слова. Потом повернулась и пошла обратно, нагнув голову, будто защищая глаза от пыли.

Рабочий постоял, смотря ей вслед, потом вернулся к дому.

— Я ей сказал, что муж поранил руку и пошёл к доктору, а потом вернётся домой. Она ничего не сказала, только очень побледнела.

— Надо было сказать ей правду, — промолвил другой рабочий. — Так хуже.

— Я знаю, да у меня духу нехватило. Пойди к ней ты.

— Хорошо, я пойду.

Второй рабочий встал и почти побежал за женщиной, но вскоре замедлил шаг и пошёл сзади неё. На расстоянии нескольких метров друг от друга они миновали трамвайную остановку и повернули налево.

— Есть такие вещи, которые никак не выговоришь, — снова начал рабочий. — Как только я заикнулся о раненой руке, у неё глаза расширились, да так и остановились. У меня просто язык больше не повернулся.

Франческо продолжал смотреть в ту сторону, где скрылась женщина. Казалось, он всё ещё видел её маленькую фигурку, лицо, обрамлённое тёмными волосами, сумку, которая болталась у неё на руке, её широкую юбку...

— Нехватило духу у меня, — повторял рабочий. — Я неправильно сделал, но ведь она всё равно узнает. Такое и без слов понимаешь, даже если никто ничего и не сказал. Но лучше всё-таки сказать: ведь хоть и понимаешь, хоть чувствуешь, всё равно весь день, всю ночь ждёшь — вдруг кто-нибудь скажет, что это не так, что тебе только показалось..

Франческо кивнул.

— Это верно.

«Если б никто и не сказал, что случилось, — думал он, — эти расширенные глаза всё равно посмотрели бы неподвижным взглядом на холодные стены, на длинную улицу, на людей, которые не знают о чужом горе...»

— Не смог я, язык не повернулся... Нам, рабочим людям, трудно подыскивать слова. Но она поняла, что у меня духу нехватило, и побледнела, как мертвец.

— Да, — сказал Франческо. — Она поняла.

Он медленно сделал несколько шагов в сторону.

— Я приду попозже, — сказал он.

— Подрядчик вот-вот вернётся. Тебе бы лучше подождать. Ведь бедняга уже умер; ты у него ничего не отнимаешь.

— Да, — повторил Франческо. — Хорошо.

И он остался стоять, молча глядя на высокий, красивый дом.

## ЛИБЕРО БИДЖАРЕТТИ

★

### НАПРАСНОЕ ПОСЕЩЕНИЕ

Андреа толчком распахнул дверь. Вместе с ним в помещение ворвался порыв ветра, принесший брызги ледяного дождя.

— Закрой! Закрой же! — крикнула Анджела.

Прикрыв дверь, Андреа постоял на пороге, отряхиваясь. Затем, сделав шаг вперёд, он спросил:

— Ты печку не топила?

— Никак не могла разжечь: то ли труба не тянет, то ли ещё что приключилось. Как только зажжёшь — сразу же полно дыма. А потом у меня и спички все вышли...

Андреа вынул из кармана коробку спичек и нагнулся над печуркой.

— Видишь, — сказала Анджела, — опять дым.

— Подожди-ка.

Действительно, комната наполнилась дымом, но всё же от пламени горящих газет несколько кусков угля, лежавших в печке, слабо затлело. Андреа выпрямился и стал греть над огнём озябшие руки.

— Никогда ещё не было так холодно, как в этом году, — сказал он.

— Все годы ты так говоришь...

— Как Нино? — спросил Андреа.

— Спит.

— Ты чем его кормила?

— Дала немножко похлёбки и яблоко.

— А для меня осталось что-нибудь?

— Да, только масла нет ни капли.

Андреа пожал плечами: на масло он и не рассчитывал. Он пробормотал:

— Целый месяц всё дождь идёт.

— Прямо проклятье какое-то...

— Мы в этой конуре самые проклятые из всех, — угрюмо сказал Андреа, оглядевшись по сторонам.

Да, трудно было назвать их жильё домом или даже комнатой. Чтобы быть точным, это следовало бы назвать огороженным чем попало пространство. Разве из кусков ржавого железа, картона и гнилых досок соорудишь человеческое жильё?! Андреа вспомнил, как он строил виллу богачу Розелли. «Мне не нужно железобетона, — распоряжался этот старый самодур. — Я хочу солидные кирпичные стены в шестьдесят сантиметров на первом этаже и в сорок пять — на втором». Вероятно, это был последний цельнокирпичный дом, построенный в Риме, подумал Андреа.

— Ну как? — спросила Анджела.

— Что как?

— Ты застал его?

— Да.

— И он тебе ничего не дал?

— А что он должен был мне дать? Я вовсе на это и не рассчитывал.

— Но что же он тебе сказал?

— Он сказал, — криво усмехнувшись, ответил Андреа, — что ему очень неприятно видеть меня в таком положении.

— И всё?

— Да, всё. Ещё приглашал заходить. Начал вспоминать старые времена, когда мы были мальчишками.

— Вы были такими друзьями, — вздохнула Анджела.

— Были. Он сказал, что у него тоже неприятности, что в нынешнее время ему трудно жить, имея только два обувных магазина. Сказал, что ему дорого обходится лечение старшего сына, к тому же и обучение его требует больших расходов. Вот что он мне сказал. В общем, вышло так, будто я должен был его утешать.

— Вот свинья!

— Все становятся свиньями, когда у них заводятся деньги. Ведь он был хорошим малым когда-то... Сколько раз мама кормила его завтраками.

— Но всё-таки не может быть, чтоб он тебе ничего не предложил!

— Нет, почему же, — он предложил мне чашку кофе.

— Это всё из-за тебя, я знаю, из-за твоей гордости. Ты, видишь ли, не можешь унижаться, а мы должны умирать с голоду.

— Ну, опять начинается...

— Да, начинается, — раскричалась жена. — Когда человеку не везёт, это одно дело, но ты сам виноват, дурак!

— Замолчи!

— Да, конечно, тебе неприятно слушать! Но как это может быть, чтобы человек, у которого два магазина, не дал тысячи лир<sup>1</sup> старому другу, которому пришлось туго?

— Да, как раз тысяча лир...

— Что ты там бормочешь?

— Ничего... Не дал он мне ни тысячи, ни ста лир. Поняла? И довольно об этом.

— Врёт он, что у него торговля идёт плохо, — продолжала Анджела, говоря сама с собой. — Этим летом они всей семьёй ездили к морю. Ты знаешь, что у него есть машина?

Андреа передёрнул плечами и принялся за похлёбку.

— Надо было пойти мне, — снова начала Анджела. — Я бы ему объяснила, что тебе нужна работа. Может, ему нужен доверенный человек в магазине?

— Это я-то доверенный? Просто смешно, — сказал Андреа, принуждённо засмеявшись. — Хочешь знать, что он мне сказал? «Какая жалость, что ты не сапожник!»

— А ты что ответил?

— Я ему сказал, что когда я начал работать, то не знал, что он разбогатеет на торговле обувью.

— Вот видишь, — вскрикнула Анджела, — видишь! Гордецом себя показал и разозлил его. Хорошенькое дело! Дома есть нечего, а ты вместо того, чтобы просить...

— Я попросил.

— Знаю я, как ты попросил! Верно, посмотрел на него, как иной раз на меня смотришь. Твой взгляд на нервы действует, ты это знаешь?

— Что же я, по-твоему, должен был делать?

— Должен был сказать ему, как мы нуждаемся, вот что! Если б я пошла, я б его расшевелила!

— Ну, конечно, ты хоть кого расшевелишь...

<sup>1</sup> Тысяча лир — 6 рублей 42 копейки. (Примеч. перев.)

— Грубиян! Ты и меня обидеть хочешь? Ты что, забыл, какая я была прежде, не помнишь?

— Раньше и я другой был. Ты все глаза выплакала, когда я хотел с тобой разойтись.

— Зачем ты этого не сделал, боже мой! Зачем я так ошиблась!

— Ну, довольно, хватит! Дай мне хлеба, если есть.

— Послушай, Андреа. Надо что-то предпринять. У нас осталось всего двести лир. А потом что? Сходи опять завтра.

— Куда?

— К нему. Зайди, попроси, скажи, что сын умирает с голоду. Есть же у него сердце! Попроси у него денег напрямик.

— Нет.

— Вот видишь, какой ты: умираешь с голоду, а с гордостью расстаться не можешь.

— Да чем мне гордиться, при чём тут гордость? Это просто смешно!

— Ну так пойдёшь к нему.

— Не могу.

— Почему не можешь?

— Завтра у меня дело.

— Какое дело? Ты разве нашёл работу?

— Да, завтра мы все будем работать.

— Кто это все?

— Все мужчины здесь, в нашем посёлке. Нужно починить мостовую, очистить стоки, чтобы нас не затопило этим дождём.

— А, знаменитая «забастовка наоборот»! Муниципалитет ничего не хочет для нас сделать, так вы сами берётесь, ну и не получите ни одного сольдо.

— Это лучше, чем сидеть сложа руки и слушать твои разговоры.

— Нет, это уж слишком! Ты в своём уме?! В доме нет ни лиры, а синьор хочет работать бесплатно! Завтра я сама к нему пойду, говори, что хочешь!

— Ты его не соблазнишь, не беспокойся! Когда-то ты ему нравилась, я знаю, но теперь...

— Подлец ты после этого! Я без тебя знаю, в кого я превратилась от такой жизни... И всё ты, ты, ты виноват! — прокричала Андже́ла, заливаясь слезами.

Плача, она бросилась на постель и продолжала говорить сквозь рыдания:

— Это невозможно... Лучше покончить с собой... Ты ни на что не годен... Не умеешь даже тысячу лир взаймы попросить...

Андреа в бешенстве вскочил, опрокинув стул.

— Довольно! Если ты ещё раз заикнёшься насчёт тысячи лир, будет худо!

Андже́ла замолчала, видя, что слова бесполезны и что в таком состоянии он может ударить её. Ею овладела бесконечная усталость.

Андреа ходил по комнате, угрюмо бормоча:

— Тысяча лир, тысяча лир...

Он пододвинул стул и сел на него верхом, положив руки на спинку и упершись кулаками в виски. Он смотрел на сынишку Нино, который беспокойно метался во сне, и думал о своём сегодняшнем поступке. Снова и снова вспоминал он оскорбительные слова владельца обувного магазина, тон и выражения, которые заставили его вскипеть. Как ему хотелось теперь рассказать обо всём Андже́ле, облегчить душу! Сказать ей о том, что он швырнул ему в лицо эту тысячу лир. — ему, своему бывшему другу.

## ДОМЕНИКО РЕА

★

## СИНЬОРА ВЫХОДИТ В ПОМПЕЕ

Автобус Неаполь—Салерно, курсирующий по частной автостраде Неаполь—Помпея<sup>1</sup>, уходя в свой рейс в 12.30, не был переполнен.

День выдался чудесный, хотя с утра погода немного хмурилась. Но часов в девять поднялся ветер, облака разошлись, и солнце свободно засияло с голубого, бездонного неба. Прекрасный денёк специально для поездки на автомобиле или автобусе. Сиди себе у окна и спокойно наслаждайся пейзажем — его яркими красками, сверкающими просветами моря, внезапно появляющимися среди зелени. Крестьяне, работающие на полях, мелькают, словно кадры бесконечной киноленты, которая разворачивается перед мчащейся машиной. Один кадр дополняет другой: там крестьянин поднял мотыгу, здесь — опустил её, один человек машет, другой ему отвечает. Пёстрый калейдоскоп пейзажей и людей на этой автостраде, словно аллея пересекающей одну из самых прекрасных областей-садов Италии, так увлекает путешественника, что он не в силах ни читать, ни заниматься ничем другим.

В этот день, когда автобус остановился возле стеклянной будки сторожа у въезда на автостраду, кто-то обеими руками стал дёргать заднюю дверь, и в автобус влезла старуха. Вместе с ней вошёл затклый запах её длинных чёрных юбок, забрызганных помидорным соком. Поднимаясь по ступенькам, она зажала подмышкой бахрому своей старой чёрной шали. Вслед за ней вошла маленькая девочка.

Глубоко вздохнув, старуха с видом победителя осмотрелась вокруг и громко спросила:

— Эта штука идёт в Салерно?

Получив утвердительный ответ кондуктора, который пошёл проверять билеты пассажиров, старуха подтолкнула девочку.

— Говорила я тебе, что он идёт в Салерно!

Она повернулась к пассажиру, сидевшему на передних местах с правой стороны. Это был человек лет пятидесяти, худой, костлявый. Его большие уши касались широкополой шляпы-гриба, а мясистый нос придавал лицу какое-то презрительное выражение.

— Я отгадала! — ликующе сообщила ему старуха. — Куда ж ему итти, как не к нам, в Салерно!

Обрадовавшись, что для неё с девочкой нашлись свободные места, старуха посадила ребёнка налево к окошку.

— Смотри, какой нарядный поезд! Вагоны-то красные и белые, не то что тот, чёрный, каким мы сегодня утром ехали.

Взяв в руки голову девочки, она направляла её взгляд на показавшийся в нескольких метрах от автострады дачный поезд, который шёл к Везувию. Потом старуха поудобнее устроилась на мягком сиденье, завязала свою шаль крест-накрест на груди и сказала с довольным видом:

— Здесь лучше, чем в поезде. Сегодня утром мы в Неаполь ехали в поезде, ну и намучились! Там контроль был. Мы от него вперёд пошли вместе с одним солдатом. Она-то, — старуха кивнула на девочку, — ведь тоже военная. Вот тут написано. — Она засунула руку за пазуху и вытащила какую-то бумагу. — Потом в Ангри мы вышли, — продолжала старуха, — и влезли в последний вагон, где контроль уже прошёл. Ну, говорю, обратно я поездом не поеду, нет. Вот морока-то! Я — старая, а девочка — убогая, калека, она не может влезать да вылезать. Проеду, говорю, на подводе, верно? Попадётся какой-нибудь возчик из Салерно

<sup>1</sup> В Италии есть много автострад, принадлежащих частным компаниям. За проезд по ним взимается высокая плата. (Примеч. перев.)



или, ещё лучше, из Фратте; я у нас во Фратте всех возчиков ещё мальчишками знала и шофёров тоже, какие ездят в Неаполь за паклей для фабрики. Знаете нашу прядильную фабрику? Словом, на чём-нибудь я уж доеду, только не на этом окаянном поезде. И вот влезла сюда, хоть даже и не знала, куда эта штука едет.

Старуха рассказывала всё это громко, наклонив голову направо, к пассажиру в шляпе грибом. Она даже пересела на одно место поближе к нему и продолжала:

— В поезде всякий пришлый народ едет. Разговаривают, не поймёшь как, будто и не по-нашему. А здесь все в Салерно едут, выходит, значит, все земляки...

Пассажиры слушали; кое-кто втихомолку посмеивался. Новая пассажирка была из тех старух, которые, несмотря на беззубый рот, умеют и поесть хорошо, и посмеяться, и, главное, способны удивительно быстро болтать и читать молитвы. Какой-то сидевший впереди весьма представительный синьор с солидным брюшком, по которому змеилась золотая цепочка с затейливым брелоком, обернулся и устремил из-под черепаховых очков суровый взгляд на старую крестьянку. Обернулись и некоторые другие.

Теперь старуха обращалась к девочке:

— Удобно? Нравится тебе? Подумать только, самой без году неделя, а вот привелось же в один день прокатиться и на поезде и на автомобиле. Это самый большой автомобиль, какой есть!

Девочка была, видимо, ужасно довольна. Старуха тоже. Она решила было поглядеть в окно, но её гораздо больше интересовал самый автобус. Она снова повернулась к пассажиру в шляпе и, легонько подтолкнув его, спросила:

— А вы из Салерно?

Тот отвечал тоном, который ясно свидетельствовал о нежелании продолжать беседу:

— Я из Файано.

— Это всё равно, что из Салерно, — заявила старуха. — А я вот из Фратте. Что Фратте, что Файано — всё одно Салерно.

Но теперь она обращалась только к шляпе пассажира, снова повернувшегося спиной.

— Ну и чудесный денёк. — В окно старуха не смотрела. Уже и без того было праздничное настроение. — А как тут, внутри, всё красиво, удобно, сидишь, словно у адвокатовой жены в кресле. Утром сегодня дождь собрался, а я и говорю: ну уж нет, сегодня мне в Неаполь нужно. Завтра, говорю, пусть что угодно будет. Дождик-то и не пошёл. Ах, что за денёк! — Она шумно вздохнула. — По сухой дороге ехать-то как хорошо! В дождик колёса скользят, я сама видела у нас во Фратте...

Девочка засунула руку в правый карман старухи. Та, заметив это движение, снова подтолкнула в плечо синьора в шляпе и сказала весело:

— Посмотрите-ка на неё! Ей есть хочется, а сказать стыдится. Печенья захотела.

Она вытащила из кармана печенье и дала девочке.

— Вы полдничали? Мы-то нет. Сколько сейчас времени? Час, наверное, — ответила она самой себе, посмотрев в окно. — Мы ещё не ели, — продолжала она спокойно, не жалуясь, словно речь шла и не о ней. — Слава Богу, эта штука быстро бежит... Я, как вышла из дому, пятьсот лир с собой взяла, а теперь что у меня осталось? Вон сколько ты мне стоишь, — сказала она девочке, которая жевала своё печенье, пристроившись в уголку.

На этот раз заговорил пассажир в шляпе.

— Пятьсот лир? Вы заплатили утром за поезд и ещё хотите оплатить

автобус? Да есть ли у вас деньги? — сказал он, и его глаза с мясистыми веками оживились в предвкушении забавного инцидента.

— Как это нет? — всполошилась старуха. — Конечно, есть. — Она стала поспешно шарить за пазухой и вытащила две бумажки — в сто и пятьдесят лир. — Хватит? Это ведь не поезд, тут всего один вагон, — сказала она уверенно. — Больше не возьмут.

— А сколько вы в поезде заплатили? — с невозмутимым видом осведомился пассажир в шляпе.

— Сколько? Да ничего не платили, я же вам сказала. Она вот во-ен-на-я, — произнесла старуха отдельно, словно в который раз повторяя то, что сто раз было сказано и разъяснено. — У неё нет матери, нет отца, никого нет. Как у меня. Пока живы были её отец и мать — мои дети, — жила я с ними сытно и спокойно. Теперь нету их. Бомбы, понятно? Ведь у девчурки ни одного пальца на ногах нет. Мать с отцом погибли, а я, старая, спаслась, а у Мариуцеллы на ногах все десять пальцев напрочь. Хорошо ещё, что сразу её откопали, а то бы пришлось и ноги отрезать. Поняли? Теперь, через шесть лет, пришла наконец бумага. Вот эта. — Старуха помахала бумажкой. — Из военного госпиталя в Неаполе. Тут написано, что девочка не должна платить за лечение. Ну, а кто её возить-то будет? Ей десять лет всего, она из дому и до Салерно дойти не может. Не знает, где он есть, Неаполь-то. Да я и сама толком не знала. И я тоже платить не обязана.

Пассажир уже снова отвернулся, слушала разве только верхушка его шляпы-гриба.

— А я со-про-во-жда-ющая. Для себя я бы, понятно, не поехала, дома дел довольно. У меня стирка для жены нашего адвоката из Фратте. Вы его, наверное, знаете, ваша милость, — ещё раз тронула она пассажира в шляпе.

Тот грубо отмахнулся от надоевшей ему старухи.

А она всё продолжала говорить о том, что было таким важным и новым событием в её жизни. Погладив по голове внучку, которая снова засунула руку к ней в карман, она пожурила девочку:

— Довольно. Привыкай терпеть, когда есть хочется. Смотри-ка, я купила на пятнадцать лир печенья, а ты уже всё съела. Хватит!

Девочка надулась. Но старуха не обратила на это внимания. Её насторожило приближение кондуктора, пробивавшего билеты своими стальными щипцами. «Ваши билеты!» — то и дело раздавался в автобусе его голос.

Старуха снова погладила девочку по голове и громко сказала, как будто желая заглушить чувство смутной тревоги, которое внезапно охватило её:

— Ты не бойся, этот кондуктор свой, из Салерно. Раз машина оттуда, должно быть так, — добавила она потише, обращаясь только к девочке.

Но ей не удалось успокоить себя, и глухое беспокойство нарастало. Её внезапно стала раздражать шляпа фаянца, торчавшая у неё перед глазами.

— Ну и рожа, как у нашего пономаря, — покосившись на фаянца, вполголоса сказала она кондуктору, подошедшему уже довольно близко.

Ей хотелось подружиться с кондуктором, но тот уклонился от её взгляда, хотя несомненно слышал всё — от слова до слова.

— Ваши билеты! — обратился он к кому-то.

Тогда старуха отвела глаза, но исподтишка стала наблюдать за кондуктором. Она никогда его раньше не видела. И всё же он наверняка был салернец. Кондуктор иногда поглядывал на неё своими карими глазами, и ей чудилось, будто он сейчас скажет: «Сейчас я до тебя доберусь, и если у тебя нет билета...»

Она подвинулась налево, села совсем рядом с девочкой и стала смотреть в окно, повернувшись спиной к кондуктору, к пассажирам, ко всему автобусу.

— Сиди тихонечко. Ты что это хныкать вздумала?

Она смотрела на сияющий, омытый светом пейзаж, такой не похожий на её родные места во Фратте. Здесь поля тянулись непрерывной широкой лентой, а у неё в деревне они были разбросаны небольшими участками на террасах. Незнакомые места не радовали её. Старуха медленно повернулась и вся сжалась, словно улитка, которая, чувствуя опасность, оставляет снаружи только рожки. Она пригладила свои седые волосы, плотнее закутала шею и плечи чёрной шалью.

Кондуктор спросил билет у какого-то синьора, который, как это часто делается, не покупал заранее билета в агентстве. Старуха увидела, как несколько бумажек по сто лир перешло в руки кондуктора. «Наверно, этот не в Салерно едет, — решила она. — Но куда же тогда машина идёт?» Мысль, что она едет в неверном направлении, заставила её побледнеть и растеряться. Не в силах найти удовлетворительное объяснение, старуха испуганно спросила пассажира в шляпе:

— Вы уверены, что мы едем в Салерно?

— Да, — ответил тот с какой-то неуловимой насмешкой в глазах.

Тут старуха, посмотрев в окно, заметила, что они едут по необычной дороге, на которой не было ни подвод, ни старух вроде неё, ни крестьян, подгоняющих прутком коров, — ничего знакомого и привычного. Только цветные объявления, да время от времени какой-нибудь автомобиль — фью-у-у! — обгонит и пронесётся мимо.

В этот момент кондуктор тронул её за плечо и сказал:

— Куда едешь?

Старуха протянула ему свои сто пятьдесят лир.

— Да ведь нужно четыреста двадцать! Так я и знал, что сегодня какой-нибудь сюрприз будет. Чего ты сюда суёшься? Ехала бы поездом, шла бы пешком! Ведь это скоростной пульман по частной дороге! Ты что, с луны свалилась, что ли?

— Так она же военная, — пыталась объяснить старуха, протягивая бумагу о медицинском освидетельствовании.

— А мне-то что! Я должен с тебя получить четыреста двадцать лир. Это пульман частной компании.

— Мне ничего не сказали. Почему он мне не объяснил? — говорила старуха, указывая на пассажира из Файано.

Тот пробормотал, не поворачивая головы от окна:

— О своих делах каждый заботится сам...

Старуха стала рыться в карманах, не смея поднять глаза на кондуктора. А тот смотрел на её руки — руки семидесятилетней женщины, узловатые, натруженные, в красных пятнах, лихорадочно шарившие по карманам, вытаскивавшие оттуда всё что угодно, кроме денег.

— Милая моя, — сказал он, — нужно ещё двести семьдесят лир, а я их дать тебе не могу.

— Подождите! — задыхаясь, воскликнула старуха.

Она так глубоко засунула себе руку за пазуху, что достала до живота.

Потом перевернула все свои верхние и нижние юбки, одну за другой, бормоча:

— Мадонна, сотвори чудо!

Наконец она стала снимать башмаки, приговаривая:

— Я здесь всегда держу деньги... Вот и проводила я тебя... — бросила она испуганной девочке.

Многих пассажиров забавляла эта сцена, а на лице у фаянца было

написано животное наслаждение зрелищем. Кондуктор ждал. Потом пристально посмотрел на лица пассажиров и сказал себе под нос:

— Эти чуда не сделают!

В этот момент какой-то юноша, видимо студент, с напояженной головой и усиками, красный, как перец, — он явно выдержал трудную борьбу с самим собой, — проговорил тоном человека, который признаётся в чём-то постыдном:

— Вот пятьдесят лир. — И он поспешно отвернулся в тот самый момент, как брошенная им бумажка упала в проходе.

Удивлённая и счастливая старуха вскочила, крича:

— Спасибо! Спасибо!

Она не знала, как благодарить студента, но требование денег всё ещё камнем лежало у неё на сердце. Старуха повернулась к кондуктору.

— Нехватит этого?

Кондуктор помолчал, потом посмотрел в потолок и сказал, словно ни к кому не обращаясь:

— Нужно ещё двести двадцать. Я даю от себя пятьдесят... — Он произнёс это не очень громко, чтобы синьоры пассажиры не обиделись на дерзкого кондуктора.

Он ждал, ждала и старуха, встав и опершись руками о спинку кресел переднего ряда. Перед ней и кондуктором была оскорбительная линия спин. Шляпа фаянца, немного сплюснутая на одном боку, неподвижно торчала у него на голове. Старухе хотелось хватить по этой шляпе кулаком. Вместо этого она посмотрела в глаза кондуктору, который отвёл взгляд и сказал:

— Ты права, но и я тоже. Больше пятидесяти лир никак не могу дать. Ведь я обязан оторвать билет. Послушай, вот как мы сделаем. Для девочки на билет хватает. Тебе ещё останется сорок лир. Иди пешком. Тут километров тридцать. А девочку я оставлю на конечной станции. Оттуда очень близко до поворота на Фратте. Водитель! — кричал он. — Останови в Помпее. Синьора выходит, девочка едет дальше, — сказал он таким тоном, который мог бы пробудить даже в волках угрызения совести.

Помпея была уже близко, и старуха, покорившись, стала собираться.

— Я иду купить печенье, а ты меня там подожди. Я скоро приду. Поняла? — сказала она внучке.

Девочка с бледным, печальным лицом кивнула головой.

Машина остановилась. Старуха подошла к двери, которую кондуктор открыл, объявляя об остановке.

Она вышла. Девочка начала судорожно плакать. Кондуктор захлопнул дверь и посмотрел через стекло на старуху, стоящую там, на дороге. На её старое лицо в морщинах, померкшее и немое, в ореоле белых волос, развевающихся на ветру...

## ФЕЛИЧЕ КИЛАНТИ



### ВЫНЕСЛИ НА ПЛЕЧАХ

Три часа назад вода прорвала на канале плотину. Наводнение надвигалось со всех сторон. Уже залило овраги и всю оросительную систему, размыло насыпи. Деревушка, расположенная между каналом Бьянко и рекой По, была обречена.

Мужчины, собравшиеся в доме у Джованни, как раз обсуждали, что

предпринять, когда из тумана послышались крики и по деревне промчались несколько юношей на велосипедах.

— Спасайтесь! — кричали они. — Вода хлещет через плотину!

Все бросились на улицу и увидели, что отводные каналы уже полны воды. Из тьмы доносился смутный шум — казалось, рокочет море.

Джованни и его товарищи стали созывать всех мужчин из соседних домов. Джованни крикнул:

— Отправляйте поскорее женщин и детей на большую дамбу на По и идите нам помогать!

Послышались всхлипывания, заплакали маленькие дети. Женщины торопливо двинулись из деревни, неся на руках детишек и хлеб, таща за собой ручные тележки, на которые усадили стариков. Одна за другой они молча исчезали в тумане.

Мужчины, юноши и подростки двинулись с мотыгами и лопатами к каналу; других инструментов у них не было.

Одна из женщин, Ромуальда, догнала их, задыхаясь от бега.

— Кто-нибудь должен помочь мне унести Бруно. Я знаю, что он умирает, но всё равно я хочу унести его с собой. Сейчас с ним священник. Он пришёл его исповедать и причастить, а Бруно не хочет. Священник его разговорами занимает, Бруно даже улыбается, хоть говорить не может.

Джованни обещал Ромуальде, что они позаботятся о её больном муже, а ей с тремя маленькими детьми велел побыстрее пробираться на дамбу По.

Когда мужчины добрались до канала, они увидели, что положение действительно отчаянное. Вода клокочущими потоками хлестала из трёх пробоин плотины. Крестьяне разделились на три группы. Одни начали поспешно засыпать отверстия землёй, а остальные, выстроившись в цепочку, подкатывали к плотине большие камни, которыми в деревне обычно приваливали коноплю при мочке.

Крестьяне работали молча; во тьме слышался только шум воды и затруднённое дыхание людей, бросавших на плотину тяжёлые лопаты земли.

Раздался знакомый голос:

— У нас даже мешков нет для земли. Понапрасну спину гнём, бесполезное дело.

Конечно, это говорил Дидон. Кое-кто хмуро улыбнулся. Дидон был деревенский часовщик, а кроме того, и сапожник, и мясник, — в общем, на все руки мастер. Чудак, да ещё с характером. Никто не откликнулся на его слова, и он начал снова:

— А что нам терять? Мы вот с женой отнесли на чердак два мешка зерна, бутылку вина, немного хлеба и сала. Когда вода спадёт, заберём, что нам мыши оставят. Скажите-ка на милость, какое такое богатство у нас есть? Ради чего мы так хлопочем?

Никто, повидимому, не собирался ему отвечать. Тогда он повысил голос:

— А ты, Джованни, ты, Габано, ты, Табанин, — разве год назад вас не засадили в тюрьму за эту же самую работу на плотине, потому что вы делали её без разрешения? Неужели вам так хочется спасти землю и скот старого Кане?

Кане был самым богатым помещиком в округе. Большой дом семьи Кане стоял очень близко от плотины. Как всегда, ворота их усадьбы были заперты, но сейчас оттуда доносился шум. В амбарах, хлевах, на конюшне, видимо, шли поспешные сборы. Кане не просили помощи, и никто не шёл пособить им.

Тем временем куча земли и камней у плотины росла, и два из трёх

отверстий были уже заделаны. Теперь люди все вместе работали у третьей, самой большой и опасной пробоины.

— Джованни, ты слышишь меня? Посмотрю я, как тебя за все твои труды поблагодарит старый Кане или этот его полоумный братец, который смеялся, когда тебя уводили полицейские! Ты что думаешь — священник тебя благословит, а сержант карабинеров заплатит за выпивку? А когда тебя потащат в суд, судья, может быть, выдаст тебе награду? — продолжал рассуждать в том же духе Дидон.

Некоторые в душе соглашались с ним. Но, тем не менее, все ни на секунду не отрывались от работы, так же как и сам Дидон, стоявший в цепочке людей, которые перекачивали от одного к другому тяжёлые камни.

Внезапно послышался треск мотоцикла. Машина с зажжёнными фарами резко затормозила у плотины.

— Джованни! — окликнул кто-то. — Как тут у вас дела?

— Кто это? — спросил батрак Джованни, который не мог разглядеть лица приехавшего в слепящем свете фар.

— Это я, Джованни, я...

Это был не кто иной, как старый знакомый — сержант карабинеров.

— Ты и теперь привёл с собой челере<sup>1</sup>? — спросил Джованни сквозь зубы, стиснув кулаки.

В прошлом году сержант арестовал его именно за то, что он повёл мужчин и женщин своей деревни чинить ветхую плотину. Сержант надел на Джованни, как на вора, наручники и провёл его, скованного, по деревне вместе с Габано и Табанином, на глазах у жены и детей... Как Мария и ребята рыдали!..

— Не шути, Джованни, ты сам видишь, какие дела. Я сейчас встретил Марию с детьми. Они на дамбе — в безопасности... Я только об этом хотел сказать тебе. Твоя жена в верном месте.

Голос у него немного дрожал, потому что в плотной стене работающих людей раздались угрозы по его адресу.

— Катись отсюда! — сказал кто-то.

К Джованни вернулось спокойствие.

— Раз у тебя мотоцикл, так поезжай позвони на сахарный завод, пусть дадут нам мешки. Да поскорее!

— Я сейчас, мигом, Джованни. Я сам съезжу на сахарный завод и привезу мешки. Я хотел быть тебе полезным, потому что вы, ребята, спасаете четыре деревни...

— Наверно, поздно уже! — крикнул Дидон. — Вот прошлый год было бы самый раз...

— Если бы ты знал, какие мы тогда получали приказы...

— Довольно болтать, — вмешался Джованни, — тебе нужно ехать сюда секунду, если ты действительно хочешь помочь.

Сержант поспешно завёл мотоцикл и исчез в тумане, крича:

— Я скоро вернусь!

Но было действительно поздно. Дидон не ошибся...

Кто-то крикнул:

— Назад! Плотина оседает!

Люди побросали лопаты и кинулись от плотин в поле, мокрое и вязкое, потому что повсюду уже стояла вода. Катастрофа произошла в несколько секунд: сначала плотина выгнулась, как изгородь от порыва ветра, потом на какое-то мгновение она вздыбилась и разом рухнула, лопнув в самом слабом месте, как раз там, где в прошлом году полиция запретила строить дополнительную, укрепляющую насыпь...

<sup>1</sup> Челере — моторизованная полиция. (Примеч. перев.)

Люди поспешно двинулись к деревне. Они шли плотным строем — маленькая группа крестьян, единых сегодня в борьбе с природой, как и в дни борьбы за хлеб и мир.

Вода потоками рванулась на поля, уже наполнились рвы, уже затопило нежную озимь и участки, вспаханные под пар...

Маленькая группа людей, возглавляемая Джованни, достигла деревни одновременно с водой. Мужчины сняли ботинки и закатали брюки. Нельзя было терять и минуты, чтобы спасти всё, что только возможно. Каждый понимал, что жизнь его также находится в опасности. За несколько минут вода, покрывавшая щиколотки, поднялась до икр, потом достигла колен. С полей доносился нарастающий рокот грозного потока, шум водоворотов. Темнота стояла почти непроницаемая, туман спустился ещё ниже, лица людей сек тонкий, холодный дождь.

Ворота усадьбы Кане распахнулись, послышался громкий плач женщин и детей. Скот, впопыхах выведенный из стойл, с мычанием разбегался во все стороны. Кане потеряли слишком много времени, нагружая на телеги своё добро: бельё, мебель, посуду, столовое серебро, рабочий инструмент, мелкую живность и птицу, сено и солому. Десять тяжелых груженных телег выехали наконец из ворот на дорогу. Но лошади и быки еле тянули их. Вода поднималась, а старый Кане, его два сына, женщины и двое погонщиков никак не могли быстро вести вперёд такой тяжёлый обоз по размытой, скользкой дороге.

Брат Кане, хромой от рождения, считался безумным. Но он был духовным лицом, и священник поручал ему руководить церковной общиной. Сейчас, в то время как телеги, колыхаясь, медленно удалялись в туман, в открытом окне покинутого дома внезапно показалось лицо сумасшедшего. Он закричал Джованни и его товарищам:

— Вы революцию хотите устроить, подлец? А ну, попробуйте, возьмите меня! Угощу свинцовой конфеткой!

Сумасшедший с искажённым лицом действительно размахивал револьвером.

Когда старый Кане увидел, что три его жирные свиньи утонули в придорожной канаве, он разразился проклятиями. Потом он обернулся к Джованни, который шёл впереди крестьян.

— Помогите нам, — сказал он, — я вам хорошо заплачу... Двойную плату...

Дети и женщины Кане продолжали плакать. Одна из телег прочно завязла в кювете. Кане накинулся на погонщика, который вёл эту телегу.

— Я убью тебя, подлец! Посади детей на дерево и вытащи телегу, если хочешь остаться в живых! — вопил он.

Погонщик в одной руке держал вожжи, а на другой нёс двух своих детей, маленьких, полуголых, дрожащих от холода.

— Поможем этим несчастным, — сказал молчавший до сих пор Джованни.

Погонщик, испугавшийся угрозы, уже посадил своих ребятшек, как птичек, на ветви большой ивы, чтобы освободить себе руки; дети отчаянно заплакали. Тогда люди из деревни схватили лошадей под уздцы, подпёрли плечами телегу, хлюпающую по воде, потянули за вожжи быков, палками стали сгонять скот, разбежавшийся по затопленному полю. Они взяли в свои руки богатства Кане.

— Я хорошо вам заплачу! Всем, вот увидите, — бормотал Кане. — Не знаю, как отблагодарить вас, не знаю, что и сказать тебе, Джованни.

— Вот именно, лучше помолчи, — ответил ему за всех Бимбато. — Теперь твои деньги нам ни к чему.

Старый Кане сжался, как побитая собака, и стал злобно орать на сыновей.

— Ну и сволоочь, — сказал вполголоса Дидон, который нёс на руках племянников и внуков Кане.

— Бруно! Бруно остался в доме! — воскликнул вдруг Джованни, вспомнив Ромуальду. Вместе с Табанином и двумя парнями он перебрался через канаву и бросился бежать по полю, где глубина воды уже достигала полуметра, к дому Бруно.

В комнате горела свеча. Священник, отец Витторино, был ещё там, он сидел у постели больного. Вода уже залила кухню в нижнем этаже и плескалась на подоконнике.

В комнату вошёл один Джованни. Он не видел Бруно несколько недель и сейчас был потрясён его страдальческим видом. Смерть уже отметила своей печатью черты лица молодого крестьянина: бледный лоб, скулы с туго натянутой кожей, глаза, глубоко запавшие в орбиты, тонкие, бескровные губы, опалённые лихорадкой. Говорить Бруно уже не мог, но во взгляде его ещё светился разум, и от этого сердце Джованни ещё больше сжалось. Глаза Бруно как будто говорили. Он даже слегка улыбнулся при виде Джованни, и высохшая рука дрогнула в знак приветствия.

Дон Витторино, сумрачный, поднялся со стула.

— Он кончается, — прошептал он.

Священник видел, как вода подступала к дому, но всё-таки не ушёл и молился у постели этого похожего на тень человека, который улыбался, когда Дон Витторино просил его исповедаться в грехах.

— Этот человек, — сказал священник, — святой. Он попадёт в рай и без причастия.

— Здесь опасно, — сказал Джованни. — Дом непрочный, и его со всех сторон подмывает. Надо уходить. Мы понесём его.

Он позвал Табанина. Они подняли умирающего и закутали его в одеяло. Джованни взвалил его себе на плечи.

— Он лёгкий, как ребёнок, — заметил он.

Бруно положил свою измученную голову на плечо товарища.

Дон Витторино тоже чувствовал себя скверно. Это был бедный, болезненный сельский священник. Он озяб и уже много часов ничего не ел; сейчас он чувствовал себя близким к обмороку. Табанин посадил его к себе на спину, и печальная процессия двинулась в путь. Вода успела подняться ещё выше, и люди шли, погружённые по пояс, спотыкаясь и скользя. Ледяной ветер разогнал туман, дождь перестал, и на залитые поля светила холодная луна.

У поворота дороги они встретили сержанта карабинеров. Он барахтался в воде, мотоцикл его завяз и затонул. Сержант плакался, что приходится бросать машину: она ведь казённая! Молодые крестьяне помогли ему выбраться и молча пошли дальше — Джованни впереди с умирающим товарищем на плечах, за ним Табанин, на спине которого сидел Дон Витторино, обхватив Табанина за шею и стараясь как можно выше подобрать ноги; потом — молодые батраки с пузатым сержантом, которого они поддерживали за пояс, и с казённым мотоциклом, который они тащили за собой к дамбе на По.

Целый мир несли на своих плечах к спасению Джованни и его товарищи — весь мир, как он есть: и друзей и врагов, то общество, в котором они жили и боролись. Они спасали помещика и его добро, священника и его молитвы, сержанта карабинеров и его наручники.

Добравшись до дамбы, Джованни остановился. Руки Бруно внезапно похолодели, тело стало тяжёлым, негнущимся.

— Он умер? — спросил Табанин.

— Да.



Люди поднялись на дамбу, где у зажжённых костров их ждали женщины и дети с глазами, полными слёз.

Издали донеслось рыдание Ромуальды.

На следующий день Табанин, Габано и Дидон вернулись в деревню на лодке. Кане со всем своим семейством умолили их вытащить сумасшедшего, забаррикадировавшегося в затопленном доме. Добравшись до поместья, крестьяне слышали с чердака стрельбу и дикие крики:

— Прочь, злые вороны! Шакалы, стервятники болотные! Вы хотите революцию устроить, нажиться на этом несчастье!

Глаза безумца горели яростью, и он неистово палил в голые, чёрные ивы.

На следующее утро одна газета опубликовала передовую статью, озаглавленную «Болотные вороны», в которой подробно развивались «аргументы» полоумного Кане. Это была крупная газета: официальный орган партии, которая правила Италией в тот мрачный ноябрь 1951 года.

*Перевод с итальянского З. Потаповой.*

## РЕНАТА ВИГАНО

★

### ВЗРЫВ

Фаустино бросил велосипед у изгороди и побежал через лужайку к дому, вспугнув кур, искавших зёрна в жухлой, покрытой инеем траве.

— Мама, мама! — крикнул Фаустино.

Никакого ответа. В кухне уже топилась печь, но дверь оставалась открытой, и в помещении было так же свежо, как на улице. Фаустино обогнул дом и увидел мать, рубившую какие-то палки и прутья, которые она собрала у заруды.

— Я нашёл работу, — сказал Фаустино.

Мать по-настоящему постарела после того, как два её сына были убиты на войне, третий, партизан, расстрелян немцами, а муж погиб во время бомбардировки, когда уже приближались союзники, которых так долго ждали. От слёз у неё всегда были красные глаза и опухшие веки. Она не сразу понимала, что ей говорят, и, обращаясь к ней, приходилось не меньше двух раз повторять одно и то же. Только работа у неё по-прежнему спорилась.

Но теперь наконец всё должно измениться. Безработный Фаустино, которого два года назад уволили с фабрики, неизвестно за что, быть может, просто потому, что он — брат погибшего партизана, да и сам коммунист, нашёл работу на другой фабрике. Правда, она находится дальше от дома, чем та, на которой он работал прежде. Теперь каждый день придётся ехать десять километров туда, десять — обратно. Но как бы то ни было, он опять стал человеком, рабочим. Он сможет сказать в субботу: «Вот деньги, мама». А через некоторое время, расплатившись с долгами и ни от кого не завися, подумает и о женитьбе: тридцать лет — самый возраст. Ему очень нравится Чечилия, дочь лавочника; она, видно, славная девушка и будет хорошей помощницей по хозяйству. Всё это Фаустино говорил матери, и на этот раз она поняла с первого раза. Она поняла прежде всего, что Фаустино уже не безработный и что, если и дальше всё пойдёт хорошо, нищета наконец уйдёт из их дома. Они вместе на рубили дров, и он отнёс вязанку на кухню. Огонь в печи уже погас, но теперь и при открытой двери в комнате было довольно тепло. Фаустино говорил о фабрике, очень большой, расположенной близко от города, о

том, что он получит хорошее место, а может быть, даже станет мастером цеха. Но главное — работать и отстаивать свои права рука об руку с товарищами, без всякого зазнайства.

На следующее утро, пока Фаустино брился, да так тщательно, словно собирался на вечеринку, мать погладила его вылинявшую, стиранную-перестиранную куртку, пестревшую заплатами из обрезков того же материала, ещё не утратившими первоначального цвета. Брился Фаустино при свече и, едва начало светать, был уже готов. Но он так боялся опоздать, что не мог даже спокойно поесть перед уходом, лишь наскоро пожевал лёмтик сыру и сунул в карман кусок хлеба.

— На фабрике есть столовая, ничего мне не нужно,— сказал он матери и вскочил на велосипед.

Он проехал по улице, не встретив ни души. Посёлок ещё спал, только лавка была открыта. Фаустино захотелось остановиться и взглянуть, не встала ли уже Чечилия. Но в лавке был только её отец, возившийся с кулками и коробками. Ему удалось лишь наполовину открыть створки двери — так обледенел порог. Фаустино кое-как протиснулся внутрь, подул на руку, весело притопнул ногой и сказал:

— Добрый день, Бруноне! Ну и морозец, чёрт побери. Налъёте мне стаканчик? Я вам в субботу заплачу.

Лавочник посмотрел на него с удивлением: Фаустино никогда прежде не заходил выпить стаканчик.

— Я нашёл работу,— добавил тот.— Два года искал и вот поступил на фабрику СБ.

— Стаканчик-то я тебе налью,— сказал Бруноне,— но место ты получил неважное.

Он налил вина и Фаустино и себе, выпил и повторил, вытирая усы:

— Место ты получил неважное. На СБ небезопасно, и хозяева сво- лочи.

— По мне место что надо,— ответил Фаустино и осушил свой стакан.— Мне будут платить тысячу лир в день, а может, и больше. А потом я ведь специалист, на какую хочешь должность гожусь. Могу хоть управляющим стать, если, конечно, позезёт.

Он толкнул дверь, вскочил на велосипед и крикнул:

— Ну, до свидания, привет от меня Чечилии!

Сделав зигзаг по улице (переднее колесо скользнуло по льду), Фаустино выровнялся и помчался на фабрику, изо всех сил нажимая на педали и напевая себе под нос: «Поздновато, поздновато...» Через минуту он скрылся за поворотом, словно растворившись в бледном свете занимавшейся поздней зари.

В посёлке никто не слышал взрыва, хотя в газетах потом говорилось, что он был слышен в радиусе пятнадцати километров. Может быть, это объяснялось тем, что люди тогда были дома, а может быть, привыкнув к тому, что время от времени близ посёлка взрываются мины, оставшиеся на полях со времени войны, они просто не обратили на него внимания. О случившемся стало известно лишь позже, после того как на площади появился человек без пальто, без пиджака, в разорванной рубашке; лицо его было чёрным от копоти. Он едва держался на велосипеде и, подъехав к лавке, не соскочил, а упал с него, потом, шатаясь, поднялся по ступенькам и свалился без памяти на первый попавшийся стул.

Раздались тревожные крики, из соседнего дома бежали люди, и через минуту в лавке и примыкавшем к ней трактире яблоку негде было упасть.

— Что случилось? Что случилось? — слышалось отовсюду.

Бруноне с рюмкой коньяку в руке пробрался через толпу, окружившую человека в разорванной рубашке, и крикнул:

— Потише, ради бога! Да расступитесь немного, ему нечем дышать!

В самом деле, дышал он с трудом, прерывисто, хрипло; губы у него пересохли, запеклись.

— Это Альфонсо Мальвиста, — сказала одна из женщин. — Он работает на СБ.

Прибежал какой-то старик, истошно крича:

— Несчастье, люди! Несчастье! Я был в поле и вдруг слышу грохот, словно бомба разорвалась!

Бруноне влил в рот Альфонсо несколько капель коньяку и крикнул Чечилии, чтобы она принесла холодной воды; Альфонсо вздрогнул всем телом, сделал глоток, приподнял голову.

Ему положили на лоб мокрую тряпку, но он сбросил её, закрыл лицо руками и заговорил, рыдая от горя и ярости:

— Если бы вы знали!.. Если бы вы только знали!.. Мы были там, в пакгаузе. Кто-то смеялся. Потом всё полетело в воздух... Дым, гарь... Понять не могу, как я сам уцелел. Ведь я был рядом с ними. Никого больше в живых не осталось... Я видел своими глазами...

Он вдруг остановился. Обступившие его люди ждали в напряжённом молчании.

— Шесть трупов... Их накрыли простынями, чтобы не было видно...

Он опять замолчал, как бы ужаснувшись тому, что он сам говорил, схватил Бруноне за руку и пробормотал, не сдерживая слёз, оставлявших светлые бороздки на его почерневшем лице:

— Из нашего посёлка четверо... Биджо, Ризьеро, Элизео... Известите семьи, пусть пойдут...

В лавке и в толпе, теснившейся на улице, раздались взволнованные возгласы:

— Что он говорит? Громче! Говори громче!

Но Бруноне закричал:

— Обождите...— И, обернувшись к дочери, стоявшей позади него с кувшином в руках, добавил:— И ты помолчи! — хотя Чечилия и без того была не в состоянии говорить и даже плакать. Именно голос отца и вывел её из оцепенения.

— А Фаустино? — спросила она. — Там ведь был и Фаустино, сын старухи Ассунты? Он сегодня в первый раз вышел на работу...

Альфонсо взял рюмку коньяку из руки лавочника и залпом выпил её.

— Ассунта? Нет, ей не стоит ходить. От Фаустино ничего не осталось. Ничего.

*Перевод с итальянского К. Наумова.*



# ПУБЛИЦИСТИКА

Е. КАСИМОВСКИЙ

★

## СТАЛИНСКАЯ ПРОГРАММА ПОСТРОЕНИЯ КОММУНИЗМА

**В** своей классической работе «Экономические проблемы социализма в СССР» И. В. Сталин обобщил опыт социалистического строительства в Советской стране, указал пути дальнейшего развития нашей экономики и постепенного перехода от социализма к коммунизму.

Маркс и Энгельс лишь в самых общих чертах могли предвидеть, каким будет коммунистическое общество. Ленин говорил, что мы ещё не знаем и не можем знать, какими путями, через какие этапы пойдёт человечество к коммунизму. Сталин, развивая марксизм-ленинизм, создал стройное и целостное учение о коммунизме, дал анатомию коммунистического общества.

И. В. Сталин показал, что коммунизм — это такое общество, где в отличие от социализма будет единая общенародная форма собственности; исчезнут товарное производство и товарное обращение с его «денежным хозяйством». Не будет классов и классовых различий между тружениками промышленности и сельского хозяйства. Отомрёт государство (если капиталистическое окружение будет уничтожено и заменено окружением социалистическим), и в качестве преемника общенародной собственности выступит само общество в лице его центрального руководящего экономического органа. Путём непрерывного роста и совершенствования производства на базе высшей техники будет достигнуто изобилие всех материальных и культурных благ, что позволит полно-

стью удовлетворять потребности всех членов общества. Ликвидируются существенные различия между городом и деревней, между промышленностью и сельским хозяйством, между умственным и физическим трудом. Труд превратится в первую жизненную потребность людей. Общественная собственность будет расцениваться всеми людьми как незаменимая и неприкосновенная основа существования общества.

В коммунистическом обществе производство будет регулироваться потребностями общества, а распределение продуктов будет производиться по принципу коммунизма: «от каждого по способностям, каждому по потребностям»; уровень культуры станет исключительно высоким, так как всем членам общества будет обеспечено всестороннее развитие их физических и умственных способностей, каждый получит образование, достаточное для того, чтобы стать активным деятелем общества, иметь возможность свободно выбирать себе профессию.

Марксизм-ленинизм учит, что социализм и коммунизм — это две ступени развития одной и той же экономической формации: социализм — первая ступень, коммунизм — высшая ступень. Они имеют одну и ту же экономическую основу — общественную собственность на средства производства. В их основе лежит единый способ производства. Это определяет и характер перехода от социализма к коммунизму.

До социализма переход от одного

способа производства к другому происходил в результате конфликта между возросшими производительными силами и устаревшими производственными отношениями, которые тормозили, сковывали дальнейшее развитие производительных сил. Этот конфликт разрешался социальной революцией. Товарищ Сталин учит: «На основе конфликта между новыми производительными силами и старыми производственными отношениями, на основе новых экономических потребностей общества возникают новые общественные идеи, новые идеи организуют и мобилизуют массы, массы сплачиваются в новую политическую армию, создают новую революционную власть и используют её для того, чтобы упразднить силой старые порядки в области производственных отношений и утвердить новые порядки. Стихийный процесс развития уступает место сознательной деятельности людей, мирное развитие — насильственному перевороту, эволюция — революции»<sup>1</sup>.

Иначе происходит переход от социализма к коммунизму, поскольку это ступени одной экономической формации. Законы развития социализма есть и законы постепенного перехода от социализма к коммунизму. Переход осуществляется без политических переворотов, без революций, постепенно, путём перерастания нижней фазы коммунизма в его высшую фазу. Социалистическое общество имеет возможность своевременно и планомерно привести отставшие производственные отношения в соответствие с возросшими производительными силами. Только так, а не в смысле замедленности развития, и можно понимать постепенность перехода от социализма к коммунизму. Благодаря тому, что при социализме обеспечен простор действию закона обязательного соответствия производственных отношений характеру производительных сил, экономическое развитие протекает у нас неизмеримо быстрее, чем при любом

другом досоциалистическом способе производства. Наша страна, успешно построившая социализм, поднявшаяся на первую ступень коммунизма, экономически могучая, имеет все возможности к тому, чтобы осуществлять переход от социализма к коммунизму исключительно высокими темпами.

«У нас имеется всё необходимое для построения полного коммунистического общества,— говорил товарищ Маленков на XIX съезде КПСС.— Природные богатства Советской страны неисчерпаемы. Наше государство доказало свою способность использовать эти огромные богатства на пользу трудящихся. Советский народ показал своё умение строить новое общество и уверенно смотрит в будущее.

Во главе народов Советского Союза стоит испытанная и закалённая в боях партия, неуклонно проводящая ленинско-сталинскую политику. Под руководством Коммунистической партии завоёвана всемирно-историческая победа социализма в СССР и навсегда уничтожена эксплуатация человека человеком. Под руководством партии народы Советского Союза успешно борются за осуществление великой цели построения коммунизма в нашей стране»<sup>1</sup>.

Ещё до Великой Октябрьской социалистической революции В. И. Ленин писал: «Наша партия смотрит дальше: социализм неизбежно должен постепенно перерасти в коммунизм...»<sup>2</sup>.

И. В. Сталин учит, что наше движение вперёд к коммунизму неодолимо, что оно определяется действием объективных экономических законов развития социализма. Открыв и гениально сформулировав основной экономический закон социализма, товарищ Сталин показал, что объективно всё движение нашей страны ведёт и приведёт к коммунизму.

<sup>1</sup> Г. Маленков. Отчётный доклад XIX съезду партии о работе Центрального Комитета ВКП(б). Госполитиздат, 1952, стр. 108.

<sup>2</sup> В. И. Ленин. Сочинения, т. 24, стр. 62.

<sup>1</sup> И. Сталин. Вопросы ленинизма, изд. 11-е. Госполитиздат, 1952, стр. 600—601.

Существенные черты и требования основного экономического закона социализма — обеспечение максимального удовлетворения постоянно растущих материальных и культурных потребностей всего общества путём непрерывного роста и совершенствования социалистического производства на базе высшей техники.

Советское государство, обеспечивая непрерывный рост и совершенствование производства, в конечном счёте приведёт страну к подлинному изобилию всех материальных и духовных благ. А это является одной из предпосылок перехода от социализма к коммунизму.

Для достижения высшей фазы коммунизма необходимо пройти ряд этапов экономического и культурного перевоспитания общества. В своём труде «Экономические проблемы социализма в СССР» И. В. Сталин впервые в истории марксизма дал программные положения о трёх основных предварительных условиях, осуществление которых подготовит действительный переход от социализма к коммунизму. Эти условия показывают пути развития производительных сил, производственных отношений и подъёма культуры всего общества.

Необходимо, во-первых, указывал И. В. Сталин, прочно обеспечить непрерывный рост всего общественного производства с преимущественным ростом производства средств производства.

Необходимо, во-вторых, путём постепенных переходов, осуществляемых с выгодой для колхозов и, следовательно, для всего общества, поднять колхозную собственность до уровня общенародной собственности, а товарное обращение, тоже путём постепенных переходов, заменить системой продуктообмена.

Необходимо, в-третьих, добиться такого культурного роста общества, который бы обеспечил всем членам общества всестороннее развитие их физических и умственных способностей, чтобы члены общества имели возможность получить образование, достаточное для того, чтобы стать ак-

тивными деятелями общественного развития, чтобы они имели возможность свободно выбирать профессию, а не быть прикованными на всю жизнь, в силу существующего разделения труда, к одной какой-либо профессии.

Все эти три предварительных основных условия перехода от социализма к коммунизму тесно связаны между собой. Товарищ Сталин учит, что только после выполнения в с е х трёх условий, взятых вместе, можно будет перейти от социалистической формулы — «от каждого по способностям, каждому по труду» к коммунистической формуле — «от каждого по способностям, каждому по потребностям».

В соответствии с требованиями основного экономического закона в социалистическом обществе происходит непрерывное и притом всестороннее развитие общественного производства. При социализме в центре внимания находится человек с его потребностями. Цель социалистического производства — максимальное удовлетворение постоянно растущих материальных и культурных потребностей общества. Чтобы иметь возможность всё полнее их удовлетворять, нужно непрерывно увеличивать производство, всё больше и больше выпускать разнообразных предметов потребления: продуктов питания, тканей, обуви, мебели, книг, радио-приёмников, автомашин и т. д. Нужно улучшать их качество, расширять ассортимент. Нужно больше строить клубов, театров, библиотек, здравниц. Следовательно, средство достижения цели социалистического производства — непрерывный рост и совершенствование всех видов производства. Этот рост может осуществляться только на основе высшей техники, неуклонного развития технической базы производства.

Развитие техники повышает производительность труда и позволяет увеличивать масштабы производства. Если бы техника не росла и не развивалась, то развитие производства замедлялось бы — оно тогда

могло бы осуществляться в основном только за счёт увеличения количества работающих.

Первое из трёх сталинских предварительных условий перехода от социализма к коммунизму и предусматривает пути развития всех видов производства. Это условие непосредственно вытекает из действия основного экономического закона социализма. Оно определяется также требованиями закона об отношениях между производительными силами и производственными отношениями в процессе развития общества.

Чтобы производить разнообразные материальные блага, люди должны иметь орудия производства — станки, машины, разнообразное оборудование. Орудия производства и люди, которые, пользуясь ими, производят материальные блага, составляют производительные силы общества. В процессе производства люди вступают в определённые отношения друг к другу — в производственные отношения. Совокупность производительных сил и производственных отношений составляет способ производства. При этом развитие производства всегда начинается с развития производительных сил, в первую очередь — с развития орудий производства. Прежде всего создаются новые, более производительные и совершенные станки, машины, механизмы.

Очевидно, что непрерывно развивать и совершенствовать все виды производства в интересах наиболее полного удовлетворения растущих потребностей социалистического общества возможно только при условии развития производительных сил, прежде всего — орудий производства, техники производства. Товарищ Сталин указывал, что «...техника не может стоять на одном месте, она должна всё время совершенствоваться, что старая техника должна выводиться из строя и заменяться новой, а новая — новейшей»<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> И. Сталин. Экономические проблемы социализма в СССР. Госполитиздат, 1952, стр. 90.

Для того чтобы обеспечить всестороннее развитие производства, необходимо выпускать, в первую очередь, больше всевозможных орудий производства. В сравнении со всеми другими средствами производства орудия производства играют определяющую роль в развитии общественного производства. «Когда марксисты говорят о производстве средств производства, — указывал И. В. Сталин, — они имеют в виду прежде всего производство орудий производства...»<sup>1</sup>. Этому требованию и отвечает первое сталинское условие перехода к коммунизму, так как оно предусматривает непрерывный рост производства с преимущественным ростом производства средств производства, то есть орудий производства и всего, что нужно для их изготовления, — металла, электроэнергии, топлива, химических продуктов, строительных материалов и т. п. Без преимущественного роста средств производства вообще невозможно осуществить расширенное воспроизводство.

Быстрое развитие производства средств производства обеспечивает все отрасли народного хозяйства высшей техникой, ускоряет создание материально-технической базы коммунизма.

Каждому обществу соответствует своя материально-техническая основа. Её предпосылки созревают в недрах предшествующего строя, но окончательно она создаётся лишь в условиях нового общественного способа производства. В недрах феодализма созрели предпосылки для материально-технической базы капитализма. Но эта база создавалась лишь в ходе развития капитализма. Маркс в «Капитале» указывал: «С увеличением числа изобретений и возрастанием спроса на вновь изобретенные машины все более развивалось, с одной стороны, распадение фабрикаций машин на многочисленные самостоятельные отрасли, с другой стороны — разделение труда внутри

<sup>1</sup> И. Сталин. Экономические проблемы социализма в СССР, стр. 54.

машиностроительных мануфактур. Таким образом, мы открываем здесь в мануфактуре непосредственную техническую основу крупной промышленности. Она производила машины, при помощи которых крупная промышленность устраняла ремесленное и мануфактурное производство в тех отраслях производства, которыми она прежде всего овладевала. Следовательно, машинное производство первоначально возникло на не соответствующем ему материальном базисе. На известной ступени развития оно должно было произвести переворот в самой этой основе, которую оно сперва нашло готовой, а затем выработывало дальше, сохраняя ее старую форму, и создать для себя новый базис, соответствующий его собственному способу производства»<sup>1</sup>.

Так же создается материально-техническая база социализма. В недрах капитализма на основе развития техники производства, создания крупных предприятий, в которых сосредоточены огромные средства производства и тысячи рабочих, вызывают ростки материально-технической базы нового общественного строя. Возросшие производительные силы приходят в противоречие с существующими производственными отношениями. Производительные силы приобретают общественный характер, а присвоение, форма собственности остаётся частной, капиталистической.

Советская власть под руководством Ленина и Сталина устранила возникшее противоречие. Опираясь на экономический закон обязательного соответствия производственных отношений характеру производительных сил, советская власть обобществила средства производства, сделала их общественной собственностью и тем уничтожила систему эксплуатации, создала социалистические формы хозяйства. «Не будь этого закона, — писал И. В. Сталин, — и не опираясь на него, Советская власть не

смогла бы выполнить своей задачи»<sup>1</sup>. В ходе претворения в жизнь ленинско-сталинского плана построения социализма, в итоге выполнения сталинских пятилеток была создана материально-техническая база социализма.

В ходе развития социализма, в процессе постепенного перехода к коммунизму материально-техническая база социализма развивается и приобретает черты, свойственные материальной базе коммунизма.

Материально-техническую базу коммунизма можно определить как совокупность орудий производства, являющихся общенародной собственностью, достигших такого уровня развития, который обеспечивает на базе последовательной электрификации и автоматизации производства изобилие материальных и духовных благ.

Основной путь создания материально-технической базы коммунизма — последовательная электрификация производства. Она определяет и другие линии развития технической базы: механизацию, автоматизацию и химизацию производства. В своей гениальной работе «Экономические проблемы социализма в СССР» И. В. Сталин вновь подчеркнул, что единственно правильной формулой коммунизма является ленинская формула: «Коммунизм есть советская власть плюс электрификация всей страны».

Без широкого внедрения электричества во все отрасли народного хозяйства нельзя достигнуть высшего уровня техники. Приведём пример, характеризующий это положение. На новом индустриальном гиганте — Люберецком заводе железобетонных изделий — установлено свыше десяти тысяч различных механизмов, моторов, приборов автоматики и другого оборудования. Один из агрегатов — «МК-251» — автоматически выполняет все операции по изготовлению каркаса железобетонной колонны. Рабочий лишь следит за действием ме-

<sup>1</sup> К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. XVII, стр. 420.

<sup>1</sup> И. Сталин. Экономические проблемы социализма в СССР, стр. 7.



ханизмов. Приборы сигнализируют о ходе работы. В случае нарушений ритма производственного процесса вспыхивают световые надписи на пульте управления: «Нет поперечных прутков», «Нет продольных стержней», «Каркас не снят». Если рабочий не заметит этих сигналов, то раздаётся гудок. Работа этого агрегата, так же как и всего завода, производится с помощью электричества. Общая протяжённость электрических проводов, расположенных на территории завода, составляет около пятисот километров! Без электрической энергии существование этого завода было бы, конечно, невозможно.

Большое значение имеет электрическая энергия для развития сельского хозяйства. Применение электричества облегчает труд колхозников, повышает его производительность, способствует росту урожайности сельскохозяйственных культур и продуктивности животноводства. Одновременно с этим электрификация преобразует и быт деревни.

Вот что рассказывает председатель колхоза «Серп и молот», Башкирской АССР, тов. П. Крючков: «Мысль производить часть сельскохозяйственных работ при помощи электроэнергии подсказала сама необходимость. Нашему колхозу на вечное пользование государством передано 3 996 гектаров земли. А рабочих рук в колхозе маловато. И электромоторы весьма существенно помогают нам. Их в колхозе 5, мощностью от 1 до 22 киловатт.

Выгода применения электроэнергии в сельскохозяйственных работах очевидна. Так, например, обмолот зерна с площади в 130 гектаров обошёлся нашему колхозу в 800 рублей: в семь раз дешевле, нежели при молотбе с помощью двигателя внутреннего сгорания...

На очистке зерна, когда машина приводится в движение ручным способом, обычно занято 4 человека. Производительность её — 50 центнеров за смену. После перевода машины на работу при помощи электромотора производительность её увеличи-

лась в два раза, а количество занятых при ней колхозников сократилось вдвое... Электричество — отличный помощник в колхозном производстве».

Велика роль электрификации железнодорожного транспорта. Она повышает пропускную способность железных дорог, ускоряет движение поездов. Электровозы в зимних условиях не только не снижают качества работы, но даже повышают его. Каждый электровоз заменяет два-три мощных паровоза. Сокращается потребность в топливе, так как коэффициент полезного действия электровозов выше, чем паровозов, а когда источником получения электрической энергии служит гидроэлектростанция, то потребность в топливе вообще отпадает. Если, например, электрифицировать железную дорогу Москва — Свердловск, то поезд будет затрачивать на этот путь вместо двух суток только одни сутки.

Коммунистическая партия и Советское правительство, опираясь на знание экономических законов социализма, ускоряют наше продвижение по пути к коммунизму. Из года в год масштабы производства в нашей стране увеличиваются, при этом производство средств производства растёт быстрее, чем другие отрасли народного хозяйства.

Так, например, директивы XIX съезда партии по пятому пятилетнему плану наметили новый мощный подъём всего общественного производства, в первую очередь — средств производства. За текущее пятилетие всё промышленное производство увеличится примерно на 70 процентов, а выпуск средств производства возрастёт примерно на 80 процентов. Директивами предусмотрен среднегодовой рост всей промышленной продукции примерно на 12 процентов, а средств производства — на 13 процентов. Фактически же за два первых года пятой пятилетки на базе развития социалистического соревнования, роста техники производства и повышения производительности труда всё промышленное производство

увеличивалось в среднем за год более чем на 14 процентов, а выпуск средств производства — на 15 процентов. Следовательно, уже созданы условия для перевыполнения промышленности нового пятилетнего плана.

Чтобы обеспечить и дальше высокие темпы роста производства, партия предусмотрела увеличить капитальные вложения в промышленность более чем вдвое по сравнению с четвёртой пятилеткой. Строятся сотни фабрик, заводов, закладываются новые рудники, шахты, возводятся домны, мартены, сооружаются прокатные станы, электрические станции. Строительство идёт по всей нашей необъятной стране.

За пять лет мощность наших электрических станций примерно удвоится. Значит, за этот период в строй вступят такие мощности, какие были введены в нашей стране за 70 лет, предшествующих пятой пятилетке (первые электростанции в России были построены в начале 80-х годов прошлого века). Выработка электрической энергии увеличится за пятилетие примерно на 80 процентов.

Эти задания партии перевыполняются. За истекшие два года наша страна получила сотни миллионов киловатт-часов электроэнергии сверх плана. В 1952 году СССР произвёл 117 миллиардов киловатт-часов электрической энергии — примерно столько, сколько выработали все станции Англии, Норвегии, Италии, Финляндии и Португалии, вместе взятые.

Успешно развиваются и другие важнейшие отрасли тяжёлой промышленности. Перевыполняется план по выплавке чёрного металла, добыче топлива. В 1952 году СССР выплавил 25 миллионов тонн чугуна, или примерно на 70 процентов больше, чем в 1940 году; 35 миллионов тонн стали, или примерно на 90 процентов больше, чем в 1940 году.

За пятилетие добыча угля возрастёт примерно на 43 процента. За первые два года она уже поднялась на 16 процентов. В 1952 году ежедневно добывалось примерно 14 тысяч большегрузных железнодорож-

ных вагонов угля. Наша страна обогнала Англию, которая в течение нескольких столетий занимала по угледобыче первое место в Европе.

Высокими темпами развивается наша нефтяная промышленность. За 1949—1951 годы прирост добычи нефти составил 13 миллионов тонн. Добыча нефти в пятой пятилетке увеличится примерно на 85 процентов. В 1952 году СССР добыл 47 миллионов тонн нефти.

Рост производства электроэнергии, металла, топлива позволяет резко поднять выпуск орудий производства — развить машиностроение, являющееся основным нервом промышленности. За текущее пятилетие продукция машиностроения должна повыситься примерно в два раза. Следовательно, в 1955 году каждые шесть месяцев будет выпускаться столько разнообразной продукции машиностроения, сколько было произведено за весь 1950 год. Только за два первых года новой пятилетки продукция машиностроения возросла более чем на 40 процентов. Советское машиностроение ежедневно даёт стране один-два новых типа машин, механизмов, при этом растёт доля машин-автоматов и полуавтоматов. Наиболее быстрыми темпами растут те виды машиностроения, которые являются основой для создания высшей техники коммунизма.

В результате развития машиностроения за два года пятой пятилетки резко поднялась техника во всех областях производства. К началу 1953 года была завершена автоматизация электрических станций Министерства электростанций и электропромышленности. Это значит, что рабочие электростанций теперь не затрачивают никакого физического труда на пуск, регулирование и остановку механизмов этих станций, а количество обслуживающего персонала резко уменьшилось. Идёт перевод гидроэлектростанций на телеуправление. К началу 1953 года половина мощности гидроэлектростанций была переведена на телеуправление. Такие станции работают или совсем без людей, закрытые на за-

мок, или на станциях имеется лишь несколько дежурных, наблюдающих за приборами. Управление осуществляется централизованно, с одного диспетчерского пункта, расположенного иногда за десятки и сотни километров от станции.

Машиностроение освоило в новой пятилетке производство новых мощных турбин и котлов. Ленинградский металлический завод имени И. В. Сталина изготовил паровую турбину, названную «турбиной мира», мощность которой 150 тысяч киловатт. Одной такой турбины достаточно, чтобы обеспечить электроэнергией город, насчитывающий сотни тысяч жителей. Изготавливаются огромные гидротурбины для новых гидротехнических строек. Мощность каждой гидротурбины 126 тысяч киловатт, что примерно вдвое превышает мощность первенца советского гидроэлектростроения — Волховской гидростанции. Производство гидротурбин в пятой пятилетке возрастёт на 680 процентов!

В угольной промышленности завершена механизация зарубки, отбойки и транспортировки угля, расширяется механизация наиболее трудоёмких работ — навалки угля в лавах и погрузки угля и породы при прохождении подготовительных выработок. Началась автоматизация угольных шахт, которая в конечном счёте приведёт к тому, что ручной труд под землёй будет почти полностью заменён машинами.

Много новых мощных механизмов изготовлено для строительных работ. Осипенковский завод строительного и дорожного машиностроения изготовил замечательную землеройную машину — струг «Д-264». Его производительность в два с лишним раза выше, чем производительность знаменитого шагающего экскаватора «ЭШ-14/65». Одна такая машина, которую обслуживают только шесть человек, способна заменить труд почти двадцати тысяч человек.

Новые типы машин и механизмов получили сельское хозяйство, все виды транспорта. Советское государство последовательно обеспечивает преимущественное развитие производства средств производства — основу неуклонного подъёма всех отраслей социалистического производства на базе высшей техники и важнейшее условие расширенного воспроизводства. В 1952 году в Советском Союзе было произведено примерно в 2,3 раза больше промышленной продукции, чем в 1940 году, при этом производство средств производства увеличилось в 2,7 раза, а выпуск машин и оборудования возрос в три с лишним раза.

Темпы расширенного воспроизводства в нашей стране неизмеримо выше, чем в капиталистических странах. Это подтверждается следующими данными, показывающими, во сколько раз выросло промышленное производство в 1952 году по отношению к 1929 году:

Страны	Вся промышленность	Чугун	Сталь	Уголь	Электроэнергия
СССР . . . . .	более 14,0	6,3	7,1	7,6	18,9
США . . . . .	около 2,0	1,3	1,5	0,8	3,3
Англия . . . . .	1,6	1,3	1,7	0,9	3,9
Франция . . . . .	1,1	0,9	1,1	1,0	2,7

Из приведённой таблицы видно, что, в то время как производство промышленной продукции СССР за 23 года увеличилось более чем в 14 раз, промышленность США за это время даже не удвоила своего производства, Англия увеличила его

немногим больше чем наполовину, промышленность Франции, как и других капиталистических стран Западной Европы, попрежнему близка к уровню, достигнутому в 1929 году.

В 1952 году промышленное производство капиталистического мира

сократилось на 1,2 процента. За этот год в США добыча угля уменьшилась на 65 миллионов тонн, выплавка чугуна — на 8 миллионов тонн, стали — на 11 миллионов тонн.

Линия развития нашей страны — это линия непрерывного подъёма мирной экономики, не знающей кризисов и развивающейся в интересах обеспечения максимального удовлетворения постоянно растущих материальных и культурных потребностей общества. Наша экономика обеспечивает систематическое повышение жизненного уровня народных масс и полную занятость рабочей силы.

Совершенно иное положение в капиталистических странах. Производительные силы там топчутся на месте, экономика бьётся в тисках всё более углубляющегося общего кризиса капитализма и постоянно повторяющихся кризисов перепроизводства. Линия экономики капитализма — это линия милитаризации, одностороннего развития отраслей производства, работающих на войну; конкурентной борьбы между странами и порабощения одних стран другими; ухудшения материального положения трудящихся. Так проявляется действие открытого И. В. Сталиным основного экономического закона современного капитализма. Главные черты и требования этого закона: «...обеспечение максимальной капиталистической прибыли путём эксплуатации, разорения и обнищания большинства населения данной страны, путём закабаления и систематического ограбления народов других стран, особенно отсталых стран, наконец, путём войн и милитаризации народного хозяйства, используемых для обеспечения наивысших прибылей»<sup>1</sup>.

Преимущественный рост производства средств производства имеет место и при капитализме. Однако в капиталистическом хозяйстве он используется так, как этого требует основной экономический закон капи-

тализма, то есть в интересах извлечения капиталистами наибольших прибылей, и не может обеспечивать непрерывный подъём всех отраслей общественного производства, не служит интересам общества.

Коммунистическая партия, Советское правительство, опираясь на основной экономический закон социализма и на сталинскую науку о строительстве коммунистического общества, обеспечивают непрерывное увеличение производства с преимущественным ростом производства средств производства, мощное развитие производительных сил страны. Так неуклонно осуществляется первое из трёх основных предварительных условий перехода от социализма к коммунизму, указанных великим Сталиным.

Общественное производство в любой общественно-экономической формации состоит из двух сторон, неразрывно связанных друг с другом и воздействующих друг на друга. Это — производительные силы и производственные отношения.

Определяющим элементом общественного производства являются производительные силы. Но производственные отношения, возникнув на основе определённых производительных сил, в свою очередь, оказывают активное воздействие на их развитие, могут служить могучим двигателем производительных сил или же, наоборот, задерживать и замедлять их развитие. Товарищ Сталин учит, что новые, передовые производственные отношения, соответствующие характеру производительных сил, играют главную и притом решающую роль, которая определяет мощное развитие производительных сил.

Производительные силы получают простор для своего развития тогда, когда производственные отношения соответствуют их характеру, состоянию. Но по мере развития общества между производительными силами и старыми производственными отношениями возникает противоречие. Производственные отношения, кото-

<sup>1</sup> И. Сталин. Экономические проблемы социализма в СССР, стр. 38.

рые раньше играли главную и решающую роль в развитии производительных сил, начинают тормозить дальнейшее их развитие. Тогда на их место появляются новые производственные отношения, роль которых состоит в том, чтобы быть главным двигателем дальнейшего развития производительных сил.

На данном этапе развития нашего социалистического общества производственные отношения полностью соответствуют росту производительных сил, быстро двигая их вперед. Однако это не означает, что между ними не существует никаких противоречий. Противоречия есть и будут, поскольку и при социализме развитие производственных отношений отстает и будет отставать от развития производительных сил. Это закономерно, так как производительные силы являются, как указывал И. В. Сталин, наиболее подвижным и революционным элементом производства, а производственные отношения преобразуются применительно к характеру производительных сил спустя лишь некоторое время.

В досоциалистических формациях несоответствие производственных отношений характеру производительных сил приводит к разрушению производительных сил, к кризисам, и является экономической основой социальной революции, которая приводит производственные отношения в соответствие с изменившимися производительными силами. При социализме процесс протекает иначе. Здесь дело не доходит до конфликта между производственными отношениями и производительными силами социалистического общества и при правильной политике существующие между ними противоречия не могут превратиться в противоположность. Коммунистическая партия и Советское правительство, опираясь на знание законов развития общества, могут своевременно принять меры к тому, чтобы привести производственные отношения в соответствие с изменившимися производительными силами. «Социалистическое общество, — указывал И. В.

Сталин, — имеет возможность сделать это, потому что оно не имеет в своём составе отживающих классов, могущих организовать сопротивление. Конечно, и при социализме будут отстающие инертные силы, не понимающие необходимости изменения в производственных отношениях, но их, конечно, нетрудно будет преодолеть, не доводя дело до конфликта»<sup>1</sup>.

И социализм и коммунизм имеют одну и ту же экономическую основу, а именно — общественную собственность на средства производства. Но в социалистическом обществе общественная собственность существует в двух формах: в форме государственной собственности, являющейся общенародным достоянием, и в форме групповой — колхозной собственности. Это приводит к необходимости сохранения в СССР товарного производства и товарного обращения. Такие явления, как колхозная собственность и товарное обращение, приносят и в ближайшее время будут приносить пользу развитию нашего народного хозяйства. Но уже теперь — и чем дальше, тем больше — они начинают создавать препятствия для дальнейшего роста производительных сил Советской страны.

Второе основное сталинское условие подготовки перехода к коммунизму и предусматривает мероприятия, которые позволят ликвидировать противоречия между ростом производительных сил и нынешними производственными отношениями, так как они начинают стареть. Жизнь выдвигает необходимость серьёзных изменений в социалистических производственных отношениях. А именно: становится необходимым поднятие колхозно-групповой собственности до уровня общенародной и замены товарного обращения продуктообменом.

К производственным отношениям, как указывал И. В. Сталин, относятся: «а) формы собственности на

<sup>1</sup> И. Сталин. Экономические проблемы социализма в СССР, стр. 51.

средства производства; б) вытекающие из этого положение различных социальных групп в производстве и их взаимоотношение, или, как говорит Маркс: «взаимный обмен своей деятельностью»; в) всецело зависящие от них формы распределения продуктов»<sup>1</sup>.

Колхозная собственность возникла в результате добровольного обобществления рабочего скота, плугов, сеялок, борон, молотилок и других сельскохозяйственных орудий, семенных запасов, кормов, хозяйственных построек, необходимых для ведения артельного хозяйства. Хотя колхозная собственность и является социалистической собственностью, она существенно отличается от другой формы социалистической собственности — государственной.

Государственная собственность возникла в результате отмены частной собственности на средства производства и уничтожения капиталистической системы хозяйства. В государственных предприятиях станки, машины, разнообразное оборудование, материалы и производственная продукция принадлежат государству. Иначе обстоит дело в колхозах. Колхозы расположены и работают на государственной земле, которая за ними закреплена навечно. Их обслуживают государственные машинно-тракторные, электрические и другие станции. Но колхозы имеют и свои средства производства: некоторые орудия производства, колхозные электростанции, семена и т. п.

Продукция колхозного производства: зерно, хлопок, лён, сахарная свёкла, мясо, сало, молоко и т. д. — является собственностью колхозов. Государство не может распоряжаться колхозной продукцией, оно может лишь покупать её. Значительная часть колхозной продукции, излишки колхозного производства, которые неуклонно увеличиваются, поступают на рынок.

Это приводит к тому, что у нас сохраняется товарное обращение, «де-

нежное хозяйство», что не совместимо с принципом коммунизма, когда распределение продуктов будет производиться не по труду, а по потребностям. Наличие колхозной собственности создаёт препятствие для полного охвата всего народного хозяйства, особенно сельского хозяйства, государственным планированием.

Наличие двух форм собственности порождает существенное различие между городом и деревней. В работе «Экономические проблемы социализма в СССР» И. В. Сталин показал, что вековая противоположность между городом и деревней, между промышленностью и сельским хозяйством, которая проявляется в крайней отсталости деревни от города в экономическом, политическом и культурном отношении, с уничтожением капитализма и системы эксплуатации уничтожается.

Много веков назад зародилась противоположность между городом и деревней, она всё время углублялась и при капитализме превратилась в настоящую пропасть. И сейчас в капиталистических странах буржуазия, крупные землевладельцы, кулаки, торговцы, спекулянты, ростовщики, банкиры нещадно обирают широкие крестьянские массы. Крестьяне разоряются, нищают, закабаляются. На промышленные товары устанавливаются высокие цены, а на продукцию сельского хозяйства — низкие. В результате капиталисты получают огромные прибыли, а фермеры разоряются. В Италии, например, до второй мировой войны крестьянин, чтобы купить железный плуг, должен был продать около 30 пудов пшеницы, а после войны для покупки такого же плуга ему нужно продать уже почти 44 пуда пшеницы. Интересы города и деревни при капитализме противоположны, на этой почве и возникло враждебное отношение сельского населения к городскому.

С укреплением социалистического строя на базе социалистической индустриализации и коллективизации сельского хозяйства в нашей стране исчезла противоположность

<sup>1</sup> И. Сталин. Экономические проблемы социализма в СССР, стр. 73.

между городом и деревней. Рабочий класс помог крестьянам освободиться от ига помещиков и кулаков, спекулянтов и ростовщиков. Социалистическая промышленность снабжает деревню множеством тракторов, комбайнов и других сельскохозяйственных машин, даёт огромное количество минеральных удобрений, сотни миллионов киловатт-часов электрической энергии. Государство выдаёт колхозам денежные кредиты, семенные ссуды. Город помогает повышать культурный уровень деревни. У нас осуществлено обязательное семилетнее обучение всей сельской молодёжи. Если до революции в сёлах и деревнях обучалось немногим более 6 миллионов человек, то в 1952 году общее количество учащихся в сельской местности достигло 29 миллионов человек.

В Армении есть небольшое село Арташат. В прошлом — это одно из глухих сёл, в котором почти не было грамотных. Теперь в селе две школы. Только в одной из них — двадцать два учителя. За годы советской власти это село дало двенадцать врачей, четырнадцать инженеров, пятьдесят восемь учителей, двенадцать агрономов, одного генерала и одного профессора. Сейчас в высших учебных заведениях Армении учатся 69 детей колхозников Арташата. Это лишь один из многочисленных примеров бурного расцвета культуры в наших колхозных сёлах. Для сельских жителей созданы сотни тысяч клубов, библиотек, изб-читален, домов культуры, детских яслей и садов, родильных домов и т. д.

Между городом и деревней, между крестьянством и рабочими у нас установилась крепкая дружба, возникли общие интересы. Трудники промышленности и сельского хозяйства одинаково заинтересованы в укреплении социализма и ускорении перехода к коммунизму. В область преданий ушла былая вражда деревни и города.

Но при социализме ещё остаётся существенное различие между деревней и городом, между сельским хозяйством и промышленностью. Оно

состоит в различии форм собственности — государственной и колхозной. Как показал И. В. Сталин, при коммунизме это различие исчезнет, так как в коммунистическом обществе будет единая общенародная собственность. При коммунизме останутся лишь несущественные различия между городом и деревней, порождаемые особенностями сельскохозяйственного производства, его отличиями от промышленного производства. Проблема ликвидации существенных различий — новая проблема, поставленная впервые в истории марксизма И. В. Сталиным. Важнейшим условием решения этой проблемы является подъём колхозной собственности до уровня общенародной.

Товарищ Сталин указал единственный правильный путь подъёма колхозной собственности до уровня общенародной. Для этого нужно исключить излишки колхозного производства из системы товарного обращения и включить их в систему продуктообмена между государственной промышленностью и колхозами.

С гениальной прозорливостью И. В. Сталин увидел зачатки более высокой формы экономических связей между промышленностью и сельским хозяйством, какой является продуктообмен, в существующем в нашей стране так называемом «отоваривании» сельскохозяйственных продуктов. «Задача состоит в том, чтобы эти зачатки продуктообмена организовать во всех отраслях сельского хозяйства и развить их в широкую систему продуктообмена с тем, чтобы колхозы получали за свою продукцию не только деньги, а главным образом необходимые изделия»<sup>1</sup>.

В настоящее время государство при заготовке технических культур, выращиваемых колхозами, а также некоторых продуктов животноводства не только платит деньги, но и отпускает различные промышленные товары, некоторые из них по льгот-

<sup>1</sup> И. Сталин. Экономические проблемы социализма в СССР, стр. 94.

ным ценам. Таким порядком заготавливаются хлопок, свёкла, лён, конопля, табак, мак, хмель, шёлковые коконы и некоторая другая продукция. Так, например, колхозы, сдавая государству сахарную свёклу, за каждый центнер получают, помимо денег, от 650 граммов до килограмма сахара по 3 рубля 80 копеек за килограмм. Колхозы Узбекистана получают за каждый сданный центнер свёклы, помимо сахара, по 30 килограммов зерна по льготной цене 2 рубля за килограмм и по 300 граммов растительного масла. При перевыполнении плана сдачи свёклы продажа продуктов колхозам увеличивается. Сахарные заводы выдают бесплатно колхозам семена, патоку, жом.

Хлопководческие колхозы при сдаче государству по контрактации хлопка-сырца получают от заготовительных организаций наряду с деньгами различные товары. За каждую сданную тонну хлопка-сырца колхоз покупает по льготной цене до 500 килограммов зерна, кроме того, по государственным розничным ценам до 40 килограммов растительного масла, до 10 килограммов ваты, до одного килограмма чая и до 30 метров хлопчатобумажных тканей. При сдаче хлопка сверх плана количество продаваемой продукции увеличивается.

При сдаче государству масличных культур, льна-долгунца, конопли колхозам продают по льготным ценам растительное масло, жмыхи или сахар. За сдачу молока и шерсти сверх плана колхозы получают от государства концентрированные корма, за сверхплановую сдачу кожи — кожаные товары, при продаже потребительской кооперации молока колхозы получают автомашины, сахар и другие товары.

Система продуктообмена обоюдно выгодна и для отдельных колхозов и для государства в целом. Колхозы покупают продукцию по более дешёвым ценам, чем в государственных магазинах, а для государства она выгодна потому, что стимулирует дальнейшее развитие сельского хозяйства, сокращает систему товарообращения.

Для исключения излишков колхозной продукции из системы товарного обращения и расширения системы продуктообмена необходимо всемерно увеличивать колхозное производство и развивать отрасли нашей промышленности, выпускающие предметы массового потребления, на которые в основном и обменивается продукция сельского хозяйства. Товарищ Сталин указывал, что развитие системы продуктообмена требует громадного увеличения продукции, отпускаемой городом деревне, поэтому необходимо систему продуктообмена вводить без особой торопливости, по мере накопления городских товаров.

Следовательно, базой развития продуктообмена является непрерывный рост и сельскохозяйственного и промышленного производства, то есть выполнение первого сталинского условия перехода к коммунизму. Такая связь этих двух условий. Оба они, вместе взятые, обеспечивают развитие производства в целом: и производительных сил и производственных отношений.

Коммунистическая партия и Советское правительством наметили провести в пятой пятилетке крупные мероприятия, которые будут стимулировать расширение продуктообмена.

На базе развития производства средств производства укрепляется и расширяется техническая база сельского хозяйства. Мощным потоком идёт продукция промышленности в деревню. Только за два года новой пятилетки сельское хозяйство получило 268 тысяч тракторов (в переводе на 15-силные), 94 тысячи зерноуборочных комбайнов, 116 тысяч грузовых автомобилей и более четырёх миллионов других разнообразных сельскохозяйственных машин. Значительно окрепла и расширилась техническая база МТС — опорных пунктов государственной собственности в сельском хозяйстве.

В текущей пятилетке завершается механизация основных полевых работ в колхозах, широко развёртывается механизация трудоёмких ра-



бот в животноводстве, овощеводстве, садоводстве, работ по транспортировке, погрузке и разгрузке сельскохозяйственной продукции, по орошению, осушению заболоченных угодий и освоению новых земель. В 1952 году машинно-тракторные станции выполнили три четверти основных полевых работ в колхозах. Почти вся пахота и свыше 80 процентов сева механизированы. Убрано комбайнами 70 процентов посевов зерновых, более двух третей посевов сахарной свёклы убрано свеклокомбайнами и тракторными свеклоподъёмниками.

Неуклонно растёт потребление электрической энергии в сельском хозяйстве. Уже созданы в районе Волго-Дона две первые электро-машинно-тракторные станции, создают ещё четыре МТС.

Растёт урожайность, увеличивает сбор зерна, хлопка, льна, других культур. За пятилетие валовой урожай зерна должен повыситься на 40—50 процентов, ещё более значительно увеличится сбор пшеницы — наиболее ценной зерновой культуры. В 1952 году СССР собрал 8 миллиардов пудов зерна — на 400 миллионов пудов больше, чем в 1950 году. Только этого прироста достаточно для питания населения всей Украины на протяжении года. В нашей стране успешно решена зерновая проблема. По производству пшеницы мы занимаем первое место в мире, опередив таких крупнейших производителей пшеницы, как США, Канада и Аргентина, вместе взятых.

Валовой урожай хлопка-сырца в 1955 году должен увеличиться по сравнению с 1950 годом на 55—65 процентов. Прирост урожая будет огромен: если один лишь этот прирост хлопка-сырца переработать на ткани, то на каждого жителя нашей страны в 1955 году дополнительно придётся примерно по 25 метров хлопчатобумажных тканей. В 1952 году СССР получил хлопка-сырца почти в полтора раза больше, чем в довоенном 1940 году; мы собрали этой культуры больше, чем Индия,

Египет, Турция и Афганистан, вместе взятые.

Ответственные задачи поставила Коммунистическая партия перед животноводами нашей страны. поголовье всех видов скота за пятилетие возрастёт на много миллионов голов. Больше будет высокопородного скота, повысится продуктивность животноводства. За два года — с июля 1950 по июль 1952 года — общее поголовье скота в СССР увеличилось почти на 27 миллионов голов.

Рост продукции тяжёлой промышленности и сельского хозяйства создаёт базу для развития лёгкой и пищевой промышленности. За пятилетие 1951—1955 гг. производство предметов массового потребления увеличится примерно на 65 процентов. Производство мяса возрастёт на 92 процента, животного масла — на 72 процента, увеличивается производство растительного масла, консервов, сахара, сгущённого молока, вин, шампанского и т. д. Высокими темпами растёт выпуск продукции лёгкой промышленности. В 1955 году по сравнению с 1950 годом будет произведено больше хлопчатобумажных тканей примерно на 61 процент, шерстяных тканей — на 54, кожаной обуви — на 55 процентов.

За первые два года пятилетки продукция пищевой промышленности увеличилась более чем на 25 процентов. Страна получила сверх плана много сыра, масла, сахара, кондитерских изделий и других продуктов питания. За 1951—1952 годы выпуск хлопчатобумажных тканей увеличился на 29 процентов и достиг 5 миллиардов метров, выработка шерстяных тканей поднялась на 22 процента и достигла 190 миллионов метров, производство кожаной обуви увеличилось на 32 процента и составило 250 миллионов пар. Увеличилось производство мебели, посуды, швейных машин, радиоприёмников и телевизоров, патефонов, велосипедов, мотоциклов, домашних холодильников, стиральных машин. Уже давно и в значительных размерах превзойдён довоенный уровень производства

всех видов предметов массового потребления.

Так создаются условия для расширения системы продуктообмена. Под руководством Коммунистической партии и Советского правительства наша страна быстрыми темпами идёт к изобилию, создание которого необходимо для перехода к коммунизму.

Развитие социалистического общественного производства требует роста культурного уровня общества и в то же время создаёт все условия для этого роста.

Основоположники марксизма высказывали в общих чертах положения о всестороннем развитии умственных и физических способностей членов коммунистического общества. И. В. Сталин конкретизировал эти высказывания, придал им практическое значение и показал пути подъёма культурного уровня народа.

Развивая известное положение Маркса о том, что при коммунизме «мерилом богатства будет уже не рабочее время, а свободное время», И. В. Сталин показал, что для перехода к коммунизму необходимо прежде всего изменить условия труда. Чтобы трудящиеся имели возможность получить всестороннее образование, постоянно повышать свой культурный уровень, они должны иметь достаточно свободного времени. С этой целью, указывал Сталин, нужно сократить рабочий день по крайней мере до 6, а потом и до 5 часов.

Для дальнейшего мощного культурного подъёма масс необходимо также ввести общеобязательное политехническое обучение. Это даст возможность людям свободно, со знанием дела выбирать профессию, чтобы не быть прикованными на всю жизнь к какой-либо одной профессии. Говоря о необходимости политехнического обучения, Ленин в 1920 году указывал: «Пытаться сегодня практически предвосхитить этот грядущий результат вполне развитого, вполне упрочившегося и сложивше-

гося, вполне развернутого и созревшего коммунизма, это все равно, что четырехлетнего ребенка учить высшей математике»<sup>1</sup>.

То, что было невозможно в те годы, в настоящее время стало необходимо.

Чтобы поднять культурный уровень народа необходимо также улучшить жилищные условия. В связи с быстрым ростом городского населения, огромными потерями, понесёнными нашим коммунальным хозяйством в годы Великой Отечественной войны, во многих городах ощущается серьёзный недостаток жилой площади. Это обстоятельство, а также необходимость создания наиболее благоприятных бытовых условий для трудящихся требуют огромного развёртывания жилищного строительства, с тем чтобы обеспечить всё население страны удобными, благоустроенными квартирами.

В обеспечении высокого культурного уровня членов общества виднейшую роль играет улучшение материального положения трудящихся. Определяя пути перехода от социализма к коммунизму, И. В. Сталин указывал на необходимость повышения реальной заработной платы рабочих и служащих минимум вдвое, если не более, как путём прямого повышения денежной зарплаты, так и, особенно, путём дальнейшего систематического снижения цен на предметы массового потребления.

Коммунистическая партия и Советское правительство последовательно проводят мероприятия, направленные к подъёму материального и культурного уровня народа. Директивы XIX съезда партии по пятому пятилетнему плану открыли перед нами новые перспективы роста культуры страны, подъёма жизненного уровня народа.

Производительность труда рабочих в промышленности за пятилетие возрастёт примерно на 50 процентов, поднимется она и в других отраслях народного хозяйства, что является значительным шагом вперёд в деле

<sup>1</sup> В. И. Ленин. Сочинения, т. 31, стр. 32.

подготовки условий сокращения рабочего дня.

К концу пятой пятилетки будет завершён переход от семилетнего обучения на всеобщее среднее образование в объёме десяти классов в столицах республик, городах республиканского подчинения, в областных, краевых и крупнейших промышленных центрах. В шестой пятилетке всеобщее среднее образование будет введено повсеместно. Мы находимся на пороге того времени, когда вся молодёжь Советского Союза будет получать законченное среднее образование. В связи с этим невольно вспоминаются мечты лучших людей прошлого. Замечательный русский учёный Д. И. Менделеев писал: «В идеале мне рисуется дело так: начальная школа в каждой деревне, младшие классы средней школы в каждом селе, старшие — в каждом городе, а то или иное высшее учебное заведение — в каждом губернском городе». В наше, советское время недалёк тот день, когда каждое колхозное село будет иметь десятилетку.

В текущей пятилетке намечено приступить к осуществлению политехнического обучения в средней школе и провести мероприятия, необходимые для перехода к всеобщему политехническому обучению.

В. И. Ленин писал: «...нельзя себе представить идеала будущего общества без соединения обучения с производительным трудом молодого поколения...»<sup>1</sup>. В нашей стране затрачиваются огромные государственные средства на повышение квалификации путём индивидуального и бригадного ученичества, через систему обучения на курсах, в школах, организованных на предприятиях. Развивается сеть заочных и вечерних общеобразовательных школ, средних и высших учебных заведений для обучения трудящихся без отрыва от производства. Всеми видами обучения у нас охвачено 57 миллионов человек. Нет в мире другой страны, где бы училось такое количество людей, как в СССР. У нас есть предприя-

тия, где учатся все рабочие, служащие.

За первые два года пятилетки индивидуально-бригадное ученичество и курсовое обучение прошли 14 миллионов 800 тысяч рабочих и служащих — каждый третий! Сотни тысяч колхозников учатся на различных курсах.

Количество студентов вузов за два года возросло на 193 тысячи человек и приблизилось к 1 450 тысячам человек. В нашей стране студентов в полтора раза больше, чем во всех странах капиталистической Европы, вместе взятых. В одной Москве студентов больше, чем в Англии.

Коммунистическая партия Советского Союза воспитывает наш народ в духе высокой, коммунистической сознательности, ведёт в массах большую организаторскую и идеологическую работу. Наша партия систематически повышает идейно-политический уровень трудящихся, использует все средства культурной работы для воспитания революционной бдительности. Путём всё более широкого развёртывания самокритики и критики снизу у нас усиливается борьба с недостатками и ошибками, с пережитками капитализма в сознании людей, со всем тем, что мешает нашему продвижению вперёд, что вредит делу строительства коммунистического общества.

В ходе создания материально-технической базы коммунизма, дальнейшего подъёма культуры членов общества стирается ещё имеющееся при социализме существенное различие между умственным и физическим трудом.

Проблема исчезновения различий между умственным и физическим трудом, как и между городом (промышленностью) и деревней (сельским хозяйством), — это новая проблема, поставленная И. В. Сталиным. Её не ставили ни Маркс, ни Энгельс, ни Ленин. В работе «Экономические проблемы социализма в СССР» товарищ Сталин показал, что вековая противоположность между физическим и умственным трудом уничтожается с уничтожением капитализма

<sup>1</sup> В. И. Ленин. Сочинения, т. 2, стр. 440.

и системы эксплуатации. Но при социализме остаются ещё существенные различия между людьми умственного и физического труда. Они состоят в том, что культурно-технический уровень большинства рабочих ещё ниже уровня технического персонала.

Дальнейшее развитие нашего общества по пути к коммунизму приведёт к ликвидации этого различия, к стиранию граней между рабочими и крестьянами, с одной стороны, и интеллигенцией, с другой стороны. Наглядно видно, как идёт этот процесс. Уже давно уничтожена неграмотность в нашей стране. Теперь на предприятиях многие рабочие имеют семилетнее и законченное среднее образование, а нередко и специальное техническое образование. По своему культурно-техническому уровню отдельные группы рабочих, колхозников не отличаются от инженеров и техников. Они продолжают повышать свою квалификацию, расширять знания, осваивать теорию. Это позволяет им ломать старые нормы выработки, совершенствовать технику производства. И таких рабочих, колхозников у нас становится всё больше и больше. Новаторы производства выступают перед инженерами и учёными с лекциями об опыте своей работы, вносят замечательные рационализаторские предложения, пишут книги. В своё время хорошо сказал Максим Горький: «...руки учат голову, затем поумневшая голова учит руки, а умелые руки снова и уже сильнее способствуют развитию мозга».

Ликвидация существенного различия между умственным и физическим трудом в нашем обществе будет осуществляться в результате развития и совершенствования производства на базе высшей техники, введения политехнического обучения, дальнейшего развёртывания социалистического соревнования.

«Что было бы, — указывал И. В. Сталин, — если бы не отдельные группы рабочих, а большинство рабочих подняло свой культурно-технический уровень до уровня инже-

нерно-технического персонала? Наша промышленность была бы поднята на высоту, недостижимую для промышленности других стран. Следовательно, нельзя отрицать, что уничтожение существенного различия между умственным и физическим трудом путём поднятия культурно-технического уровня рабочих до уровня технического персонала не может не иметь для нас первостепенного значения»<sup>1</sup>.

Благодаря постоянным заботам Коммунистической партии и Советского правительства жизнь трудящихся нашей страны с каждым годом становится лучше, зажиточнее.

В нашей стране повсеместно расширяется жилищное строительство. Государство отпускает на эти цели миллиарды рублей, даёт новую, совершенную строительную технику. Директивами партии предусмотрено за пятилетие построить в городах и рабочих посёлках дома общей площадью около 105 миллионов квадратных метров. Очевидно, что это задание будет перевыполнено: за два первых года выстроено более 54 миллионов квадратных метров. В пересчёте на двухкомнатные квартиры это составляет примерно 1 миллион 300 тысяч квартир. В среднем каждые сутки заканчивалось строительство 1 800 квартир.

Растёт реальная заработная плата советских рабочих и служащих, повышаются доходы колхозников. Развитие производства предметов потребления, снижение их себестоимости позволили Советскому правительству в шестой раз за послевоенный период снизить цены на товары массового потребления. Только за годы пятой пятилетки розничные цены снижались трижды. За это время цены на пшеничный хлеб, булки, баранки, пшено, гречневую крупу снижены на 35 процентов. Цены на сахар снижены на 19 процентов, на печенье, варенье, пирожное, конфеты, другие кондитерские изделия — на 29 процентов. Цена на мясо и животное масло понижена на

<sup>1</sup> И. Сталин. Экономические проблемы социализма в СССР, стр. 28—29.

39 процентов, на фрукты — на 60 процентов. Значительно снижены цены и на промышленные товары. Так, цены на швейные машины, парфюмерию понижены на 19 процентов, на мыло — на 28—32 процента, на фарфор и фаянсовые изделия — на 32 процента.

Теперь на те деньги, на которые в 1948 году покупали килограмм сливочного масла и килограмм мяса, покупают 3 килограмма сливочного масла и около 2 килограммов 800 граммов мяса. Если взять стоимость дамских ручных часов пять лет назад, то теперь на те же деньги можно купить двое таких же часов да ещё три пары кожаных ботинок для ребят дошкольного возраста.

В нашей стране успешно претворяются в жизнь сталинские указания по подъёму культурного и материального уровня народа, достигается цель социалистического производства — обеспечение максимального удовлетворения постоянно растущих материальных и культурных потребностей всего общества, осуществляется третьё сталинское условие перехода от социализма к коммунизму.

В то время как жизненный уровень советского народа неуклонно повышается, экономическое положение трудящихся капиталистических стран, где действует основной закон современного капитализма, систематически ухудшается. При капитализме всё производство направлено на получение капиталистами максимальной прибыли. «Что касается потребления, — указывал И. В. Сталин, — оно нужно капитализму лишь постольку, поскольку оно обеспечивает задачу извлечения прибылей. Вне этого вопрос о потреблении теряет для капитализма смысл. Человек с его потребностями исчезает из поля зрения»<sup>1</sup>.

Прибыли капиталистов растут, а заработная плата «заморожена». Если же учесть, что цены на предметы массового потребления во всех ка-

питалистических странах сейчас намного выше, чем они были до войны, то станет совершенно очевидным, что жизненный уровень трудящихся пал. Десятки миллионов домохозяек в капиталистических странах, выходя по утрам за покупками, убеждаются, что сегодня они уже не смогут купить продукты по тем ценам, по каким они покупали их вчера. С конца 1947 года по 1952 год цены на хлеб повысились в США на 28 процентов, в Англии — на 90 процентов, во Франции — в два с лишним раза. Цены на мясо за тот же период повысились в США на 26 процентов, в Англии — на 35 процентов, во Франции — на 88 процентов. В Англии до сих пор действует карточная система снабжения продовольствием по мизерным нормам, потребление трудящихся по сравнению с довоенным временем резко снизилось.

Трудящиеся капиталистических стран живут в тяжёлых жилищных условиях. Квартыры пожирают до 30—40 процентов заработной платы. Многие не в состоянии снять комнату и ютятся на окраинах города в трущобах, в полуразвалившихся домах. Поистине ужасны жилищные условия тысяч трудящихся США. Автор книги «Жизнь во мгле» Митчел Уилсон правдиво рассказывает о трущобах Нью-Йорка, где ютятся рабочие, механики, клерки, инженеры. На одном из таких «островов отчаяния», пишет Уилсон, «тесно прижавшись друг к другу, стояли лачуги, сбитые из ржавого железа, досок, старых ящиков и расплюснутых консервных банок». Во Франции нехватает нескольких миллионов квартир. Домовладельцы Англии, пользуясь жилищным кризисом, невероятно вздули цены на квартиры.

В капиталистических странах тратятся гроши на просвещение народа. В прошлом году в США оказалось вне школ до 6 миллионов детей школьного возраста. Во Франции 300 тысяч детей не учатся. В Англии журнал «Экономист» в поисках выхода из глубокого кризиса

<sup>1</sup> И. Сталин. Экономические проблемы социализма в СССР, стр. 77.

школьного строительства предложено... сократить срок обучения детей на один год. Миллионы неграмотных насчитываются и в других капиталистических странах, особенно много их в колониях и полузависимых странах. В Индии на каждые 100 жителей приходится 80 неграмотных, в Британском Сомали из каждой тысячи жителей 990 человек неграмотны.

Так обстоит дело в капиталистических странах, где цель производства не человек с его нуждами, а интересы капиталистов, жаждущих максимальных прибылей.

\* \*  
\*

Величественна сталинская программа построения коммунизма в нашей стране! Она вооружила нашу партию и Советское правительство, весь наш народ ясным, научно обоснованным, конкретным планом действий.

Коммунизм придёт не самотёком. Он возникает как результат сознательного творчества десятков миллионов советских людей, руководимых Коммунистической партией.

Партия неуклонно направляет развитие Советского государства по пути к коммунизму. Она преврати-

ла нашу страну в несокрушимую твердыню. Советское государство — это главное орудие в борьбе за построение коммунизма.

В настоящее время главные задачи партии, которые определил XIX съезд Коммунистической партии Советского Союза, состоят в том, чтобы построить коммунистическое общество путём постепенного перехода от социализма к коммунизму, непрерывно повышать материальный и культурный уровень общества, воспитывать членов общества в духе интернационализма и установления братских связей с трудящимися всех стран, всемерно укреплять активную оборону Советской Родины от агрессивных действий её врагов.

Эти задачи вытекают из требований экономических законов социализма, из необходимости создать основные предварительные условия, обеспечивающие переход от первой фазы коммунизма к его высшей фазе.

Под руководством Коммунистической партии идёт великий советский народ к коммунизму. Движение советского общества к великой цели неодолимо. Каждый прожитый год, каждый день приближают нас к коммунизму.



---

---

# ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ

ФЕДОР ГЛАДКОВ

★

## О КУЛЬТУРЕ РЕЧИ

**В**опрос о культуре речи волнует многих наших читателей. И это понятно: культура языка неразрывно связана с общим культурным развитием народа, с ростом литературы, с демократизацией науки и техники. Богатый словарный состав нашего языка требует выпуска новых толковых словарей и большой исследовательской работы над новым словесным накоплением. Живая речь русского советского человека стала несколько иной, чем до Октябрьской революции, и своеобразной в стиле: в нём нашли яркое отражение и новые общественные отношения, и новое сознание, и бурный рост производительных сил. А язык это ведь орудие мысли, могучее средство общения между людьми. Поэтому это орудие, обновляясь, совершенствуется. Нужно отметить, что и живая и книжная речь развивается исторически неравномерно: наряду с новыми образованиями и формами языка неизбежно врываются в литературную речь и рудименты и всякие диалектные искажения. Но это не значит, что диалектизмы и неграмотности мы должны принимать без критики и узаконивать их в нашей литературной речи. Мы, писатели и языковеды, обязаны охранять основные законы русской грамматики и орфоэпии и бороться за чистоту, ясность, точность и выразительность языка. Нормативность — это кристаллизация языка в процессе исторического его развития. В данном случае языковеды обязаны работать в тесном союзе с литераторами. В этот союз должны быть вовлечены и работники театра и кино, язык которых порою далёк от литературного живого языка. Слушая иных актёров, я чувствую себя как будто в среде иностранцев, которые старательно, по-книжному, выговаривают каждое слово, но слова эти не дышат жизнью. Мало того, театры сочинили свою орфоэпию и не считают ни с языковедами, ни с живой речью образованных людей нашего времени. А ведь театр в наших советских условиях стал общенародным зрелищем, действенным средством воспитания масс. В языке же профессиональных работников сцены иностранный акцент бытует как будто для себя, а язык простых русских людей, изуродованный по своему произволу, — для зрителя. Но в том и другом случае законы русского произношения грубейшим образом нарушаются, словно эти законы им совершенно неизвестны. И народ вполне справедливо негодует против этого фальшивого языка. Русский «простой» человек не допускает в своей речи фрикативного (придыхательного) ГХ, он выговаривает только взрывное (ГК), которое в конце слова переходит в К: деньги — денеК, снега — снеК, вдруК, флаК и т. д. А на сцене и на экране только и слышишь гхеканье, совершенно несвойственное произношению русского человека. Этого не избегают даже в пьесах Островского, в которых действующие лица — москвичи. Передавая речь окающую («Егор Булычов»), приволжскую, актёры, не зная правил произношения в этой речи, упорно гхкают и грубо подчёркивают неударное О, чего в этом наречии

нет (О—редуцировано). Но в языке интеллигентов актёры смешно подражают иностранцам, подчёркивая неударное О в иноязычных словах бОкал, кОстюм, лОкОмОтив), Э после согласных (рЭйс, тЭкст, энЭргия, рЭзЭрвы), которое в нашем языке допустимо только в начале слова и после гласных (Энергия, поЭзия). А ведь слова иностранного происхождения, вошедшие в обиходную речь, обязательно произносятся по-русски: (тЕлЕграф, к'нверты, энЕргия, бАкал, л'к'мАтив). Таков закон русской орфоэпии, который строго требует уважения к своей родной, самобытной, прекрасной речи. Об этом я уже писал и не один раз проводил совещания с радиодикторами. Говорю это лишний раз кстати, между прочим. Я — не языковед, но как русский писатель я не могу обходить молчанием некоторые нелепости и уродства, которые сплошь и рядом встречаются в книгах, в газетах и в разговорной речи. В своё время мне удалось добиться склонения «Москвы-реки» и устранения из речи таких слов, как глаголы «использовывать» и мумия «довлеет» (довольно, хватит, достаточно, удовлетворяет) в несвойственном этому слову смысле «давит», «господствует», несмотря в последнем случае на медвежью услугу кое-кого из лингвистов. Сейчас не менее трудная задача — бороться против застарелых привычек в употреблении некоторых слов, грамматических ошибок и унификации некоторых форм, обедняющих литературный язык.

Выступление С. И. Ожегова в «Литературной газете» я приветствую, как пример живого отношения к судьбам нашего языка. Его статья имеет большое воспитательное значение: она пробуждает любовь к родной речи и способствует развитию чуткости к слову. Такое же большое значение имеет «Грамматика русского языка» (издание Академии наук) и «Курс русского языка» Л. А. Булаховского. Эти книги должны служить настольным руководством не только для широкого круга интеллигенции, но и для писателей.

Совершенно прав С. И. Ожегов, утверждая, что языковая форма прежде всего явление типическое, и не всякое явление, стихийно возникшее и часто встречающееся, может стать нормой. Современные нормы языка образовались и образуются в процессе исторического развития и без ломки самобытных основ. В этом вся суть.

Но вот что любопытно: народные массы нашей страны в культурном отношении за годы сталинских пятилеток поднялись на небывалую высоту, появилась новая, сильная, многочисленная интеллигенция, книга и газета стали у всех насущной потребностью, наука проникла глубоко в массы рабочих и колхозников. А наряду с этим язык многих наших интеллигентов странно пёстрый, подчас далёкий от грамматических и орфоэпических норм, словно люди не имеют понятия о произносительных законах русского языка и пренебрегают грамматикой. В газетах и книжках встречаются малограмотные обороты речи, диалектизмы, неразборчивость в выборе слов и безразличие к смысловой точности. А о красоте и выразительности слова и говорить не приходится.

Тягостно читать книжки некоторых наших молодых писателей: слепой, газетный язык, обилие цифр, процентов, деталей машин, отвалов руды, угля, подробных описаний ухода за скотом и т. д. и т. п., но человека нет — это безликая рабочая сила. Цифры убедительны в статистике, но в художественной литературе они тушат образ. Художественная красота и изобразительность неотделимы от души человека, от его внутреннего мира. Дело художника — изображение судьбы своих героев, их душевных коллизий, их типичных характеров. Только при этих условиях и язык неизбежно расцветёт прекрасно и самобытно в процессе искания точного и ёмкого слова. Искусству владеть словом надо учиться у народа и у лучших писателей, а не у канцеляристов.



Печально, что наша школа плохо воспитывает чуткость к языку, к его красоте, музыкальности и живописности. Но теперь, когда наша молодёжь во всех областях созидания с юных лет становится активным деятелем, строителем коммунизма, а следовательно, и творцом социалистической культуры, родной язык должен быть особенно точным, понятным, правильным. В газетной и книжной речи поражает не критическое отношение к слову, неряшливость и безграмотность.

Например, с древних пор известно из элементарной грамматики, что существительные собственные согласуются в падеже со своими нарицательными. Но пишут: «в селе Смольевка», «мост через реку Сура», «сплав леса по реке Чусовая». А по-русски надо бы писать и говорить: «в селе Смольевке», «мост через реку Суру», «сплав по реке Чусовой». Наши переводчики и нередко писатели и корреспонденты пишут и говорят, не согласуя в падеже иностранных мужских имён и фамилий: «встреча с Альфредом Дюваль» (то есть с Альфредом Дювалем), «оркестр под управлением Франца Крейслер» (то есть Франца Крейслера). А один литератор в корреспонденции из Парижа пропечатал: «беседовал с дедушкой Поль». Тогда уж по этому образцу надо говорить и писать: «Сочинения Чарльза Диккенс», «трагедия Вильяма Шекспир», «опера Антона Рубинштейн». Один почтенный астроном упорно печатал в журнале «Природа»: «в созвездии Орёл», «в созвездии Телец» вместо «в созвездии Орла», «в созвездии Тельца».

Во всём этом, видимо, проявляется влияние военного, штабного языка, где принято говорить и писать: «в населённом пункте Ивановка», «правее Сидоровка» и т. д.

Русский язык чрезвычайно богат словесными формами в передаче различных смысловых значений, но по невежеству или по канцелярскому шаблону у нас в газетах пишут: «надо обеспечить хорошие условия для о к о т а скота». Этот «окот скота» насильственно внедряется в язык колхозников, которые несомненно хохочут над нелепостью этого слова. Крестьяне с незапамятных времён знали, что «окот» бывает только у кошек. Они говорили правильно: кошки к о т я т с я, коровы т е л я т с я (отсюда «отёл»), овцы я г н я т с я, лошади ж е р е б я т с я, свиньи п о р о с я т с я, собаки щ е н я т с я. Но чтобы корова или овца котились — это действительно достойно смеха. Что же можно сказать про такого зоотехника или ветеринара, который превращает корову в кошку? Даже писательница Николаева приписывает колхознице такую фразу: «Окотилась ли Липка (овца. — Ф. Г.)?». Такое чудовищное обеднение и извращение языка не к чести нашей колхозной интеллигенции, не говоря уже о литераторах и о «святой простоте» корреспондентов и редакторов газет. Мысль, изуродованная нелепым словом, только мстит за себя.

Я объясняю всё это неуважением к благородным традициям народного и литературного словесного творчества и дурным влиянием канцелярского и ведомственного жаргона. Так, в названиях жителей городов и областей русский язык чрезвычайно гибок, разнообразен и фонетически экономен. Окончания на цы, ки, чи преобладали до сих пор над древней формой ч а н е, я н е. Мы говорили и писали: харьковцы, ростовцы, псковичи, москвичи, тверяки, пензяки и т. д., а слова на ч а н е, я н е допускались в редких случаях и только наряду с другими словами (киевляне, волжане, англичане, славяне) прежде всего в смысле племени, нации и населения государственных территорий: киевляне, куряне — пережиток феодализма, как угасшее «москвитяне». Но сейчас только и говорят и пишут: харьковчане, ростовчане, горьковчане, красnodарчане. А один известный писатель, подавленный этой формой, отважился написать: «красноармейскчане» — трудно произносимое слово невероятной длины. Этого не избежал и почтенный историк в курсе «Истории СССР»:

вместо лёгкого и обычного слова «коломенцы» начертал: «коломничане» и прибавил: «касимовчане». По этому стандарту надо уж писать и говорить: «москвачане», «пензачане», «саратовчане», «благовещенскчане»... Всё это звучит малограмотно. Надо учиться у народа и у классиков русской литературы звуковой экономии, музыкальности и выразительности слова. Канцеляристы и газетчики — сомнительные учителя русского языка. Плохо то, что писатели и языковеды подхватывают эти прелести и некритически узаконивают их, как норму (см. в той же академической «Грамматике» и в «Курсе» Булаховского).

Позабыто прекрасное слово «иней», а вместо него почему-то вошло в обиход литературного языка слово «изморозь» — омоним «измороси». Надо заметить, что «изморозь» вошло в обиход недавно. Чем же оно лучше «иней»? Русский же народ произносил «изморось» от «мороси» (по Далю: «морок—роса»), а не от мороза. Он говорил: «моросит дождь», «идёт изморось», но на стёклах, на деревьях — иней. Такая же судьба постигла чудесное по красоте и содержанию слово «учение». Наш народ и классики никогда не употребляли вульгарного провинциализма «учёба» (из псковского и воронежского диалекта по Далю). Ленин в своей речи на съезде Комсомола в 1920 году выразился так: «Говорят, что старая школа была школой учебы, школой муштры, школой зубрежки. Это верно...» И требовал различать, что плохого и что полезного давала эта школа. Как видно, слово «учёба» Ленин ставил за одну скобку со словами: «зубрёжка», «муштра». И хотя это слово по недоразумению распространено (как было с печальной памяти словами: «будировать», «довлеть», «пара дней», «использовывать», «хужее») и не гнушаются им даже языковеды, считать его литературной нормой никак нельзя. Благородные слова: «учение», «изучение», «обучение», «просвещение» надо реабилитировать и обеспечить им своё место в литературной речи. Сталин в приветствии юным пионерам Советского Союза по поводу их 30-летнего юбилея пожелал им «успехов в учении» (а не в учёбе). Я не касаюсь здесь обмолвок и оговорок, которые бывают в речах и попадают в стенограммы: это случайности, не имеющие отношения к стилю авторской речи. Но это даёт повод некоторым людям считать «учёбу» неологизмом. Какой же это неологизм, если это слово так же старо, как и тот диалект, из которого оно взято и некритически пущено в обиход? Кое-кто оправдывает употребление этого слова как литературную норму тем, что будто бы сам Горький утвердил его в названии журнала «Литературная учёба». Но здесь не место вскрывать историю происхождения этого названия. Горький этого слова не употреблял и не мог употреблять ни в разговоре, ни в произведениях. Оправдывать употребление этого слова тем, что в производных от этого существительного словах есть суффикс БН (учебный, учебник) рискованно: с этой позиции допустимо и употребление такой формы слова, как «лечёба» от «лечения» (лечебный, лечебник). Однако мы избегаем такого словообразования, хотя в Воронежской области такое слово (лечёба, лечба) — в обиходе. Отрядно отметить, что в письмах ко мне многие читатели отвергают слово «учёба» и протестуют против проникновения его в литературную речь. Никогда в русской литературе и в устной речи раньше не употреблялось (за редкими исключениями) слово «галоши» (через Г), а говорили и писали «калоши» (через К). Ведь это слово с давних пор стало совершенно русским. Зачем же принуждать наших людей французить? Здесь чувствуется несомненное влияние торгового жаргона.

Иногда и опытные писатели допускают небрежность и неразборчивость в выборе слов. Полагаю, что такие выражения — из словаря милицейского протокола, а не творчество художника: «места для отытия могил», «песок для посыпания дорожек». А хорошо ли: «девушки, по-

пичужьи сбившиеся...», «Слава подтягивал сопли...», «Подворотни созданы для пушек...», «Мысли ли то были!..» (мыслили!), «Грациозная печаль звёзд...», «Барахолил вентилятор». И что значит в книге одной писательницы слово «ващерка»? Такого слова в русском языке нет, а есть ящерица. Этим уродливым и непонятным для читателя словом названа целая глава. Нехорошо. Смысловые нелепости встречаются у этой писательницы всюду, вроде таких выражений: «чашоба ресниц», «пёстрые, цветастые зрачки», «оглаживал подбородок», «зачезла, как поросля», «ноздри с подрезом», «трясучая дробь», «горшками яйца варятся», «позавидовать н а такую женщину», «милости в а с просим» и т. п. А откуда такой синтаксис: «поднялся на крыльцо, И попрежнему одна ступенька была уже остальных»? Русскому колхознику она приписывает слова и выражения украинские или заставляет говорить южным жаргоном. Так, например, она пересыпает его речь такими заумными для россиянина словами, как «шохрина», «хотинка». Нерусское слово «стерня» упорно накладывается на русское слово «жнивья́». А чем эта «стерня» лучше «жнивья́»? Русский язык настолько богат и выразителен, что он не нуждается в излишних заимствованиях и в заменах своих слов чужими. На такие вульгарные выкрутасы и безграмотности указывали вполне справедливо и читатели «Литературной газеты». Все эти жалкие «вольности» — от беспомощности в выборе слов, от полного отсутствия чуткости к языку и дара спасительной самокритики.

Несколько категорических замечаний насчёт ударений. И в «Грамматике» и в «Курсе русского языка» считается нормальным ударение в слове «река» в винительном падеже на первом слоге. С. И. Ожегов в своём словаре делает уже двойное ударение. В своей статье он пишет: «Можно, допустим, признать правильным ударение «реку́», а не «ре́ку», но, кроме этого слова, в винительном падеже ряда других слов из этой категории имён существительных женского рода наблюдаются колебания ударения. Нельзя быть уверенным, что из диалектов не появятся, например, ударения «рукú», «ногу́». И предлагает проследить, как развивается ударение в винительном падеже этих существительных, по крайней мере, от пушкинской поры, чтобы установить современную норму правильно. Это я и делал в своих выступлениях. Но тут речь идёт не о колебаниях ударения, а об устойчивости и постоянстве во времени.

Прежде всего нельзя к словам подходить только с формальной стороны, сортируя их по разрядам и группам. Слово — это не только грамматический элемент. Это — воплощение мысли, это — образное отражение дум и чувств, и языковедам надлежит рассматривать слово во всём многообразии его проявлений. Слово — это жизнь, а не стандартное изделие; надо чувствовать «душу» слова.

Слова без мысли не бывает. Слово — это заряд огромной внутренней силы. Если же стать на точку зрения С. И. Ожегова, можно опровергнуть его рассуждения его же оружием: есть река и рука, но «рука» в винительном падеже имеет ударение «ру́ку», значит и «река» должна иметь ударение «ре́ку». Весьма нелогично, потому что «нога» имеет близкого соседа — слово «дуга». Есть слово «чека» (на оси) рядом со словом «рука». Что же получается из этой классификации?

рука́ — ру́ку, но  
 чека́ — чекú,  
 нога́ — но́гу, но  
 дуга́ — дугú.

И река просто не желает лечь в прокрустово ложе. И выходит, что ударения не определяются таким примитивным и сомнительным признаком. Проследим историческое развитие ударения в слове «река», начиная

с Крылова и Пушкина до наших дней, по совету С. И. Ожегова. У Крылова: «И щуку бросили в реку́», «И гребень кинули в реку́».

Пушкин:

...рогатый пень,  
В реку́ низверженный грозою..  
(«Кавказский пленник»)  
Через реку́, меж тростников,  
Переправлялся дерзновенный..  
(«Сто лет минуло»)  
Когда (ты помнишь?) бросилась она  
В реку́, я побежал за нею следом..  
(«Русалка»)

Великолепный мастер слова, Пушкин мог бы легко сказать, хотя бы в последнем случае, так: «ты помнишь, в реку́ бросилась она», но он упорно всюду делает ударение в реку́, потому что «река» для него — образ даже в звучании.

Вспомним и лермонтовское: «на Москву-реку́, на кулачный бой...». Минуя Батюшкова («Переправа через Рейн»), П. Вяземского («Поток»), обратимся к Некрасову. В «Кому на Руси жить хорошо» читаем:

Куда обиду сбыть?  
· · · · ·  
Во быстрюю реку́?  
Вода бы отстоялася!

Так на протяжении всего XIX века слово «река» твёрдо сохраняет ударение в винительном падеже на последнем слоге. И это не случайно. Ведь и поэты нового времени не меняют этого ударения:

Навроцкий: Но прежде, чем выйти на берег,  
Я молча взглянул на реку́.

Скиталец: А как выйду на Волгу-реку́,  
Отдохнуть прихожу к кабаку.

А вот из народной песенки:

Пойдём, девки, на реку́, на реку́,  
Совьём, девки, по венку, по венку.

Авторы «Грамматики» считают разговорным употребление поэтом Лукониным «реку́», но история опровергает утверждение этих языковедов. Что же они приводят в доказательство своего утверждения о законности ударения в слове «река» в винительном падеже на первом слоге? Ничего. Каковы их исторические исследования по этому поводу? Никаких. Объясняется это очень просто: когда-то Малый театр создал свой волапюк и провозгласил в слове «река» ударение в винительном падеже на первом слоге. По нему равнялись все театры. Мода на коверканье слов, данная Малым театром, вплоть до смешения французского с нижегородским, вошла в быт театров и в разговорную манерную речь салонной публики. Все изуродованные странными ударениями слова (реку́, дёнгами, безнадежный — вместо надёжный, от «надёжа», а не от «надежда», озорничать и пр.) языковедами узаконены, как норма, а мне, коренному русаку, воспитанному на классическом литературном и на богатейшем, красочном, музыкальном языке Поволжья и Москвы, слышать это невыносимо.

Нельзя согласиться с утверждением, что в именных глаголах с ударением на именной суффикс *н и к* надо ставить ударение на гласный суффикс (озорник — озорничать). Один из авторов «Граматики» сам себя опровергает, считая исключением «домовничать». В подтверждение своего правила он не приводит ни одного примера. А примеров достаточно, и они его бьют. Для того чтобы оправдать своё утверждение о глаголе «домовничать», как об исключении, автор говорит, что этот глагол утратил соответствующее ему существительное. А «домовник», «домовница»? Можно привести, например, такие слова, правда угасшие с частной торговлей, как «мясник» — «мясничать», «проводник» — «проводничать». Пусть эти слова в наши дни исчезают, но закон-то незыблем: глаголы отымённые на *н и к* сохраняют ударение имени во всех случаях без исключения. Выдумывать новые правила по своему произволу негоже. Об этом особенно строго предупреждает любителей изобретать новые законы И. В. Сталин. Значит, глагол «озорничать» обязательно должен сохранять ударение на *ничать* (Даль и «Словарь церковно-славянского и русского языка Академии наук» 1867 г.).

Орфоэпия и грамматика едины и нераздельны: это две ипостаси единой сути. Нашей интеллигенции и надлежит не только отлично излагать мысли на бумаге, но и правильно, хорошо говорить. Особенно это необходимо помнить литераторам. При обогащении языка в нашу эпоху и «муки слова» тяжелее, но в этом — творческий удел писателя, в этом — подлинное искание правды, подлинное художественное мастерство. И, конечно, стыдно читать в газетах такую, например, фразу: «Проработав два месяца (телятница.—Ф. Г.), правление колхоза перевело её на другую работу». Теперь, когда люди нашей страны подняли труд до высоты творчества, а сотрудничество между ними, обмен опытом и знаниями имеют характер непосредственного общения, язык, его грамматика и орфоэпия должны быть бесспорными, строго нормативными. Язык как могучее средство общения наших людей между собою должен быть идеально чистым, правильным, точным, ясным, выразительным и живописным. Нельзя оправдывать областных диалектных говоров среди интеллигентных людей и литераторов ссылкой на то, что люди эти выросли и учились где-то на юге или на западе. Законы русского произношения и русская грамматика должны быть общеобязательной нормой для всех. Мы знаем, что образованные люди национальных республик, изучившие русский язык, правильно говорят на нём, а русским тем более надо тщательно работать над своим языком и пользоваться им в совершенстве. Наше время — время высокой советской культуры — предъявляет это требование категорически. Говорит ли человек на «о» или на «а» — это не важно: важно одно — правильность, литературная чистота и выразительность речи. Горький и Калинин говорили образцовым волжским языком, как говорят и многие интеллигенты Поволжья, Урала, Сибири, — языком книги, языком орфографии. Этот говор не менее правилен, чем говор акающий, так называемый московско-ленинградский. Называть этот древний прекрасный говор, свободный от узко областных (псковских и вятских) искажений, диалектным, как декларируют авторы «Граматики», недопустимо. Да и сами учёные-языковеды до сих пор утверждали иное. Это не только основной, главный говор наряду с акающим, но и материнский говор. В первой половине XIX века считалось «благородством» читать стихи на «о». Тургенев в повести «Пунин и Бабурин» писал: «Пунин произнёс... стихи на «о», как и следует читать стихи».

Для литераторов прошло время стилизации областных говоров в своих книгах или нанизывания диалогов на полуукраинском жаргоне

(например, в «Железном потоке» Серафимовича)<sup>1</sup>. Может быть, в 20-х годах, когда писал Серафимович, это введение украинского диалога было и закономерно («Русь стала на дыбы», по выражению Горького); сейчас же культура языка стала очень высокой и взыскательность к слову — строгой и придирчивой. Повторяю, словарный состав нашего языка стал очень богатым, и во многом он обновился. Выбор слов стал неисчерпаемым, надо только уметь выбирать верные слова, как это ни мучительно. А. М. Горький указывал на язык Лескова как на образцовый и советовал учиться у этого писателя, как надо писать, но он умалчивал о многочисленных искажениях русского языка в его произведениях. Я лично считаю, что Горький преувеличивал значение Лескова и во многом ошибался. Лесков, на мой взгляд, чрезвычайно грешил против литературного языка. Его словесные выверты, кривлянье, нелепые выдумки были просто неприлично уродливы. Откройте, например, рассказ «Полунощники», и вы встретите на каждой странице нагромождение невероятных искажений, нелепо сочинённых балаганных слов и выражений. Вот для примера: «долбица умножения», «пять из семьи — сколько в отставке», «мимоноски строил», «голованеры», «одет а-ля морда» «кучма народу толпучкой», «докончателный скандал», «замялась в неопределённом наклонении», «закавычный друг», «для девиц женского пола», «пишут куриляпкой», «блеярдный шар» и т. д., не говоря уже о «мелкоскопах», «взгефантулках», «пришпандорках» и т. п. Эти слова-уроды рассыпаны у него повсюду.

Когда-то у китайцев, благородного народа, в каждой хижине было изображено иероглифами: «Говори хорошо!». Это мудрое изречение нам нужно усвоить, как заповедь: пиши хорошо, но и говори хорошо!

<sup>1</sup> Кстати, нужно отметить, что и сейчас сплошь и рядом в русских книгах встречаются диалоги на украинском языке. Это недопустимо: они непонятны для русского читателя. Спрашивается: почему тогда авторы избегают диалогов на белорусском языке? Надо уметь передать такой своеобразный разговор по-русски, как это блестяще умел делать Гоголь.



---

---

## К 175-летию со дня смерти Вольтера

М. ЛИФШИЦ

★

### ВЕЛИКИЙ ФРАНЦУЗСКИЙ ПРОСВЕТИТЕЛЬ

**В** наши дни, когда борьба за мир находит отзвук в сердцах миллионов людей, имя Вольтера заслуживает доброго воспоминания. Он не принадлежал к числу тех доктринёров пацифизма, которые заняты сочинением различных проектов сверхгосударства. Вольтер не оставил фантастических планов европейской федерации, как его современник аббат Сен-Пьер. Зато сколько горячей ненависти к поджигателям войны разлито в сочинениях и письмах Вольтера! Несколькими штрихами он создаёт обличительные картины неповторимой силы, и мы действительно видим вооружённые толпы наёмников, режущих друг друга, видим отчаяние мирных жителей, гибель крестьянских полей, дымящиеся развалины, обгорелые трупы среди обломков, сцены убийства, насилия. Война, пишет Вольтер в своём «Философском словаре», есть «бедствие и преступление, заключающее в себе все бедствия и все преступления».

Вольтер прямо указывал виновников этого зла: «Голод, эпидемия и война — три наиболее известных элемента нашего земного мира. Голод и эпидемия суть дары провидения. Но война, объединяющая в себе все эти блага, имеет своим источником лишь воображение трёх или четырёх сот лиц, рассеянных на поверхности земного шара под именем государей и министров. Вот почему во многих литературных посвящениях этих людей называют живыми подобиями божества».

Нельзя обвинять Вольтера в том, что он не видел более глубоких причин войны, чем династические распри и жажда завоеваний. В те времена ещё не было почвы для исторического материализма Маркса и Энгельса. Другие мыслители XVIII века не пошли

дальше Вольтера. В рамках своей эпохи он был одним из самых сильных борцов за дружбу между народами. Вольтер преследует своей насмешкой расовые предрассудки и национальную исключительность. Он бросает в лицо надменным представителям европейской цивилизации примеры их собственной дикости. Его сочувствие на стороне тех племён и народов, которые подвергаются жестокому угнетению со стороны белых колонизаторов. Вольтер с большим уважением относится к великому китайскому народу и его культуре.

В своём «Опыте о нравах» он приводит слова вождя одного из американских племён, которому белые предъявили ультиматум — покинуть свою родину и переселиться на запад: «Мы родились на этой земле, здесь лежат наши отцы. Можем ли мы сказать костям наших предков: встаньте и ступайте с нами в чужие земли?».

Лучшего ответа, говорит Вольтер, не найти у героев Плутарха.

Настоящее имя Вольтера — Франсуа Мари Аруэ. Он родился в 1694 году и прожил свою долгую жизнь счастливо. Счастье, которое выпало на долю Вольтера, состояло в том, что он был нужен своему времени. Белинский назвал его «критиком феодальной Европы». Действительно, в эпоху Вольтера ветхое здание сословной монархии уже клонилось к упадку. Свободное слово трудно было удержать; даже среди аристократии многие понимали, что дальше так жить нельзя. Нужен был деятель, способный стать во главе растущей силы общественного мнения. И такой деятель нашёлся в лице Вольтера.

Философ, историк, поэт, человек гениально разносторонний и энергичный, Вольтер

играет главную роль в движении французских просветителей XVIII века. Смелая критика церкви, произвола и крепостничества доставила ему громадную известность. Имя и произведения Вольтера всегда вызывали горячие отклики со стороны различных борющихся партий и подвергались разнообразным истолкованиям. Этому способствовали многочисленные противоречия жизни, общественной деятельности и теоретических взглядов самого Вольтера.

В буржуазной науке существует легенда о «демонизме» Вольтера, его моральной беззащитности, корыстолюбии, барстве. «Проклятие Вольтера — его мефистофельская натура», — писал либеральный историк Гетнер. Преувеличивая некоторые исторические черты этой могучей личности, сытая буржуазия XIX века стремилась ослабить демократическое значение борьбы Вольтера против средневековых порядков. Богатый мещанин не мог простить Вольтеру его дерзких выпадов против религии. Он уличал великого писателя в желании играть роль при дворе, в презрении к лакеям и парикмахерам. А между тем сам господин Купон гнул спину перед родовитой знатью. Чем дальше уходила буржуазия в сторону реакции, тем ниже падал в её глазах престиж Вольтера.

Защита лучших традиций общественной мысли является одной из задач марксистской литературы. В оценке исторических деятелей марксизм имеет свои великие образцы, свой собственный путь. Противоречия жизни и деятельности Вольтера нельзя рассматривать как недостатки личности. В них отражается более широкое общественное содержание.

С точки зрения герцога Сен-Симона, автора известных мемуаров, происхождение Вольтера было тёмным. Но в XVIII веке деньги уже подрывали прочность сословных перегородок. Сын чиновника, потомок торговцев сукном и кожей, Вольтер учился вместе с сыновьями вельмож. В юные годы он принадлежал к «обществу Тампля» — кружку эпикурейски настроенной знати, которая с недовольством смотрела на засилье незуитов и деспотизм Людовика XIV, особенно мрачный в конце его долгого царствования. Смерть старого короля ослабила узы самодержавия. Недовольство вышло наружу в виде множества печатных и рукописных памфлетов. Первые акты регентства Филиппа Орлеанского были либераль-

ны, но вскоре правящая клика вернулась к политике преследований. Одной из жертв этого поворота оказался Вольтер, которого в 1717 году отправили в Бастилию.

В тюрьме он пишет трагедию «Эдип», полную смелых речей против земных властителей и духовных лиц. Поставленная на сцене в 1718 году, она имела шумный успех и сразу сделала Вольтера известным писателем. Это была трагедия нового типа. В XVII веке Франция знала великих писателей — Корнеля и Расина, отдавших весь свой гений театру. Но их система уже не могла удовлетворить потребности более передовой общественной мысли. Искусство Корнеля и Расина было отражением той эпохи, когда монархия, создавшая централизованное государство, ещё имела за собой историческую необходимость. Тот, кто спорил с ней во имя свободы, легко мог прийти в противоречие с национальными интересами и стать изгоем, как Сент-Эврмон (типичный представитель дворянского вольнодумства, проживший более сорока лет в Англии). «Классическая трагедия» Корнеля и Расина изображала этот внутренний конфликт своего времени. Отдавая должное чувству свободы и человеческого достоинства, она учила примирению с необходимостью в образе трагического долга.

Для Вольтера эта система взглядов уже пройденный этап. В его глазах нет никакого конфликта между национальными интересами и свободой личности. Гибель трагического героя не искупает зла, а возмущает душу и зовёт к борьбе против векового гнёта. В пьесах Корнеля и Расина глухо звучит голос старинных вольностей, уступающих более высоким интересам нации, государства. В пьесах Вольтера речь идёт об освобождении государства от произвола и суеверия. Таким образом, весь баланс «классической трагедии» был нарушен, и театр с этого времени становится органом буржуазно-демократических идей.

Новый период в истории литературы и театра, связанный с именем Вольтера, был отражением нового общественного подъёма, более широкого, чем сословные движения XVII века. Демократические идеи Вольтера нельзя отделять от настроений народных масс. Уже в 1720 году, по случаю краха финансовой аферы Лоу, в Париже ожидали восстания. С этого времени внутренняя история Франции совершалась на фоне непрерывного брожения в столице и провин-



циях. Историческая заслуга Вольтера состоит в том, что он стал живым зеркалом подъёма национального самосознания. Вольтер открыл дорогу партии союза буржуазии с народом, партии «просветителей», «философов», «патриотов», пришедшей на смену прежнему авангарду этого класса — парламентской буржуазии, враждебной народу и всегда готовой защищать феодальные порядки, ибо она, по словам Вольтера, сама владела поместьями.

Подобно тому, как современный капитализм развращает часть рабочего класса, создавая род «буржуазного пролетариата», дворянское сословие на известных условиях принимало в свою среду часть буржуазии, которая покупала должности в судебных учреждениях (парламентах) и, таким образом, превращалась в «дворянство мантии». Этот слой буржуазного чиновничества с грехом пополам представлял интересы французской нации до тех пор, пока буржуазия поднималась при помощи союза с монархией. Но в XVIII веке лучшие времена «дворянства мантии» были уже позади. В 1776 году парижский парламент противился отмене барщины. По отношению к престолу парламенты были способны лишь на мелкие интриги и пассивное сопротивление. Зато они проявляли бешеную энергию в преследовании передовой литературы, направленной против казённой морали и веры в бога.

Вместе с появлением таких деятелей, как Вольтер, во Франции началось размежевание между парламентской оппозицией, которая представляла средневековое прошлое буржуазии, и просветителями, которые воплощали её революционное будущее — союз с народом против старой монархии. Это размежевание коснулось прежде всего вопросов религии, ибо такие вопросы затрагивали условия существования людей в самой общей форме. Мрачный аскетизм церкви внушал покорность, убеждение в том, что земная жизнь всегда останется долиной скорби, где душа проходит испытание, установленное божеским законом. Чтобы изменить условия жизни, нужно было отбросить религиозную мораль покорности. Но борьба против религии имела свою традицию. До появления литературы французских просветителей религиозное вольнодумство было делом дворянских кружков. Во Франции называли «либерте-ном» человека неверующего и вместе с тем

разгульного. Таких людей было много среди дворян; богатое мещанство смотрело на эти кружки с явным неодобрением. Оно крепко держалось католического фанатизма или старалось примирить церковную ортодоксию с новыми учениями протестантской религии, более близкой духу накопления. По словам Энгельса, материализм долгое время был аристократическим учением для немногих избранных, ненавистным буржуазии.

Этим отчасти объясняется дворянский камзол Вольтера, его привязанность к обществу просвещённой знати. Новое мировоззрение, соответствующее буржуазной демократии, росло в привычной атмосфере светского вольнодумства. Это противоречие не раз ставилось в укор просветителям. Но особенно ярко оно выступает в деятельности Вольтера — центральной фигуры французского Просвещения.

По выходе из Бастилии автор «Эдипа» становится модным поэтом светских гостиных. Среди адресатов его стихотворных посланий, стансов и мадригалов встречаются самые знатные имена. Лирика Вольтера богата различными оттенками мысли, но эти страницы из дневника мыслителя облечены в традиционную форму жизнерадостной «лёгкой поэзии». Даже грусть здесь — естественное пробуждение рассудка на другой день после праздника жизни:

Счастливым резвым, молодым  
Оставим страсти заблужденья;  
Живём мы в мире два мгновенья —  
Одно рассудку посвятим.

«Вольтер, — писал Герцен, — дворянин старого века, отворяющий двери из раздушённой залы рококо в новый век».

Двойственность этого положения Вольтер скоро почувствовал на своей спине. Избитый слугами кавалера Рогана, он пытался отомстить обидчику, но следствием этого было только новое заключение в Бастилию с последующей высылкой из Франции. С 1726 по 1728 год Вольтер живёт в Лондоне, изучая английскую общественную жизнь, науку и литературу. Свои английские впечатления он изложил в знаменитых «Философских письмах» (французское издание 1734 года было немедленно осуждено парламентом).

Основная тема писем — скрытое противопоставление более свободных, буржуазных порядков Англии французскому обще-

ству «старого режима». Но было бы неправильно считать Вольтера безусловным сторонником английского образца. Он сохраняет самостоятельную национальную точку зрения, надеясь, что Франция пойдёт своим, более широким и прогрессивным путём. Вольтер одобряет общее развитие Англии в сторону буржуазного строя, но замечает косность английского быта, «существование обычаев, во всём противных почитаемым законам», контраст между вольным духом народа и чёрствой узостью высших классов (отрывки 1727 года, не вошедшие в текст «Философских писем»).

Отсюда также критика английского театра. Принято смеяться над ошибкой великого просветителя: он обвинял Шекспира в незнании правил хорошего вкуса. Это в самом деле смешно. И всё же ошибка Вольтера имела свой исторический смысл. Он удивляется гению английского драматурга, создавшего свои колоссальные сценические образы в те времена, когда общество ещё верило в чудеса и не стеснялось самых крепких выражений. Но в качестве просветителя Вольтер отвергает культ Шекспира как преклонение перед необузданной силой средних веков, а недостаток «правил» на английской сцене связывается в его глазах с грубостью нравов и господством обычая.

Тот же ход мысли мы видим и в решении других вопросов. Либеральные историки объясняли сдержанность Вольтера по отношению к английскому образцу отсутствием интереса к политике. Так думает, например, Морне. Другие обвиняли его в равнодушии к гражданской свободе (мнение Морлея и Рокена). Некоторые авторы, например Гетнер или Маренгольц, стараются представить Вольтера сторонником английской конституционной системы. Для подтверждения этих взглядов можно собрать у Вольтера различные мелкие доказательства. Но всё это вовсе не основательно.

В «Философских письмах» Вольтер является горячим защитником освобождения народа — «наиболее многочисленной, наиболее полезной и даже наиболее добродетельной части человечества». Но смелая защита интересов народа соединяется у него с теорией просвещённого деспотизма, то есть неограниченной власти монарха, направленной в сторону прогрессивных реформ. В этом духе Вольтер идеализирует фигуру французского короля Генриха IV

в «Генриаде», которая также была напечатана в Англии (1728). Оба эти произведения Вольтера находятся между собой в известном противоречии и вместе с тем они взаимно дополняют друг друга. Характерно, что «Генриада» — поэма о религиозной терпимости и политическом разуме основателя династии Бурбонов — не могла быть напечатана во Франции. За пятьдесят лет до революции теория просвещённого деспотизма считалась ещё опасной политической вольностью. Своим распространением в XVIII веке она обязана французской просветительной литературе. Передовое общественное мнение требовало усиления королевской власти против антинациональных происков римской церкви, против засилья вельмож и произвола парламентской бюрократии. Масса народа верила в то, что монарх является исконным защитником её прав. Вольтер мог сказать о себе словами Анатоля Франса: «Я писал то же самое, что говорила моя привратница».

Теория просвещённого деспотизма является отсталой и ложной теорией, если судить о ней с точки зрения революционной демократии. Такая точка зрения возникла во Франции лишь в последнем десятилетии XVIII века, в эпоху Конвента. Французские просветители не были последовательными демократами (этого нельзя сказать даже о Руссо). Они глубоко сочувствовали бедствиям народа и в то же время боялись самостоятельного движения низов. Но просветителей нужно сравнивать не с якобинцами, а с политическими защитниками английской конституции и с буржуазной парламентской партией в самой Франции. В этих масштабах, приблизительно между 1715 и 1789 годом, учение просветителей было наиболее революционным, несмотря на все свои слабости.

Мысль о коренной ломке всех устаревших отношений являлась им только в виде плана революции сверху. Но просветители желали этой ломки и тем отличались от парламентской оппозиции. Они понимали, что отдельные, частные свободы и преимущества, которых добивается буржуазия в рамках сословной монархии, враждебны народной свободе в целом. Среди просветителей были люди разных политических взглядов. Одни, как Монтескье, видели свой идеал в английской конституции. Другие, наоборот, возмущались продажностью английских политических

деятели XVIII века, мнимых избранников народа. «Может ли свобода быть обеспеченной хотя бы на один миг, если она находится в руках шайки коварных представителей, которые предпочитают деньги чести и свободе?» — писал Гольбах. Позиция Вольтера — между этими двумя течениями. Во всяком случае, он является врагом буржуазной олигархии. Советников парижского парламента Вольтер назвал «высокомерными буржуа, которые хотели стать нашими тиранами». Отсюда удивительное противоречие: революционное учение французских просветителей искало опоры в самодержавии «хорошего короля».

После выхода в свет «Философских писем» Вольтеру пришлось бежать в Голландию. Затем он поселился в замке Сире, на границе Лотарингии, у своей возлюбленной, маркизы дю Шатле, женщины умной и образованной. Сирейский период жизни Вольтера (1734—1744) имеет большое значение в его биографии. Философские поэмы и научные сочинения этого времени содержат общий очерк мировоззрения Вольтера. Уже в «Философских письмах» он излагает успехи английской науки в лице её выдающихся представителей — Локка и Ньютона. Важные сочинения сирейского периода: «Трактат о метафизике» (1734) и «Основа философии Ньютона» (1738) посвящены развитию идей английского сенсуализма и естественно-научной теории мироздания.

Главным врагом Вольтера является метафизика XVII века с её «романами о душе». Метафизические системы были в его глазах повторением казённой догмы о греховности плоти, обречённой на страдания. Они утверждали абсолютную власть «разумной души» в человеческом теле, ничтожество личности перед мировым законом, иерархию существ или врождённое превосходство одних людей над другими. В общем, эти системы переносили на всё мироздание принцип сословного строя. Локк со своей буржуазной точки зрения перевернул старую схему, сделав основой своей философии опыт отдельной личности с её интересами и страстями. В качестве последователя Локка Вольтер отрицает существование врождённых идей, влекущих нас к хорошему или плохому. Всякая мысль происходит из опыта, мышление лишь перерабатывает материал, приносимый чувствами. Поэтому различия между людьми относительно, и

всякий человек есть то, что делает из него окружающая его среда. Вольтер приходит к чисто материалистическим утверждениям. Он полагает, что для объяснения умственной деятельности нет надобности принимать существование особой невещественной субстанции. «Кто осмелится сказать, что невозможно возможность мышления у матери?» Я тело, и я мысль. Лукреций прав. «Мы мыслим мозгом так же, как ходим ногами».

И всё же, колеблясь и убеждая самого себя, Вольтер признаёт существование бога. Деизм Вольтера не внешний приём для обмана врагов науки, а прямая непоследовательность. Мозг мыслит, но скала не мыслит. Стало быть, рассуждает Вольтер, должна существовать особая причина для появления мыслящей материи. Где же найти эту причину, которая представляется столь чудесной? Только бог, думал Вольтер, может наделить вещество способностью думать и чувствовать, как он наделил его другими свойствами, например, притяжением.

Мы знаем теперь, что возникновение мысли имеет свои естественные причины в развитии материи от неорганической природы до человека. Но принцип развития не был известен механистической физике XVIII века. Отсюда крах философских взглядов Вольтера. Он ясно видит, что существование животных или растений нельзя объяснить механическим сочетанием частиц материи в пространстве. Однако Вольтер слишком легко отказывается от других попыток решить этот вопрос с точки зрения материализма. В этом отношении он стоит далеко позади своего младшего современника и друга — Дидро. Не зная принципа развития, Вольтер хотел заменить живую диалектику природы мёртвой классификацией форм, системой целей, установленных божеством («конечные причины»). Другими словами, он возвращается к отвергнутой точке зрения метафизики XVII века.

Нетрудно видеть связь философских взглядов Вольтера с его политической позицией. Он следует за эмпиризмом Локка, учением английских либералов. Но философская теория Локка отражала практику буржуазного строя в Англии и не годилась для более революционных условий французского Просвещения. Вольтер и его друзья нуждались в ясном общественном идеале и стройной системе взглядов на природу как целое. Философия Локка не давала

**этой возможности.** Всякое обобщение является в его глазах делом условности. Чтобы ускорить бесконечный процесс наблюдения единичных фактов, «душа связывает свои восприятия в пучки и размещает их по классам». Так рассуждает Локк. Отсюда можно сделать вывод, что в самом объективном мире не существует реальных и достаточных оснований для этой классификации. За пределами наших восприятий остаётся только механическое движение частиц материи, безразличное к видам и родам вещей, возникающих перед нами.

Этот принцип механического движения Вольтер считал недостаточным для основания системы природы как объективного порядка, а не условной картины в духе Локка. Здесь многое у Вольтера совершенно правильно. Но, со своей стороны, он не мог предложить ничего более близкого к действительному развитию природы от низшего к высшему. Чем определяется всё объективное богатство ступеней, форм, качеств движущейся материи? По мнению Вольтера, эта стройность природы определяется наличием всемирного разума. Целое для него (в философии, как и в политике) происходит сверху, посредством «эманации», а не рождается снизу, посредством развития.

Философские взгляды Вольтера представляют странную смесь передового и отсталого. Он отвергает мысль о слепом и хаотическом движении частиц материи, но приходит к ещё более ложному выводу: можно допустить вечность первоначальной материи, но богатство и порядок форм предполагают деятельность художника-творца.

Здесь на помощь Вольтеру приходит учение Ньютона о всемирном тяготении как система, объясняющая стройную механику мира в целом. У самого Ньютона эта механика служит доказательством мудрости божественного начала. Вольтер дополняет Ньютона представлением о всеобщей мировой гармонии, взятым у Лейбница и его последователей. Бог Вольтера не жестокий тиран средневековой религии, а просвещённый деспот, философ на троне мира. Ему не нужно жертв и курений, но требуется всё же покорность судьбе, философское спокойствие вместо молитв.

Теория познания Вольтера также содержит в себе противоречие. Опыт людей различен, поэтому так удивительно разнообра-

зны мнения и вкусы народов, исторических эпох и отдельных личностей. Всё относительно. Спросите у жабы, говорит Вольтер, что такое красота, и она ответит вам, что красота — это рот до ушей и выпученные глаза. Сочинения Вольтера содержат огромное количество ссылок на всевозможные странности в обычаях, вкусах и мнениях людей разных стран и народов. Но где же объективная истина? И можем ли мы познать её? Существуют ли общие правила вкуса, общие нормы нравственности и права? Так как диалектическое решение этого вопроса было недоступно Вольтеру, он постоянно колеблется между признанием полной относительности наших идей и уступкой теории неизменных истин.

Философия, утверждающая многообразие взглядов и точек зрения, легко может скатиться к отрицанию объективной действительности. Эта опасность смущала Вольтера. Он понимал, что она коренится в учении Локка, философии опыта. Развитие этой философии в сторону субъективного идеализма было ему совершенно чуждо; систему Беркли Вольтер считал безусловно абсурдной. Но как избежать идеалистических выводов из учения Локка? В этом пункте своей теории познания Вольтер решительно покидает английский образец и делает резкий поворот в сторону рационалистической традиции XVII века. Истины математики и морали, правила вкуса и принципы «естественной религии» (очищенной от суеверия средних веков) кажутся ему безусловными знаниями в последней инстанции. Спасаясь от скептицизма, который в консервативных английских условиях привёл к ложным выводам Беркли и Юма, Вольтер возвращается к традиционной метафизике — правда, в новой, очищенной, но не менее догматической форме.

Революционная задача французских просветителей требовала ясной программы, исключавшей всякую уклончивость. Но просветители не понимали действительно значения этой программы, которая вовсе не была абсолютной истиной, а лишь относительной и преходящей ступенью в общем процессе борьбы за освобождение человечества. Буржуазная демократия представляется им не исторической формой общества, а безусловным выводом из «естественного закона». Это царство разума на земле, историческая аксиома, не менее очевидная, чем аксиомы геометрии.

Чтобы доказать справедливость своего идеала, Вольтер рассуждает с точки зрения вечных истин политики, морали и красоты. Правда, нет врождённых идей, как нет врождённых преступников, нет естественного разделения на благородных и неблагородных. Но если мы не рождаемся с бородой, писал Вольтер, то в определённом возрасте она может у нас вырасти. Так у всех людей и у всех народов на известной ступени возникают некоторые общие представления о праве и справедливости, о том, что хорошо и плохо, благородно и низко, красиво и некрасиво. Эти понятия так же естественны, как законы тяготения, и так же очевидны, как истина: «дважды два — четыре». В основе мировоззрения Вольтера лежит свойственная всем теоретикам поднимающегося буржуазного строя идея общности «человеческой природы».

Если люди не могут прийти к полному согласию относительно содержания справедливости, то виною этому, по мнению Вольтера, их невежество. Но и здесь благое провидение позаботилось о том, чтобы из раздоров и несогласий вышла польза для естественного порядка. Существование зла, физического и морального, не нарушает общей гармонии вещей. Значение его относительно, думал Вольтер. Смотрите на дело более широко, и вы увидите, что вселенная представляет бесчисленное множество миров, в котором каждому состоянию и каждому уровню есть своё место и своя мера. Мы называем злом то, что с нашей ограниченной точки зрения кажется таковым.

Все эти рассуждения необходимы Вольтеру, чтобы убедить самого себя в ничтожестве тех причин, которые мешают человеку достигнуть счастья на земле. Напрасно церковные изуверы рисуют земную жизнь в самых мрачных красках — она существует для радости. Не горопитесь осуждать эгоизм и страсти людей. Борьба интересов привела к успехам цивилизации, она является причиной того порядка, который постепенно складывается даже без вмешательства человеческого ума. Пусть моралисты гремят против роскоши — большие расходы богачей дают работу множеству бедняков. Так всё уравновешивается, всё на своём месте: чувство и разум, борьба страстей и рациональный порядок, естественное равенство всех и различия общественного положения,

забота о себе и любовь к ближнему. Нужно только услышать голос природы и следовать ему. Горе тем, кто нарушает естественный закон. Они всегда бывают наказаны за свою ошибку. С этой точки зрения Вольтер восхваляет плоды цивилизации, которая приносит наслаждения, неведомые людям в первобытном состоянии (философская поэма «Светский человек», 1736). Он возвращается к идеалу просвещённой монархии в своём «Веке Людовика XIV» (1751).

Вольтер защищает идею прогресса, богатства, просвещения наций. Он смеётся над утопией добродетельной бедности, над поисками золотого века в прошлом. Это сильная сторона его взглядов.

И всё же оптимизм ранних произведений Вольтера был философией просвещённого барина. Формула «всё хорошо» слишком легко устраняет тёмные пятна на общем фоне подъёма культуры. Идея естественной гармонии интересов имела более определённое содержание — это литературный псевдоним буржуазной конкуренции, которая в те времена играла прогрессивную роль. Но фразой о гармонии нельзя отменить действительных страданий народов. Она сама может служить удобным оправданием существующего зла. Интересно, что «Крестник» Толстого — рассказ, основанный на религиозной идее непротivления злу, во многом соприкасается с весёлой восточной повестью Вольтера, «Задиг или судьба».

Вот отрывок из беседы Задига с ангелом Иезрадом:

«Что же, — спросил Задиг, — значит необходимо, чтобы были преступления и бедствия и чтобы они составляли удел хороших людей?» — «Преступные, — отвечал Иезрад, — всегда несчастны, и они существуют для испытания немногих праведников, рассеянных по земле. И нет такого зла, которое не порождало бы добра». — «А что, — сказал Задиг, — если бы совсем не было зла и было бы одно добро?» — «Тогда, — отвечал Иезрад, — этот мир был бы другим миром, сцепление событий протекало бы в другом премудром порядке». И далее ангел поясняет Задигу, что всё происходящее на любом атоме мироздания иначе не может быть, чем оно есть. «Люди думают, что это дитя упало в воду случайно, что так же случайно сгорел тот дом, но случая не существует, — всё на этом свете есть либо испытание, либо наказание, либо награда, либо предостережение... Слз:бый

смертный, перестань бороться против того, перед чем ты должен благоговеть!»

Вскоре Вольтеру представился случай проверить свой оптимизм на практике.

В 1744 году начался один из коротких периодов заигрывания с общественным мнением, которые время от времени повторяются в истории каждой абсолютной монархии. Приятель Вольтера маркиз Д'Аржансон был назначен министром иностранных дел. Преследования литераторов на время прекратились. Сам Вольтер стал придворным, надев пожалованный ему шутовской кафтан камергера. В 1745 году он написал в честь Людовика XV довольно плоский «Храм славы». Это было унижением первого писателя Франции, но Вольтеру казалось, что он поступает в духе Расина и Мольера — великих литературных деятелей «классического века».

К счастью для французской литературы, это искушение продолжалось недолго. Король не жаловал своего историографа. И так как против Вольтера была затеяна интрига, ему пришлось бежать из королевской резиденции. К этому времени умерла маркиза дю Шатле. Фридрих II Прусский давно приглашал Вольтера в Берлин, обещая ему покровительство и золотые горы. После долгих колебаний Вольтер в 1750 году оставил пределы родины и поселился у «Соломона Севера».

Отъезд в Пруссию был новым опытом применения теории просвещённого деспотизма. В своём сближении с прусским двором Вольтер следовал традиционной французской политике, которая опиралась на протестантских князей Германии в борьбе против католической империи Габсбургов. В качестве неофициального дипломатического агента он с 1740 года принимал участие в попытках склонить прусского короля на сторону Франции. Вольтер и здесь имел свои расчёты или, скорее, иллюзии. Его идеалом был прочный мир между народами. Но великий просветитель добросовестно заблуждался, думая, что такой мир можно установить сверху, добившись влияния на умы правящих особ. Большой лицемер и любитель театральных эффектов, Фридрих притворялся учеником просветителей, и Вольтер надеялся, что влияние просветительной философии на прусского короля послужит делу мира в Европе, расшатанной династическими войнами. Но действи-

тельность и здесь поспеялась над планами просветителей.

Спустя три года дружба с Фридрихом окончилась ссорой. Так как Вольтер представлял более слабую сторону, ему досталась при этом жалкая роль. Он рад был унести ноги из владений своего Соломона. Национальные и международные чаяния Вольтера также были обмануты. Фридрих вскоре изменил союзу с Францией. Опираясь на англичан, он развязал Семилетнюю войну и, по словам самого Вольтера, оказался «врагом народов». С другой стороны, французская монархия обнаружила всё своё разложение в бездарном ведении войны, несправедливости которой с обеих сторон была ясна. Во Франции торжествовала реакция. Партия «философов», усилившаяся в предшествующие годы, подверглась новым гонениям. В 1757 году объявили указ о смертной казни за всякое сочинение против религии и власти. В 1759 году была запрещена «Энциклопедия» Дидро.

Пятидесятые годы — время тяжёлых сомнений в идейном развитии Вольтера. Перед ним расстилалась картина произвола самодержавной власти, народных бедствий и нищеты, религиозного фанатизма, несправедливых войн и колониального разбоя. Теперь зло уже не кажется Вольтеру столь относительным и терпимым. Характерными произведениями пятидесятых годов являются «Поэма о разрушении Лиссабона или проверка аксиомы: «всё хорошо» (1756) и философский роман «Кандид или оптимизм» (1759). Здесь мир изображён как смесь кровавой трагедии и пошлого фарса. Вольтер отвергает теперь учение о всеобщей мировой гармонии:

Мне Лейбниц не раскрыл, какой стезёй  
незримой  
В сей лучший из миров, в порядок  
нерушимый  
Врывается разлад, извечный хаос бед,  
Ведя живую скорбь пустой мечте вослед;  
Зачем невинному, сроднённому  
с виновным,  
Склоняться перед злом, всеобщим  
и верховным;  
Постигнуть не могу в том блага своего:  
Я, как мудрец, увы! не знаю ничего.

Философы, рассуждающие о мировой гармонии, похожи на каторжников, которые играют своей цепью, писал Вольтер впоследствии. На деле мир скорее напоминает бойню. Но если это так, то либо бог бесценен устроить жизнь иначе, либо он беско-

нечно зол. Как совместить существование зла с религией доброго и всемогущего бога? Вольтер откровенно высказывает свои сомнения. Его попытка сохранить религию при помощи анализа самой природы оказалась несостоятельной.

После разрыва с Фридрихом Вольтер поселился сначала в Швейцарии, у ворот Женевы, а затем приобрёл поместье Ферне на границе Франции и Швейцарии. С этого времени начинается последний период деятельности великого просветителя, наиболее независимый и наиболее плодотворный. Вольтер опирался на растущую силу печати. Он поддерживал тесную связь с молодым поколением просветителей-материалистов, вдохновляя их своим знаменитым лозунгом, направленным против церковного мракобесия: «Раздавите гадину!».

Его исторический оптимизм становится теперь более осторожным, более мудрым и, можно сказать, более демократическим. Движение вперёд существует, но прогресс должен пробить себе дорогу сквозь тысячи препятствий. Эта точка зрения изложена в «Опыте о нравах и духе народов» (1756—1769) — одной из первых книг по философии истории. В противовес взглядам историков двора и церкви Вольтер выдвигает на первый план изучение естественной среды, народной жизни, истории торговли, изобретений. Он пишет историю обыкновенных людей и разоблачает мнимых героев, заливающих кровью мирные поля. Через всю картину истории, изображённую в «Опыте о нравах», проходит демократическая мысль: преступления против народов бывают жестоко наказаны.

Но торжествует ли правда в истории? Вольтер не в состоянии выдержать демократическую точку зрения последовательно и до конца. Противоречия исторического развития находят себе решение в подъёме народных масс к самостоятельному революционному действию. Так далеко Вольтер никогда не шёл. Отсюда его беспомощность в поисках выхода из лабиринта преступлений и глупостей человеческого рода. Перед лицом таких явлений, как религиозные распри, жажда золота, уничтожение целых народов, он не находит другого объяснения, кроме ссылки на нелепую случайность, произвол, невежество, ошибки отдельных лиц, то есть становится на почву исторического идеализма. В конце концов он возвращается к мысли о решающей роли монар-

хов: добрые и просвещённые властители основывают академии, злые и жестокие разоряют подвластные им народы и сами оказываются рабами своей судьбы. История есть арена борьбы добра и зла, просвещения и невежества.

В фернейский период идеал просвещённой монархии приобретает новые черты. Героем молодости Вольтера был Генрих IV — укротитель религиозных споров. В период «оптимизма», предшествующий кризису пятидесятых годов, Вольтер создаёт образ Людовика XIV — покровителя искусств и наук. Последним героем Вольтера был Пётр, царь-преобразователь, не останавливающийся перед суровыми мерами для беспощадной ломки средневековых порядков. Невиданный подъём России в XVII веке давно привлекал внимание Вольтера. В 1746 году он добился избрания в почётные члены Российской Академии наук. В 1757 году ему было поручено сочинение «Истории России при Петре Великом» («К сему делу, по правде, г. Вольтера никто не может быть способнее», — писал Ломоносов). Материалы для этой истории доставлялись Вольтеру из Петербурга. Он поддерживал связь с наиболее просвещённой и патриотической частью русской аристократии елизаветинского времени в лице И. Шувалова и др. Позднее Вольтер состоял в переписке с Екатериной II, которую он осыпает градом похвал и не без иронии сравнивает с самой богородицей.

Бесспорным фактом является то обстоятельство, что в международных делах Вольтер и его сторонники во Франции поддерживали политику русского двора, особенно после того, как выяснилось истинное лицо Фридриха II. Вольтер оценил историческое значение прогрессивного подъёма России и противодействовал всяким попыткам изобразить её в качестве силы, угрожающей западной цивилизации. Появление новой громадной империи на европейском горизонте ломало ограниченную систему взаимоотношений, порочный круг реакционной политики, который связывал буржуазную Англию с феодальными дворами Европы и превращал эту часть света в источник постоянных войн. В глазах Вольтера внешняя политика России была фактором мира и стабилизации международных отношений. Некоторые моменты в истории XVIII века подтверждают эту оценку, но, разумеется, Вольтер смотрел на политику царизма

сквозь розовые очки. Он, например, оправдывал первый раздел Польши как поражение средневековой анархии и католической церкви. Несмотря на подобные ошибки, вытекающие из общей слабости его исторической философии, взгляд Вольтера на международные отношения нужно признать более передовым и проницательным, чем позицию врагов России среди французских просветителей (как Руссо).

Вольтер и его друзья хотели воспользоваться централизацией, созданной абсолютизмом, для коренной ломки феодальных отношений. Но вместо этого они сами стали картой в политической игре королей. Венцом всех ожиданий Вольтера было назначение одного из просветителей — Тюрго — первым министром Людовика XVI. «Мне кажется, что небеса и земля обновились», — писал Вольтер о деятельности Тюрго. Но торжество продолжалось недолго. Тюрго был свергнут придворной кликой, а в народе он не приобрёл прочной опоры. Верный духу Вольтера, Тюрго боролся против средневековых парламентов, но не желал и национального собрания. Он действовал сверху, именем короля. Когда повышение цен на хлеб вызвало голодный бунт 1775 года, министр-просветитель подавил его вооружённой рукой.

Весь эпизод министерства Тюрго, желавшего провести буржуазно-демократические реформы при помощи методов просвещённого деспотизма, был трагической насмешкой над политическими идеями Вольтера.

Во второй половине XVIII века самодержавные правители поняли, какое удобство представляет для них теория просвещённого деспотизма, подчиняя силу общественного мнения интересам той или другой династии. Фридрих II прусский, Густав III шведский, русская императрица Екатерина объявили себя друзьями Вольтера и просвещения. В самой Франции последние министры Людовика XVI, Калок и Бриен, создали реакционную карикатуру на политику просветителей, пользуясь их ораторскими фразами, чтобы прикрыть грабёж народного достояния в пользу расточительного двора. Правда, эта игра заставила Калона созвать собрание нотаблей, с которого началась Французская революция, и, таким образом, всё же последний шаг «просвещённого деспотизма» оказался первым актом падения самодержавия.

Но Вольтер и сам чувствовал шаткость

всех политических надежд на революцию сверху. Поэтому, собственно, он нигде не излагает этих надежд в более связанной и законченной форме. Неуловимость политической системы Вольтера доставила много хлопот исследователям его взглядов. Более солидный материал для историка дают авторы политических трактатов — Монтескье, Руссо, Гольбах. Но дело вовсе не в «легкомыслии» Вольтера. Дело в том, что Вольтер не придаёт значения политическим утопиям и прожектам, столь распространённым в его время. Он уделяет больше внимания критике феодальных порядков, а в остальном надеется на общее развитие жизни, которая подскажет тот или другой путь освобождения. Главное, чего он боится, — это духовная слепота, погоня за погрешностью, новое суеверие, которое может помешать реальному делу.

После кризиса пятидесятых годов Вольтер не устаёт повторять, что практическая деятельность простых людей важнее всех политических благодеяний и философских доктрин. Под либеральной внешностью эти рецепты несут народу новое разорение. Не «светский человек» занимает теперь воображение Вольтера. Его беспокоит судьба земледельца Андре, статистически-средней величины, превращённой в литературный образ («Человек с сорока экю», 1768). Вольтер говорит от лица всех средних величин, составляющих, в его представлении, нацию. Он горячо защищает их интересы, и мирная фраза: «Будем возделывать наш сад!» — превращается у него в боевой клич буржуазной революции. В 1764 году ходило по рукам письмо Вольтера аббату Шовлену, в котором немощный старец, укрывшись в своём убежище на границе монархии и республики, приветствовал приближение бури: «Счастлив тот, кто молод, он ещё увидит прекрасные вещи».

Шестидесятые годы XVIII века — время кипучей деятельности Вольтера и его соратников в борьбе с последними припадками ярости издыхающей «гадины». Одним из самых гнусных остатков средневековья был религиозный фанатизм. Во Франции кровь невинных ещё лилась во имя бога. В своей защите жертв католической реакции — Каласа, Сирвена, де ла Барра — Вольтер проявляет огромную революционную энергию. «Умов и моды вождь, пронырливый и смелый» становится народным



трибуном. Пустив в ход всё своё влияние, ему удаётся спасти одних, добиться запоздалого оправдания для других. Эти знаменитые процессы сыграли большую роль в подготовке Французской революции, будучи ярким разоблачением тысячелетнего зла.

Отвергая тиранию католической церкви, Вольтер не жалуется лютеран и кальвинистов. Он с одинаковым омерзением говорит о всех системах духовного гнёта. Ряд изданных под вымышленными именами сочинений Вольтера содержит критический разбор религиозных преданий христианства и еврейства. Вольтер вскрывает противоречия «священных книг» моисеева закона; его библейская критика явилась основой всех позднейших исторических исследований в этой области. Громадной известностью пользуется «Орлеанская девственница» Вольтера (первое авторское издание поэмы относится к 1762 году) — замечательно остроумная насмешка над всей церковной галиматей и феодальной бутафорией. Пушкину мы обязаны превосходным переводом первых двадцати шести строк этой «библии карит».

Другим направлением борьбы Вольтера была агитация против крепостничества и феодальных привилегий. В «Философском словаре» (осуждён на сожжение парижским парламентом в 1765 году) он требует равенства граждан перед законом, равной обязанности всех платить налоги пропорционально имуществу, единства законов, мер и весов и т. д. Важное значение имела борьба Вольтера против крепостного права в провинциях Жекс, Франш-Конте и др. Замечательно его, написанное от имени французских крестьян, «Прошение ко всем должностным лицам королевства» (1770): «Вам известны те притеснения, которые часто отнимают у нас кусок хлеба, добытый нашими руками для наших собственных угнетателей», — так начинается эта жалоба. Вольтер перечисляет все виды налогов и средневековых повинностей, лежащих на крестьянском семействе. «К концу года плоды наших трудов уже не существуют для нас. Если выдаётся минута отдыха, нас тащат на барщину за два или три лье от наших жилищ. И не только нас, но и наших жён, наших детей, нашу скотину, так же задавленную трудом, как и мы, и частенько издыхающую в пути от усталости. Нас грабительно лишают наших полей и виноградников, превращая их в увесели-

тельные дороги. Нас отрывают от сохи, чтобы разорить, и единственная награда за весь наш труд состоит в том, что мы можем видеть, как по нашей земле катят экипажи сборщика податей, епископа, аббата, финансиста или знатного сеньёра, и эти господа топчут ногами своих коней землю, служившую нам для пропитания». Я лишь тогда поверю в божественность феодальных прав, сказал однажды Вольтер, когда увижу, что благородные рождаются со шпорами на ногах, а крестьяне с сёдлами на спинах. В 1775 году он издаёт «Отрывок из записки о полной отмене рабства во Франции».

Защита интересов крестьянства является одной из главных черт всей исторической деятельности Вольтера как просветителя. Но не следует забывать, что в лице крестьянина Вольтер защищает прежде всего собственника. Владение собственностью является в его глазах отличительным признаком «здоровой части народной массы». Люди, лишённые собственности, говорит Вольтер, являются опорой тирании и фанатизма. «Ведь отцы семейств, владеющие собственными домами, обыкновенно не разделяют религиозного одушевления, а могут быть только лицемерами, часто издевающимися над возникающим суеверием, принимают его лишь тогда, когда могут воспользоваться им в своих интересах и повести народ на привязи, которую он сам для себя сделал».

Вольтер ссылается на социальную демагогию католической церкви, и в этом страхе перед возрождением средневековой власти духовенства над широкой массой забытых и тёмных людей — одна из главных причин его недоверия к «черни».

Для Вольтера все вопросы сводятся к одному: уничтожению феодальных порядков. Всякое движение низов, идущее дальше формального равенства перед законом (во имя уравнительного коммунизма или хотя бы равенства мелкой собственности), является в его глазах реакционным. Вместе с религиозной формой он отбрасывал глубокое социальное содержание первобытного христианства и других подобных движений. Руссо с его обращением к религии страждущих и угнетённых, с его критикой цивилизации, науки, театра кажется Вольтеру основателем новой секты оборванцев, желающих разделить имущество богачей и уничтожить блеск просвещения.

Не нужно доказывать, что этот взгляд несёт на себе отпечаток классовой ограниченности Вольтера. Среди просветителей именно Руссо был человеком наиболее близким к плебейской массе. Но, защищая прогрессивное мировоззрение, науку, искусство, веру в успехи человеческого разума, Вольтер и его сторонники имели свои основания. То, что думал Руссо, не во всём было полезно для французского народа. В его учении были реакционные черты, и плебейское происхождение Руссо, его влияние на французскую демократию конца XVIII века отнюдь не делают эти черты более достойными уважения. Напомним, что Руссо требовал ссылки или даже смертной казни для врагов религии. Это уродливое проявление социального протеста (спустя тридцать лет Конвент действительно казнил атеистов) поднимало ярость Вольтера против религиозного безумия.

В фернейский период он наиболее близок к французской материалистической школе. «Философский словарь» является собранием его статей, написанных для энциклопедии Дидро. Вольтер поддерживал материалистическое учение о всеобщей закономерности в природе (вместо прежней «гармонии»). Естественные процессы совершаются по необходимому закону без всякого отношения к нашим понятиям о добре и зле. Воля человека также определяется необходимостью. «Мы не более хозяева наших идей, чем кровообращения в жилах», — пишет он мадам дю Деффан в 1764 году. Души не существует, а то, что мы называем сознанием, зависит от устройства наших органов («Письма Меминия к Цицерону», 1771).

Однако Вольтер не был полностью согласен и с материалистами своего времени. Всё, что происходит в мире, имеет свою естественную причину, но это не значит, что всё оправдано. Уже в полемике против «оптимизма» Лейбница и его английских последователей Вольтер писал: «Если в моём мочевом пузыре образуется камень, то это образование происходит в полном согласии с природой, и точно так же в согласии с природой действует врач при своём лечении; но если я умираю при этом болезненном лечении, какая мне польза знать, что я подчинюсь неизменным естественным законам?». Преувеличивая идею порядка в окружающем мире, сторонники Лейбница приходят к оправданию зла, откажу от всякого недо-

вольства жизнью. Ту же опасность, но с другого конца, Вольтер заметил в механистическом материализме XVIII века.

Материалисты стремились разрушить теологическое представление о разумном устройстве вселенной, которое часто служило доказательством существования бога. В этом отношении их полемика была совершенно оправдана и достигала замечательных результатов. Но вопрос о взаимоотношении между человеческим разумом и природой очень сложен; его нельзя решить с точки зрения механистического материализма XVIII века. Для Вольтера суть дела заключается в том, существуют ли в самом ходе естественных процессов какие-то основания для наших понятий правильного и неправильного, положительного и отрицательного, нормального и болезненного, извращённого, нарушающего порядок вещей? Гольбах в «Системе природы» даёт отрицательный ответ на этот вопрос. Он отвергает всякую объективную разницу между «порядком» и «беспорядком», считая их только человеческими субъективными представлениями, как субъективны, согласно теории механистического материализма, качества цвета, вкуса и запаха. Всё в природе одинаково необходимо. Мы считаем что-либо нарушением правильности лишь потому, что не знаем причин этого явления.

Вольтер заметил в теории Гольбаха род оправдания зла, капитуляцию перед необходимостью. В 1771 году он поместил ответ на «Систему природы» в своих дополнениях к энциклопедии Дидро. «Как? — восклицает Вольтер. — В области физических явлений слепорождённый ребёнок, дитя без ног, урод разве не идёт в разрез с натурой человеческого рода? Этот беспорядок имеет, без сомнения, свою причину: нет следствия без причины, но всё-таки это следствие представляет собой большое нарушение порядка». В области общественных явлений Вольтер напоминает своему противнику Варфоломеевскую ночь, резню в Ирландии, интриги и клевету служителей разных сект и религий. «Разве это не гнусные беспорядки? Эти преступления имеют свои причины в страстях, но их действие отвратительно, причина их носит фатальный характер. Эта причина заставляет нас содрогаться. Нужно лишь показать источник этого беспорядка, но самый беспорядок налицо».

Пытаясь согласовать отрицательные явления жизни с материалистической системой всеобщей закономерности, Гольбах и его друзья прибегали к старому софизму: зло необходимо для пользы самих людей. В своих замечаниях на полях брошюры «Истинный смысл системы природы» (1774) Вольтер отвергает эту идею, когда-то близкую ему самому. Другим обычным софизмом XVIII века было оправдание бедности тем, что богачи страдают от пресыщения и скуки. Бедные более счастливы, ибо у них нет подобных страданий. «Тарабарщина», — отвечает на это Вольтер.

Таким образом, ему удалось нащупать слабое место материализма XVIII века, его созерцательный характер. Эту философию легко превратить в новые издания формулы доктора Панглоса (в романе «Кандид»): «всё хорошо, всё оправдано». Материализм является непобедимым оружием революции, если он может доказать не только закономерную связь существующих форм, но и необходимость их собственного отрицания, замены их более высокими формами жизни. Таким революционным оружием является диалектический материализм. До появления на исторической сцене рабочего класса революционные партии не имели этого оружия. Вот почему материалистическая школа XVIII века, сыгравшая большую роль в деле подготовки Французской революции, была отвергнута партией Марата и Робеспьера. Вожди якобинской диктатуры считали материализм философией развратных богачей. В таких противоречиях развивалась общественная мысль этой революционной эпохи. Бюсты Гольбаха и Гельвеция были вынесены из якобинского клуба примерно в то самое время, когда Екатерина приказала удалить их из Эрмитажа.

Вольтер не более, чем его современники-материалисты, мог указать французской демократии её действительное буржуазное содержание и семя классовой борьбы, которая неизбежно должна была двинуть революцию дальше, за пределы буржуазного кругозора. Заметив слабую сторону «Системы природы», он отступает назад, от материализма к религии. Его рассуждения о порядке и беспорядке, добре и зле остаются в плоскости вечных проблем. а в этой плоскости, как известно, все рассуждения бесплодны. Вольтер и сам это признаёт. Чтобы основать право человека на критику

существующего порядка и возможность активного вмешательства людей в условия их собственной жизни, автор ответа на «Систему природы» должен оставить почву материальной необходимости и обратиться к тем аргументам, которые сам он однажды назвал «бабьими аргументами». Вольтер сознаётся в том, что у него не хватает научных доказательств против материализма. В теории он почти во всём согласен с материалистами. Но дело, думает Вольтер, не в науке, а в счастье. Для торжества справедливости на земле необходимо верить в существование доброго бога, карающего людей за преступления и награждающего их за хорошие поступки. Если исчезнет это утешение, эта побудительная причина для действия, наш мир превратится в настоящий ад. «Тот, кто кричит мне: «Вы плывёте напрасно, гавани нет», лишает меня смелости и отнимает силы». Поразительно, что рассуждения фернейского помещика очень близки к доводам Робеспьера в пользу религии высшего существа. «Если бы бога не было, его нужно было бы выдумать». Эту фразу Вольтера повторил Робеспьер в Конвенте.

Едва освободившись от веры в бога, как просвещённого монарха вселенной, управляющего посредством физических законов, Вольтер погружается в новую волну религиозных идей, которая поднималась накануне Французской революции. Религиозный костыль должен помочь философу перешагнуть через зияющую брешь в его убеждениях. Новая, буржуазная религия, пришедшая на смену религии феодальной, носила менее добросовестный характер и допускала, что существование бога не является фактом действительного мира. Это было утилитарное моральное богословие, которое делит людей на две категории: умных и глупых, воспитателей человеческого рода или «философов», которые втайне могут придерживаться материализма, и всех остальных людей, которым подобный уровень просвещения был бы скорее вреден.

Люди, стоявшие на левом фланге просветительного движения, как Руссо, принимали новую моральную религию с энтузиазмом; люди, подобные Вольтеру, далёкие от уравнительных идеалов мелкобуржуазной демократии, выражали сущность дела более откровенно и цинично. Так у Вольтера моральный довод в пользу существования

бога нередко переходит в другой дозед — полицейский. Если «король-атеист более опасен, чем Равальяк-фанатик», если придворные-атеисты — это «хищные звери», то особенно следует опасаться проникновения подобных идей в народную массу. Философ, проповедующий атеизм, говорит Вольтер, поступает неосторожно. Это слишком тонкая музыка. В один прекрасный день публика может разбить музыкальными инструментами головы самих музыкантов.

Но, повторяя, что атеизм нужно держать в тайне от народа, Вольтер говорил это слишком громко. Его рассуждения наглядны, остроумны, подчёркнуты. Не так поступают настоящие циники и лицемеры. Вспомним слова Маркса о Рикардо, которого либеральные экономисты упрекали в безнравственности: «Цинизм заключается в вещах, а не в словах, выражающих эти вещи»<sup>1</sup>. Вольтера ненавидела феодальная реакция, его лицемерно осуждает и буржуазная мысль. Это потому, что богатому мещанству неприятно видеть, как изображаются во всей наготе отношения буржуазного строя и раскрываются тайны имущего класса.

На основании собственных слов Вольтера легко составить против него обвинительный акт. Но характерно, что этим занимались люди, далёкие от классовой борьбы трудящихся, — Луи Блан, которого Ленин сравнивал с Керенским, умеренный немецкий либерал Штраус, либеральный народник Михайловский. На родине Вольтера, во Франции, до сих пор появляются сенсационные «разоблачения» вроде биографии, изданной лет пятнадцать тому назад Шарпантье, с целью доказать, что Вольтер был трусливым маленьким буржуа, которого только счастливый случай сделал «ремесленником буржуазной революции». В 1944 году в реакционном журнале «Каррефур» была напечатана статья «Здесь погребён Вольтер». Автор задаёт вопрос: «Как мог этот злобный и ограниченный капиталист стать одним из кумиров революции, то есть исправления человечества, и почему он остаётся кумиром до наших дней?» Современный капиталистический класс поощряет эти декадентские выпады против революционной традиции в литературе и общественной мысли.

<sup>1</sup> К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т. V, стр. 315—316.

Действительную роль Вольтера можно определить словами В. И. Ленина: «Нельзя забывать, что в ту пору, когда писали просветители XVIII века (которых общепризнанное мнение относит к вожакам буржуазии), когда писали наши просветители от 40-х до 60-х годов, все общественные вопросы сводились к борьбе с крепостным правом и его остатками. Новые общественно-экономические отношения и их противоречия тогда были еще в зародышевом состоянии. Никакого своекорыстия поэтому тогда в идеологах буржуазии не проявлялось; напротив, и на Западе и в России они совершенно искренно верили в общее благоденствие и искренно желали его, искренно не видели (отчасти не могли еще видеть) противоречий в том строе, который вырос из крепостного»<sup>1</sup>.

Если Вольтер замечает тёмные стороны буржуазного строя, он говорит об этом с откровенностью, недоступной позднейшим идеологам буржуазии. В обществе, основанном на частной собственности, просвещение является достоянием богатых. «Мне кажется очень важным, чтобы существовали невежественные бедняки», — сказал однажды Вольтер. Буржуазное равенство перед законом предполагает неравенство классов. В нашем несчастном мире, пишет Вольтер, это зло неистребимо. Лучшая политическая форма — демократическая республика, но, увы, по словам Вольтера, она является только мечтой. «В государстве деньги решают всё». Вольтер превращает эти противоречия в неразрешимые парадоксы человеческой природы и всё же зовёт вперёд, хотя бы слепо, на ощупь. Он признаёт, что за пределами буржуазного идеала остаётся много неясных вопросов. Лучше открыто сознаться в своём невежестве, чем обманывать себя и других. Последнее слово Вольтера обращено к практике, деятельности. И всё же практика здесь только убежище от душевного беспокойства. Труд приносит облегчение, он помогает забыть тёмные стороны жизни. «Будем работать, не рассуждая, это единственное средство сделать жизнь сносной», — говорит один из героев романа «Кандид».

Бесспорно, что Вольтер гораздо слабее в своей положительной программе, чем в своём отрицании. Его оружие — критика. Но это оружие, созданное великим писателем.

<sup>1</sup> В. И. Ленин, Сочинения, т. 2, стр. 473.

лем, было слишком острым для ограниченных буржуазных взглядов, которым оно пролагало дорогу. Самое ценное в наследстве Вольтера — неутомимый дух исследования, который пробует всё, подрывает все устойчивые основания для самодовольства, издевается над тупой одностороностью и не шадит любимых иллюзий самого писателя.

Вольтера не раз обвиняли в излишней склонности к отрицанию. Это несправедливо. Отрицание Вольтера никогда не бывает пустым, подрывающим веру в объективную истину. Он никогда не зовёт назад, к утраченной простоте. Вольтер твёрдо стоит на почве реальности и остаётся историческим оптимистом даже в своих сомнениях.

Та же высокая мужественность и революционная энергия отличают его как писателя. Вольтера можно назвать гением критики. Его главное оружие — смех, беспощадный, уничтожающий. Всё, что не выдерживает проверки смехом, разоблачается, как подделка истины. «Смех Вольтера разрушил больше плача Руссо», — писал Герцен.

Враги Французской революции утверждали, что Вольтер был чужд поэзии. Против этого взгляда (существующего и в настоящее время) достаточно выдвинуть авторитет Пушкина и Гёте — двух величайших поэтов мира. Оба они ценили лирику Вольтера. Для более крупных литературных жанров поэтический фон может дать только эпоха широких народных движений. Этот источник поэзии оживил мировую литературу в годы Французской революции. Время Вольтера было невыгодно для поэтического творчества. Но в пределах своего времени он сумел найти живое зерно действительности, которое придаёт своеобразную прелесть его искусству.

После суровой дисциплины классицизма XVII века, связанного с абсолютной монархией, Вольтер выдвигает на первый план чувственный опыт отдельного человека, право наслаждения жизнью и право восстания против несправедливости. В эпохе он переходит на почву действительной истории, отбрасывая мифологические красоты, в лирике требует движения мысли и отсутствия всякого жеманства, в трагедии ищет сильных страстей, смелости и героического энтузиазма. Театр Вольтера создал тот ораторский стиль, которым пользова-

лись деятели революции 1789 года. Трагедии «Брут» и «Смерть Цезаря» имели громадный успех на сцене первой французской республики. Шедевр всей драматургии Вольтера — трагедия «Заира» (1732) — отчасти напоминает «Отелло», но заключает в себе другую мысль — конфликт гуманного чувства с предрассудками, разделяющими народы. Эти кровавые предрассудки закреплены религией. Пьесы Вольтера насыщены полемикой против религиозного фанатизма. Его «Магомет» является иллюстрацией к взгляду Вольтера на социальную демагогию как источник возникновения религиозных сект.

С нашей современной точки зрения пафос вольтеровских трагедий устарел, как устарели театральные эффекты, присущие буржуазной революции XVIII века. Гений Вольтера был скован классовой узостью его идеала и мог возвыситься над прозой своего содержания лишь посредством условности, формальной абстракции. Отсюда возрождение классицизма в литературной деятельности Вольтера. В своей эстетической теории он колеблется между свободой чувства и рациональной системой норм прекрасного.

С течением времени, особенно после кризиса пятидесятых годов, в поэтическом мировоззрении Вольтера растёт элемент «чувствительности». Там, где передовая мысль эпохи Просвещения искала более глубоких причин социальной несправедливости, чем феодальное угнетение, она расплывалась в неясном трагическом чувстве, которое обычно зовут сентиментализмом XVIII века. Некоторые произведения Вольтера, как философский роман «Простак», трагедии «Олимпия», «Скифы», содержат развитие этого эстетического элемента. Но вместе с ростом «чувствительности» растёт и очищается также классицизм Вольтера. Об этом свидетельствует ряд трагедий на античные сюжеты (от «Меропы» до «Агатокла»).

Как художник Вольтер сильнее всего именно там, где, на первый взгляд, образ кажется только внешней оболочкой мысли, — в философских романах и повестях. Проза Вольтера является высоким образцом реализма, близкого к реализму Свифта. Здесь меньше всего можно говорить о правдоподобию картин, изображающих явления природы и общества. Образы Вольтера воплощают реальность общих за-

конов и отношений действительного мира. Для литературного анализа этих абстрактных элементов нужен, однако, чувственный материал. И Вольтер находит его в простом перечислении фактов, которые только упоминаются, но создают необычайно пёстрый и подвижный фон его повествования.

Проза жизни обильно снабжает Вольтера поэзией. Это поэзия науки, бесконечная перспектива множества миров и стран, разнообразие обычаев, хроника событий, превратности современной политики и личной судьбы. Сквозь этот поток чувственного многообразия просвечивает единство мысли. Каждый роман Вольтера является притчей и поучением. Но здесь нет холодной аллегории и вообще меньше всего сказываются недостатки вкуса эпохи Просвещения. Чувственное и рациональное, относительное и постоянное связаны в романах Вольтера более глубоко, более естественно.

Главным действующим лицом его произведений является необходимость, закономерная связь вещей, которую Вольтер, в духе механистического материализма XVIII века, отождествляет с могуществом случая (или «судьбы»). В тисках необходимости трепещет и бьётся живое сердце разумного существа, способного задавать вопросы: почему и зачем? Человек Вольтера прежде всего — чистая восковая доска, на которой поток обстоятельств чертит свои письмена. Это «копыт» в образе простосердечного наблюдателя, — как гурон, попавший в страну французов, Кандид или господин Андре. Человек удивляется несообразностям жизни, заставляющим его страдать, он способен также выдвигать гипотезы и делать эксперименты, чтобы выяснить правильность той или другой философии. В конце концов он приходит к выводу, что настоящее призвание человека не в пассивном созерцании, а в деятельном труде.

Но деятельность, собственно, остаётся за пределами романа; это спокойная гавань, конец душевным волнениям. Только в рамках исторического развития деятельность человека может стать источником поэзии. События, описываемые Вольтером, — вне истории. Человек является здесь игрушкой естественных сил, малой песчинкой, затерянной среди величественного пространства природы. Поэзия времени почти незнакома эпохе Вольтера, как незнакомо ей историческое понимание природы и общества. И всё же классический реализм XIX века

многим обязан философскому роману Вольтера. Стендаль и Бальзак нашли в нём зародыш своих психологических экспериментов — драму мысли среди антагонизма общественных сил и отношений.

В семидесятых годах слава Вольтера достигла высших пределов. Королевская власть была уже основательно расшатана, и «фернейский отшельник» мог, невзирая на старое запрещение, совершить путешествие в столицу Франции. Его пребывание в Париже весной 1778 года превратилось в настоящий триумф. Среди радостных волнений этой весны Вольтер почувствовал себя дурно. Он умер в Париже 30 мая 1778 года. Церковь сделала всё, чтобы отравить ему последние дни: она добивалась покаяния. Но Вольтер, который всегда отказывался признать себя атеистом, в последний момент отослал священника со словами: «Дайте мне спокойно умереть». Его похоронили гайком, вопреки церковному запрещению. Во время Французской революции тело Вольтера с торжеством было перенесено в Пантеон. Существует легенда, что в 1814 году, в период реакции, шайка «золотой молодёжи» опустошила его гробницу.

Среди писателей XVIII века были люди, превосходившие Вольтера смелостью своих политических и философских идей. Но французская литература, богатая революционными традициями, не знает имени, более оскорбительного для слуха врагов демократов, чем имя Вольтера. Это очевидный факт. Чёрная, белая, коричневая и прочие реакционные гадины попрежнему ненавидят его, и книжные рассуждения об умеренности великого просветителя не охладили эту ненависть.

Интересна судьба статуи Вольтера на набережной Малаке в Париже. В 1870 году французские клерикалы подняли страшный шум против открытия этого памятника под тем предлогом, что Вольтер состоял на службе у немца Фридриха. А семьдесят лет спустя, во время немецкой оккупации, статуя Вольтера была сброшена с пьедестала и отправлена в качестве лома на военный завод. Когда возник вопрос о замене всех снятых металлических памятников фигурами из камня, министр петэновского правительства Абель Боннар собственноручно вычеркнул имя Вольтера с приложением следующей резолюции: «Вольтер? — Он не существует». Эти слова предателя получили широкую известность во Франции. Лакеи

пера трудились над темой: «Вольтер никогда не существовал». Борцы национального сопротивления с гордостью писали о «нашем Вольтере», гении французского народа. Вскоре после освобождения Франции по рукам ходили шуточные куплеты, в которых были следующие слова:

Si Pétain est par terre,  
C'est la faute de Voltaire<sup>1</sup>

Среди громадных событий нашего века Вольтер продолжает волновать сердца, вы-

<sup>1</sup> Если Петэну крышка,— кто виноват? Вольтер.

зывать любовь и ненависть. Значит, есть за что любить и ненавидеть. «Орлам случается и ниже кур спускаться, но курам никогда до облак не подняться». Слабые стороны господина де Вольтера, придворного и философа, отступают на задний план перед величием его революционного дела. В наше время, когда, по известному выражению И. В. Сталина, буржуазия выбросила за борт знамя буржуазной демократии и национальной независимости, славное имя французского писателя особенно дороголюдям демократического лагеря во всех странах.



# КНИЖНО-ЖУРНАЛЬНОЕ ОБЗРЕНИЕ

## СОДЕРЖАНИЕ

★

### ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

**П. Утевская.** Народный писатель Латвии.— **А. Кондратович.** Альманах, которому нужна помощь.— **Н. Соколова.** Человек и его дело.— **А. Турнов.** Оружие сатиры.— **П. Топер.** «Железный город» Ллойда Брауна.

### ПОЛИТИКА И НАУКА

**А. Иглицкий.** Под знаменем мира.— **А. Проскуряков.** Против морального рабства немецкой молодёжи.— **Л. Романов.** Во франкистской Испании.— Академик **А. Винтер.** Энергия ветра.— **И. Крупеников.** Выдающийся учёный XVIII века.

## Литература и искусство

### Народный писатель Латвии

**Р**ассказы народного писателя Латвии Эрнеста Бирзниека-Упита написаны давно. В нашей стране исчезли изображаемые в них формы жизни, нормы общественных отношений. Но эти короткие рассказы, относящиеся к концу XIX — началу XX века, читаются не только с интересом, но и с глубоким волнением.

В предисловии к «Избранным рассказам» Бирзниека-Упита, вышедшим недавно в издательстве детской литературы, приведены слова писателя: «Я принадлежу к тем рассказчикам, которые меньше занимаются вымыслом и больше склоняются к жизненной правде. В основе каждой моей, пусть даже самой маленькой зарисовки лежит то или другое событие или случай, которые я сам пережил или слышал от других». Жизненный опыт писателя, искренность его искусства, его подлинное и неподдельное участие в судьбе своих героев — это качества, сразу же воспринимаемые читателем и высоко им ценимые. Однако значение его творчества определяется главным образом тем, каким именно людям Бирзниеку-Упиту отдал все силы своей души, и тем, что сумел писатель найти в этих людях.

«Ильза» открывает «Рассказы серого камня», одну из наиболее популярных книг писателя. Героиня этого рассказа,

батрачка из Курземе, родилась крепостной; «она умела ещё только кричать, а мать уже таскала её с собой на пастбище». Так называемое «освобождение» крестьян мало что изменило в жизни Ильзы: в прибалтийских губерниях после отмены крепостного права вся земля полностью осталась у помещиков. Ильза выходит замуж за такого же, как она, безземельного бедняка. Тяжёлое детство и безрадостная юность не ожесточили сердца, не сломили характера этих людей. Но для них невозможно и обрётённое ими скромное счастье — жить в труде, поддерживая им свою дружную семью. На доход с арендуемого клочка земли нельзя прокормить двоих детей. Муж Ильзы идёт на отхожий промысел, лесорубом. Заработки там больше, но и работа опаснее. Он вскоре погибает, раздавленный упавшим деревом. Ильза, неутомимая труженица, любящая мать, терпеливо и стойко борется с нищетой. Ей удаётся вырастить сыновей. Но старший, рано начав батрачить, женится и уходит от матери. Подросткового младшего забирают в солдаты. Только теперь Ильза рыдает над своей судьбой, теперь, когда она, всю жизнь привыкшая заботиться о других, любимых людях, осталась одна. Она плачет за околицей, прильнув к серому камню, как плакала в детстве.

Э. Бирзниеку-Упиту. «Избранные». Редактор Н. Бать. Латгосиздат, Рига. 1952.

Э. Бирзниеку-Упиту. «Избранные рассказы». Редактор Л. Блюмфельд. Детгиз, М.—Л. 1952.

В рассказе «Кузница» молодой, энергичный кузнец строит себе дом, устраивает маленькую кузницу. И он и его жена все силы вкладывают в работу, чтобы



прокормить семью, выбиться в люди. Но несколько лет непосильного труда, в особенности работа на постройке дома почти без посторонней помощи, подорвали здоровье кузнеца, он заболевает туберкулезом. Его руки ещё держат молот, но удары звучат всё слабее. Больной, почти умирающий, он уступает свою наковальню и свой дом новому кузнецу, а сам с семьёй уезжает неведомо куда. «У перекрёстка, где дорога сворачивала в лес, больной поднял руку и что-то сказал. Новый кузнец остановил лошадей. Больной с трудом сел и посмотрел туда, где за селом лежали когда-то брёвня. В первый раз тогда привёл он сюда жену. Лошади снова тронулись, и телега скрылась за лесом».

Тема этих рассказов, в особенности если принять во внимание время, когда они были написаны, могла склонить писателя к пессимизму, к скорби о судьбе дорогих ему людей. Но Бирзник-Упит даже в самых трагических положениях видит внутреннюю силу своих героев. Горько одинокой Ильзе; но её жизнь не прошла даром, она её прожила достойно, она сумела защитить две детские жизни от голода, она сумела вырастить своих сыновей, и сыновья её любят. Не выстоял в жизненной борьбе кузнец, не стало у него силы, как ни была она велика, но, покидая свой дом и оглядываясь в прошлое, он вспоминает здесь был пустырь и валялись брёвна, теперь здесь дом и кузница, и это сделал я. И этот человек знает, что, хотя и не удалась его жизнь, его любит и о нём горюет семья, что его уважают такие же труженики, как он сам.

Чувство человеческого достоинства составляет моральную основу рассказов Бирзника-Упита. Автор чрезвычайно сдержан в выражении чувств, а действующие лица в этом отношении ещё скупее его. Люди, о которых пишет Бирзник-Упит, — латышские крестьяне, бедняки и батраки, — эти забытые и тёмные люди ведут себя с поражающей стойкостью и благородством. Они поступают героически, но их героизм лишён внешнего эффекта, он состоит в мужественном, спокойном выполнении того, чего требует от них жизнь. И редко вырвется у них в последней крайности горькое слово, ранящее близкого, — почти всегда они помнят в беде друг о друге, стараются друг друга охранить и поддерживать. Даже в самых ранних рассказах, где

«Новый мир», № 6.

автор редко раскрывает конкретные причины народного бедствия, эта внутренняя стойкость бедняков и их взаимное сочувствие ощущаются как сила, противостоящая гнёту.

Эти черты ясно видны и в таких рассказах, как «Из дневника», «Под вечер», «В новогоднюю ночь», «Старый Чунча», «Янцис-калека», где писатель изображает своих наиболее обездоленных земляков — честных тружеников, в старости потерявших силы и оставшихся без средств и без крова.

Вот один из них — старый Чунча. «Пока мог работать, он был поваром в имении. А теперь его оттуда выбросили». Больной и одинокий, он вынужден кочевать по чужим углам: «Мать принесла Чунче одну из новых попон, но ноги всё же оставались непокрытыми. Наверно, попона оказалась коротка, и из-за печи всегда торчали опухшие чёрные ступни». Этот человек доведён до того, что ничто уже не может его обрадовать, всё ему безразлично. Семья, где волостное правление поселяет старика, жалует его — без сентиментальности, безликих слов его моют и стригут, дают ему чистую одежду, кормят его, и даже ребёнок, правда безуспешно, пытается завести с ним дружбу, не брезгая уродливым и дряхлым человеком. Впрочем, несмотря на то, что эта семья согласна оставить Чунчу у себя навсегда, волостные власти переселяют его в другую деревню, где он умирает, одинокий никому не нужный.

Всю жизнь не покладая рук трудился Сапа и Криш («В новогоднюю ночь»), пока им удалось построить себе маленький домик и выплатить много лет тяготивший их долг. Но дом сгорает, Сапа при пожаре теряет зрение, а Криш тяжело заболевает, становится инвалидом. Для них начинается страшная жизнь бездомных гириш. Нечастных привозят в чей-то дом: «Вошла хозяйка и приказала батрачке «Налей и тем по тарелке» Батрачка налила и, ни слова не говоря, поставила тарелки на лежанку, но ни муж, ни жена к еде и не притрунулись. Сапа горько плакала, а Криш сидел, неподвижно уставившись в одну точку. Перед сном работницы принесли два соломенных тюфячка и положили их сбоку, на лежанку. Но и тюфяки остались нетронутыми. Сапа всю ночь проплакала, а Криш сидел неподвижно. На третью ночь Сапа в первый раз легла на ложе нищеты, а Криш продолжал сидеть. На четвёртый

день они оба отведали нишенского хлеба. Через пять недель Криш умер, и Сапу теперь одну водили из дома в дом»...

Этот отрывок показывает, с какой силой умеет передать Бирзниеку-Упиту человеческое горе, какой подлинности чувства он достигает при скупости выразительных средств. Но не только этим замечателен рассказ «В новогоднюю ночь». Может быть, ещё лучше рассказывает писатель о последних годах Сапы — о том, что и нишенская жизнь не смогла лишить её внутреннего достоинства. Последние годы Сапы — это годы одиночества, медленного умирания. Автор далёк от сентиментального приукрашивания жизни. Слепая, одинокая Сапа слышит всё, что говорится в доме, всё помнит, во всех людях принимает самое живое участие. Помнит и о ней, насколько позволяет скудная, суровая жизнь, и из жизни Сапа уходит с достоинством, которое эта женщина пронесла сквозь все страшные несчастья.

В рассказах «Друвини», «На берегу озера», «Микус, сын кузнеца» и ряде других писатель уже прямо называет виновников бедствия крестьян, резко и непримиримо выступает против немецких баронов, латышей-кулаков, против царских чиновников и жандармов. В этих рассказах внутренняя сила крестьян начинает уже проявляться как сила, не только морально противостоящая угнетателям, но и стремящаяся найти реальные формы сопротивления, борьбы.

Лишённые собственных наделов, крестьяне вынуждены были арендовать землю у помещиков. И нередко случалось, что арендаторов, многие годы возделывавших свой участок, помещик попросту выгонял с этой обработанной ими земли, из построенного ими дома. Суд всегда был на стороне помещика. Жаловаться куда-нибудь бесполезно. Трагедия людей, лишённых земли и крова, описана Бирзниеком-Упитом в рассказе «Друвини».

Перед нами проходит только один день из жизни Друвиной — тот день, когда по решению суда их дом сносят, оставляя семью под открытым небом. В своё время Друвинь расчистил и выкорчевал арендуемый им участок земли, выстроил дом. Но сейчас именно на этой земле барону захотелось посадить лес. Суд решил спор в пользу барона. И вот, несмотря на то, что Друвинь с семьёй не выходит из своего дома, этот дом разрушают.

Писатель и тут лишь кратко говорит о чувствах своих героев. Но знание Бирзниеком-Упитом быта латышских крестьян помогло ему не только нарисовать широкую и правдивую картину жизни этих крестьян, но и через отдельные подробности раскрыть мир их внутренних переживаний. Автор знает, чего стоило создание дома, семьи, повседневного быта, сколько ума, сердца и воли было во всё это вложено. И вот «со скрежетом просовывается между досками потолка багор. Что-то ломается, рушится»... Жена Друвиня крепче прижимает к себе детей и говорит мужу: «— Пои́дём. Бертуль. Неровен час, свалится доска на голову — на всю жизнь можем стать несчастными».

Но Друвинь не отвечает. Она ещё раз повторяет сказанное. Рука с трубкой опускается на колени.

— Что ты, неживого дерева испугалась? Ты живых людей бойся! Несчастнее, чем сейчас, нас уже нельзя сделать».

Здесь перед нами открытое неповиновение торжествующему злу, готовность схватиться с помещиком и поддерживающими его властями грудь с грудью, не жалея ни себя, ни своей семьи. Нужно только знать, как надо бороться... В рассказе «Джамаледин и орёл» молодой лезгин, который не может примириться с насилием, ломающим его жизнь, тоже сопротивляется в одиночку и обречён на поражение: но в нём, как и в Друвине, возникает мысль о необходимости бороться.

В ряде рассказов Бирзниека-Упита мы видим образы сознательных борцов, участников революции 1905 года. В рецензируемых сборниках это Экаб («Под яблоней»), учитель («Елка»), Матсон («На берегу озера»).

Наибольшей удачей писателя мы считаем образ Матсона, центрального персонажа в рассказе «На берегу озера». Рассказ начинается как будто с обычной картины: сельский пастор по окончании богослужения объявляет, что в ближайшее воскресенье господа бароны будут продавать с торгов приозёрные луга. Но дело в том, что «в те далёкие времена, когда бароны делили между собой землю, на месте лугов было сплошное озеро — даже на господских картах эти луга не обозначены. Озеро мелеет, и тростники и прибрежные луга принадлежат теперь всем». Уже не первый год тянется тяжба крестьян с баронами, но куда

они ни обращались, даже в Петербург, везде дело решалось в пользу баронов. Теперь крестьяне отважились объявить баронам войну. Выступить в защиту своих интересов они уполномочили Матсона, который публично призывает народ не заключать с баронами арендных договоров на эти луга и косить их всем обществом.

Матсон знает, что ему придётся заплатить за своё выступление, — и, действительно, его вскоре арестовали, и товарищи не могли найти его ни в одной из латвийских тюрем... Но Матсон сделал своё дело. Крестьяне не заключают договора с баронами, а когда сено созрело, сообща выходят из сенокос.

Это первое выступление крестьян окончилось их поражением, на приозёрных лугах пролилась кровь, каратели застрелили крестьянина Степня. Для победы ещё не было необходимых условий. Но выступления крестьян, подобные описанному, организованные латышскими революционерами, расшатывали устои царского режима, были школой для латышского пролетариата и латышского крестьянства.

В годы хозяйничанья в стране реакционной националистической буржуазии, когда Латвия была превращена в продовольственный и сырьевой придаток западноевропейских империалистических государств, а латышский народ доведён до полного обнищания, латышские революционеры, загнанные в подполье, продолжали борьбу. В эти годы в нелегальной печати встречаем мы и имя писателя Бирзниека-Упита.

Место действия большинства его рассказов — латвийская провинция Курземе. Там в 1871 году, в крестьянской семье, родился Эрнест Теодорович Бирзниека-Упит. Большую жизнь прожил он с тех пор, побывал

во многих местах, многое пережил. И всегда оставался он верен своему народу, которому продолжает служить своим талантом. То, о чём он мечтал, осуществилось — латышский народ свободен. Сегодня многие герои Бирзниека-Упита, их дети и внуки строят на своей навеки свободной земле великое здание коммунизма.

Несколько слов о составе рецензируемых сборников. Оба они слишком малы — такой писатель, как Бирзниека-Упит, должен быть знаком русскому читателю полнее и шире. При этом издания для взрослых читателей не должны оставлять в стороне его рассказы для детей — они интересны для всех возрастов. Но и Детгиз напрасно так поспешил, отбирая произведения Бирзниека-Упита для детей. Непонятно, почему это издательство не включило цикл «Дневник пастариня» (пастаринь — последний, младший ребёнок в семье) — глубокие по мысли, психологически тонкие, с прелестным юмором рассказанные эпизоды из жизни крестьянских детей. Разделение рассказов на «детские» и «недетские» вообще довольно затруднительно, когда речь идёт о Бирзниека-Упите. Детям принадлежит большая роль во всех его рассказах, и очень часто жизнь взрослых изображается через её восприятие ребёнком. И вряд ли даже самый придирчивый педагог найдёт у Бирзниека-Упита рассказ, который не следовало бы давать детям среднего и старшего возраста.

Большая часть рассказов дана в сборниках в одних и тех же переводах, в общем вполне удовлетворительных. В текстах сборника издательства детской литературы сделаны некоторые полезные стилистические уточнения.

П. УТЕВСКАЯ.

★

### Альманах, которому нужна помощь

В Псковской области довольно активно работает около тридцати литераторов — прозаиков и поэтов, очеркистов, литературоведов. Это позволило после войны начать здесь издание альманаха. Первые выпуски альманаха показали, что среди псковских писателей есть люди способные, обладающие немалым жизненным опытом. Это

«На берегах Великой». Псковский литературный альманах. № 4. Редактор Н. Ф. Иванов. Издательство газеты «Псковская правда», 1952.

прежде всего И. Виноградов, создававший ещё в годы войны, в боевых условиях, популярные на Псковщине партизанские песни, вдумчивый очеркист Б. Леонтьев, детская поэтесса Юлия Никонова и некоторые другие.

Круг авторов альманаха постоянно расширяется. И это хорошо. Однако для читателей важно не только знакомство с новыми именами. Важно, чтобы вместе с пополнением авторского актива росло, повышалось идейно-художественное качество

альманаха. К сожалению, это пока ещё слабо заметно.

Когда задумываешься, почему же так получается, то прежде всего обращаешь внимание на самый слабый раздел альманаха — критико-библиографический. В основном этот раздел составлен из небольших статей равнодушно-аннотационного характера: критики бегло сообщают, что выпущено местным издательством, и, не утруждая себя анализом, доказательствами, ставят под произведениями готовые оценки: «удачно», «сыро», «избито», «следует выделить»... К этому разделу тесно примыкают столь же краткие и бесстрастные сообщения музейных работников: «Материалы об А. С. Пушкине, имеющиеся в Псковском областном музее», «Виды Пскова и пушкинских мест времён Пушкина», «Новые экспонаты Дома-музея А. С. Пушкина». Авторы одного из этих сообщений, Г. Дейч и Э. Гальпер, так и начинают свою статью: «В задачу настоящей публикации не входит объяснение и комментирование документов». И перед нами действительно всего лишь конторская инвентаризационная опись. В другой заметке доводится до сведения, что музей приобрёл одну из считавшихся ранее пропавшими книжных полочек Пушкина и образец домотканного холста работы крепостных мастериц села Михайловского. И всё.

Но то, что ещё в какой-то мере извинительно музейным работникам — тем более, что для нас драгоценны даже краткие сведения, связанные с именем великого поэта, — уже никак не годится критикам, призванным глубоко, с партийных позиций разобраться в литературных явлениях, помочь молодым писателям в их росте, предостеречь их от ошибок, показать путь к мастерству.

Сомнительно, чтобы псковские литераторы смогли извлечь для себя даже самую малую пользу из рецензии Н. Алексеева, в которой походя оценивается творчество пяти наиболее приметных писателей города. «По мастерству хочется выделить стихи А. Шабанова... — пишет критик. — По содержанию и по рисунку (?) хороши стихи этого же поэта «Пасека», «Осень». В предыдущем — третьем — номере альманаха об одном из очерков А. Шабанова тот же Н. Алексеев писал, что очерк написан «квалифицированным пером мастера» Так ли это? Стоит познакомиться с произведениями А. Шаба-

нова, чтобы убедиться, что похвалы критика чрезмерны.

Волга, Волга! Край обилий,  
Какой тут ветер не бывал!  
Здесь я шаль своей любимой  
По цветам распознавал.

Здесь по отмелям отлогим  
Дед мой с ляжкой на груди  
К светлым дням искал дорожку,  
Но никак не находил.

Даже неискущённому читателю видно, что это лишь ученическая проба пера, лишённая какого-либо самостоятельного содержания, слабая по форме. Но именно это стихотворение наводит критика Алексеева на такое сравнение: «Если великий поэт Н. А. Некрасов повторой (?) «Волга, Волга» дал почувствовать полководье горя, что Волга «весной многоводной» не так заливает поля, «как великою скорбью народной переполнилась наша земля», то советский поэт другой ритмикой, но точно такой же повторой, выражает радость сталинских преобразований природы. И эта повтора звучит убедительно».

Такое сопоставление даже натяжкой не назовёшь. Это разом и недомыслие, и неграмотность, и медвежья услуга литератору, которому больше всего нужен толковый совет, а не пустое захваливание. Не лучше рассуждения критика и о других писателях — рассуждения путанные, невнятные, а в ряде случаев просто комичные. «Если бы автор не сделал так, что в энтузиазме соревнования на ловле, конфликт из-за узкого места — нехватки смолы для осмолки лодок, — сам собой снялся, а оставил бы разговор о смоле на протяжении разматывания всего сюжетного клубка, и этот разговор подал бы весёлым и добродушным, то тогда рассказ Ульянова ещё больше выиграл и в ещё большем напряжении держал бы читательское внимание». «В соседстве с водорослями простор можно принять за озёрную растительность со своим специфическим запахом. А в действительности запахи имеют не просторы, не пространства, а луга, леса, озёра и степи, раскинутые на просторах. Простор чувствуется, но не пахнет. Простор чувствуется глазом, зрением, а не носом».

И такое обилие претенциозно-глубокомысленного вздора на двух страничках рецензии!

Рядом с рецензией Н. Алексеева помещена статья критика К. Леонидовой. По

качеству эти работы почти одинаковые, и это не может не вызвать у читателя серьёзной тревоги, тем более, что в альманахе нет ничего другого о произведениях местных писателей.

Раздел критики и библиографии в наших журналах и альманахах — это не «довесок» к прозе и поэзии, не страницы, заполненные ради проформы. Это один из ведущих и равноправных разделов, из которого читатель должен получить существенное представление о направлении печатного органа, о его требовательности и принципиальности. Значение этого раздела в областных альманахах не меньше, а пожалуй, и больше, чем в других изданиях, так как зачастую местные писатели только здесь и могут найти оценку своей работе. Разумеется, эта оценка должна быть выводом из глубокого, квалифицированного анализа творчества.

Вот почему так важно, чтобы областные альманахи заботливо, со знанием дела культивировали литературно-критические жанры на своих страницах. Не хилый, никому не нужный разделчик, а подлинная школа идейного и художественного мастерства для местных писателей — только таким и должен быть раздел критики и библиографии в альманахе.

Возможности для этого есть. В том же Пскове работают десятки школ, есть высшие учебные заведения, другие культурные учреждения. В Псковской области, как и всюду в нашей стране, — сотни, тысячи читателей, любящих, знающих и понимающих литературу. Среди них нужно внимательно искать людей, которые смогут заняться литературно-критической деятельностью. В этом нас убеждает, помимо всего остального, сам альманах: есть в нём рецензия достаточно квалифицированная и убедительная — О. Хрусталёва на роман С. Злобина «Остров Буян». К сожалению, это одна-единственная и пока ещё, видимо, случайная статья в практике псковского альманаха.

Нужна пусть небольшая, но крепкая группа критиков, которая бы считала работу в альманахе своим родным и близким делом. Это повысило бы и требовательность редакции к публикуемым произведениям. Сейчас же, читая один за другим разделы альманаха, невольно испытываешь огорчение.

Не первый год пишет М. Ульянов, напе-

чатавший в последнем номере альманаха два новых рассказа под общим заголовком «На малом водоёме». М. Ульянова отличает не частый среди молодых читателей интерес к одной теме и даже к одним и тем же героям. Это колхозники-рыбаки, занятые ловом на псковских озёрах. Из рассказа в рассказ переходит бригадир Карась — ворчливый, непокладистый старик, знаток старых рыбацких секретов. Есть и другие сквозные образы — счетовод колхоза Алёша Туманов, председатель колхоза Пётр Савельевич, молодая рыбачка — бригадир Надя Зуева.

М. Ульянов любит своих героев, но эта любовь сплошь и рядом оборачивается у него умилённостью, кодульной восторженностью. А ведь одной розовой краской живые образы людей не создашь. Писатель пытался в прежних рассказах ставить своих героев в острые, драматические положения: Карась спасал колхозный невод в тот момент, когда горел его собственный дом; в другом случае он же, тяжело больной, завешал после его смерти устроить в своём новом доме избу-читальню, а когда болезнь прошла, старик не отказался от своих слов.

С М. Ульяновым произошло то, что случается со многими неопытными писателями. Он наделил своего Карася лишь внешними приметами, дал ему высказать несколько общих мыслей, но не смог раскрыть его «душу», создать своеобразный характер. Эту слабость писатель решил возместить эффектным сюжетом. Но одно никак не заменяет другое. Несмотря на внешнюю драматичность ситуаций, рассказы были идиличными, неправдоподобными, а отношение автора к своему герою умилённо-восторженным: смотрите, какой старик, дома не пожалел!

В новых рассказах М. Ульянов делает попытку углубить образ своего центрального героя — но уж очень это робкая попытка. Мы узнаём, что Карась вдруг «пошёл против всех», в особенности против молодёжи, доказывая, что лов рыбы летом, в знойные дни, невозможен. Но стоило этому довольно традиционному конфликту появиться в рассказе, как и он тотчас же разрешился. Уже на третьей страничке рассказа следует такая сцена: «Карась вытащил короткую, прямую трубку, закурил. Добродушно поворчал про себя: «согласен, не согласен», он наконец ответил:

— А может, я и вчера уже был согласен? Почему вы знаете?!

И, лукаво прищутив правый глаз, громко рассмеялся:

— А неужто не согласен?! Да какие могут быть разговоры. Согласен!».

Всего лишь старческая шутка! А дальше всё то же самое — злключения молодых рыбаков, попавших на озере в бурю, самоотверженность Караса, спасающего их, и в конце всеобщее взаимное умиление друг другом.

М. Ульянову нужно быть смелее — без этого нельзя добиться успеха в литературе. Не робко, а настойчиво следует проникать во внутренний мир своих героев, показывать реальные жизненные трудности, сложные и подчас противоречивые взаимоотношения людей, борьбу нового со старым во множестве её конкретных проявлений.

Лучшим в альманахе нам представляется рассказ М. Катенина «Синоптик». Правда, он посвящён делам, далёким от псковской жизни, — людям метеостанции на Крайнем Севере, — но разве обязательно в Пскове писать только о Пскове? Просто, без прикрас писатель показывает реальные трудности жизни на отдалённой метеостанции. В маленьком коллективе советских людей не всё протекает гладко. Приходится бороться с косными, равнодушными людьми, которых занесло на Север желание сделать карьеру, погоня за «длинным рублём». Так назревает острый, непримиримый конфликт между честным, пытливym инженером-синоптиком Костиным и начальником отдела Карповичем, хитро избегающим всего нового, чтобы не создавать для себя лишнюю работу. Не сразу Костин одерживает верх, но тем убедительнее его победа. В трудных, почти безвыходных условиях Костин противопоставляет стандартному прогнозу погоды свой смелый, основанный на новых научных данных прогноз, чем обеспечивает безопасный перелёт подразделения самолётов с оборудованием для электростанции.

На этом и следовало бы кончить рассказ. Однако обязательное стремление к «псковскому колориту» заставило М. Катенина дописать ещё одну главку: в ней он поселил своего героя в Пскове и скупое, сухо рассказал о деятельности синоптика в новых условиях. Эта главка не имеет никакого отношения к литературе, написана она казённым языком донесения: «Как только

синоптическая группа приступила к прогностической работе, телефонные звонки ежедневно приносили весть о новом потребителе... Плановое ведение хозяйства области ставил перед каждой организацией конкретные задачи на будущее... Требовалась чёткая организация труда с учётом всех возможностей» и т. д.

Думается, что нельзя требовать от альманахов, чтобы они во что бы то ни стало отражали жизнь и дела людей только своей области, края. Такие местнические тенденции могут лишь повредить литературе, обеднить творчество писателей.

Но плохо и другое: когда молодой литератор берётся за далёкую, но совершенно неизвестную ему тему. Так случилось с К. Кузнецовым, написавшим рассказ «Ким Пек Чан — молодогвардеец». Трудно назвать эту сочинённую по газетным сообщениям, маловыразительную зарисовку рассказом. Его не стоило включать в альманах так же, как слабый, основанный на примелькавшемся сюжете и стандартных героях рассказ Н. Молчанюка «Друзья».

В альманахе опубликовано пять очерков, и надо сказать, что при всех недостатках они интереснее большинства напечатанных рядом с ними рассказов. В очерке «Лектор из деревни Сухарево» Б. Леонтьев ясно и просто, без претензий на «сюжетность» рассказывает о знатном льноводце Николае Фёдоровиче Чилигине. Мастер своего дела неутомимо пропагандирует передовые методы труда: разъезжает по колхозам с чтением лекций, пишет брошюру «За высокую марку льна». Его знают, за ним следят в научно-исследовательских институтах, и он сам внимательно следит за всем новым в льноводстве. «На трибуне он — учёный, на поле — труженик», — говорят о Чилигине колхозники. Автор очерка немногословен, он скупое комментирует факты и поступает в данном случае правильно, так как яркие факты сами говорят за себя.

Точные детали, интересные черты чьей жизни на Псковщине есть в очерках Э. Васильева «Труженик», Н. Жукова «Антонина Александрова». Значительно слабее информационная зарисовка В. Анпилова «Призвание».

Трудно выделить кого-либо из поэтов, печатающихся в альманахе; почти все они пишут сравнительно грамотно, излагают бесспорные мысли, но и только.

Странно поэтому, что редакция сочла нужным поместить в специальном разделе «Молодые голоса» только одно стихотворение П. Чернецова «Встреча». А остальные поэты — уже маститые, что ли? Кстати, стихотворение П. Чернецова несколько не хуже, скорее лучше таких, например, стихов, как «У приёмника» О. Тиммермана, «Урожай» А. Захарова, «ГЭС» Т. Евдокимова.

Когда засыпает округа,  
Сдаётся мне: слышу сквозь стены.  
Как радиоволны друг друга  
Обнюхивают у антенны.

Вряд ли можно придумать более неприятный образ, чем обнюхивающие друг друга радиоволны из стихотворения О. Тиммермана. А у Т. Евдокимова читаем:

Встали клёны у реки  
В солнечном уборе.  
В светлом золоте легли,  
Яркие как зори.

Встали клёны или легли, и откуда у них такая способность — ложиться и вставать?

Недостатки альманаха серьёзны. Большинство авторов стоит ещё в самом начале писательского пути. Им нужна помощь, а её они, видимо, не получают, варятся в собственном соку.

Псков — не за дремучими лесами. Помочь псковским литераторам могли бы и московские и, в особенности, ленинградские писатели. Больше и глубже должны интересоваться альманахом местные партийные и общественные организации. Это их кровное дело.

**А. КОНДРАТОВИЧ.**

★

## Человек и его дело

Это не галька Черноморского побережья и не тот золотой, гранёный, тяжело скрипящий песок, который можно увидеть под Одессой. Здесь всё другое... Песок живёт, он полон движения, он играет, перемещается; в свежем морском воздухе можно различить тоненькое посвистывание, — это песок поёт под ветром. Вы набираете его в пригоршню, он мелок, как мука, но нельзя не ощутить его упрямую, живую упругость. Тишина, только шелест песка, да вдруг слышен глухой и лёгкий звук падения: это с сосны, растущей у самого берега, упала на песок шишка».

Так начинается очерк Татьяны Тэсс «Весна в Латвии». Пейзажи Тэсс хороши, они точно и тонко написаны, всегда эмоционально окрашены. Но хочется сказать о другом — писательница всё постигает в сравнении. Приметы и особенности бурной среднеазиатской весны резко разнятся от примет неторопливой весны севера; Каспию, тяжело перекатывающему крутые, грозные гребни, не свойственна праздничная, лазурная тишина Чёрного моря... Вы читаете строки, посвящённые морю, небу, лесу, и угадываете за ними человека, который много ездил, умеет видеть и сравнивать

Татьяна Тэсс — страстный и неутомимый журналист, многолетний специальный корреспондент «Известий» — выпустила в свет

**Татьяна Тэсс. «Под нашим небом». Редактор В. Орлов. Издательство «Известия», М. 1953.**

книгу очерков и рассказов «Под нашим небом». К сожалению, у нас как-то так повелось, что газетчик редко выступает со своей книгой. Да и выпускает книгу, как правило, не издательство «Советский писатель», а издательство газеты, где автор печатался. Так было, в частности, и со сборником В. Полторацкого «В дороге и дома», удостоенным Сталинской премии и только после этого переизданным «Советским писателем».

Бывает, что вы знаете автора не один год, часто встречаете его имя на журнальных страницах, на газетной полосе, у вас складывается своё определённое представление о его манере письма, о его творческих возможностях. Но вот то, что вы читали порознь, собрано вместе, составило книгу, и книга эта либо разочаровывает, либо дополняет, обогащает ваше представление об авторе. Сборник «Под нашим небом», куда вошло «лишь немного из того, что написано Татьяной Тэсс за многие годы работы», — большой, серьёзный труд, вызывающий заслуженный интерес. По мере чтения книги раскрывается широкий, просторный мир, с богатой и разнообразной географией, мир, где живут и трудятся наши советские люди. Тэсс пишет о нефтяниках Баку и рыбаках Латвии, о кузнеце автозавода имени Сталина и о знатном узбекском хлопкоробе, о прославленном хирурге и о простой женщине из Вильнюса — матери девяти детей...

Высокие требования предъявляет жизнь

к очеркисту. Очеркист должен отчётливо и поэтично рассказать о творческой деятельности человека и, главное, дать живой образ этого человека, нарисовать картину человеческих отношений, показать жизнь в её богатстве и сложности. Человек и его дело — таков предмет очерка. Без живого человека нет очерка, а есть только голая техническая инструкция или конспект научной статьи. Нельзя понять творчество без человека, как нельзя понять и познать советского человека в отрыве от его творческой деятельности. Очеркист — одновременно и популяризатор и художник. Конечно, здесь нет и не может быть никаких догм, канонов, смешной была бы попытка установить некое среднее обязательное соотношение между «научным» и «художественным». Живое разнообразие нашей очерковой литературы как раз и создаётся тем, что нет такого постоянного соотношения, что эти элементы по-разному сочетаются в творчестве М. Шагинян, Б. Галина, В. Сафонова, А. Бека, Г. Фиша.

Тэсс разрабатывает очерк-зарисовку, внутренне хорошо организованную, с продуманной композицией, окрашенную настроением автора, написанную почти всегда от первого лица. Писательница стремится передать своё непосредственное впечатление во всей его первоначальной свежести, — вот почему её очерк чаще всего ведётся от лица корреспондента, который наблюдает, беседует с людьми, осмысливает то, что довелось увидеть и услышать. Обычно «я» очеркиста даётся у Тэсс не назойливо, мягко, оно как бы сквозит за текстом, проглядывает из-за повествования, как его лирическая первооснова.

Газета выработала у Татьяны Тэсс умение писать сжато и точно, на маленькой площади решать большие задачи, умение одной чёрточкой охарактеризовать человека, одной фразой воссоздать обстановку.

Магера Тэсс имеет свои сильные и свои слабые стороны. Тэсс свойственны лёгкость, изящество, но ей можно поставить в упрек некоторую вычурность и холодноватую, очень уж тщательную отделку деталей. Нарочито, например, звучит финал очерка «Путь воды», где маленькая, смуглая узбекская девочка, одетая в красную кофту, сравнивается с «маком, пылающим в траве». Увлекаясь деталью, Тэсс проигрывает иногда в силе, в энергии.

Но лучшие страницы книги отличаются точной живописью, выразительным письмом. Тэсс умеет раскрыть и суровую поэзию русского цеха, и тонкое мастерство хирурга, и сложное искусство латвийских мастеров, под руками которых рождается лайва — рыболовецкий бот. «Зажатая в тиски, лежит первая доска — крепкая, упругая, тугая, — по-латышски она называется «мать лайвы». Вся лайва держится на ней. Если «мать» будет слишком прямой, лайва потеряет поворотливость, если «мать» круто согнута, лайва будет неустойчива. Узкий бот может легко перевернуть волна, слишком широкий бот — тяжёл, труден, не пойдёт против ветра. Форма бота, его «статус», его будущее определяются здесь, когда появляется на свет «мать лайвы», первая доска, основа будущей жизни».

Труд, творчество — такова главная тема очерков Тэсс. Ей удастся проникнуть в самую суть трудового процесса, зачастую сложного. Вот работница Электровоза тянет почти невидимую вольфрамовую нить через отверстие в алмазе, — вы ощущаете всю силу её «точного и великолепного умения», когда Тэсс помогает вам разглядеть «еле уловимое струящееся сверкание, такое хрупкое, какое бывает осенью в поле, когда среди некошенной травы вдруг сверкнёт озарённая солнцем паутина». О сложном очеркистка говорит просто, понятно, наглядно.

Тэсс всегда дорог человек. Показывает ли она москвичку Тоню Тупишину, которая приехала на уральский рудник в годы войны, — её волнуют прежде всего те человеческие, психологические трудности, с которыми сталкивается на новом месте молодой инженер. Подросток, потерявший семью, в цехе одного из московских заводов не только получает профессию — нет, он находит тут будущее, обретает характер. Естественно переплетается государственное и личное в судьбе Суран Керимовой, звеньевой, депутата Верховного Совета, молодой матери.

Рисую человека, Тэсс стремится проникнуть в его интимную жизнь, показать уголок души. Это обогащает, согревает её очерковые портреты. Однако случается, что любовь очеркистки к советским людям обрачивается умилением; некоторые страницы книги кажутся подёрнутыми тем расплывчатым, водянисто-голубоватым тоном, которым окрашена обложка книги (видимо,



этот цвет должен символизировать небо, но вместо густой небесной синевы получилось что-то хилое, немощное). Отдельные очерки грешат сентиментальностью (например, очерк «Конец одиночества»), инфантилизмом (очерк «Ясный путь»). Но, к счастью, не этим определяется звучание книги. Просто, без ложного мелодрама-тизма, жизнерадостно написан, например, очерк на трудную драматическую тему — о юноше, потерявшем зрение на войне, и его верной подруге; любовь и душевная сила двух людей оказались сильнее горя, которое им пришлось перенести.

Хочется сказать несколько слов о том разделе книги, где собраны очерки, посвящённые специально проблемам науки. У Тэсс несомненно есть дар популяризации, — очерк «Холодный свет» (о газосветных лампах), впервые напечатанный более пятнадцати лет назад, радует и сейчас точными словесными формулами, удачными находками. И всё же от этих очерков веет холодком. Почему? Да потому, что они преследуют в первую очередь информационную цель, дают научный итог, но не показывают процесса исканий — того, что, собственно, и должно составлять предмет очерка, не останавливаются — или почти не останавливаются — на образе учёного. «Неутомимый, живой, как глуть, в большой широкополой шляпе, с тростью, похожей на посох, в руках» — право же, эта мельком брошенная фраза не помогает понять, что собой представляет организатор сражения с малярией, врач-воин Исаев.

Заключительный раздел книги носит подзаголовок «Рассказы». Здесь всего семь рассказов, отбирала их Тэсс тщательно, придирчиво.

Для творчества Тэсс характерно, что в самом её очерке, в недрах этого очерка рождается рассказ, очерк как бы сростается с рассказом, переходит в него, так что порой трудно бывает сказать, что же это — рассказ или очерк («Мой дом на горе», «Николай Егорович», «Большое сердце»).

Если очерк Тэсс тяготеет к рассказу (ведь между жанрами нет непроницаемых перегородок, границы жанров смещаются), то рассказ, в свою очередь, естественно возникает из того очерка-зарисовки, который все эти годы разрабатывала Тэсс. Когда писательница знакомит нас с хирургом Кожедубом, или с инженером Метростроя Натальей Литовско, или со стариком — про-

фессором Рижского университета, другом Менделеева, вы угадываете за этими обобщёнными образами реальные прототипы (хотя Тэсс строит образ с той свободой, которая составляет право романиста, рассказчика). И несомненно реальными, невыдуманными фактами, конкретными обстоятельствами поездки в Литву навеян рассказ о том, как журналистка Татьяна Тэсс побывала в доме, где окончил свои дни сын Пушкина, и как она пыталась отыскать вещи и документы, принадлежавшие поэту...

Написанные тонко, сдержанно, с лирическим подтекстом, часто с хорошей недоговорённостью, оставляющей место для воображения читателя, рассказы Тэсс отнюдь не «газетны», но опираются они на поездки и впечатления газетного корреспондента. Достоверность интонации рассказчика, умело созданное ощущение подлинности событий — вот то, что характерно для творчества Тэсс. В трёх лучших рассказах книги, написанных от первого лица («Хранитель времени», «Дом с мезонином» и отличный рассказ «Ночь в степи»), прямо фигурирует корреспондент, приехавший из Москвы, от газеты, лирический двойник Тэсс; через его восприятие даётся всё происходящее, его интонацией определяется тональность повествования. Схема такого рассказа близка к схеме очерка, характерного для творчества Тэсс (пришёл — увидел — поговорил с людьми...). Проанализируйте хотя бы рассказ «Хранитель времени», и вы увидите, что в основу положено не что иное, как интервью, встреча газетчика с тем, о ком ему предстоит написать, что рассказ, собственно, и составляют вопросы одного и ответы другого. Но интервью здесь только предлог, только оформление, выбранное Тэсс для того, чтобы нарисовать человеческий характер во всём его своеобразии, создать благородный образ старого учёного, преданного науке и Родине, неутомимого в свои семьдесят девять лет, человека, которому «некогда умирать», потому что его лекции нужны и рыбакам из Мангали и рабочим из Лепай, пришедшим в университетские аудитории. Так маленький эпизод вырастает до обобщения, так рождается характер, рождается рассказ.

Книга Тэсс тщательно и любовно отредактирована. Перу редактора В. Орлова принадлежит предисловие, где есть верные мысли относительно творчества Тэсс. Но

утверждение В. Орлова о том, что «нельзя быть полноценным очеркистом, не владея свободно другими жанрами художественной литературы», звучит произвольно, и с ним нельзя согласиться.

Хочется пожелать писательнице в её дальнейшей работе закрепить то «спокойное ма-

стерство, которое свойственно настоящей производственной зрелости» и которое она умеет увидеть в кузнечном цехе и у операционного стола, в шахте метро и на буровой в открытом море.

Н. СОКОЛОВА.

## Оружие сатиры

Уже минул год с тех пор, как «Правда» со всей резкостью поставила вопрос о серьёзном отставании нашей сатиры и призвала советских писателей и всю печать больше заботиться о её развитии.

За это время, бесспорно, обозначился заметный перелом в отношении к сатире. Многие журналы и газеты завели у себя отделы юмора и сатиры. Появилось несколько новых комедий. Газеты и журналы стали чаще публиковать статьи и рецензии, посвящённые новым сатирическим произведениям и вопросам теории сатиры.

И всё же было бы ошибкой считать, что достигнутый перелом является решающим и что сатира уже вышла из прорыва. Об этом свидетельствуют, например, серьёзнейшие недостатки комедий Н. Вирты, С. Михалкова и С. Нариньяни. Об этом говорит также невысокий идейный и художественный уровень многих сатирических стихов, фельетонов и рассказов, появившихся в печати за минувший год.

Нетрудно перечислить вышедшие в последнее время на русском языке сборники сатирических стихов. Их выходит всё ещё очень мало: «Кто сеет ветер...» Вл. Дыховичного и М. Слободского, «Пещерные люди» Ю. Фидлера. «Коротко и ясно» С. Швецова — вот, собственно, и всё.

Авторы этих книг — не новички в литературе. Вл. Дыховичный, М. Слободской и С. Швецов хорошо известны читателям центральных газет и журналов. Ю. Фидлер, живущий в Баку, тоже давно работает в области сатиры.

**Вл. Дыховичный, М. Слободской.** «Кто сеет ветер...». Сатирические стихи. Редактор Б. Соловьёв. «Советский писатель», М. 1952.

**Юрий Фидлер.** «Пещерные люди». (Фельетоны 1948—1952 гг.). Редактор А. Плавник. Азербайджанское государственное издательство, Баку, 1952.

**Сергей Швецов.** «Коротко и ясно». Редактор Д. Беляев. Библиотека «Крокодила» № 91, М. 1952.

При первом же знакомстве со всеми тремя книгами убеждаешься, что в сатирической поэзии ещё не началось настоящее наступление на недостатки нашей действительности. Полное отсутствие сатиры на «внутренние» темы — вот что бросается в глаза, когда читаешь эти сборники. Только у С. Швецова находим раздел «Ироническая смесь», да и то посвящённый исключительно вопросам нашей литературной жизни.

В своём предыдущем сборнике, «Дорожные знаки» (1951), Вл. Дыховичный и М. Слободской писали и о Семёне Даниловиче Петухове, который «все ошибки признавал... но никогда нигде не исправлял их», и о «бесполезных ископаемых» — «охотниках за лакомым целковым», и о «красавице», у которой «нет ничего за плечами, кроме двух чернобурых лисц». Новая книга этих авторов, как и сборник Ю. Фидлера, полностью посвящена международной тематике.

Пусть, конечно, С. Швецов и Ю. Фидлер атакуют своим пером зарубежных реакционеров, поджигателей войны и их прихвостней, раз они чувствуют себя особенно сильными в этой сфере! Нельзя ставить в вину Вл. Дыховичному и М. Слободскому то, что они задались целью собрать написанные ими за последние годы стихи, посвящённые международной проблематике.

Но где же другие сатирики? Где книги, от которых становилось бы жарко зазнавшимся чинушам, ханжам, бездушным бюрократам, трусливым перестраховщикам, завзятым карьеристам, бесстыдным подхалимам, склочникам, клеветникам?

«Советская пресса, — писал Горький, вдохновлённый известными сталинскими словами о роли критики и самокритики в нашем обществе, — не скрывает отрицательных явлений действительности. она построена на принципе жесточайшей самокритики, и нет такого сора, который она побоялась бы «вынести из избы».

Вернёмся к разбираемым сборникам. Трудно было бы исчислить все темы, которые затронуты в трёх этих тоненьких книжках. Авторы разоблачают главарей реакции и поджигателей войны, показывают истинное лицо политических авантюристов, высмеивают сказки буржуазной пропаганды и т. д.

Большинству своих стихов С. Швецов и Ю. Фидлер предпосылают эпиграфы, взятые из газетного сообщения, — две-три строки о каком-нибудь факте, послужившем поводом для сатирического выступления. Эти стихотворения, по сути дела, представляют собою оперативные поэтические отклики на совершенно конкретные события, подчас — скупой, лаконичный комментарий к газетному сообщению.

Иной характер носят многие стихи Вл. Дыховичного и М. Слободского. Здесь мы редко встретим прямое указание на реальных людей и действительные события; тут всё предстаёт в обобщённом виде. Даже тогда, когда сначала речь идёт о конкретном факте, он по большей части служит для авторов лишь трамплином.

Как-то в одном из «тонких» журналов появилась фотография: плохо одетый человек, видимо безработный, полз, судорожно вытянув шею, за катящимся перед ним земляным орохом. Под этим снимком, сделанным в США и наглядно показывающим, как низко «котируется» там человеческое достоинство, были помещены стихи Вл. Дыховичного и М. Слободского «Мировой рекорд», вошедшие и в рецензируемый сборник. Авторы не ограничились тем, что высмеяли дикую затею сытых охотников за сенсацией, а увидели в происходящем издевательство над человеком, трагедию растоптаных человеческих надежд.

«Человек рождается для лучшего», — размышлял один из горьковских героев, тоже обездоленный и опустившийся, но не до такой степени, до какой пал Джонни Хэйвуд, который, надо думать, тоже мечтал о «лучшем».

Не затем, наверно, рос он,  
Жил не для того,  
Чтоб для смеха в землю носом  
Ткнули бы его...  
Он ползёт — волочит нсги,  
Ест ему глаза.  
Может — злая пыль дороги,  
Может быть — слеза.  
Будь над ним иное небо —

К чёрту б этот «спорт»!  
Он бы на уборке хлеба  
Показал рекорд.

О культуре в Вашингтоне  
Диктор говорит!..  
Свой «псрядок» превознёс он  
Как пример для всех...  
Джонни Хэйвуд катит носом  
Земляной орех...

Это уже не комментарий, а памфлет, в котором сарказм, адресованный песнопевцам американского образа жизни, соседствует с горечью и болью за поруганное человеческое достоинство.

Если стихотворение «Мировой рекорд» всё же восходит к какому-то факту, побудившему поэтов произнести целую обвинительную речь против тех, кто калечит жизнь простых людей Америки, то стихотворение «Обрывок газеты» целиком построено на художественном вымысле.

Джи-Ай — аккуратный солдат,  
В Сувор он пришёл из пикета.  
Обрызганный кровью приклад  
Он вытер обрывком газеты.  
И всё, что написано тут  
Про строй их «гуманный» в основе,  
Никак прочитать не даю —  
Разводы запёкшейся крови.

Уже этот короткий отрывок даёт представление о выразительном контрасте, на котором основано всё стихотворение, также одно из лучших в сборнике Вл. Дыховичного и М. Слободского.

Ситуация, положенная в основу стихотворения, вымышленна, но такое сознательное преувеличение, заострение образа позволило авторам сопоставить слова и дела иных зарубежных политиков.

Некоторые произведения Вл. Дыховичного и М. Слободского, тоже задуманные в памфлетном духе, вышли, однако, слабыми и невыразительными.

В стихотворении «Идут» Вл. Дыховичный и М. Слободской рисуют мрачное шествие членов «Американского легиона» на очередные «подвиги» вроде тех, которыми они отличились в Пискилле.

Значительная часть стихотворения занята вялым перечислением шагающих «легионеров» — маклеров, домовладельцев, торговцев и т. д. Здесь нет ни одного зло и метко очерченного портрета. Мочотонное повествование об этой процессии не приобретает

сатирического звучания, больше того — оно невольно действует угнетающе:

Гарью пахнуло, и вот над холмами  
Крест загорелся и мечется пламя.

Крест загорелся, и мечется пламя,  
Ветер играет его языками.

А как хочется, читая эти стихи, увидеть вспышку авторского гнева, как хочется, чтобы мерная поступь «героев Пикскилла» была нарушена разрывом сатирического снаряда! Да и стоило ли иначе сатирикам вызывать перед нами зловещее видение парада фашистских погромщиков?!

Вл. Дыховичный и М. Слободской часто испытывают потребность в ораторском высказывании. Об этом говорят даже заголовки и подзаголовки некоторых стихов: «Вместо предисловия», «Неоконченная лекция», «Письмо конгрессмена», «Письмо американского солдата из Японии своему президенту», «Из речи обвинителя». В значительной мере носит характер выступления с трибуны стихотворение «Без меня!», к сожалению, сильно растянутое.

Надо прямо сказать, что авторы, видно, не особенно утруждали себя художественной отделкой стихов. Немало в сборнике прозаизмов, скороспелых строк, невнятных фраз, неточно выбранных слов: «шёл «фюрер», вдохновляемый падучей», легионеры шагают, «крепко заправив и глотки и фляжки», «сердце горячих ряд», «расстреляны бочки капралами шустрими», «под пулями прозревшего солдата лишённое галантности письмо».

Досадно рядом с такими отточенными, полными тонкой насмешки стихами, как «Несколько вопросов к вопросу о Трюве Ли», встречать поразительные по безвкусице строки: «Дитя же бодро село на горшок с фактурой электрического стула» или «Кровавой печатью — плевком ТБЦ — я подпись свою заверяю».

Думается, что от Вл. Дыховичного и М. Слободского можно было ожидать большей взыскательности к себе; от этого их книга неизмеримо выиграла бы.

Более 80 стихов, написанных за последние четыре года, вошло в сборник Ю. Фидлера «Пещерные люди». Ю. Фидлер откликается на самые разные события, стремясь остро и броско вскрыть их сущность, использовать их для борьбы против международной реакции, против угрозы войны.

Когда один французский дипломат заявил по поводу советского предложения о демилитаризации Германии, что «эта формулировка слишком тяжеловесна для французского языка», Ю. Фидлер, таким образом «развил» его мысль:

Например, теряет грацию  
И терзает слух везде  
Слово «милитаризация»  
С грубою приставкой «де».

Или ясно, без сомнения,  
Что красивее всего,  
Если «раз» в «разоружении»  
Заменить частицей «во».

К сожалению, часто отличный замысел Ю. Фидлера не воплощается в совершенную поэтическую форму. Вот стихотворение «Виды». Иностранный атташе в Иране пожаловал к советской границе и осматривает открывающуюся перед ним местность, «зная, что давно на этот вид есть большие виды» у его капиталистических хозяев. В дальнейшем мы узнаём, что после этого путешествия «у атташе в душе — смятенье»:

На осуществление мечты  
Виды очень плохи, без сомнения.  
Путь войне здесь наглухо закрыт,  
Ни дороги не найдёшь, ни гидов...  
И имеет, в общем, бледный вид  
Атташе, что насмотрелся видов.

Надо отдать справедливость автору: он сумел хорошо использовать многообразные смысловые оттенки слова «вид». Но, во-первых, в конце ему «нехватало дыхания», и он прибег к вульгарному одессизму — «имеет бледный вид», а во-вторых, мы так и не узнали, что именно привело в смятение атташе. Верные мысли о том, что советский народ «стоит на страже мира» или что «наши цели ясны и просты», вряд ли могли вдруг прийти в голову ретивому искателю «туристских» развлечений и охладить его пыл! Повидимому, на него подействовал какой-то факт, какая-то реальная деталь, скажем, вид бывалого, зоркого пограничника.

Очень вредит автору вялость и растянутость, свойственные многим его произведениям. Есть в его книге фельетоны, построенные по одному стандарту («Два бандита», «Чемпион по оплеванию», «Досадный пробел»). Часто стихи Ю. Фидлера поражают небрежностью отделки, явной торопливостью, идущей в ущерб смыслу. В книге

встречаются, например, такие «перлы», как «у внучат сияют ряски» («Дедушка и внуки»). Отвратительный обдик немецких эсэсовцев, о которых идёт речь, надо передать другими средствами, не прибегая к отвязанным вульгаризмам.

Книжка С. Швецова мала по объёму. В ней есть отличные эпиграммы (в этом жанре преимущественно и работает автор в последние годы), смешные и задорные частушки на иностранные темы. Метко бьют в цель некоторые эпиграммы, направленные в адрес наших литераторов:

Пиши, дружнице, покороче;  
В твоей поэме «Сорняки»  
Не менее двух тысяч строчек,  
А мыслей в ней на две строки.  
Мысль первая сорняк — наш враг!  
Вторая мысль: долой сорняк!

(«Автору неудачных поэм»)

Но, к сожалению, иные из новых эпиграмм С. Швецова очень напоминают по своим темам и по способам их разрешения прежние произведения автора. Таковы, например, эпиграммы «Поэт-звездочёт и его творческий отчёт» и «Случай с поэтом, ездившим в длительную творческую командировку». Обе они посвящены литераторам, в

чьих произведениях нельзя отыскать и следа впечатлений, которыми их обогатили творческие командировки. Думается, что в книге вообще мало острых сатирических выступлений по более насущным литературным вопросам.

Реже, чем в других сборниках, встречаются в книге С. Швецова неудачные выражения, языковые неточности, но всё же автор не избежал их. Вряд ли, например, уместно писать о собственном произведении: «У этой басни смысл богатый».

Большие возможности раскрыты перед поэтами-сатириками! Язвительный памфлет, исполненный гневного, обличительного пафоса, настойчиво атакующий намеченную цель, и родственный ему по духу, но менее напряжённый по тону фельетон; басня; сатирические куплеты и частушки; эпиграмма — стремительный и краткий наскок «кавалерии острот»; пародия, которая может не только дразнить противника, но и сокрушать его метким и верным ударом, — словом, все «поверх зубов вооружённые войска» сатиры должны прийти нам на помощь и в великой борьбе за мир, против войны, и в повседневном упорном труде на строительстве коммунизма.

А. ТУРКОВ.

★

## «Железный город» Ллойда Брауна

Ни одно буржуазное издательство США не согласилось издать «Железный город» — первый роман известного американского публициста, негра Ллойда Брауна. Он был издан на средства прогрессивного журнала «Массез энд мейнстрим». Ни словом не обмолвилась буржуазная пресса об этом романе. Но зато выход его в свет был широко отмечен прогрессивной печатью Америки, которая назвала роман «литературным и политическим событием первостепенной важности».

Действие романа происходит весной и летом 1941 года в тюрьме, расположенной в промышленном центре США, который выразительно назван автором Айрон Сити — «Железный город». В особом негритянском отделении тюрьмы заключены Поль Гарпер, Айзек Завери и Генри Фолкон — трое негров из двадцати шести коммунистов, осуждённых

Л л о й д Б р а у н. «Железный город». Роман. Перевод с английского И. Качкина. Редактор Я. Засурский. Издательство иностранной литературы, М. 1953.

за «антиамериканскую деятельность». Здесь они узнают о Лонни Джеймсе — негре, приговорённом к смертной казни по ложному обвинению в убийстве. Заключённые-коммунисты, откладывая борьбу за своё освобождение, организуют из тюрьмы массовую кампанию в защиту Лонни. Поднявшееся по всей стране движение протеста и появление нового свидетеля, показания которого позволяют требовать пересмотра дела, внушают читателю надежду на то, что судьба Лонни Джеймса должна измениться, хотя действие романа обрывается до начала повторного судебного процесса.

Таково вкратце содержание романа, действие которого не выходит за пределы тюремных стен. Но рассказ о жизни тюрьмы Ллойд Браун построил на таких типических конфликтах, вложил в него столько мыслей и чувств, столько событий и фактов, что сквозь решётку «малого Железного города» мы видим жизнь всей страны. Ллойд Браун описывает мир трудовой Америки — опи-

сывает с любовью, с большим знанием жизни. Композиция книги своеобразна: автор вводит документальные материалы и газетные сообщения, рассказывает биографии героев, каждая из которых — повесть о том, как калечит, ломает, губит людей «американский образ жизни».

Страной Ку-клукс-клана и Линча предстают перед нами Соединённые Штаты Америки в «Железном городе». Сюжетный стержень этой книги об американо-американских неграх — судьба Лонни Джеймса. Она типична не только потому, что это лишь один из примеров многих, легальных расправ с неграми в Америке; в ней воплощено бесправие негритянского народа, живущего в условиях постоянного национального гнёта. Лонни — сирота; ещё в приюте его дразили за чёрный цвет кожи, и с детства он слышал насмешки и издевательства своих белых сверстников. «Он ещё с шестилетнего возраста привык слышать всё тот же старый южный припев: — Эй, дерись злей! Белый негра бей!». Вся жизнь, на каждом шагу, Лонни чувствовал и знал, что белым доверять нельзя, что в глазах других людей он цветной, то есть человек низшей породы. Однажды ночью с Лонни произошло то, что может случиться в любой день с любым негром в Америке: его схватили на дороге, обвинили в преступлении, которого он не совершал, и теперь этого весёлого и общительного парня, выдающегося спортсмена, виновного только в том, что он негр, ждёт казнь на электрическом стуле. Все, от кого зависит его жизнь, — против него, начиная с официального, назначенного судом, защитника и кончая президентом США, отказавшим в помиловании. Лонни тщетно обращается в поисках справедливости в многочисленные буржуазные организации, в том числе негритянские. Только коммунисты берутся за его спасение, как за своё кровное дело. Уже один этот факт оставляет глубочайший след в душе Лонни, совершает переворот в его сознании.

Буржуазные националисты, как белые, так и негритянские, стремятся ввести революционный протест негритянского народа в рамки буржуазного движения, сковать таящиеся в нём огромные антиимпериалистические силы, разорвать его естественные связи с рабочим классом Америки.

Каждой страницей, каждым образом своего романа Ллойд Браун стремится дать

бой буржуазному национализму. Не случайно он упоминает о «бест-селлере» 1941 года — книге Ричарда Райта «Сын Америки», сознательно полемизируя с её автором. Ричард Райт наделил своего героя Томаса Биггера лишь двумя чувствами — страхом перед людьми и ненавистью к белым; только совершив преступление, только убив, Биггер якобы перестал чувствовать страх, обрёл «внутреннюю свободу». При этом социальные проблемы Ричард Райт решал, как абстрактно-психологические: он нарисовал образ негра «вообще», вне класса. Из созданной им запутанной коллизии разумного выхода нет, ибо сама коллизия — ложная. Недаром поэтому в Америке книга ренегата Ричарда Райта давно уже служит подспорьем для проповедников расовой ненависти.

Лонни в «Железном городе» сбит с толку воспитанием, буржуазной пропагандой, он озлоблён, но в глубине души это честный, привлекательный, нравственно здоровый человек. Образ Лонни убеждает читателя в том, что, как ни страшны развращающие и уродующие людей законы капиталистического общества, они не могут убить здоровые силы народа.

С большим тактом и знанием жизни в романе раскрыт происшедший в Лонни перелом. За несколько недель, на протяжении которых разворачивается действие романа, суеверный и малосознательный Лонни не стал борцом, но уже хорошо осознал силу солидарности трудящихся. Понял, что коммунисты — единственные и до конца последовательные борцы за освобождение народа.

Для Лонни, для всего негритянского народа, учит роман Ллойда Брауна, есть только один путь к спасению — борьба за свою свободу, против преступной политики империализма, бок о бок с белыми рабочими. Это путь, по которому ведёт трудящихся Америки Коммунистическая партия США.

Образы коммунистов, стоящие в центре внимания автора, несомненно удались Ллойд Брауну. Перед нами — разные, непохожие друг на друга люди. Яркие, неповторимые индивидуальности. Поль Гарпер, рабочий сталелитейного завода, один из руководителей партийной организации, — молчаливый, сдержанный человек. Он самый дальновидный из всех, самый подготовленный теоретически. «Он ещё молод, ему пред-

стоит большой путь»,— говорит о нём Генри Фолкон, старик, переживший много профессий, познавший много горестей в жизни. Но в Фолконе таится неистощимый запас энергии, практической смётки, тёплого народного юмора. Не лёгкая судьба выпала на долю и Айзека Зэкери — медлительного, уравновешенного человека. Железнодорожный рабочий, он всегда носил в себе несбыточную для негра в Америке мечту — стать машинистом и водить поезда.

История их жизни — это трагедия вечной борьбы за кусок хлеба. Но это и рассказ о том, как в людях стойких и сильных, людях большой души американская действительность рождает протест, формирует сознание революционера. По-разному жили они и по-разному пришли в партию; но их роднит беззаветная преданность народу, кристальная честность, неслышаемая вера в победу правого дела. Именно поэтому они, впервые встретившись в тюрьме, сразу же становятся друзьями и называют себя «партийной организацией галереи «Д» первого корпуса».

Герои Ллойда Брауна — в тюрьме; железные решётки отделяют их от друзей, от народа. И тем не менее писатель с большой силой показал неразрывную связь коммунистов с народом, показал не только развитие самых событий, но и тонко раскрыв внутренний мир, психологию своих героев.

Одно из лучших мест книги — описание воскресного обыска заключённых. Эту унижительную процедуру белые тюремщики делали особенно оскорбительной для негров. Айзек Зэкери, атлет, который мог одним движением раскидать тюремщиков, в ответ на издевательства твёрдо сказал, чтобы его не смели трогать. Уже одно это было неслыханно — негр-заключённый решился произнести слово протеста белому!

Свидетелем этой сцены был пожилой, малограмотный заключённый Мекл Гэйтер, по прозвищу Слим, работающий уборщиком у зрителя тюрьмы. Слим знает о коммунистах только то, что пишут о них буржуазные газеты, считает их «жуликами», как и всех, кто занимается политикой. Однако Слим — единственный человек, через которого письмо с вестью о Лонни Джеймсе может попасть на волю, минуя руки тюремного начальства. Гарпер и Фолкон решают рассказать Слиму о своих планах. Жизнь

Лонни и своё будущее они доверяют заключённому, пользующемуся покровительством администрации, все помыслы которого — в обещанном ему досрочном освобождении. Это место — одна из кульминационных точек романа. Всё зависит теперь от того, как поступит Слим. Слим не выдал коммунистов. Решение довериться ему было верным. Мужество Зэкери, который в тюрьме вёл себя с таким чувством собственного достоинства, с каким он, Слим, не вёл себя на воле, было, как говорит Поль Гарпер, «необходимым звеном в цепи событий». Поведение коммуниста, его пример пробудили лучшие душевные качества Слима.

В утверждении единства коммунистической партии и народа — пафос книги Ллойда Брауна, её большой, подлинно патристический смысл. Он пронизывает весь роман, раскрываясь и в основной сюжетной линии и во множестве деталей, — и в том, с какой естественностью коммунисты откладывают борьбу за своё освобождение, начав из тюрьмы кампанию за спасение Лонни Джеймса, и в глубоком доверии, которым проникаются простые люди — Лонни, Гарвей Оуэнс и даже Слим, — к коммунистам, и в горячем потоке слов благодарности, вырывающемся у Лонни.

Следуя реалистическому творческому методу Мальца Сакстона, Фаста, Ллойд Браун не стремится создать из своих героев-коммунистов некий абсолютный идеал. Он берёт их образы из самой действительности, из гуши жизненной борьбы, и их постыне не вырвешь из жизни. В этом основа того свежего, оптимистического тона, который так радуется в книге Ллойда Брауна и так резко отделяет её от всей современной пессимистической буржуазной литературы США.

Ллойд Браун с большой художественной силой нарисовал реалистические образы коммунистов-борцов, показал их единство с народом в то время, когда в Америке следование реализму приравнивается к государственной измене, а за принадлежность к коммунистической партии бросают в тюрьмы. Эта большая победа отодвигает далеко на задний план то, что можно назвать слабостями романа — первого романа писателя. Так, нам кажется неудачным и лишним образ безумного Петерсона, сидящего с Лонни в отделении смертников; слабее других образов — кончающий с собой помощник

защитника Лонни, Уинкель и т. п. Напряжённость действия не уменьшилась бы, а возросла, если бы композиция романа была более строгой. Думается также, что книга выиграла бы, если бы белые товарищи — коммунисты, судившиеся и борющиеся вместе с героями романа, не просто упоминались, а активно действовали на его страницах. Это позволило бы ярче показать борьбу негритянского народа как часть общей борьбы прогрессивных сил Америки.

Создавая свою книгу, Ллойд Браун опирался не только на опыт передовой литературы наших дней; за его книгой стоят лучшие традиции американского реализма, идеалы Уота Уитмана, Марка Твена, Теодора Драйзера, идеалы всех великих писателей прошлого. Недаром, обнаружив в тюрьме книгу «Отверженные» Гюго, Поль Гарпер радуется ей, как другу; недаром так живо звучат в сегодняшней Америке слова Гюго, которые произносит Поль. Как писал американский прогрессивный писатель и критик Джон Говард Лоусон в своей статье о «Железном городе», этот роман «утверждает ценности — традиционные ценности человеческой морали, порядочности и товари-

щества, возрождённые и по-новому осмысленные в свете сегодняшней борьбы».

Книга Ллойда Брауна зовёт к борьбе и учит борьбе; она актуальна в полном смысле этого слова. И не только потому, что за судьбой Лонни мы видим судьбу негров из Мартинсвилля, судьбу публично сожжённого на электрическом стуле Вилли Макги и других жертв антинегритянского террора, а за образами осуждённых коммунистов — тех, кто сегодня ведёт мужественную борьбу за лучшее будущее Америки. Она актуальна своим утверждением высоких идеалов гуманизма, справедливости, борьбы за свободу в дни разнузданной проповеди бесчеловечности и цинизма, апологии предательств и вакханалии убийств, наполняющих современную буржуазную литературу. Образы коммунистов, подлинных героев книги и подлинных героев жизни, не могут не вызвать симпатии и отклика у американских читателей. Не могут не стать примером Тем самым книга Ллойда Брауна становится действенным оружием в борьбе за социальную справедливость, за мир и демократию.

П. ТОПЕР.

★

### Политика и наука

#### Под знаменем мира

**Встаньте, студенты, на главный экзамен: стойко боритесь за мир на земле!**

Эти строки из гимна Международного союза студентов избрали М. Песляк и В. Николаев в качестве эпиграфа для своей книги, которую они так и озаглавили: «Главный экзамен». Название это как нельзя лучше определяет характер и направление деятельности Международного союза студентов (МСС), активно участвующего в великой и благородной борьбе народов за мир.

«Демократические студенты, которые внесли свою долю в дело разгрома фашизма, должны также сыграть свою роль в устройстве послевоенного мира», — говорится в резолюции конгресса студентов в Праге в 1946 году, провозгласившего создание МСС.

Международный союз студентов, входящий в состав Всемирной федерации демо-

кратической молодёжи, активно борется за укрепление и расширение дружбы между студентами всех стран, за искоренение фашистской идеологии, за то, чтобы все достижения науки и культуры были поставлены на службу человечеству, за оказание помощи правительствам и общественным организациям в их стремлении к миру и безопасности. Верного друга в лице МСС имеют студенты и народы колониальных стран, отстаивающие свою свободу и независимость. Лозунг «Студенты, объединяйтесь! Вперёд, за прочный мир!» подхвачен широкими массами студентов различных национальностей, политических взглядов и религиозных убеждений.

К сожалению, деятельность МСС не шла до последнего времени достаточно широко освещенная в советской печати. Этот пробел в значительной мере восполняет содержательная книга М. Песляка и В. Николаева.

В начале книги рассказывается о возникновении международной демократической

М. Песляк и В. Николаев. «Главный экзамен. О деятельности Международного союза студентов». Редакторы Г. Чуров и В. Полуянова. «Молодая гвардия», М. 1952.



организации студенчества и о её задачах. В уставе МСС подтверждается воля демократических студентов «построить лучший мир, покоящийся на принципах свободы, мира и прогресса».

Создание Международного союза студентов явилось ответом на усиление милитаризации, проводимой капиталистическими странами во всех областях жизни, в том числе и в высшей школе.

О борьбе с реакцией, которую самоотверженно ведут демократические студенты, рассказывают приводимые в книге многочисленные, подлинно боевые эпизоды из деятельности МСС. В своей совокупности они образуют картину целеустремлённой борьбы молодого поколения против всего, что тянет человечество назад, мешает его здоровому, свободному развитию.

Международный союз студентов быстро и активно откликнулся на предложение о созыве первого Всемирного конгресса сторонников мира. Решения конгресса, на котором присутствовало более полутораста делегатов-студентов и делегация МСС, послужили основой всей дальнейшей деятельности прогрессивных студенческих организаций.

Отзываясь на события, волнующие всё человечество, МСС издал брошюру «Студенты и война в Корее». От имени миллионов своих членов исполком МСС выступил с заявлением против применения бактериологического оружия. Мощная кампания протеста была организована против чудовищных преступлений агрессоров, чинящих кровавую расправу за военнопленными.

Стычками борцами за мир показали себя студенты великого Китая. Одними из первых они вступили в ряды добровольцев, сражающихся бок о бок с героической Народной армией Корейской Народно-Демократической Республики.

Молодёжь Латинской Америки выступает против вовлечения своих стран в войну с Кореей или в какие-либо агрессивные пакты. С решительным протестом против посылки войск в Корею выступил президент союза студентов Бразилии (Бразилия) Афразио Лима.

Демократическая молодёжь колониальных стран исполнена стремления освободить свои народы от ига империалистов. Тунисские студенты, обучающиеся во Франции, сообщает журнал «Молодёжь мира», направили делегацию к председателю Генераль-

«Новый мир», № 6.

ной Ассамблеи ООН. Они передали ему письмо, написанное на пергаменте их собственной кровью. Студенты заявили о своей решимости отстаивать вместе со всем тунисским народом национальную независимость страны.

В неравной борьбе с вооружёнными до зубов колонизаторами молодые патриоты проявляют большую стойкость и твёрдость духа. Одному из юношей, студенту Хабибу Надери, пришлось ампутировать обе ноги в результате тяжёлых ранений, нанесённых ему фашистами во время состоявшейся в Тунисе в 1952 году демонстрации, где было убито триста человек. «Юноши и девушки! — сказал Хабиб. — И на протезах я буду продолжать бороться вместе с вами!»

Тысячи греческих студентов в годы второй мировой войны отдали жизнь за свободу Греции. В послевоенное время сопротивлением американо-английским оккупантам прославилась партизанская студенческая дивизия имени Байрона.

Когда в Турции был заключён в тюрьму Назым Хикмет, несколько сот студентов за участие в демонстрациях протеста были арестованы. Университет старинного итальянского города Пизы, с кафедры которого три с половиной столетия назад великий Галилей защищал передовую науку от мракобесия, в наши дни стал ареной подлинных боёв между прогрессивными студентами и полицейскими. Отбивая налёты полиции, бастующие студенты забаррикадировались в университетском здании. Горячо поддерживаемые МСС и местным населением, они энергично протестовали против увеличения ассигнований на вооружение и уменьшения расходов на образование.

В августе 1951 года, в дни Берлинского фестиваля, отмечалось пятилетие МСС. В его адрес поступили многочисленные приветствия от людей доброй воли всех стран. Член Всемирного Совета Мира чилийский поэт Пабло Неруда сказал: «Я выражаю Международному союзу студентов мою твёрдую поддержку в его важной и большой повседневной работе, которая должна привести к построению нового мира».

Понимая, какую опасность отживающему миру капитализма несёт передовая, полная энергии и сил молодёжь, реакционеры всех мастей стремятся растлить души молодых людей, мировоззрение которых только ещё формируется.

Руководители американских университе-

тов и колледжей стремятся, как сказал акционный американский профессор Джон Дьюи, «создать такое настроение умов, которое благоприятствует милитаризму и войне». В ряде высших учебных заведений США читается, например, такой сугубо «научный» курс, как «Психологические приёмы ведения войны». Многие профессора «с надетыми», — по выражению одного американского генерала, — на голову железными касками завтрашней войны» разрабатывают самые варварские средства массового уничтожения людей.

А вот высказывание «доктора наук» Элвудуса Ненса, президента университета Тампа во Флориде: «Я одобряю бактериологическую войну, применение ядовитых газов, использование атомных и водородных бомб, межконтинентальных реактивных снарядов и так далее. Я не нахожу нужным шадить госпитали, церкви, учебные заведения или какие-либо общественные группы людей».

Таков морально-политический облик «воспитателей» американского студенчества. За высказывание прогрессивных взглядов тысячи профессоров и студентов в США подвергаются репрессиям.

Главы книги «Положение студенчества в странах капитала» и «В странах колониального гнёта и рабства» знакомят нас с теми трудностями, которые стоят на пути материально необеспеченной молодёжи капиталистических стран, стремящейся к высшему образованию. В США, Англии, Франции, Западной Германии число студентов из семей принадлежавших к низкооплачиваемым группам населения, ничтожно мало. Непомимо высокая плата за учение — это тот барьер, которым капиталисты пытаются отгородить университеты от народа.

Такова фарисейская сущность буржуазных конституций, торжественно провозглашающих «всеобщее право на образование».

Трагедия молодёжи капиталистических стран заключается и в том, что даже высшее образование, полученное путём огромных лишений, отнюдь не гарантирует от безработицы. От поступающих в Гамбургский университет администрация берёт следующее письменное обязательство: «Я, нижеподписавшийся, подтверждаю, что по окончании своей учёбы не буду претендовать на предоставление работы в соответствии со своим образованием и особенно на государственной службе». Министерство труда боннского «государства» советует окон-

чившим университеты итти в... вермахт. В Австрии из каждых четырёх человек, окончивших высшую школу, лишь один находит работу по специальности.

А вот один из фактов итальянской жизни. Множество выпускников университетов и даже 150 учёных вынуждены были принять участие в римском конкурсе на замещение свободных мест... тюремных надзирателей.

Ещё хуже положение молодёжи в колониальных и зависимых странах. В результате хозяйничанья иностранных империалистов подавляющая часть населения этих стран неграмотна. Как указывает «Бюллетень МСС» за 1951 год, в Турции и Египте неграмотные составляли 85 процентов населения, в Индии — 87, Индонезии — 94, Ираке — 95, Судане — 99,5 процента. Представитель иранских студентов, выступая на втором конгрессе МСС, рассказал, что в Иране 85 процентов населения не умеют ни читать, ни писать. В отдельных провинциях страны процент грамотного населения колеблется от полутора до пяти.

Колониальный режим не оставляет поработанному народам никаких надежд на улучшение положения также и в области образования. Подсчитано, пишут авторы книги, что если английские империалисты будут в своих африканских колониях ликвидировать неграмотность среди населения такими же темпами, как до сих пор, то население Золотого Берега может стать грамотным через три тысячи лет, а Нигерии — через семь тысяч лет.

Во всех высших учебных заведениях колониальных и зависимых стран преподавание ведётся только на европейских языках. Студенческие прогрессивные организации, как правило, запрещены и действуют в подполье.

Резким контрастом тяжёлому положению студенчества в условиях капитализма служит жизнь и учёба студентов в странах демократического лагеря. В книге подробно рассказывается о расцвете высшего образования в СССР, о выдающихся успехах народного образования в великом Китае, в европейских странах народной демократии, в Германской Народно-Демократической Республике, в Корейской Народно-Демократической Республике, во Вьетнаме, в Монголии.

Быстрыми темпами развивается народное образование в Польше. Число высших учебных заведений в стране в настоящее время возросло в три с лишним раза по сравне-

нию с довоенным временем. Непрерывно повышается культурный уровень трудящихся Венгрии. Сейчас здесь на десять тысяч человек населения приходится 53—54 слушателя высших школ — в полтора раза больше, чем во Франции и Дании, и в два с половиной раза больше, чем в Швеции.

В Северной Корее количество средних школ в 1949 году возросло по сравнению с 1944 годом в двадцать раз. В Пхеньяне был открыт государственный университет имени Ким Ир Сена. Сейчас этот университет продолжает свою работу, укрытый лесистыми горами от налётов врага.

Народное правительство Вьетнама, возглавляемое Хо Ши Мином, сразу же после образования демократической республики издало декрет о ликвидации неграмотности населения и о развитии народного образования. Авторы книги приводят интересные примеры всенародной заботы о просвещении страны. Во всех деревнях республики созданы «рисовые поля для науки». Собранный с них урожай крестьяне добровольно отдают на нужды народного просвещения.

Активное участие в работе МСС принимают советские студенты. Они — неизменные участники различных мероприятий, проводимых союзом для развития и укрепления культурных, научных и спортивных связей между студенческой молодёжью различных континентов. За последние годы за границей побывало свыше ста пятидесяти делегаций советского студенчества. За это же время Советский Союз посетило более трёхсот зарубежных молодёжных и студенческих делегаций.

То громадное впечатление, которое производит на зарубежных студентов счастливая жизнь нашей социалистической Родины,

красочно выразил студент из Африки Жак Вержес: «СССР — это зеркало, в котором человек может увидеть будущее».

М. Песляк и В. Николаев собрали в своей полезной книге большой и во многом новый для советских читателей материал, дающий достаточно полное представление о борьбе студентов за мир.

Несколько слов о недостатках книги. Композиция её не всегда четка. Многие факты и эпизоды могли бы перекочевать из одной главы в другую. Встречаются отдельные повторения.

На наш взгляд, в книге должен был найтись место материал, разоблачающий те коварные приёмы и методы, ту психологическую войну, к которым прибегает реакция в стремлении завоевать на свою сторону молодое поколение. В частности, следовало познакомить читателей с реакционной сущностью так называемой «европейской кампании молодёжи», которую финансирует «Американский комитет за объединённую Европу».

Язык книги, в общем хороший. Местами слишком сух. Между тем книга предназначена для молодых читателей, жадно воспринимающих каждое образное, живое слово. Такая тема, как борьба за мир, предъявляла к авторам большие требования и в отношении формы изложения. Оно должно было быть более темпераментным, эмоциональным. Ряд страниц книги свидетельствует о том, что с этой задачей авторы справиться могли бы.

Книгу М. Песляка и В. Николаева закрываешь с чувством твёрдой уверенности в том, что передовая молодёжь с честью выдержит свой «главный экзамен».

**А. ИГЛИЦКИЙ.**

★

## Против морального растрепания немецкой молодёжи

**Ж**урнал «США в слове и иллюстрации» начал выходить в демократическом секторе Берлина в марте 1950 года в дополнение к радиопередачам «Правда об Америке». При выпуске первого номера редакция писала, что журнал «имеет целью показать Соединённые Штаты Америки такими, как они есть в действительности. Сообщения и соответствующие истинные рассказы

о социальном и политическом положении страны должны дать читателям возможность беспристрастно вынести свой собственный приговор».

С тех пор прошло более трёх лет. Журнал завоевал популярность как в Германской Демократической Республике, так и на Западе Германии. Из месяца в месяц растёт его тираж.

В журнале публикуются преимущественно материалы, взятые из американской прессы: фотографии, отрывки из статей

„USA in Wort und Bild“. Henschelverlag, 1951—1952. («США в слове и иллюстрации»). Хеншельферлаг, 1951—1952.

буржуазных журналистов, данные американской статистики и институтов общественного мнения. Все эти документы, снабжённые редакцией журнала краткими, но яркими пояснениями или помещённые для сопоставления рядом с фактами из жизни стран народной демократии и СССР, красноречиво свидетельствуют о дальнейшем упадке капитализма, о новых успехах народов демократического лагеря.

Трудно живётся рабочему человеку в Америке. В статье о положении трудящихся в США, помещённой в № 3 журнала за прошлый год, приводятся сведения из отчёта Вашингтонского института изучения социальных условий. По данным этого института, из 29 683 тысяч обследованных домов 11 369 тысяч, или 38,3 процента, признаны негодными для жилья. Свыше трети домов американских фермеров находится в состоянии, угрожающем здоровью их обитателей. В одном из документов ведомства здравоохранения в Вашингтоне указывается, что отмеченное в последнее время широкое распространение инфекционных и душевных болезней вызвано, кроме всего прочего, плохими бытовыми условиями.

О жилищном кризисе говорится и в репортаже Каспара Михаэлиса «От Нью-Йорка до Сан-Франциско», опубликованном в последней тетради журнала за 1952 год. Там же помещены фотографии рабочих квартир: обвалившаяся штукатурка на сырых стенах, грудной ребёнок, искусанный крысами, — всё это обычные явления, как отмечает цитируемая Михаэлисом американская газета.

Как указывает журнал (№ 6 за 1952 год), свыше восьми миллионов американских семей зарабатывают в год менее тысячи долларов каждая, прожиточный же минимум семьи из четырёх человек составляет, по данным Калифорнийского института, 4 111 долларов. В том же номере журнала в статье «Как живёт фермер в США» приводятся выдержки из официальной статистики: задолженность фермеров возросла с 10 миллиардов долларов в 1949 году до 12 миллиардов в 1951 году; цены на товары, необходимые фермерам, выросли за последние годы на 122 процента; налоги на фермеров увеличились с 1941 по 1951 год в шестьдесят четыре раза.

Как живут «верхние десять тысяч», то есть американские монополисты и их семьи, можно видеть из седьмой и десятой

книжек журнала за 1952 год. Большой успех, пишет журнал, имел приём у миллионера Юнга, гости которого, перед тем как войти в апартаменты, принимали ножные ванны из французского вина «бордо». В статье Маргот Мертен «Барбара танцует на вулкане» описывается бал для собак, устроенный миссис Снруп Годбай. Было приглашено пятьсот собак, для которых организовали специальный бар, буфет. В это время их хозяева танцевали новый танец «Корея-гоп».

«Американский образ жизни» хорошо представлен в серии фотоснимков, опубликованных в журнале в конце 1951 года. Служащие монопольных молочных фирм, выстроившись в ряд, выливают молоко из бидонов в канаву — нужно поддержать высокие цены. Киноактрисы в купальных костюмах и без них поливают друг друга молоком: идут съёмки рекламного фильма. А как нужно молоко для питания тысяч детей детройтских или чикагских рабочих!..

Многие страницы журнала, основываясь на подлинных американских источниках, рассказывают читателю о взяточничестве и коррупции американских чиновников, показывают, как выглядят на самом деле демократические «свободы», о которых так много говорят в этой стране.

«Триумф демократии!» — кричит газета «Нью-Йорк геральд трибюн» по поводу судебного разбирательства дела Франка Костелло, шефа крупнейшей после смерти Аль Капоне гангстерской банды. О том, как это расследование превратилось в комедию, можно прочесть в одиннадцатом номере журнала за 1951 год. Костелло дал членам своей организации строгое указание «аккуратно платить налоги». Многие тысячи долларов, добытых путём контрабанды, рекетирства, торговли наркотиками, были пожертвованы главой шайки благотворительным организациям. Всё это оказалось «смягчающими обстоятельствами» при вынесении судом приговора.

Синдикат убийц, организованный гангстерами Анастасиа, Костелло и другими (статья «Фирма по убийствам» в № 6 за 1952 год), за последнее десятилетие умертвил более тысячи человек. Поручения на убийства принимались по определённым тарифам. Синдикат «устранял» по заказу предпринимателей видных деятелей рабочего движения. Один из главных убийц,

по кличке Фил, арестовывался полицией 29 раз, но только один раз был осуждён за... курение в метро.

Отдельные статьи, иллюстрации и специальные выпуски журнала посвящены положению негров в Америке. Фотографии и перепечатки заметок из американских газет обличают линчевателей и проповедников расовой дискриминации.

О принудительном труде в южных штатах рассказывает Кэй Кеннеди в статье «Я испытал рабский труд» (№ 11/12 за 1952 год). Предприниматели выдают рабочим-неграм грошовую обувь и одежду с последующим удержанием из заработной платы их стоимости в многократном размере. Так как рабочие успевают износить эту обувь и одежду быстрее, чем рассчитаться за неё, они остаются вечными должниками фирм. Убежать из расположенных в лесу лагерей нельзя. Они обнесены колючей проволокой и охраняются собаками. За малейшее «неповиновение» и попытку к бегству вооружённая охрана избивает рабочих до полусмерти.

Исключительно тяжёлое экономическое положение негров ведёт к повышенной заболеваемости. Туберкулёз, указывает журнал, распространён среди негров в пять раз больше, чем среди белого населения.

Сообщая обо всём этом, журнал в то же время рассказывает о талантливых представителях негритянского народа, имена которых известны всему миру и которые, тем не менее, испытывают в полной мере гнёт расовой дискриминации. Журнал посвящает свои страницы певцам Полю Робсону и Мариону Андерсон, борцу за гражданские права Патерсону, профессору-социологу Дюбуа, адвокату Айглеру и многим другим.

В статье В. Патерсона «Народ обвиняет своих убийц» перечисляются жертвы «закона Линча» в послевоенные годы. Эти списки с письмом от имени 15-миллионного негритянского населения США были переданы Ассамблее Организации Объединённых Наций. Вильяму Патерсону не разрешили выступить перед Ассамблеей. Опубликованная в журнале «США в слове и иллюстрации» статья — это отрывки из подготовленной Патерсоном речи. Невозможно хладнокровно читать даже перечень фактов, сообщённых ООН. Ужасны преступления озверевших расистов по отношению к негритянскому народу!..

Журнал показывает, как буржуазное искусство служит целям оглупления среднего американца, воспитания в нём низменных инстинктов и духа милитаризма.

О Голливуде и влиянии его продукции на развитие преступности среди малолетних много пишут во всём мире. Факт этот признаёт даже буржуазная печать. Голливудские фильмы проникают и в Западную Германию. Западный Берлин по росту преступности начал приближаться к американским образцам. «Маленьким Чикаго» называют его теперь немцы. Журнал цитирует, в числе других материалов, высказывание голливудского киноактёра Алена Лэдд, заявившего не без гордости, что в восемнадцати фильмах, снимавшихся с его участием, он ни разу не появлялся без револьвера.

В растлении молодёжи участвует наравне с кино и печать. Во многих номерах журнала разоблачаются образчики подобной «литературы». В статье «Литература на конвейере» Эрих Лоезт показывает, как западногерманские издательства организуют массовое производство порнографических, криминальных книжонки по американскому стандарту.

Журнал иллюстрирует многочисленными примерами деградацию американского театра, который и раньше не отличался мастерством исполнения и богатством художественных замыслов. Упадок его в настоящее время достиг такой степени, что трудно назвать словом «театр» заведения, где спектакли зачастую являются лишь дополнением к криминальному фильму.

Преступную деятельность в США развили продавцы наркотиков, за спинами которых стоят главы бандитских шайк. Журнал на фактическом материале, помещённом в № 17 за 1951 год, показывает разрушительные последствия «тайной» торговли наркотиками. Аресты молодых американцев, совершающих преступления в поисках средств для покупки наркотиков, растут с катастрофической быстротой. Из 25 тысяч обследованных наркоманов в штате Иллинойс более трети составили подростки в возрасте до 18 лет.

По данным газеты «Дейли Экспресс», приведённым в журнале, количество преступлений в Нью-Йорке в 1952 году было в шесть раз больше, чем в 1948 году. Растущая безработица и дороговизна толкают людей на воровство и бандитизм. Число

вооружённых ограблений в Нью-Йорке выросло с 14 960 в 1950 году до 22 005 за первое полугодие 1952 года.

Военная истерия, раздуваемая всеми видами пропаганды, приводит тысячи американцев в больницы для душевнобольных. Журнал цитирует в № 13/14 за 1951 год статью из реакционного еженедельника «Лайф»: «Все дома для душевнобольных имеют совершенно недостаточный персонал и чрезмерно переполнены. На одного наблюдателя в некоторых заведениях приходится по 400 больных».

От заключённых в больницы сумасшедших немногим отличается развлекающаяся по-американски публика — завсегдатаи прионов и кабаре. Журнал подтверждает это убедительными иллюстрациями. Танцы: «ползущая змея» — партнёр тащит свою партнёршу за волосы по полу зала; «картофель-самба» — во время танца картофелина должна оставаться зажатой между щеками партнёров. Спорт: девушки в купальных костюмах катят по полу копчёные колбасы, подталкивая их носами; автомобили, мчащиеся со скоростью 45 километров в час, сталкиваются друг с другом, водитель, оставшийся в живых, получает приз; борьба на куче жидкой глины — противники засовывают липкую массу друг другу в рот, нос, уши.

Но есть и другая Америка. Журнал даёт широкую картину борьбы передовых американцев за демократические свободы и права для трудящихся, за национальную культуру и цивилизацию.

В журнале ведётся раздел «Прогрессивная Америка». Здесь даются биографии лучших представителей страны, заметки об их деятельности, отрывки из их публицистических статей и художественных произведений. Борьбе простых людей против войны в Корее, против разжигания военного и расового психоза посвящены страницы каждого номера журнала.

В статье «Единство действий — сильнейшее оружие» Дональд Уэллес рассказывает о выступлениях американского народа, вызванных антирабочими законами. Опираясь на эти законы, американская юстиция выносит суровые приговоры прогрессивным деятелям.

«Мы не позволим затыкать нам рот!» — пишет из тюрьмы Стив Нелсон, приговорённый к двадцати годам каторги за хранение марксистской литературы, подписание Стокгольмского Воззвания, участие в бригаде Линкольна, сражавшейся в Испании против Франко, и, наконец, за то, что он был председателем местной организации коммунистической партии.

Журнал «США в слове и иллюстрации» активно противодействует разлагающему буржуазному влиянию на немецкую молодёжь и трудящихся Германии. Он постоянно напоминает своим читателям, к чему приводит это влияние в Западной Германии. В статье лондонского журналиста Картэна «Бананы, публичные дома и бьюнки» даётся, например, следующее беспристрастное сравнение. «Западный Берлин, — пишет Картэн, — это, без сомнения, величайшее собрание спекулянтов, мошенников и нацистов, которое когда-либо было сконцентрировано вместе. Это нарыв, наполненный ядовитой пропагандой... Что же представляет собой в действительности Германская Демократическая Республика, составной частью которой является демократический сектор Берлина, то я знаю, что все реакционные росказни о ней достойны своих изобретателей».

Журнал успешно справляется с поставленными задачами. Об этом можно судить по тому, как растёт его популярность не только в Германской Демократической Республике, но и в Западной Германии и Западном Берлине, где распространение этого журнала запрещено боннскими властями.

**А. ПРОСКУРЯКОВ.**

★

## Во франкистской Испании

Повышенный интерес империалистических держав к Испании объясняется не только географическим положением этой

страны и наличием в ней богатейших запасов стратегического сырья, но также и тем, что здесь продолжает господствовать фашистский режим. Империалисты знают, что клика Франко всегда готова к их услугам.

**Фелипе М. Арконада.** «Испания — колония янки». Перевод с испанского Г. А. Калугина. Предисловие С. А. Гонионского. Редактор А. В. Старостин. Издательство иностранной литературы, М. 1952.

Стремясь втянуть франкистскую Испанию в свою военно-агрессивную систему, западные державы давно настаивают на

включении её в Северо-атлантический блок. И только протесты прогрессивной общественности мира лишают их возможности совершить сделку с палачом испанского народа.

В погоне за сферами приложения капитала и получением высоких прибылей американские монополисты делают всё возможное, чтобы превратить Испанию в свою фактическую колонию.

Об этом повествует книга испанского коммуниста Фелипе Арконада «Испания — колония янки». Богатый фактический материал, собранный в ней, охватывает, в основном, 1948—1950 годы. С чувством большой горечи за судьбу своей родины, гнева к её поработителям автор описывает страдания испанского народа, нищета которого дошла до предела. Он рассказывает также о том, как империалистические хищники захватывают в свои руки целые отрасли испанской экономики, наживая громадные барыши за счёт нещадной эксплуатации рабочих и крестьян и ограбления природных богатств страны. Идя навстречу пожеланиям своих заокеанских покровителей, франкисты открывают двери Испании для проникновения иностранного капитала. Всё большая доля национального бюджета Испании ассигнуется на непроизводительные военные расходы.

Перелистывая страницы книги, видишь закономерные последствия милитаризации: разрушается гражданская промышленность Испании, вытесняемая военной индустрией, снижается жизненный уровень населения и усиливается давление испанских и зарубежных капиталистов на права и свободу трудящихся. На конкретных примерах Арконада показывает, что антинациональная политика франкистского режима враждебна всем слоям испанского народа. Исключение составляет лишь кучка крупных промышленников и землевладельцев, поддерживающих эту политику в своих корыстных интересах.

Всё это говорит о том, что в настоящее время существуют реальные условия для создания широкого Национального антифранкистского фронта, к организации которого призывает Коммунистическая партия Испании.

Проникновение американского капитала в экономику Испании началось ещё в конце прошлого века. Но особенно возросли инвестиции финансовых магнатов Уолл-стрита

после второй мировой войны. Это проникновение иностранного капитала, указывает автор книги, шло по трём основным руслам: путём захвата бывших германских предприятий; с помощью созданных франкистами «национальных» учреждений («Национальный институт промышленности», «Координационный совет военно-стратегических материалов» и другие); путём непосредственной скупки контрольного пакета акций ряда предприятий, расположенных в Испании.

В послевоенные годы американские монополии завладели более чем 60 предприятиями, которые ранее принадлежали немецким промышленникам. В это число входят, в частности, «Континенталь, фабрика эспаньола дель каучо» и «Неуматикос континенталь», которые давали 32 процента производства каучука в Испании. Оба эти предприятия были «экспропрированы» в 1951 году и перешли под контроль американского концерна «Дженерал тайр энд раббер».

Американский капитал господствует теперь в электроэнергетической, нефтеперерабатывающей и текстильной промышленности Испании. Заокеанские монополисты распоряжаются также химическим, фармацевтическим и каучуковым производством. Они всё более проникают в железорудную, угледобывающую, металлургическую и другие отрасли испанской индустрии. Их внимание привлекает и сельское хозяйство. «Вторжение американского капитала, — пишет Арконада, — носит всеобщий характер, и мы находим его абсолютно во всех областях, начиная с производства, обработки и экспорта оливкового масла и оливок вплоть до радиовещания и печати; сюда входят и гостиницы, и строительное дело, и капиталовложения в недвижимость. Метод всюду один и тот же: союз финансовой олигархии, концентрация, устранение испанских конкурентов и неслыханная эксплуатация рабочего класса».

Проводя свою колонизаторскую политику в Испании, американские монополисты сталкиваются с ожесточённым сопротивлением со стороны английских, французских и бельгийских капиталистов, захвативших ещё раньше командные посты в некоторых отраслях испанской экономики. Всё более обостряющиеся противоречия между капиталистическими странами чётко проявляются и в Испании. Младшие партнёры США —

Англия и Франция — не хотят уступать своих позиций, так как иначе они лишатся огромных прибылей. Однако монополисты этих стран не могут выдержать натиска более сильного американского империализма, который настойчиво вытесняет своих конкурентов. Так, например, американцы поставили под свой контроль месторождение ртути в Альмадене, крупнейшее в Испании, купив контрольный пакет акций. То же самое произошло с вывозом пиритов из Уэльвы.

Условия труда и быта испанских рабочих мало чем отличаются от положения колониальных рабов. Рабочая сила оплачивается так низко, что американским дельцам выгодно привозить в Испанию сырьё из других стран, производить здесь готовую продукцию и затем продавать её на внешнем рынке.

Газета «Нью-Йорк геральд трибюн» писала, что себестоимость товаров, производимых в Испании, чрезвычайно низка. Например, изготовление в Испании одного телефонного аппарата обходится американской компании «Интернейшнл телеграф энд телефон» в 9 долларов, в то время как в Западной Германии — в 16, а в Англии — в 19 долларов.

Большое место в своей книге Фелипе Арконада отводит разоблачению милитаристской политики франкизма. Более трёх четвертей государственного бюджета Испании идёт на военное строительство. Кроме прямых и косвенных бюджетных ассигнований франкисты используют для военных целей также трудовые сбережения населения. Речь идёт о займах, которые выпускаются периодически, причём облигации распространяются среди испанского населения принудительно. Например, на строительство стратегических железных дорог за пятилетие с 1946 до 1951 года по бюджету было выделено не более 300 миллионов песет, в то время как по специальным займам на эти же мероприятия было израсходовано 4750 миллионов песет.

Огромные средства ассигнуются на сооружение военных баз, на подготовку и оснащение армии. Фалангисты (члены фашистской партии Франко) пытаются скрыть размах милитаризации. Однако шила в мешке не утаишь, правда всегда найдёт себе дорогу. Не так давно бывший премьер республиканского правительства Испании, член Всемирного Совета Мира, доктор

Хосе Хираль в своём обращении к испанскому народу перечислил более сотни аэродромов и более тридцати военно-морских баз, переоборудованных или вновь построенных франкистами и рассчитанных для приёма крупнейших воздушных и морских кораблей. Франкистская Испания не имеет ни современной военной авиации, ни сколько-нибудь серьёзного военного флота. Очевидно, что новые испанские порты и аэродромы предназначаются для американских вооружённых сил.

В Испании модернизируются существующие и строятся новые предприятия, производящие военную продукцию или обслуживающие военные заводы. «Последствия для Испании огромных расходов на подготовку к войне можно сравнить с последствиями рака для организма, уже находящегося в состоянии истощения и упадка сил», — пишет Арконада.

В результате свёртывания гражданской промышленности разоряются сотни предприятий. Автор книги указывает, что только в 1950 году в Испании было опротестовано 474 164 векселя на общую сумму в 4 071 миллион песет. Разорившиеся буржуа вливаются в ряды обездоленных, голодающих людей. Именно поэтому говорят, что в Испании теперь нет средних классов. В этой стране на одном полюсе преуспевает кучка богачей, наживающихся на грабеже и эксплуатации народа, на другом влачит жалкое существование многомиллионная армия бедняков, лишённых самого необходимого.

Откуда же франкистские заправилы черпают средства для финансирования широкого военного строительства? Они выколачивают их из карманов налогоплательщиков.

Из книги Арконада видно, что известный рост государственного бюджета происходит не благодаря развитию промышленности, сельского хозяйства или торговли, а за счёт усиления налогового бремени на население, путём дальнейшего грабежа испанцев. О росте налогов в современной Испании говорит также председатель совета министров испанского правительства в эмиграции Гордон Ордас в своей брошюре «Банкротство франкистской экономики»: В 1945 году, указывает Ордас, налоговые поступления франкистского бюджета составляли 9 864 миллиона песет, а в 1949 году они возросли до 14 265 миллионов песет.



Если же учесть, что в 1949 году весь бюджет франкистской Испании немногим превышал сумму в 18 миллиардов песет, то можно без преувеличения сказать, что он почти целиком составлялся из налоговых поступлений

Разорительная военная политика франкизма, двойной гнёт своих и иностранных капиталистов приводят к дальнейшему обнищанию испанского народа «При диктатуре Франко Испания и большинство испанцев с каждым годом всё более нищают», — пишет английский журналист Дэвидсон, посетивший эту страну. Как указывает в своей книге Арконада, реальная заработная плата испанских рабочих уменьшилась в пять раз по сравнению с 1935 годом. Цены же на предметы первой необходимости возросли за этот период в 7—9 раз.

Книга Фелипе Арконада даёт правильный анализ положения трудящихся Испании. Она подводит читателя к выводу, что для испанского народа единственным выходом из создавшегося положения является объединение всех прогрессивных сил и решительная борьба против фашизма, за национальную независимость, демократию и мир.

К сожалению, автор книги недостаточно подробно рассказывает о движении испанских патриотов. Как известно, испанский народ, несмотря на жестокий фашистский

террор, не прекращает борьбы за своё освобождение. В забастовке, вспыхнувшей в Барселоне весной 1951 года, приняли участие представители всех слоёв населения, выступивших единым фронтом против режима голода и войны. Главари правых социалистов и анархистов, пытающихся расколоть ряды антифашистского движения, были посрамлены. Все честные испанцы убедились в правоте коммунистической партии, призывающей к единству всех антифранкистских сил. Коммунистическая партия Испании еще раз доказала, что она является единственной партией, которая последовательно и самоотверженно защищает интересы народа.

Освободительная борьба продолжается. В Мексике создан Испанский Совет Мира, в который входят представители всех антифранкистских партий и групп. Вокруг Испанского Совета Мира объединяются все, кому дороги мир, честь и независимость Испании.

Испанский народ верит в торжество своей справедливой борьбы. Эта уверенность всё более крепнет в связи с растущим единством патриотических антифранкистских сил Испании, успехами международного лагеря мира и демократии.

Л. РОМАНОВ.

★

## Энергия ветра

В книге А. В. Кармишина «Ветродвижатели для механизации животноводческих ферм» руководители и механизаторы колхозного и совхозного производства найдут много полезного для практической работы. Это — хорошее пособие и для учащихся школ механизации сельского хозяйства.

Рациональное использование силы ветра является важной народнохозяйственной проблемой. Достаточно сказать, что на базе этой даровой энергии можно вырабатывать ежегодно миллиарды киловатт-часов.

А. В. Кармишин — один из старейших специалистов и знаток теории ветроиспользования. В своей книге он сумел сжато и

доступно изложить основные положения этой теории.

Автор знакомит читателя с первыми в истории типами ветряков. Объясняя понятие «скорость ветра», он детально описывает приборы, применяемые для её измерения. В книге приведена таблица среднемесячных и среднегодовых скоростей ветра для ряда городов СССР. Данные этой таблицы охватывают огромную территорию различных районов нашей страны. Большую ценность представляют и другие сведения, необходимые при выборе типа ветродвигателей и определения его мощности применительно к данной местности.

А. В. Кармишин разработал классификацию ветродвигателей. Он отмечает два существенно различных класса этих машин.

К первому относятся все крыльчатые двигатели, у которых роль приёмника энергии ветра играет ветроколесо, вращающееся в

А. В. Кармишин. «Ветродвижатели для механизации животноводческих ферм». Реферат инженер А. С. Добросердов. Машгиз, М., 1952.

плоскости, перпендикулярной к направлению воздушного потока. В этот класс входят две группы ветродвигателей, которые различаются по числу лопастей в ветроколесе и являются быстроходными или тихоходными.

Второй класс составляют ветродвигатели, у которых лопасти в приёмнике энергии ветра перемещаются в плоскости, параллельной воздушному потоку. Они подразделяются на три группы: роторные, карусельные и барабанные.

В книге достаточно подробно описываются отдельные типы этих ветровых машин и даются их технические характеристики.

Говоря о крыльчатых ветродвигателях, автор указывает, что в сельском хозяйстве они отчасти используются и теперь. Как показали теоретические исследования и практические работы по улучшению аэродинамических качеств крыльев, производительность этих ветродвигателей может быть увеличена в два-три раза.

Обращает на себя внимание следующее замечание автора. В настоящее время в сельском хозяйстве работает несколько тысяч ветряных мельниц. Они вырабатывают за год около одного миллиарда силочасов механической энергии. Однако это количество может быть удвоено, если внести даже небольшие переделки в конструкцию крыльев.

А. В. Кармишин отмечает, что в недалёком будущем ветровые машины в сельском хозяйстве должны занять важное место. Он указывает, что для механизации водоснабжения в сельском хозяйстве требуется несколько миллиардов киловатт-часов энергии в год, из которых четвертая часть — для животноводческого сектора. К этому можно добавить, что с завершением строительства гидротехнических сооружений и связанных с ними работ по орошению, обводнению и осушению миллионов гектаров земель ежегодный расход энергии в сельском хозяйстве резко возрастет.

В книге говорится главным образом о применении ветродвигателей в животноводческих хозяйствах. Рассказывая, как влияет своевременное поение на удой молочного скота, автор ссылается, в частности на такой пример. Во время ремонта ветронасосной установки пришлось временно перейти на ручное водоснабжение. В результате этого удой каждой из 50—60 коров понизился на один литр в сутки. В другом слу-

чае — при водоснабжении от конного привода — удой в среднем составлял 1668 литров на фуражную корову, а после пуска ветронасосной установки, которая давала больше воды, удой тех же коров повысился до 2226 литров. Автор отмечает также, что после пуска ветронасосной установки в одном из районов Ивановской области стоимость кубометра воды снизилась в 7 раз, а в другом районе — даже в 36 раз.

Правильно, что А. В. Кармишин столь подробно останавливается на описании ветродвигателей «Д-12» и «Д-18», которые в своё время были подвергнуты тщательной экспертизе и рекомендованы для массового производства. Оба типа относятся к группе быстроходных двигателей. Они оборудованы трёхлопастными ветроколёсами и вполне пригодны для выполнения большинства несезонных сельскохозяйственных работ. В одной из своих работ профессор Н. В. Красовский указывает, что в Центрально-черноземной полосе ветронасосная установка с ветряком «Д-12» при подъёме воды на высоту двадцати метров может обеспечить полив зерновых культур на площади до 42 гектаров. Уже одно это является положительной аттестацией для ветродвигателя данного типа.

Интересна таблица, в которой даны сведения о производительности ветродвигателя «Д-12» при работе с поршневым насосом «НП-145». Из приведённых в ней цифр видно, что при напоре водяного столба в 40 метров и при скорости ветра 4 метра в секунду установка подает в час свыше четырёх с половиной тысяч литров, а при скорости 5, 6 и 7 метров в секунду производительность увеличивается до шести тысяч литров в час. Эти цифры показывают, что ветродвигатель «Д-12» может не только покрывать полную потребность в воде крупной животноводческой фермы, но и все другие потребности колхоза в механической энергии для разнообразных производственных работ.

Универсальный ветродвигатель «Д-18» является в настоящее время наиболее мощным из практически применяемых ветровых машин. Он особенно удобен в арктических районах, в условиях сильных и продолжительных ветров.

Заключительные разделы книги посвящены выбору типа ветродвигателя и места для его установки. Автор даёт советы по монтажу и регулировке ветродвигателей,

насосного оборудования. Здесь излагаются правила техники безопасности при монтажно-сборочных работах, основные правила ухода за ветровыми машинами и приводится определение производительности ветросиловой установки.

Эти страницы книги очень существенны и важны. Ведь как бы ни был прост и неприятелен ветряк, но всё же, как и всякая другая машина, он требует к себе должного внимания, ухода и бережного отношения не только во время работы, но и в процессе сборки и ремонта.

Книга «Ветродвигатели для механизации

животноводческих ферм» полезна для всех, кто интересуется вопросами использования энергии ветра в нашем народном хозяйстве. Однако надо сказать, что она могла бы иметь большее познавательное значение, если бы автор шире осветил применение ветровых машин также и в других отраслях сельского хозяйства. Дело в том, что одни и те же типы машин находят себе применение не только в животноводстве, но и в полеводстве и других отраслях колхозного и совхозного производства.

Академик А. ВИНТЕР.

★

### Выдающийся учёный XVIII века

В течение долгого времени А. Т. Болотов был известен широким кругам читателей главным образом как автор интересных и увлекательно написанных мемуаров «Жизнь и приключения Андрея Болотова, описанные самим им для своих потомков». Четыре солидных тома этих «Приключений» содержат много ценных материалов по истории, экономике, быту и нравам крепостнической России второй половины XVIII столетия.

Однако значение Болотова в истории русской культуры определяется не только этими мемуарами, но и его агрономическими и естественнонаучными сочинениями, число которых достигает нескольких тысяч. Александр Блок в статье «Болотов и Новиков» писал: «А. Т. Болотов пережил восемь царствований — от императрицы Анны до императора Николая I — и оказывается наиболее плодотворным русским писателем. Его сочинения, по соображению Венгерова, умещаются в 350 томах обыкновенного формата».

А. Т. Болотов прожил почти сто лет (1738—1833). Его долгая жизнь и редкая энергия были удивительно целеустремлённо направлены на разрешение большого комплекса теоретических вопросов естествознания, важных для русского сельского хозяйства, и на создание практических правил русской агрономии. Он начал писать по

агрономическим вопросам ещё совсем молодым человеком. Последнюю свою работу «О выгоднейшем расположении фруктовых деревьев в садах плодовых» учёный напечатал, когда ему было 92 года.

В трудах А. Т. Болотова полно и многосторонне отразились крупнейшие научные достижения русской агрономии XVIII века, опиравшейся на работы М. В. Ломоносова, А. Н. Радищева, И. И. Лепёхина, И. М. Комова, В. М. Севергина и многих других, до недавнего времени незаслуженно забытых учёных. Учитывал А. Т. Болотов и богатейший и разнообразный русский народный сельскохозяйственный опыт, во многом непохожий на тот, которым располагала Западная Европа.

Научное наследие Болотова было мало известно в царской России. Только в советское время учёные различных отраслей знания опубликовали несколько ценных исследований об отдельных работах Болотова, вскрыв не только колоссальный объём его научного творчества, но и необычайно широкий диапазон деятельности учёного. Изучение почв разных частей России, выяснение сущности питания растений, земледелие, удобрение почв, осушение болот, луговое хозяйство, травосеяние, севообороты, разработка основ правильного лесного хозяйства, описание сортов русских яблок и груш, цветоводство, конструирование сельскохозяйственных орудий и инструментов — таков далеко не полный перечень тех вопросов, которых касался Болотов в своих сочинениях. И всюду он вносил своё, новое, оригинальное, неизвестное Западу

Сельское хозяйство зарубежных стран в

А. Т. Болотов. «Избранные сочинения по агрономии, плодородству, лесоводству, ботанике». Редакция, статья, комментарии члена-корреспондента Академии наук УССР И. М. Полякова и А. П. Бердышева. Издательство Московского общества испытателей природы, М. 1952.

те времена почти целиком основывалось на известной сумме рецептов, унаследованных от прошлого Болотов считал, что земледелие, критически используя и обобщая народный опыт, должно утверждаться на научных основах Физика, химия, ботаника, минералогия — в целом естествознание — должны быть истинным фундаментом агрономии. В статье «Примечания о хлебопашестве вообще», которой открывается рецензируемый сборник, Болотов писал «первым предметом или частью хлебопашества можно почесть разбирание свойств и качества земли или исследование и узнавание, к чему которая земля наиспособнее» На ярких примерах из практики земледелия в разных областях России учёный показывал, какое огромное значение для правильного размещения сельскохозяйственных культур и для получения высокого урожая этих культур имеет точное знание почв и их агрономических свойств Перу Болотова принадлежит первая в истории мировой науки специальная работа, посвящённая подробной характеристике почв небольшого района Это была статья «Описание свойства и доброты земель Каширского уезда», опубликованная в 1765 году в одной из первых книжек «Трудов» незадолго перед тем созданного Вольного экономического общества.

Но одно лишь изучение почв не удовлетворяло Болотова. Главной задачей науки он считал переделку, «исправление и удобрение земель» и намечал многостороннюю и обширную программу преобразования почв «К сей части земледелия, — писал учёный, — принадлежат многие вещи, как, например, изыскивание, чем и какими средствами который род земли поправить и в лучшее совершенство привести можно; также каким образом требуемые для поправления и удобрения оных вещи собирать, приготавливать, умножать и употреблять наиспособнее и лучше можно, и которое удобрение прочнее и лучше и сколь долго может длиться и при каких обстоятельствах быть полезно и бесплодно»

В своём замечательном трактате «Об удобрении земель», напечатанном в 1770 году, Болотов на 70 лет раньше немца Либиха и француза Буссенго высказывает в совершенно ясной и определённой форме минеральную теорию питания растений, противопоставляя её идеалистической «теории» Ван-Гельмонта о водном питании растений

«Многие того мнения, — указывал Болотов, — что земля не что иное, как сосуд, в котором пища произрастений содержится: а питаются они единою водою, или сыростью и сие мнение стараются доказать оми некоторыми опытами г Гельмонта»

Болотов высмеивает эти виталистические представления. При сжигании растений, говорит он, остаётся зола, содержащая различные минеральные вещества. Откуда они берутся? Не образуются же они из воды? Конечно, нет, отвечает Болотов Пища растений «состоит в воде и некоторых особливых земляных или паче минеральных частичках, следовательно, надобно в той земле сим вещам в довольном количестве находиться». Лишь в начале сороковых годов XIX века Либих пришёл к таким же выводам и долгое время считался «первооткрывателем» в этом вопросе. В результате тщательного изучения трудов Болотова советскими учёными был установлен его приоритет в обосновании ныне господствующей минеральной теории питания растений.

Интересно, что через 30 лет после опубликования трактата А. Т. Болотова Берлинская академия наук присудила премию немецкому учёному Шрадеру, отстаивавшему водную теорию питания растений и утверждавшему, что особая «жизненная сила» позволяет растению создавать зольные вещества прямо из воды. Этот факт ярко свидетельствует о передовом характере научных открытий выдающегося русского естествоиспытателя, на много десятилетий обогнавшего западных учёных в разрешении одного из важнейших вопросов физиологии растений Это прекрасно понимал и сам Болотов Гордясь достижениями отечественной науки, он писал: «Мы находимся ныне в таком состоянии, что во многих вещах не только не уступим нисколько народам иностранным, но с некоторыми в иных вещах можем и спорить о преимуществах»

Исходя из своих правильных теоретических представлений, Болотов настоятельно рекомендовал применять для повышения плодородия почвы не только навоз, но и минеральные удобрения — золу, известь, мергель

Очень велик вклад Болотова в разработку учения о правильном чередовании культур на полях. Свои мысли о севооборотах

учёный излагает в двух работах, воспроизводимых в сборнике, — «О разделении полей» и «О разделении земли на семь полей», не утративших своей научной свежести и поныне.

Чрезвычайно много сделал Болотов для развития садоводства в нашей стране Советский учёный В. И. Егоров писал в 1949 году, что Болотов является «основоположником русского научного садоводства». Несколько десятков лет своей жизни он посвятил изучению и описанию сортов яблок и груш, разводимых в средней полосе России. Результатом этой работы явился его трактат «Изображения и описания разных пород яблок и груш», состоявший из 7 томов текста и трёх томов рисунков плодов.

Научные работы Болотова являются обобщением русской сельскохозяйственной практики. Он почти всё время жил в деревне, долго управлял крупным поместьем, работал в своём небольшом имении. Ежедневно он лично трудился в саду и поле, методично вёл записи своих наблюдений, много и систематически писал. Внук учёного М. П. Болотов вспоминал, что его дед «вставал всегда очень рано (летом — в четвёртом часу, а зимою — в шестом)» и почти сразу же «садился за свой письменный стол».

Трудолюбие и редкая наблюдательность помогли Болотову создать огромные научные ценности. Он стремился сделать их достоянием самого широкого круга читателей. В 1778 году он приступил к изданию

первого русского сельскохозяйственного журнала «Сельской житель» а через два года совместно с известным просветителем Н. И. Новиковым — журнала «Экономический магазин», в котором было напечатано много важных агрономических сочинений Болотова.

Труды Болотова, номера «Сельского жителя» и «Экономического магазина» давно стали библиографической редкостью. Поэтому можно только приветствовать инициативу Московского общества испытателей природы, издавшего избранные сочинения учёного.

Сборник снабжён хорошей редакционной статьёй, очень подробными комментариями, в нём воспроизведены портреты учёного, многие его рисунки и чертежи, дана довольно полная библиография сочинений Болотова и литературы о нём.

Жаль, что в сборник не вошли статьи «Описание свойства и доброты земель Каширского уезда», являющаяся первой печатной работой Болотова, и «Нечто о степных землях», где он очень близко подходит к правильному пониманию агрономического значения комковатой структуры почвы. Тем не менее все, интересующиеся историей русского естествознания, с большой пользой для себя ознакомятся с избранными трудами Болотова. Переиздание его важнейших сочинений в одном томе также значительно облегчит исследовательскую работу по истории русской науки XVIII века.

**И. КРУПЕНИКОВ.**



# КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

(Апрель—май 1953 года)

★

## ГОСПОЛИТИЗДАТ

**В. И. Авдиев.** История Древнего Востока Второе, переработанное и дополненное издание. 758 стр. Цена 12 р. 10 к.

**И. Вязьмин.** И. В. Сталин о товарном производстве и законе стоимости при социализме 40 стр. Цена 45 к

**П. С. Иванов.** Планирование капитальных работ 104 стр. Цена 1 р. 40 к

**Е. Карнаухова.** О ликвидации существенного различия между городом и деревней 40 стр. Цена 45 к.

**Б. Мирошниченко.** Планирование промышленного производства. 152 стр. Цена 2 р

**О новом снижении государственных розничных цен на продовольственные и промышленные товары 1 апреля 1953 г.** 8 стр. Цена 15 к.

**М. А. Процько.** О роли интеллигенции в советском обществе. 240 стр. Цена 4 р. 80 к

**М. Симакин.** Пятая пятилетка — крупный шаг на пути к коммунизму. 104 стр. Цена 95 к.

## ИЗДАНИЕ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

**Заседание Верховного Совета СССР (Четвёртая сессия) 15 марта 1953 г.** Стенографический отчет Цена 40 к.

Стенографический отчет издан на языках русского, украинского, белорусского, узбекского, казахском, грузинском азербайджанском, литовском, молдавском, латышском, киргизском, таджикском, армянском, туркменском, эстонском, финском, татарском, башкирском и кумыкском

## «СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

**Павел Антокольский.** Десять лет. Стихи и поэмы 228 стр. Цена 4 р. 35 к

**Юрий Бондарев.** На большой реке. Рассказы. 240 стр. Цена 4 р. 40 к.

**Семён Гудзенко.** Новые края. Стихи 100 стр. Цена 1 р. 90 к.

**В. Ермилов.** Некоторые вопросы теории советской драматургии О гоголевской традиции 83 стр. Цена 1 р. 60 к

**Сабит Муканов.** Сыр-Дарья. Роман Авторизованный перевод с казахского Леонида Соболева 608 стр. Цена 9 р. 80 к

**Дм. Нагишкин.** Сердце Бонивура Роман 704 стр. Цена 11 р.

**Наум Тихий.** Проходчики Стихи Авторизованный перевод с украинского. 112 стр. Цена 2 р. 30 к.

**Осип Чёрный.** Опера Снегина. Роман. 740 стр. Цена 11 р. 85 к.

## ГОСЛИТИЗДАТ

**Ф. Богушевч.** Избранное. Перевод с белорусского. 112 стр. Цена 3 р. 55 к

**С. Васильев.** Стихи и песни. 143 стр. Цена 2 р. 75 к.

**Антанас Венцлова.** Стихотворения. Перевод с литовского 224 стр. Цена 5 р. 30 к.

**С. П. Гудзенко.** Дальний гарнизон. Поэма. 116 стр. Цена 2 р. 25 к.

**Елин Пелин.** Рассказы и повести Перевод с болгарского. 408 стр. Цена 7 р. 15 к.

**Андон Зако-Чаюпи.** Стихотворения Перевод с албанского. 104 стр. Цена 1 р. 60 к.

**С. Кирсанов.** Макар Мазай. Поэма. 96 стр. Цена 2 р. 20 к.

**Франя Краль.** Тернистый путь Роман. Перевод со словацкого Н. Кисляковой. 232 стр. Цена 5 р. 35 к.

**Панас Мирный.** Избранные произведения. Перевод с украинского. 767 стр. Цена 14 р. 60 к

**С. Михалков.** Сатира и юмор (Бесны и стихи) 62 стр. Цена 45 к.

**П. Павленко.** Рассказы. 128 стр. Цена 1 р. 50 к.

**Александру Сахия.** Избранное Перевод с румынского. 120 стр. Цена 3 р. 25 к.

**Н. С. Тихонов.** Два потока. На Втором Всемирном конгрессе мира. Стихи. 76 стр. Цена 1 р. 15 к.

**Л. Н. Толстой.** Полное собрание сочинений (Юбилейное издание 1828—1928). Том 53. Дневники и записные книжки 1895—1899 562 стр. Цена 18 р

**Л. Н. Толстой.** Воскресение Роман 467 стр. Цена 8 р. 25 к.

## «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

**Александр Горский.** Дело чести Роман. 524 стр. Цена 11 р. 55 к

**Олесь Гончар.** Таврия Роман. 374 стр. Цена 5 р. 65 к

**Любсьвь Забашта.** Слово имеет женщина. Стихи. 156 стр. Цена 3 р. 15 к.

**Юрий Нагибин.** Рассказы. 328 стр. Цена 6 р. 40 к.

**Владимир Орлов.** О смелой мысли. 198 стр. Цена 3 р. 60 к.

**Б. Сметанин.** Юный радиоинженер. 203 стр. Цена 6 р. 40 к.

**Б. Тартаковский.** Лагерь в городе. 112 стр. Цена 1 р. 20 к.

**С. Титаренко.** Боевой союз единомышленников-коммунистов. 56 стр. Цена 1 р. 45 к.

**Р. Фраерман и П. Зайкин.** Жизнь и необыкновенные приключения капитан-лейтенанта Головинина, путешественника и морехода. 480 стр. Цена 10 р. 80 к.

### ДЕТГИЗ

**И. Волк.** Корея сражается. Очерки. 144 стр. Цена 3 р.

**Л. Воронкова.** Беспокойный человек. Повесть. 168 стр. Цена 4 р. 10 к.

**Э. Выгодская.** Опасный беглец. Историческая повесть. 264 стр. Цена 5 р. 30 к.

**А. Грибоедов.** Горе от ума. Комедия в стихах. Редакция и послесловие Вл. Орлова. 184 стр. Цена 4 р. 35 к.

**Г. Гулиа.** Чудесный день. Рассказы. 48 стр. Цена 70 к.

**Е. Долматовский.** Первый рейс. Путевой дневник. 144 стр. Цена 3 р. 30 к.

**П. Ершов.** Конёк-горбунок. Сказка. 104 стр. Цена 6 р.

**А. Зегерс.** Здравствуй, будущее! Сборник. Перевод с немецкого. Составление, предисловие и примечания Л. Симонян. 224 стр. Цена 5 р. 90 к.

**Корейские сказки.** Обработка для детей Н. Ходза. 136 стр. Цена 5 р. 25 к.

**Я. Мавр.** Рассказы. Авторизованный перевод с белорусского Р. Рубиной. 64 стр. Цена 2 р.

**С. Мстиславский.** Грач — птица весенняя. Повесть. 336 стр. Цена 6 р. 15 к.

**М. Муратов.** Денис Иванович Фонвизин. 208 стр. Цена 5 р. 20 к.

**М. Поступальская.** Чистое золото. Повесть. 446 стр. Цена 8 р. 20 к.

**Сказки народов Прибалтики.** Составил Б. Летов. Обработала для детей З. Задунайская. 168 стр. Цена 4 р. 5 к.

### ВОЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

**Б. Горбатов.** Человек из сословия «эта». (Библиотека солдата). 66 стр. Цена 75 к.

**А. И. Опарин.** Происхождение жизни. (Научно-популярная библиотека солдата). 94 стр. Цена 1 р. 40 к.

**И. Рошин.** Местное радиовещание в частях. 37 стр. Цена 35 к.

**А. Д. Ступов, В. Л. Кокунов.** 62-я армия в боях за Сталинград. Издание 2-е, дополненное и исправленное. 198 стр. Цена 4 р. 45 к.

**Л. Филатов.** Вторая рота. 189 стр. Цена 4 р. 50 к.

**И. Шамоу.** Дежурное звено. Стихи и песни. 64 стр. Цена 1 р.

### ВОЕННО-МОРСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

**А. Баковиков.** Уходим в море. Роман. 448 стр. Цена 8 р. 90 к.

**Н. Н. Зубов, К. С. Бадигин.** Разгадка тайны земли Андреева. 120 стр. Цена 2 р. 30 к.

**С. О. Макаров.** Документы. Том 1. Под редакцией подполковника А. А. Самарова. (Материалы для истории русского флота. Русские флотоводцы). 573 стр. Цена 24 р. 35 к.

**А. Чистов.** Право на счастье. (Библиотечка нахимовца). 128 стр. Цена 1 р. 70 к.

### ГОСКУЛЬТПРОСВЕТИЗДАТ

**В. П. Герасимов.** Научно-атеистическая пропаганда в массовых лекциях по естествознанию. 125 стр. Цена 2 р. 25 к.

**М. М. Денисьева, М. Э. Поргнов, Е. Н. Денисьев.** Русское оружие XI—XIX веков. 216 стр. Цена 10 р. 75 к.

**В. И. Лозовой.** Новое в механизации колхозного производства. 76 стр. Цена 1 р. 40 к.

**Ф. И. Плёткин.** Природные богатства СССР. 88 стр. Цена 1 р. 35 к.

### ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР»

**Татьяна Тэсс.** Под нашим небом. Очерки и рассказы. 280 стр. Цена 4 р. 90 к.

### ИЗДАТЕЛЬСТВО

#### ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

**Ян Балицкий.** Расизм в Южной Африке. Перевод с польского. 183 стр. Цена 3 р. 40 к.

**Пьер Куртад.** Джимми. Роман. Перевод с французского. 298 стр. Цена 9 р. 45 к.

**Л. Ломбардо-Радиче и Дж. Карбоне.** Жизнь Антонио Грамши. Биографический очерк. Перевод с итальянского. 191 стр. Цена 5 р.

**А. Норден.** Во имя нации. Перевод с немецкого. 375 стр. Цена 12 р. 80 к.

**Поль Себа.** Тунис. Опыт монографии. 255 стр. Цена 12 р. 35 к.

**Социалистическое переустройство сельского хозяйства Болгарии.** Сборник материалов. Перевод с болгарского. 436 стр. Цена 16 р.

**М. Станевич.** Сентябрьская катастрофа. Перевод с польского. 242 стр. Цена 8 р. 30 к.

**Тресты-миллиардеры во Франции.** Сокращённый перевод с французского. 178 стр. Цена 6 р. 35 к.

**Французские коммунисты в борьбе за прогрессивную идеологию.** Сборник сокращённых переводов с французского 478 стр. Цена 20 р. 65 к.

**Мао Цзэ-дун.** Избранные произведения. Том II. Перевод с китайского. 274 стр. Цена 12 р. 60 к.

### «ИСКУССТВО»

**Герои современности на сцене.** Сборник. 228 стр. Цена 14 р. 90 к.

**К. Кравченко.** Ф. С. Богородский. 32 стр. Цена 1 р. 30 к.

**П. Суздаев.** С. А. Коровин. 159 стр. Цена 18 р. 25 к.

**«МОСКОВСКИЙ РАБОЧИЙ»**

**А. Арсенин.** Центральный музей Советской Армии. 117 стр. Цена 1 р. 5 к.

**Г. Глезерман.** Закон обязательного соот- ветствия производственных стншений хи- рактору производительных сил. 38 стр. Це- на 45 к.

**В. Ефимов.** Посадка сада. 61 стр. Цена 55 к.

**Д. Ковалевский.** О товарном производ- стве и законе стоимости при социализме. 39 стр. Цена 45 к.

**А. Румянцев.** О характере экономических законов при социализме. 34 стр. Цена 40 к.

**Н. Федичкин.** Во главе социалистического соревнования. 66 стр. Цена 80 к.

**Слався, отечество наше свободное.** Сбор- ник песен. 94 стр. Цена 2 р.

**МАШГИЗ**

**Д. П. Великанов.** Эксплуатационные ка- чества отечественных автомобилей. 168 стр. Цена 6 р. 15 к.

**А. П. Владзиевский.** Некоторые вопросы эксплуатации и проектирования автоматиче- ских станочных линий. 164 стр. Цена 6 р.

**А. П. Ковган.** Исследование и технологи- ческие основы расчёта хлопкоуборочных машин. 168 стр. Цена 6 р. 90 к.

**И. К. Коздряков.** Холодильные машины и устройства для обработки металлов хо- лодом. 53 стр. Цена 1 р. 65 к.

**Н. И. Семушев.** За полное использование строгальных станков. (Слово передовиков производства). 28 стр. Цена 45 к.

**А. П. Силкин.** Производительные методы расточных работ. (Слово передовиков производства). 32 стр. Цена 55 к.

**П. П. Тигов.** Разметка крупных деталей. (Слово передовиков производства). 36 стр. Цена 65 к.

**П. Д. Швецов.** Предупреждение аварий паровых турбин. 240 стр. Цена 9 р. 10 к.

**МЕДГИЗ**

**Б. А. Архангельский, Г. Н. Сперанский.** Мать и дитя. Школа молодой матери. 172 стр. Цена 4 р. 25 к.

**В. И. Вашков.** Мухи и борьба с ними. 124 стр. Цена 3 р. 10 к.

**В. М. Жданов.** Заразные болезни чело- века. 256 стр. Цена 10 р. 50 к.

**А. Г. Лушников, И. Е. Дядьковский** и кли- ника внутренних болезней первой половины XIX века. 284 стр. Цена 11 р.

**МУЗГИЗ**

**В. Берков.** Учебник гармонии Римского- Корсакова. 72 стр. Цена 1 р. 50 к.

**В. Р. Петров.** Сборник статей и материа- лов под редакцией И. Бэлза. 238 стр. Цена 8 р. 75 к.

**М. Янковский, Н. И. Забела-Врубель.** 142 стр. Цена 3 р. 80 к.

**ВОРОНЕЖСКОЕ ОБЛАСТНОЕ  
ИЗДАТЕЛЬСТВО**

**Вера Кётлинская.** В осаде. Роман. 628 стр. Цена 9 р. 90 к.

**Г. Ланкин, Н. Трегубов.** Резервы и пути повышения производительности тракторов и комбайнов. 112 стр. Цена 1 р. 55 к.

**ИРКУТСКОЕ ОБЛАСТНОЕ  
ИЗДАТЕЛЬСТВО**

**П. Г. Мäляревский.** Здравствуй, жизнь! Повесть. 348 стр. Цена 8 р. 5 к.

**КОСТРОМСКОЕ ОБЛАСТНОЕ  
ИЗДАТЕЛЬСТВО**

**Леонид Соболев.** Батальон четверых. Рас- сказы. 56 стр. Цена 85 к.

**НОВОСИБИРСКОЕ  
ОБЛАСТНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО**

**Н. Карнеева.** Школа. Роман. 400 стр. Цена 7 р. 85 к.

**Е. Стюарт.** С добрым утром! Стихи. 104 стр. Цена 2 р. 50 к.



Главный редактор **А. Т. Гвардовский**  
Редколлегия: **М. С. Бубеннов, В. П. Катаев,**  
**С. С. Смирнов, А. К. Тарасенков, К. А. Федин, М. А. Шолохов**

Редакция: Москва, 6, Пушкинская площадь, 5 (почтовый адрес).  
Вход с улицы Чехова, 1. Тел. К 5-06-96.

Сдано в набор 24/IV-53 г. Подписано к печати 12/V-53 г.  
А 00278. Формат бумаги 70×108<sup>1</sup>/<sub>16</sub>. 9 бум. л.—24,66 печ. л. Тираж 130.000. Заказ № 811.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР»  
имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская площадь, 5.



Цена 7 руб.